

АНАТОЛИЙ
МЕДНИКОВ

Избранные произведения

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ

Избранные
произведения
в двух томах

ТОМ ВТОРОЙ

ВРЕМЯ СТРОИТЬ

Роман

ОЧЕРКИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

P2
M42

Художник
С. Соколов

М $\frac{4702010200-263}{028(01)-83}$ 44-83

© Оформление. Изда-
тельство «Художе-
ственная литерату-
ра», 1983 г.



ВРЕМЯ СТРОИТЬ

Роман





ГЛАВА 1

Петр Шубенков вставал каждый день в шесть утра. Началось смены на стройке в семь тридцать. Час уходил на дорогу от района Красной Пресни до Вешняков — Владычина или Свиблова, Медведкова, Текстильщиков, Теплого Стана. Ездить обычно приходилось через всю Москву.

Вставать так рано — летом на рассвете, зимой еще в густой темноте — Петр привык, не испытывая при этом ни раздражения, ни тяжелой сонной ломоты в теле. Даже в воскресенье, когда можно было поспать всласть, Петр все равно вставал около шести утра — точно срабатывал заведенный, видно, на крепкую пружину, где-то в нервных узлах затаившийся будильник.

Окно спальни Шубенковых выходило в сторону Московского зоопарка, той части его обширной территории, которая располагалась за главным входом. Квартира находилась на девятом этаже двенадцатиэтажной башни, возведенной коллегами Шубенкова, строителями из соседнего комбината. До зоопарка по прямой было метров сто, и летом через открытые окна и балкон в квартиру доносилось приглушенное расстоянием бормотное, многоголосое дыхание огромного зверинца.

То спросонья зарычит леопард, то какой-то стонущий звук пронесется над прудом, который проглядывал между деревьями; по утрам, проснувшись, как заведенные

начинали снова по клеткам волки, захихикав, захлебнется и вновь подобострастно захихикает шакал, то вдруг львиный властный рык прокатится над зоосадам, то, высунав из воды свои огромные туши, начнут сопеть бегемоты, положив морды на каменные ступени бассейна.

Если зоопарк рядом и у тебя восьмилетний сынишка, который любит глазеть на животных, на всех обитателей парка, то волей-неволей и сам ты будешь хорошо знать расположение вольеров, прудов, террариумов, ряды клеток, разбросанные то там, то здесь и составляющие своего рода улицы и переулки зверинца.

Петр давно уже заметил, что зрительная память, в которой запечатлелись эти улицы и переулки, помогала его слуху улавливать и определять знакомые шумы. В той же мере, как и слух восстанавливал в памяти живые картинки существования всяческого зверья.

Он тихо поднялся с постели и, как обычно, сначала взглянул в окно на зоопарк. Трудно давалась ему в новой квартире привычка вставать одному. Катя, жена его, работала в научно-исследовательском институте и вставала на час или полтора позже Петра. Отправляла сына в школу и шла пешком в свой институт, который находился тут же, на Пресне.

Одевшись, Петр распахнул окно спальни пошире и посмотрел сначала на небо, потом пристальнее в сторону зоопарка, взглянул на градусник, прикрепленный к раме. Любопытство было не праздное. Целый день его бригада работала под открытым небом, и состояние этой постоянной крыши над головой строителей определяло многое — и настроение, и темп работы, и ее качество.

В это майское утро над зоосадам плыл легкий туман, сгущаясь в деревьях. Выше сосен и кленов расширялась громадная розовая полоса, она постепенно поглощала темные и серые тона неба и, высветляя его, предвещала скорый восход солнца. А вслед за этим ясный, теплый день.

Петр сладко, с легким стоном потянулся и, выдыхая, слабо охнул. Вышло это у него непроизвольно, и получилось грустновато, похоже даже на стон, который мог разбудить жену. Петр оглянулся и увидел, что Катя не спит, в открытых ее глазах не заметно сонной расслабленной поволоки, а светятся озабоченность и тревога.

— Я разбудил тебя?

— Нет.

— А чего же не спишь?

— Не спится. Есть о чем подумать.

— Обо мне?

— Угадал. Ты знаешь, сколько нужно времени человеку, чтобы ощутить счастье? — неожиданно спросила Катя и тут же сама ответила: — Столько же, сколько для того, чтобы завести часы.

— Ну и что? — спросил Петр. — К чему это?

— Запомни, чтобы совершить непоправимую ошибку, тоже иногда достаточно всего одной минуты. Не больше.

— Я понял, — сказал Петр.

— Теперь спрашиваю: ты решил окончательно или нет?

— Думаю, — ответил Петр с легким раздражением, которое у него вызывало настойчивое желание Кати навязать ему свое мнение. Ее настойчивость в таких случаях прямо посягала на стремление Петра не торопясь, как ему нравилось, обдумать и взвесить все обстоятельства, обсудить с женой все «за» и все «против».

И когда она не раз и не два, упорно, то сердито, то с обидой или же с рассчитанным на жалость занудством возвращалась к одному и тому же, Петр лишь большим усилием воли останавливал нарастающее раздражение. Оно могло привести к ссоре, а иногда и приводило, хотя Петр терпеть не мог разговоры с так называемым «выяснением отношений».

— Я вот что тебе скажу. Ты неблагодарный человек! — Катя словно бы почувствовала, как закипает в Петре недовольство, и в свою очередь взвинчивалась. — Кто у тебя самый лучший и преданный друг? Жена! Я тебе хорошего желаю. Никто так о тебе не заботится, как я. Так или нет?

Петр промолчал. Вопрос жены предполагал, естественно, утвердительный ответ. Все возможные на этот счет колебания вызывали всегда лишь гневную реакцию.

— Отвечай — так или нет? — повторила Катя.

— Ты, ты, конечно!

Петр вздохнул.

Уж если подобным образом выяснять отношения, то вечером, когда выпадает свободный часок-другой. А лучше всего перед сном, чтобы потом смыть им с души накопившиеся обиды. Петр считал, что человек динамичный,

деловой и целеустремленный иначе и не должен поступать. И хотя сейчас, утром, и разумнее было бы ограничиться односложными ответами, но, не удержавшись, Петр все же добавил:

— Советы — дело ответственное. А у тебя с советами выход брака великоват. Процентов семьдесят, если не больше.

— Ненавижу неблагодарность!

Катя сбросила одеяло с намерением встать и уже опустила ноги на коврик, а потом передумала и снова легла в постель, но повернувшись к Петру спиной.

Теперь Петр видел только ее волосы, коротко стриженные, каштанового цвета, с рыжижкой, от которых, как казалось ему, всегда исходил легкий лимонный запах. Сейчас волосы, спутавшись, обнажили маленькое, изящной формы ухо, ярко-розовое, словно бы подсвечиваемое электрическим фонариком.

Фонарик этот как бы все накалялся и накалялся, отражая степень Катиного раздражения. Петр не сомневался, что пухловатые, как у девочки, губы, уткнувшиеся в подушку, сейчас обиженно надулись, брови сведены к переносице, а чуть вздернутый нос, как обычно, когда Катя сердилась, придавал ее миловидному лицу выражение гневного вызова всему свету и тяжелой обиды одновременно.

— Мы еще обсудим это вечером, я пошел, а ты досыпай,— примирительно произнес Петр, радуясь хотя бы уже одному тому, что ссора не разрослась и он может спокойно и быстро позавтракать.

Еду Катя обычно готовила ему на кухне с вечера. Быстро закончив завтрак, Петр заглянул в комнату Мишки, который еще сладко посапывал, и выскочил на улицу. Минут через пять он уже входил в вестибюль метро, который и в этот ранний час был заполнен людьми, спешащими на заводы и стройки.

И пока Петр ехал по кольцевой до Таганской, а потом пересел на восточный радиус и добирался до места своей работы, он обдумывал сложившуюся ситуацию, исходя из которой ему придется в ближайшие дни принять важное для себя решение.

Вчера Юрий Матвеевич Ярцев — начальник комбината — встретил Петра в коридоре, куда выходили двери различных отделов и административных служб. Петр как раз собирался заглянуть в производственный отдел, уточ-

пить задание на ближайшие две недели, когда его окликнул Ярцев, поздоровался и тут же, ухватив Петра за руку и крепко держа, повел в свой кабинет.

Здесь Ярцев показал Петру рукой на глубокое кожаное кресло, стоящее рядом с его рабочим столом, а сам уселся напротив, и уже одно это говорило о том, что беседа будет носить характер неофициальный, не похожий на коротенькое свидание начальника комбината с известным бригадиром.

— Поговорим по душам, Петр Михайлович,— начал Ярцев,— и я надеюсь, что разговор пройдет, как пишут в газетах, «в теплой и дружеской атмосфере». Ты как, готов?

— К чему? — не понял Петр.

— К радостной новости. Неужели ты и сам не чувствуешь, что обречен на выдвижение, что ты у нас растущий, перспективный товарищ? Ты — гордость комбината! Заслуженный строитель! Это звание, как правило, присваивают людям пожилым, а ты еще и сороковку не разменял.

Ярцев вытащил пачку сигарет, предложил Петру. Петр, поблагодарив, отказался. Он не курил. На комбинате было двадцать потоков, а следовательно, и двадцать комплексных бригад, двадцать бригадиров. Не мог же Ярцев помнить о каждом — курит он или нет?

— Перечень твоих успехов я обрываю,— сказал Ярцев.— Это получается вроде как в приветственных адресах, юбилею рассказывают, когда и где он родился, что сделал, а это он и сам знает прекрасно.

— Вот именно,— с коротким вздохом ответил Петр. Он ощущал какое-то неприятное томление в груди. Ибо пространное и комплиментарное вступление начальника комбината, хотя он и заявил о выдвижении, могло таить в себе любую неожиданность.

— Ну так как? — спросил Ярцев.

— Никак.

— И по лицу моему ничего не видишь?

Петр напряженно впился глазами в знакомые ему черты лица: высокий, загорелый лоб — хоть и большой начальник, но строительный, а следовательно, на свежем воздухе бывает часто. Загар лег поверх всегдашней розовости щек — свойство людей с кровеносными сосудами, близко прилегающими к коже. Под глазами набухли мешочки.

Петр слышал, что Ярцев любит выпить, иногда перебирает и тогда с похмелья приезжает на работу злой, раздраженный, и с почками у него уже какие-то неполадки.

Нет, ничего нового для себя не увидел Петр в лице начальника комбината, ничто не говорило о характере той новости, о которой завел речь Ярцев, и Петр недоуменно пожал плечами.

— Ну, не буду, не буду тебя томить. Есть мнение, — произнес Ярцев с улыбкой мягкой и дружеской, — чтобы ты, Петр Михайлович, взял у нас управление. То есть возглавил бы его. Свое управление, в котором ты сейчас работаешь.

Петр шире открыл глаза и глубоко вздохнул, что могло означать лишь одно — его крайнее удивление.

— Ты давно созрел для такого выдвижения и наверняка потянешь порученное дело, — продолжал Ярцев так, словно бы он ничего и не заметил. — И не возражай с ходу, не возражай, прошу тебя, подумай. Взвесь все, посоветуйся, с кем считаешь нужным. Есть одно мудрое правило: надо всегда оставлять лишний день для размышлений. Иннокентий Иванович, — он имел в виду бывшего начальника управления, — ушел от нас с большим повышением. Взял соседний комбинат. Так что славное ваше строительное управление становится кузницей руководящих кадров. И это хорошо!

— Юрий Матвеевич, — наконец-то смог вставить свое первое слово Петр, — я ведь только бригадир, простой работяга. Конечно, опыт есть, кое-чего мы добились. Но сразу выйти на управление! Ой-ой!

— Что же я не кричу «ой-ой»! — возразил Ярцев. — Не боги горшки обжигают, Петр Михайлович. «Работяга»! — повторил он словечко, вырвавшееся у Петра. — Да ты такой работяга, что дай бог всякому!

— Рановато, мне думается. Подождать бы немного, — сказал Петр.

— Нет, самый раз, — отрезал Ярцев. — Ты оптимальная для нас кандидатура. Лучше не видим и не ищем. Свой, вырос на комбинате. Рабочая косточка. Новому человеку, со стороны, авторитет надо годами зарабатывать, а у тебя он в одном имени твоём — Шубенков! В общем, так: решишь — позвони, и отдадим приказ.

Разговор этот происходил в пятницу, и не позже понедельника Петр должен был дать ответ Ярцеву и секретарю.

рю парткома Аркадию Николаевичу Лазареву, который звонил ему домой и тоже уговаривал «решить вопрос положительно». Лазарев обещал Петру помощь партийного комитета, членом которого Шубенков состоял уже второй выборный срок.

А вот мнение жены было иным.

— Рано тебе уходить из бригадиров. Мало ли что они говорят, какие поют песни, а ты должен эту пятилетку доработать рабочим, известным рабочим, о котором пишут в газетах, который на виду. Вот сядешь ты на управление — и как в колодезь ухнешь. Будешь свою фамилию видеть только в приказах по комбинату: «Тов. Шубенкову указать, тов. Шубенкова предупредить, поставить на вид, объявить выговор» и т. д. Пока можешь, силенки есть — тяни свою линию, рабочую, и будешь в полном порядке.

Поговорили они за ужином, был включен телевизор, шел концерт мастеров эстрады, Катя просматривала «Вечерку», бегала на кухню, капризничал и не хотел делать уроки Мишка. И Петр подумал, что в современной семье, где муж и жена работают, у каждого свои проблемы, а квартира чересчур уж оснащена средствами массовой информации, и посоветоваться-то всерьез и без помех не так-то легко.

Петр не считал, что Катя наделена трезвым, практическим умом. Логика у нее была что называется женской — противоречивая, непоследовательная, реакции импульсивные, переменчивые: сегодня одно, завтра другое.

Она и сама говорила в минуты самокритической откровенности, что ее интеллект работает с перебоями. И при всем при том иногда она вдруг озадачивала Петра неожиданным поворотом мысли, странным ракурсом зрения.

Как-то Павел Ильич Боровский, главный экономист комбината, к которому Петр нередко обращался то за советом, то за консультацией, а в пору первых лет бригадирования и с просьбой отредактировать ответственное выступление, статью в газету, тот самый Боровский, которого Петр считал человеком умным, иной раз по-умному злым, сказал раз Петру в ответ на его сетования на то, что, мол, с женой он часто спорит и не может понять логики ее поступков:

— А ты не ищи логику там, где ее нет. Моя жена, например, сама говорит, что ей ум заменяет память.

А память поразительная, записной книжки для телефонов с собою не носит — все в голове!

Он при этом хохотнул, но как-то невесело, может быть, потому, что, уважая такую откровенность, все-таки страдал от того, что жене «ум заменяет память».

— Женщины, Петя,— продолжал он,— они ведь читают какую-то свою книгу жизни, нам неведомую. И страницы этой книги загадочны, а порою и необъяснимы.

Он, конечно, шутил тогда, Павел Ильич. Но Шубенкову слова эти врезались в память. Вот он и вспомнил о них, когда Катя заявила:

— Ты мне нравишься именно как знатный рабочий. Сильный мужик, умеющий все делать своими руками. Женщины любят таких, и я понимаю, что ты можешь нравиться и другим. Бабы хотя и жалостливы, но редко привязываются к неудачникам. Успех — это как ветерок, раздувающий костер чувства. А ты удачлив. И цени свой успех. Уйдет популярность, тогда ты ее и подьемным краном назад не притащишь.

— Может быть, бульдозером? — вставил Петр с иронической ухмылкой.

— И бульдозер не возьмет. Это, брат, как прошедший день, ничем его назад не вернешь.

— Уж больно страшную рисуешь ты картину,— возразил он.— А я думаю, что жизнь с популярностью или без нее все равно прекрасна. Я встаю утром с хорошим настроением, и просто хочется поскорей попасть на стройку, увидеть своих ребят, начать работать. И это главное...

Вот в таком духе примерно отвечал Петр Кате, когда она заводила разговор о его рабочей популярности. Однако ж сам он и без Катиных напоминаний хорошо знал, что, становясь строительным начальником, большим или малым, он терял реальную престижность своей бригадирской должности. Уж так у нас повелось, что замечают успехи и главным образом пишут о делах бригадиров, монтажников, они в центре общественного внимания. И Петр признавал это справедливым. Он не был согласен только с тем, что люди с талантом и энергией организаторов производства частенько, как говорится, выпадают из кадра, даже тогда, когда речь заходит об общих, коллективных успехах монтажного потока, строительного управления или всего комбината. Странно, но факт.

Вот с такими мыслями Петр вылез из вагона на перрон станции метро, соприкасающейся с линией железной дороги. Обе платформы — железнодорожная и метро находились на поверхности земли, под открытым небом. В насыпи, примыкавшей к железнодорожному полотну, имелись бетонные тоннели — переходы, выводившие к автобусной остановке на шоссе, которое черным асфальтовым кольцом охватывает весь жилой массив.

Петру надо было ехать налево, к видневшейся с платформы зубчатой кромке лесопарка. Он раскинулся здесь широко и привольно, занимая большую для города и даже для столичной окраины площадь.

Это и был край Москвы с новым районом мощной жилой застройки, с зеленой жемчужиной города — Сосновским парком в центре, с голубой гирляндой из сорока больших и малых водоемов и протоков.

Строительство жилого района заканчивалось. Один из последних кварталов возводила бригада Петра Шубенкова. Начали они вместе с другими строительными потоками «поднимать этот район» лет пять назад, с участка около полотна Окружной дороги, когда и здесь, и далеко вокруг простирался полудачный поселок: сосновые и березовые рощицы, луга, водоемы и сплошной зеленый ковер травы, не исполосованной еще темными ремнями асфальта.

У строительных бригад беспокойная жизнь кочевников. Шубенковской бригаде редко удавалось больше полугода оставаться на одном районе. А затем происходила перебазировка кранов, вагончиков, оборудования.

За эти годы Петра и его товарищей перебрасывали и в Текстильщики, и в Печатники, и в Ивановское, и в Теплый Стан, и на север Москвы — в Медведково, Свиблово, Бибирево, и опять, словно бы затем, чтобы строители увидели воочию результаты своего многолетнего труда, их вернули сюда, на восточную окраину города.

Каждый район, хоть и часть единого города, а все же имеет свое градостроительное лицо. Этот, восточный, нравился Петру. Наверно, по общим контурам, по эстетической выразительности он уступал Чертанову, Теплому Стану, там разнообразнее высотный силуэт, больше шестнадцати- и двадцатидвухэтажных зданий, холмистая местность придает большую живость пейзажу, да и цветовой колорит облицовки зданий богаче. Но зато в восточном просторно, старинные парки — Кузьминский, Кусковский,

Сосновский, обилие зелени и цветов, пруды, и весь этот «белый город», как Петр называл весь район про себя, в ясный день, на солнце весело сверкает белизной всех своих стен, граней, плоскостей и объемов. Строгие линии новых улиц и кварталов. И в этом Петру виделась своя мощь, красота и привлекательность.

Автобус подходил вплотную к Сосновскому парку и площадке шубенковской бригады. Еще из окна Петр увидел своих ребят, они возились на четвертом этаже типового девятиэтажного здания. Шел монтаж, работал кран. Подаваемые им на четвертый этаж панели слегка раскачивались в воздухе, пока руки монтажников не останавливали это маятниковое движение и начинали помогать крану подводить бело-серые панели на предназначенное им место. Там, на этаже, для панелей была приготовлена «теплая постелька» из свежего цемента.

Работа монтажников постороннему глазу могла показаться однообразной и грубой, связанной с затратой больших физических усилий, но Петр-то знал, что на самом деле она требовала не столько силы, сколько ловкости и сноровки, в том числе и чувства дистанции, особенно при сильном ветре, когда круто раскачивающаяся панель могла и с ног сшибить. Не так-то просто было командовать действиями машиниста крана, дирижируя с этажа свободной ли рукой или взмахами больших серых рукавиц.

Когда шел монтаж, то обычно на земле около подъемного крана или снятых с панелевоза и складированных тут же блоков, панелей, лестничных маршей и белых квадратов санкабин никого из рабочих не было, кроме орудующего крюками и стропами крана такелажника.

Сейчас же около двухпалых железных ног крана Петр издали заметил двоих и, подойдя ближе, узнал коренастую фигуру и седую крупную голову Юрия Матвеевича Ярцева и главинжа, а сейчас еще и временно исполняющего должность начальника управления Константина Касьяныча Копытку, человека высокого, чуть сутуловатого, в серой мальчишеской кепочке на рано лысеющей голове.

То, что Ярцев и Копытку появились на строительной площадке к утренней пересменке, могло быть вызвано лишь обстоятельствами чрезвычайными.

«Что-то стряслось», — подумал Петр.

Он почувствовал, как все у него напряглось внутри и

слегка заныло в животе, что случалось обычно в минуты волнений.

Петр ускорил шаг, подойдя, поздоровался и выжидающе помолчал, полагая, что прибывшие к нему на стройку руководители сами объяснят цель такого раннего визита.

— Удивлен, Петр Михайлович? — спросил Ярцев.

— Есть немного, — сказал Петр.

— А что, думаешь, начальство спит больше, чем бригадиры? Мы все, строители, начинаем вкалывать на рассвете. В общем-то, никакой особой загадки тут нет, — начал объяснять Ярцев. — В девять собираю на комбинате важное совещание, а перед ним надо взглянуть, что у вас тут творится. Райончик-то завершаем. А конец — всему делу венец. Надо, чтобы тут все было о'кей. Да еще посмотреть, не опаздывает ли знатный бригадир к началу утренней смены?

Ярцев последнее замечание сделал как будто бы не очень всерьез, однако оно задело Петра. Он, правда, только пожал плечами, но лицо его, наверно, выражало удивление тем, что высокое начальство вообще могло допустить мысль о его опоздании. Да ведь и проверить просто — позвони на стройку...

— Последнему не веришь, — догадался Ярцев, похлопав Петра по плечу как бы на правах старшего товарища, дружески расположенного.

Петр, не любивший никакой покровительственной фамиллярности, а начальственной особенно, с трудом удержался от того, чтобы не отступить на шаг от Ярцева.

— Не веришь, — повторил Ярцев. — Ну и правильно. Дисциплинированность Шубенкова никто на комбинате под сомнение не ставит. Это точно. А вот еще одно дельце поважнее у нас действительно есть. Ты слышал, наверно, на комбинат поступили письма из местного райисполкома, от главного районного архитектора, от дирекции этого самого Сосновского парка относительно того, чтобы наши дома отодвинуть от парка на двести метров и снизить этажность. Ну а что это для нас означает, это тебе ясно. В курсе дела? — спросил Ярцев.

— Он в курсе, в курсе, — поспешил за Петра ответить Копытко. — К нам в управление звонили и писали из разных инстанций. Черт знает что! У нас уже и фундаменты под новый квартал готовы, и план сверстан, а они спохватились создать здесь какую-то охранную зону. — Копытко

сделал паузу, вынужденный перевести дыхание, так он был рассержен.— Эта зона так нам ударит по плану, месячному и квартальному, что будь здоров! — Возмущение Копытко казалось столь же бурным, сколь и искренним.

— Да, я знаю об этом,— сказал Петр.

Произнес спокойно, сдержанно, уже одним этим как бы показывая, что он не очень поддерживает гневную тираду Копытко. Вот это спокойствие бригадира, видимо, и удивило более всего Ярцева, окинувшего Петра внимательным и изумленным взглядом.

— Знаешь, и только? А реакция твоя на эти домогательства какая? Ты же бригадир! Кому разбирать готовые фундаменты? Кому перебазировать весь поток в другой край Москвы, вместо того чтобы спокойно и продуктивно поработать на одном месте, еще один квартал сделать. Тут и дороги и коммуникации — все в порядке.

Ожидая ответа, он вытащил платок и вытер им вспотевший лоб. Солнце уже начинало припекать. Ярцев был в темно-сером костюме, в неизменной своей белой рубашке с галстуком, и эти темно-серые и белые цвета оттеняли седину его волос, еще свежий для шестидесяти лет медноватый оттенок загорелого лица.

Ярцев был похож на древнего римлянина, знал это, гордился своим лицом и красивой седой головой.

Петр выдержал паузу, в течение которой тоже внимательно смотрел на Ярцева, а потом сказал:

— Да, все это ляжет на мою бригаду.

— Ну, ты силен! — не удержал восклицания Ярцев.— Мужик молоток! Твоим характером бы гвозди заколачивать. Сталь!

— Вот именно, гвозди... в план и в сообразительности,— поддакнул Копытко, поморщившись при этом, словно бы глотнул кислого.

А Ярцев засмеялся, громко, хотя не очень-то весело. Несоответствие между тембром и тоном густого, обычно наполненного уверенностью и солидностью голоса было заметно и делало смех Ярцева малоестественным и каким-то натужным.

— А в общем-то, не бригадир такие вопросы решает. Перебазирование потоков — это дело управления, комбината. Нам что дали, то мы и монтируем, трудяги-работяги,— примирительно сказал Петр, понимая, что Ярцев и Копытко ждут от него реакции совершенно определенной.

— Ладно, не прибедряйся. Ты такой бригадир, чье слово дорогого стоит. Мы твою бригаду ценим, любим.— с некой толикой уже накопившегося раздражения сказал Ярцев, и само это раздражение тоже не гармонировало со словами «ценим», «любим».— Поставить тебя в тяжелое положение, лишить всех ребят премии из-за капризов этих людей,— и Ярцев, не поворачивая головы, махнул рукой в сторону парка,— на это на комбинате желающих, я думаю, не найдется. Итак, какое твое мнение? — спросил он, и в том напоре и энергии, с какой этот вопрос был задан, чувствовались просьба и почти требование.

— Надо подумать,— сказал Петр.

— Подумать?! — теперь уже удивился Копытко.— Ты что же, сам себе враг? Ты бригаду спроси, рабочих. Как они отнесутся к тому, что музейщики в их рабочий карман залезают?! Остановка строительства, неизбежные простои. Ты людей спроси!

— Спрашивал и еще спрошу. Это как обычно. Константин Касьянович, вы же знаете наши порядки, мы такие вопросы решаем коллективно.

Ярцев больше не улыбался и не смеялся, а строго посмотрел на часы, поправил галстук.

— Силен, силен! — снова повторил он, но уже вяло.— Надо ехать, Касьяныч. На полчаса заскочим в Ивановское, это по дороге, и домой, на комбинат. А тебе, Петр Михайлович, на прощание скажу так: мы бы могли этот вопрос решить без тебя. Но не хотелось бы именно в данном случае. Пойми. Тут вмешались разные организации по охране природы. И слово рабочих, которые успешно борются за свои социалистические обязательства, немаловажно... Так что прикинь с народом, что бы вы могли написать нам на комбинат по этому поводу. Письмо бригады. И покруче с формулировками. Не затягивай, друг, это в твоих же интересах. Все, бывай!

Ярцев протянул руку Петру. Ладонь у него была какая-то клещевидная, обхватывала кисть цепко и жестко.

Сколько Петр ни здоровался с Ярцевым, а всякий раз произвольно про себя отмечал это.

Сейчас Ярцев еще раз кивнул Петру, крупно зашагал к своей черной «Волге». За ним энергично поспешил Копытко.

Облако пыли, поднятое «Волгой», растаяло, и Петр

подошел к своему корпусу, стал подниматься по лестничным маршам. Они были смонтированы, но еще не очищены от кусочков цемента, грязи, еще без перил ограждения.

Поднимался Петр медленно, хотелось подумать перед выходом на монтажную площадку и немного собраться. Разговор с Ярцевым и Копытко оставил неприятный осадок. И хотя Петр отвечал им кратко, был сдержан, но градус его истинного душевного возбуждения на самом деле был намного выше заметной собеседникам температуры внешнего спокойствия, так удивившего обоих начальников.

Поднимаясь по лестнице, Петр думал о том, что ему неприятна сама мысль о возможных столкновениях с Ярцевым и Копытко по вопросам об охранной зоне. Петр не сказал Ярцеву, что он сам, по своей инициативе уже заходил в музей и должен был завтра, в воскресенье, побывать там еще раз.

«Стань я начальником управления, мне же самому во многом и решать это дело», — невесело подумал он.

Петр вздохнул на последних ступеньках. Подъем на четвертый этаж он еще брал легко, не учащая дыхания. Вздохнул же он так глубоко под тяжестью накопившихся в душе сомнений. Он ведь знал хорошо, всем опытом уже прожитой жизни, что никто не поможет ему их развеять. Слушать советы он будет, взвешивать их, но сделать выбор должен сам. И решить правильно. Ибо за ошибки жизнь бьет, за ошибки каждый расплачивается долго и трудно, когда приходится исправлять то, что еще можно исправить.

Петр вышел на площадку четвертого этажа. В это время большая стеновая панель, перемещаемая краном, прошла над его головой так низко, что ему пришлось даже присесть. И вынужденный посидеть на корточках, он погрозил кулаком машинисту крана, какому-то новому парню, который смеялся в кабине, растянув рот до ушей, и щурился от солнечных бликов, ползущих по стеклам, по серым плоскостям плиты, зайчиками бегавших по бетону основания нового этажа.

Упруго выпрямившись, Петр зашагал вслед за быстро плывущей по воздуху плитой к тому участку, где уже заканчивала, отработав свой урок, ночная смена.

В воскресенье Петр поехал в Сосновский парк — подышать воздухом и еще раз, на досуге, обдумать весь этот загоревшийся сыр-бор с зеленой зоной. Так он сказал жене. Аргумент был не слишком убедительный, однако Катя легко его отпустила, ибо сама решила с сыном поехать к подруге на дачу, к портнихе и по другим, как она пояснила, дамским делам.

В воскресенье сосновский музей был открыт. В помещении зимнего сада екатерининского вельможи разместились ныне выставка бронзы.

Раз музей работал в воскресенье, то, наверно, и дирекция, а раз дирекция, то и директор. Ирина Сергеевна Соколовская, с которой неожиданно для себя Петр познакомился месяц назад, сама пришла к нему на строительную площадку, сообщив, что читала о бригадире Шубенкове, и рассказала ему о своих заботах. Почему, собственно, понадобилось посвящать во все музейные дела именно его, Петр тогда не понял, хотя рассказ директрисы выслушал сочувственно. Видно, в своей нелегкой борьбе Ирина Сергеевна искала союзников где только можно.

Сейчас, шагая по парку к основному зданию архитектурного ансамбля, Петр ощущал то чувство легкого возбуждения, то радостное нетерпение, какое охватывало его в преддверии былых свиданий с Катей или же встреч со знакомыми женщинами, чем-то ему приятными, вызывающими интерес и внимание.

Ирина Сергеевна ему сразу понравилась. Но если бы Петр спросил себя, чем же именно, ответ вряд ли смог выразить что-то определенное. Так, произвела общее хорошее впечатление. А это «общее» включало в себя многое — и живые карие глаза, и голос с тем редко встречающимся у женщин тембром, который напоминает высокие ноты органа, такой же наполненный, густой, и энергичная речь, подогретая естественностью и искренностью, которые ни с чем не спутаешь, и ее старания, в которых не отыщешь никакой личной корысти, а лишь понимание своего долга, любовь к заповеднику и в конечном счете заботу о людях.

Ей было, видно, чуть за тридцать. Свежесть нежной кожи лица, рук, линии красивой шеи, упругость походки, еще очень молодой и легкой, — все это останавливало

взгляд Петра, в значении которого вряд ли ошибется какая-либо женщина.

— Вы меня послушайте,— сказала она Петру при первой же встрече.— Вы человек думающий и хорошо чувствующий, я уверена. И поэтому поймете: нам здесь необходима охранная зона. Иначе все это,— Ирина Сергеевна охватила взмахом руки парк, дома, небо и запарковые дали,— все превратится просто в какой-то игрушечный городок. Или мы сохраним простор, широту, русское раздолье, эпичность, спокойствие, заложенные в этом великолепном архитектурно-парковом ансамбле,— разгорячилась она,— или же останемся в замкнутой коробочке из бетонных зданий, которые сдавят парк со всех сторон. И будет наш музей под колпаком!

Насчет колпака — это уже было явное преувеличение, скорее некий поэтический образ. Но Петр не возразил, ибо сочувствовал Ирине Сергеевне в главном.

— Вы разделяете, товарищ Шубенков? — Она чуть сдвинула к переносице свои слегка выгоревшие на солнце брови.

— Да,— ответил Петр.

«Товарищ Шубенков» «разделял» и, шагая сейчас по одной из главных аллей к зданию дирекции, вспоминал пояснения Ирины Сергеевны насчет этого так называемого регулярного парка, с геометричностью планировки, симметрией основных частей и строгой правильностью форм стриженной зелени. Таким был создан этот парк в восемнадцатом веке на манер тогдашних французских регулярных садов.

Ирина Сергеевна сказала еще, что Сосновский парк при всей торжественности своего ансамбля лишен холодной парадности Версаля.

И само это сравнение с Версалем неожиданностью своей поразило Петра. В Версале он был однажды с профсоюзной делегацией. Получалось, что этот маленький московский Версаль, о котором, к стыду нашему, не очень-то осведомлены сами москвичи в массе своей, находился всего-то метрах в двухстах от строительной площадки бригады Шубенкова.

Шагая по центральной аллее, Шубенков видел слева большой пруд, от зеркальной его глади разбегались в разные стороны голубые лучи каналов и протоков. И там, между этими водными дорожками, в густой тени лип и ветел, елей, сосен и кленов, а кое-где и южных бу-

ков и лавров, возвышались старинные постройки флигелей и особняков, каждый в своем стиле и со своим назначением.

Голландский дом. Эрмитаж. Тут сохранились бюсты римских императоров. Итальянский домик. Дорическая галерея. Грот. Бельведер.

Двести лет назад стараниями архитекторов, садовников и многих тысяч крепостных крестьян эта усадьба была превращена в прекрасный, как тогда говорилось «летний, загородный, увеселительный парк».

Ирина Сергеевна рассказывала Петру, что в былые времена в сосновских окрестностях бывало до двадцати пяти тысяч человек одновременно. Здесь проводились шумные торжества. Еще в петровские времена хозяин парка привез сюда пару пушек прямо с поля Полтавской битвы, и многие годы здесь частенько палили из них в дни больших праздников.

Ирина Сергеевна уверяла еще, что Сосновский парк в свое время немногим уступал паркам в Петергофе и Царском Селе. Но в это уже верилось с трудом.

— Ценность этого ансамбля, — сказала ему Ирина Сергеевна, — в том, что строения и их зеленое окружение и пруд и протоки — все удивительно гармонично связано с особенностями среднерусского ландшафта. Вы это чувствуете?

Петр кивнул утвердительно.

— Вы понимаете, Петр, — она называла его именно так, немного торжественно и чуть-чуть отчужденно, — ведь такие парки никогда не превращаются только в памятники старины. Вы видите, они созданы из живого зеленого материала и, постоянно обновляясь, являются принадлежностью всех эпох.

В том, что это было действительно так, сомневаться не приходилось. Сам воскресный парк свидетельствовал об этом. Во всю свою глубину он звенел голосами детей. Повсюду виднелись гуляющие по аллеям. Семьями, компаниями люди располагались на траве; кто загорал на солнце, кто дремал в тени, молодые люди играли в бадминтон, гоняли мячи по траве.

Петр обратил внимание и на обилие буфетов, быть может чрезмерное. Они цепочкой выстроились вокруг большого пруда. Сюда извилистой змейкой тянулись очереди, главным образом любителей пива. Тут же стояли машины с продуктами и дымили переносные жаровни.

Острый запах жарящихся шашлыков разносился далеко вокруг.

Петр вошел в прохладу конторы музея, приоткрыл дверь в кабинет директора. Ирина Сергеевна увидела его и тут же начала складывать на столе бумаги. Поспешность выдавала ее легкое волнение. Петр заметил это с неясной еще радостью, шевельнувшейся в душе.

Из конторы они сначала направились к большому пруду. Однако здесь оказалось шумновато, шел концерт на эстраде, расположенной недалеко от пляжа, пестревшего плавками и купальниками всевозможных цветов и фасонов. Усиленный мегафоном голос конференсье приобретал порою какой-то железный, скрежещущий оттенок.

Ирина Сергеевна предложила свернуть куда-нибудь в сторону, где было потише, поменьше людей. Петр охотно согласился. Вдали от большого озера было еще живописнее. Часть лодок, скользящих по нему, устремлялась в каналы, повсюду виднелись загорелые гребцы. Лодки плыли по извилистому руслу то под открытым небом, то входя в сплошную тень от зеленого купола над водою. Его образовывали сросшиеся кроны деревьев, густо растущих по обеим сторонам протоков.

И очень шумный пляж, и гомон около буфетов, да и эстрада — все это не слишком, видно, нравилось Ирине Сергеевне. Наверно, она представляла себе немного по-иному то самое наслаждение природой, о котором она с таким жаром говорила Петру. Во всяком случае, без горячительных напитков и ревущего джаза на эстраде.

— Да, пожалуй, — согласился Петр, выслушав Ирину Сергеевну, — в былые времена это все выглядело иначе. Я думаю, что и дамы лежали на пляже не в одних только плавках и лифчиках.

Ирина Сергеевна не приняла его иронии, не улыбнулась.

— Извольте шутить, сударь, а вот наши сотрудники после субботних и воскресных дней буквально выгребают из парка горы мусора, бутылок, окурков. А ведь мы любим этот парк и смотрим на него как на произведение искусства. Так же, как и на музей.

Петр однажды посетил Государственный музей бронзы и серебра, как он назывался официально. Сейчас вспомнил, как шлепал по старому паркету в войлочных широченных тапочках, надетых на свои туфли. Разглядывал кубки, кольца, кулоны, старинные и современные. Ис-

кусство чеканки, инкрустации по металлу, ювелирной техники было здесь представлено богато, и нашлось на что посмотреть. Однако Петра, признаться, более интересовала сама усадьба: красивые залы, лепные потолки и карнизы, это уже как строителя, картины на стенах, написанные маслом, в овальных позолоченных рамах — главным образом фамильные портреты.

Осматривая усадьбу, он невольно думал о тех, кто ее строил, создавал парк, но никогда не пользовался ни усадьбой, ни парком да и не смел, наверно, даже думать об этом. А жили в этих комнатах, гуляли по нарядным аллеям другие люди, которым тоже не могло прийти в голову, что их кто-либо мог заставить приложить руки к созданию усадьбы и парка.

Мысли об этом занимали Петра. Он пытался представить себе сейчас картины былого — интересно рассуждать о поколении людей, чья жизнь, как и всякая жизнь, уникальна и не повторится, более никогда.

— А ведь не все тут в одинаковой сохранности у вас, — сказал он Ирине Сергеевне.

Сказал, чтобы вывести ее из состояния какой-то угнетенной задумчивости, а еще и потому, что эта аллея и в самом деле выглядела запущенной, местами поросла травой, и пожелтевшие, в бурых пятнах мраморные скульптуры тоже не мешало бы почистить.

— Руки не доходят до всего, да и денег маловато, — пояснила Ирина Сергеевна.

— Почему же?

Вопрос этот Петр задал с одновременно пришедшим к нему ощущением глуповатой его наивности, можно было бы и самому догадаться, что фонды, отпускаемые на восстановление таких заповедников, невелики.

Почти не поворачивая головы, Ирина Сергеевна бросила косой взгляд на Петра, усмешка угадывалась в глазах, ибо губы едва шевельнулись.

— Кроме административной, у меня есть еще и научная работа, хотя это и не оправдание. Ведем изыскания в архивах, собираем музейные материалы: в общем, делаем книжки. — Она так и сказала — «делаем». Быть может, интуитивно почувствовав удивление Петра, добавила: — Это так говорится — делаем. Вы дома, мы — книги. Всюду работа.

Петр молча согласился. Хотя он-то не стал бы, наверно, сравнивать монтаж домов с созданием книг.

Ничто так не подогревает рассказчика, как очевидный интерес к нему и непринужденное внимание. Ирина Сергеевна оживилась:

— Вы знаете, Петр, об этом парке в свое время писали много Карамзин и Воейков, здесь жили известные русские певицы, существовал многие десятилетия театр крепостных.

— Где же этот театр? — Петр оглянулся по сторонам. — Не там ли, где эстрада, где джаз?

— Да нет. Это здание не сохранилось. Я же вам говорила, — Ирина Сергеевна показала в глубину парка, — вот там было два театра: «воздушный» — то есть летний, и «закрытый» — зимний.

— Да, красиво здесь, — вздохнул полной грудью Петр. — И вот что удивительно: мало, плохо мы знаем свою же Москву. А какое это богатство!

— Приезжайте к нам в парк в будние дни, — пригласила Ирина Сергеевна, и Петр почувствовал, что ей понравились его слова о Москве. — В будни, — продолжала она, — здесь и людей меньше, и тишины больше, и все выглядит поэтичнее. Особенно же красиво — осенью. Пожелтеет парк, повеет первой прохладой, а на дорожках опавшая листва — ну словно ковер! И хрустит под ногами. Приезжайте к нам осенью, даете слово?

— Постараюсь, но я думаю, что и летом еще встретимся. Если, конечно, вам это не противно.

— Нет, не противно, — улыбнулась она. — Как видите, я притворяться не умею. Человек прямых реакций, и лицо — открытое зеркало души. В жизни это, конечно, не всегда удобно. Согласны?

Она снова бросила на Петра взгляд беглый, как бы скользящий, но цепкий, настороженно внимательный.

— Согласен, но не так уж это и страшно, я думаю. Зеркало так зеркало. Пусть смотрят, кому интересно. Мы ведь не дипломаты.

— Ну, вам, как человеку уравновешенному, с железобетонным спокойствием, это, может быть, и ничего. Контролируете слова и поступки. А я, простите меня, женщина. — И Ирина Сергеевна резким движением ладони поправила волосы. — Мои сотрудницы говорят, — продолжала она, — завожусь с пол-оборота. Иной раз и всплакнуешь даже после визита к какому-нибудь сильно ответственному товарищу. Знаете, сколько я мотаюсь по

делам музея, и сейчас особенно, из-за этой охранной зоны! Да нет, куда вам!

— Почему же, представляю, в общих чертах.

— А я в конкретных хождениях по мукам. Вот именно, — вдруг рассердилась Ирина Сергеевна, вспомнив кого-то или что-то, и Петр подумал, что слова насчет того, что она заводится с полоборота, — не пустое замечание.

Они остановились в аллее, где было тихо, прохладно. Солнечные пятна, пробиваясь сквозь густой свод листьев, медленно двигались по песку дорожки, по траве и темному дереву скамейки.

— Присядем, здесь хорошо! — предложила Ирина Сергеевна.

Аккуратно присев на край скамейки, она продолжала говорить о своих хождениях и, перечисляя разные учреждения, один за другим загибала пальцы.

— Управление изобразительных искусств — раз. Общество по охране природы — два. Главный архитектор района — три. Райисполком — четыре. Ваше управление и комбинат — пять, Моссовет — шесть...

— Многовато, — заметил Петр.

— Найдется и седьмое. ГлавАПУ, например, знакомое вам учреждение. И даже восьмое и девятое. И все это серьезные конторы. Боже мой! — вздохнула она. — Ведь всюду надо доказывать, убеждать, спорить. А где вы, Петр, в горячих спорах видели спокойную женщину?

— А спокойного строителя? — спросил Петр.

— И строителя тоже.

Когда Ирина Сергеевна смеялась, глаза ее становились веселыми, озорными, как у девочки, и при этом легкая тень хмурости улетучивалась, как облако, сдунутое ветром с чистого неба. Петр это заметил. У хороших людей лица светлеют от смеха, проясняются. Если же от смеха лицо не хорошеет — недобрый это признак.

Вот в эту минуту неожиданно для себя, и даже не понимая, как это у него вырвалось, Петр вдруг сказал:

— Посоветоваться хочу. По одному трудному для меня вопросу. Можно, а?

— Отчего же. Только давайте повернемся лицом к протоке. Садитесь рядом. Будем смотреть на лодочки, на воду, мне это помогает думать. Текущая вода — это маленькая вечность.

У берега протоки росли березы, ивы. Длинные ветви касались воды, течение их подхватывало, ветви напряга-

лись, вздрагивали, как живые, шевеля листьями, но не могли уплыть в неумолимом и бессильном своем порыве. Пахло мокрой глиной, землей.

— Итак, что же случилось? — спросила Ирина Сергеевна.

— Предлагают оставить бригаду и взять управление. Решить надо завтра. Вот такая ситуация!

Петр взял у Ирины Сергеевны из рук прутик и написал им на песке: «Завтра». Потом поставил знаки: восклицательный и вопросительный.

— Восклицательный, это я понимаю, — откликнулась она. — Эмоциональная вспышка, какое-то душевное напряжение. Но вот знак вопроса ставит под сомнение, чем же окрашена эта вспышка — радость или горе, положительные эмоции или отрицательные?

Петр оставил без внимания эти легкие уколы иронии. Слишком серьезным было для него это дело. Он задумался.

— Эта затянувшаяся пауза, товарищ Шубенков, может быть приравнена к еще одному знаку вопроса. Так что же жалко оставлять: свою бригаду, свою рабочую славу, устоявшийся ход жизни?

— Всего помаленьку, — признался Петр.

— А что страшит: трудная должность, ответственность, масштаб работы, боязнь не справиться?

— Конечно, к бригаде, к своим ребятам я сильно привязан, но ведь никуда я не уйду, остаемся все в том же управлении. Что же касается новой должности, то ясно, что это для меня резкая перемена жизни. Пугает ли?.. — Петр задумался на секунду, при этом глубоко вздохнул, словно это помогало ему мысленным взором заглянуть в глубину души и уяснить — пугает ли его эта новая должность? — Начальство почему-то за меня спокойно, а это укрепляет дух. Начальству виднее, а? Ирина Сергеевна, как считаете? Я мужик волевой, соберусь с силами и смогу, наверно, справиться. Конечно, — продолжал Петр, — можно всю жизнь с любовью делать одно дело, хорошо и с удовольствием. Но с другой стороны, я полагаю, человек должен двигаться по ступенькам жизни, если эти ступеньки открыты для него. Если можешь расти, так шагай вперед! Верно или нет?*

— Значит, желание шагать вперед в наличии. И все же что-то удерживает, мешает. Как же называется это «что-то»?

— А черт его знает! Томит душу, есть какая-то тяжесть. Скажешь себе: «Ну, брат, все в порядке», а все-таки тяжесть не снимается. Значит, залегла глубоко. Я люблю свою работу,— сказал Петр,— но ведь и вперед смотреть надо. После тридцати пяти с панелями возиться трудновато. А с другой стороны, и с бригадирством расставаться жалко. В чем-то тут жена права.

— А что она говорит? — быстро спросила Ирина Сергеевна.

— Что пятилетку я должен доработать бригадиром. Быть на виду, как прежде, чтобы обо мне писали и так далее.

— Ого! Да она у вас честолюбивая женщина. Мужника честь дорогá, это хорошо!

— Ну, не знаю,— пожал плечами Петр.— Не думалось об этом. Да ведь у нее своя работа, свой, как говорится, престиж.

— Не важно. Если любит, то честолюбие жены может выражаться в заботах об успехах мужа. У жен это бывает часто. Чаше, чем у мужей.

— Возможно,— заметил Петр.— Но мне хотелось бы знать ваше мнение.

— Это почему же? — Ирина Сергеевна повернула к Петру лицо. Глаза ее блеснули.

— Да вот хотелось бы,— настойчиво повторил Петр.

— Я не так хорошо знаю вас, как жена. Ее, кажется, зовут Катя? — Ирина Сергеевна слегка покраснела.

По каналу, мимо скамейки, где они сидели, медленно проплыла лодка. Загорелый мужчина лет тридцати с начинающими слегка серебриться висками сидел на веслах, а на другой скамейке, полулежа, подставив лицо солнцу, загорала женщина с прямыми, распущенными ветром волосами.

Петр заметил, что она закрыла глаза,— от разнеженной ли истомы, защищаясь ли от солнца, или же просто дремала, убаюкиваемая мягкими толчками спокойно продвигавшейся по каналу лодки.

«Эти двое в лодке,— подумалось Петру,— чем-то похожи на нас, сидящих на скамейке,— возрастом, а может быть, и характером складывающихся отношений».

— Смотрите, как они кейфуют! — произнесла Ирина Сергеевна.

— Чего делают? — не понял Петр.

— Кейф, есть такое словечко, подхваченное из английского языка. В общем, что-то вроде расслабленного блаженства, полного и безмятежного отдыха.

— Ишь ты,— усмехнулся Петр.— Действительно как будто кейфуют, она-то вроде спит просто. А в общем, и на этот кейф тоже надо иметь время. А мы-то ведь сплошь и рядом вкалываем и по субботам. И на воскресенье тоже набегает много всякого неотложного. Куда уж тут кейфовать!

Он отвечал рассеянно. Ирина Сергеевна не могла не почувствовать, что Петр озабочен своими мыслями.

— И все же,— заметила она,— вот так отключаться ото всех забот и тревог полезно. Всем полезно. Вот мы с вами в уютнейшем уголке парка, вы — рядом с интересной женщиной, а сидите, как на профсоюзном собрании, скованный, напряженный, словно аршин проглотили. Хорошо ли это?

— Нет, не хорошо,— тут же согласился Петр.— Простите, исправлюсь, а если хотите, то и расслаблюсь...

— Ну, ну!.. Не так уж мрачно и обреченно. И вообще... Чего вы, в самом деле, нос повесили? Если хотите знать, все у вас хорошо, все прекрасно. Трудности выбора! Так это же трудности жизненного роста, успехов. Сознание одного этого должно приносить хорошее настроение. А он!..

Ирина Сергеевна внезапно поднялась со скамейки. Петр еще раз увидел — она была легко возбудима. Как и все реактивные люди, она подчинялась быстро нарастающему эмоциональному накалу, ощущая в эти минуты потребность в какой-то физической разрядке: ускоряла ли шаг или же, наоборот, резко останавливалась, и жесты ее становились более размахистыми, сильными.

— Вот у вас продольная черточка между бровями, а это, как уверял академик Павлов, признак человека обязательного, исполнительного и добросовестного.— Ирина Сергеевна осторожно дотронулась рукой до складки на лбу, мягко провела по ней мизинцем.

Складка эта у Петра еще в детстве была усилена небольшим шрамом, полученным от удара об острый угол стола. Но об этом он сейчас не сказал Ирине Сергеевне. В конце концов, академику Павлову виднее. Тем более что Петр Шубенков и в самом деле был человеком исполнительным и добросовестным, а от излишней исполнительности иногда и страдал.

Не торопясь они вновь пошли по аллее вдоль живописного канала.

— Правильно!..— вдруг произнесла Ирина Сергеевна.

— Что правильно? — удивился Петр.

— А все то, о чем вы думаете сейчас, невежливо забыв об обо мне, одиноко вышагивающей рядом. Ну, это я вам сейчас прощаю. Сама я тоже иногда отключаюсь от всего, задумавшись. И притом запомните, в нашем парке хорошим людям приходят в голову только хорошие и правильные мысли. Такова целебная сила общения с искусством, с природой. Думаете, преувеличиваю?

— Нет, я и сам это сейчас чувствую,— усмехнулся Петр.— Спасибо.

— Мне-то не за что. Но не забудьте про это «спасибо», когда вам, как начальнику управления, придется решать вопрос об охранной зоне. Я-то надеюсь в вашем лице видеть нашего друга и защитника.

Ирина Сергеевна снова посмотрела на Петра с тем приметным напряженным вниманием, в котором он уже замечал не раз смешанные доброжелательность к нему и тревогу, словно бы Ирина Сергеевна боялась обмануться в каких-то своих надеждах.

— Я понимаю, понимаю,— сказал Петр.— Все, что от меня будет зависеть...

— Нет, больше, больше, доказать и убедить всех и добиться победы. Ну честное слово, дорогие товарищи,— горячо произнесла она,— не ради же личной корысти, не за себя же прошу, за парк, за безмолвную природу, за прекрасное создание рук человеческих!

— Все понял,— сказал Петр.— Но я еще не начальник управления.

— И я поняла, что надо «закрывать тему», как говорится. Все. Я умолкла.

Она быстро успокаивалась, и Петр подумал, что Ирина Сергеевна, должно быть, еще и отходчива в гневе. Хорошее качество, сберегающее нам жизненные силы.

— В общем, так: бросьте сомнения. Поверьте моему чутью женщины и директора. Начальство ваше право — вы созрели для выдвижения. А раз созрели, то есть опасность и перезреть. Знаете,— Ирина Сергеевна взяла Петра за руку,— я ведь тоже вращаюсь в кое-каких руководящих кругах. Вы подходите для организационной деятельности, будете, как говорится, смотреться на новой

должности. Одним словом, впишетесь в орбиту и окажетесь на законном месте.

— Верно?..— спросил Петр, с улыбкой глядя на Ирину Сергеевну.

— Как в аптеке. И еще хочу сказать — я рада, что вы пришли сегодня и что мы погуляли вместе, и я горжусь вашим доверием...

Петр вернулся домой к вечеру, но раньше, чем Катя. И это его обрадовало. Можно было посидеть одному в своей комнате, с удовольствием вспомнить день, проведенный в Сосновском парке, разговор с Ириной Сергеевной. Петра приятно волновало предчувствие неизбежных крутых перемен в судьбе и растущее тяготение к умной, увлеченной своей работой женщине.

ГЛАВА 3

Серая «Волга» отъехала от шумного перекрестка у станции метро «Краснопресненская». Справа от рулевого управления, на панели переднего щитка, рядом с приборами был смонтирован еще и портативный радиотелефон, настроенный на волну главной диспетчерской комбината и участковых диспетчеров на всех строительных объектах управления.

Едва отъехали от Красной Пресни, как Петр включил телефон и начал вызывать «Обрыв-13» — прорабскую в новом районе.

— Алло, у телефона «Обрыв-13», слушаю! — ответил ему знакомый девичий голос, изредка прерываемый треском и шипящими помехами, как при настройке обычного радиоприемника, от которых еще не свободны эти недавно введенные в производственный обиход строителей аппараты.

— Привет. Скажи Борискину, что еду к нему, — не представляясь, передал распоряжение Петр, уверенный, что где-где, а в его собственной бригаде знают голос Шубенкова. И только после этого спросил: — Как дела, Зиночка? Ты не кемаришь там, пригревшись на солнышке?

— Ну да, заснешь тут. Как же! Я ругаюсь с главной диспетчерской, аж охрипла!

— Это я чувствую, хрип сильный! Я думал, это у тебя от пива, — сказал Петр, представляя себе в эту минуту

курносую физиономию Зиночки, кудряшки на лбу и припухлые, а сейчас еще более надувшиеся губы.

— Смеетесь! Я пива терпеть не могу. С полвосьмого выбиваю раствор, говорят, машина вышла, а ее нет и нет. Петр Михайлович, слышите меня, я говорю — монтажных связей нет для корпуса шестьдесят восьмого и закладных деталей. Рейс должен быть в восемь. Ждем. Выбиваю!

— Выбивай, выбивай, Зиночка, правильно! Не только раствор, мозги кое-кому неплохо бы заодно перелопатить. Ну ладно, еду к вам.

Петр посмотрел на часы. Было без десяти восемь. Подумал, что сегодня он даже раньше обычного выехал на стройки. Все эти первые дни работы в должности начальника, принимая дела и входя в курс своих новых обязанностей, он приходил в управление на час раньше, чем все другие сотрудники, начинавшие рабочий день в девять.

С утра разбирал бумаги, подписывал все неотложное и через полчаса уезжал уже на объекты. В свой кабинет возвращался только к четырем или пяти — проводить намеченные совещания, снова разбирать накопившиеся за день бумаги, принимать людей: тех, кого вызывал, и тех, кто шел к нему сам.

Надо было разобраться в административно-производственной структуре самого управления, присмотреться к кадрам. Руководителей отделов он, конечно, знал раньше, но как бригадир. Теперь же он смотрел на них глазами начальника управления.

Плановый отдел, производственно-технический, отдел подготовки строительства, отдел главного механика. Взаимоотношения с ГАСКом — архитектурно-строительным контролем, который принимает готовые дома. Тут было особенно много сложностей и тонкостей в самом характере налаженных связей. Другие выходы на внешнюю орбиту: Фундаментстрой, автокомбинат, обслуживающий транспортом строительный конвейер. Заводы самого комбината. И Главмосстрой. И проектировщики. И многое, многое другое.

И все же Петр решил с самого начала в кабинетные дела не зарываться, перенести центр тяжести своих усилий на строительные площадки, в потоки и бригады.

— Нечего нам в кабинетах сидеть целый день, бумажки ворошить. Мы строители, наше дело — чистым воздухом дышать, монтажом руководить под открытым

небом,— сказал он Копытко в первый же день, когда Константин Касьянович зашел к нему в кабинет.— Я хочу взять за правило каждый день бывать если не во всех бригадах, то уж в двух обязательно. В общем, там, где горячо. В машинах у нас с вами телефоны, можно оперативно решать вопросы.

— Можно, почему нет, если телефон работает,— бросив искоса взгляд на Шубенкова и кисло улыбнувшись, произнес Копытко.— Руководство, так сказать, на колесах.

Петру показалось, что Копытко хотел еще что-то сказать, но осекся.

Можно было предположить, что назначение Шубенкова начальником управления оказалось для Копытко не только неожиданным, но, наверное в какой-то мере и ошеломляющим. Никто его об этом не поставил в известность. Слухи какие-то до него, возможно, и доходили, однако Копытко никогда об этом не заводил разговора с бригадиром Шубенковым и, как мог предположить Петр, слухам этим не верил.

Однако это случилось, и Копытко, еще недавно непосредственный начальник бригадира Шубенкова, стал его ближайшим помощником — правой рукой. Перемена произошла резкая. Любому человеку надо дать время осмыслить свое новое положение, пережить ситуацию, наверняка его не радующую, и как-то психологически перестроиться.

Петр, понимая это, колкость замечания Копытко оставил без внимания и ответил спокойно, стараясь придать голосу максимум доброжелательности.

— На колесах ли, в кресле ли, всюду нам теперь с вами, Константин Касьянович надо будет проворно шевелить мозгами. Новый дом осваивать, шутка ли! И при этом план не уронить. Оказаться, так сказать, на уровне задач. А насчет машины я вам так скажу: мне, например, во время езды даже лучше думается.

— Это кому как. А мне вот и в кабинете не дают минутку спокойно посидеть. То одно, то другое. Сами знаете. А совещания? На день штуки три-четыре. И все с грифом: «Явка обязательна!» И всюду нужен главный инженер, и непременно он.

— Выбирайте только самые необходимые. Дадим план, остальное спишут нам, простят, если в каком-нибудь кабинете час-другой недосидели.

— Ну, это как сказать! — возразил Копытко. — Если с этого начинать — игнорировать все совещания, то мы с вами далеко зайдем. Даже как-то странно это слышать! Начальству-то тоже нужна аудитория. Как полагаете?

— Ну, конечно, конечно, — кивнул Петр.

— Теперь другое. Если на наши совещания начальники потоков, прорабы, бригадиры тоже не станут ходить аккуратно? Что вы тогда скажете?

— Константин Касьянович, не надо мои слова понимать так буквально, — произнес Петр с легким вздохом. — Вы же знаете не хуже меня, иной раз дергают попусту. Сидишь где-нибудь полдня, представляешь, а душа тоскует — время дорогое горит. Вот я что имел в виду, — вынужден был объяснить Петр. И то, что он не находил у Копытко понимания и поэтому должен был говорить многословно, слегка злило его.

«А главный-то у меня с дубовыми мозгами, — невесело подумал Петр. — Трудно мне будет с ним».

И ему вдруг показалось странным, что эту самую дубоватость он почему-то меньше замечал, когда был бригадиром. Словно бы сама должность главного инженера как-то скрашивала в его глазах, да и не только, наверно, в его, эту слишком сейчас очевидную примитивность Копытко.

...Разговор этот происходил вскоре после того, как Петр принял все же окончательное решение. И, позвонив Ярцеву, сказал, что согласен. Сразу же появился приказ о его назначении. А в десять утра того же дня новый начальник управления сидел в кабинете начальника комбината, тут же находился секретарь парткома Лазарев, и вдвоем они благословляли «нового апостола Петра», как пошутил тогда Аркадий Николаевич.

— Дай Копытко время переварить твоё назначение, — сказал Петру Ярцев. — Кадры советую подбирать постепенно, вдумчиво, разборчиво. Не торопись менять людей. Кого можно сохранить, надо сохранять.

— И пестовать, растить, — добавил Лазарев. — Да, с Копытко будет, наверно, не просто. Обычно люди болезненно реагируют на такие перемены. Иному не то особенно горько, что его должностью обошли, а то, что молодого над ним возвысили, да к тому же такого, к которому он привык относиться как к подчиненному. Честолюбие, есть такая штукавина, существует, и, если хочешь в душу человека залезть, не забывай и об этом.

— Понимаю, товарищи,— кивнул Петр.— Но для меня все же главное — дело. Посмотрим на его работу, это будет решать. Кто сам вкалывает на совесть, тот и потребовать может на полную катушку. Так или нет?

— Твою формулу я принимаю,— сказал с улыбкой Ярцев.— Поскольку я тоже, как ты говоришь, «вкалываю вовсю», то и с тебя буду требовать: план — раз, качество — два, освоение шестнадцатизатжек — три!

— Ой-ой!..— вырвалось у Петра.

— Нормально,— успокоил Ярцев.— Есть, брат, такое жизненное правило: кто тянет, на того и еще грузить можно. Я знал одного большого начальника в нашем строительном деле. Он любил так наставлять начальников комбинатов, управляющих трестами и так далее: мол, если хотите получить максимальное, то требуйте невозможного, а то наши подчиненные всегда найдут разные отговорки, так называемые объективные причины, и не сработают на полную мощность.

— Это, Юрий Матвеевич, формулировочка жестковатая, я бы сказал, волюнтаризмом попахивает,— вмешался Лазарев.— И нам это не подходит, не те теперь времена.

— Я тоже так думаю,— поддержал Петр.— С разумным научным подходом к делу как-то не стыкуется.

— Не нравится,— засмеялся Ярцев.

— Нет,— подтвердил Петр, ибо, будучи бригадиром, и сам не стремился ставить перед рабочими невыполнимых задач, и уж менее всего хотел, чтобы подобную систему требований применили когда-нибудь к нему самому.

— Вы смотрите, заклевали начальника комбината! — Ярцев был настроен благодушно.— Не щадят ни чина, ни сана! Я тоже, товарищи, политически грамотный. Однако кое-где эту формулу еще применяют, и тот мой знакомый, большой начальник, это самое максимальное именно так сплошь и рядом получал. Вот так, братцы!

— К шутам его, твоего начальника,— махнул рукою Лазарев.— Зачем пугаешь Шубенкова? Ему надо начинать работу в хорошем настроении, со спокойной уверенностью в своем будущем, в нашей поддержке.

— Да, очень нужно, именно сейчас.— Петр и сам удивился, как это у него получилось искренне и прочувствованно.

— Чего бы мы стоили, руководители, если бы этого не понимали,— заметил Лазарев.— Но имей в виду, сейчас поможем чем можем. А потом и спросим с тебя, как поло-

жено. Таков порядок. Времени же на раскачку у тебя нет, тут начальник комбината прав.

При этом Лазарев слегка подмигнул Петру: «Мол, не волнуйся, начинай работу, и все будет в порядке». Петр ответил ему открытой улыбкой благодарности.

Новый секретарь парткома давно уже нравился Петру. На комбинате Лазарев работал около года. А до этого в райкоме, еще раньше был строителем, прошел войну. Перевалив на шестой десяток, Лазарев сам попросился на комбинат. Он вернулся к своей основной профессии — строителя, какое-то время работал в производственном отделе, а затем был избран секретарем парткома. Здесь находилось на учете около тысячи коммунистов, и поэтому партийный комитет имел уставные права райкома партии.

Лазарев был человеком живым, не сухарем, не педантом, и уже одним этим притягивал к себе людей. Кто пойдет за житейским советом, для душевной исповеди к человеку, у которого и своя-то душа, как мундир, застегнута на все пуговицы, который мыслит казенно и изрекает прописные истины?..

Петр чувствовал, что Лазарев с интересом наблюдает за ним, за его работой, и тут уж нельзя ошибиться. Как и в том, что интерес этот был настоян на доброжелательности. А это в свою очередь порождало взаимную симпатию.

Ярцев же тем временем, сменив тон на более деловой и сухой, начал перечислять неотложные задачи управления. Особенно он нажимал на то, что перестройка на новую серию домов, как это водится в строительной да и всякой иной практике, не выдает панацеи на снижение темпов и объемов строительства.

— Имей в виду, Шубенков, — сказал он, — никто нам дополнительного времени не даст. И более того, показатели по валу росли и будут расти. Как ты знаешь, ежегодно и неуклонно. На восемь процентов.

— Да, знаю, — ответил тот.

— В общем, давай действуй, мы тебя выдвинули, мы тебя и поддержим, — заключил Ярцев, считая, должно быть, что на этом можно закончить эту первую дружескую «накачку» молодого начальника управления.

Пока Ярцев говорил, Лазарев одобрительно кивал, глаза его лучились улыбкой. Широкоскулое лицо его от улыбки становилось словно бы еще круглее. Покачивание

головы, поблескивающей лысиной в ободке седых волос, — даже это, казалось бы, выражало сочувствие Шубенкову.

Беседа в кабинете начальника комбината, быть может потому, что она была первой после вступления в должность, произвела на Петра сильное впечатление. Разговор этот он вспоминал и дома, и сейчас в машине, скоротав таким образом время поездки и, как ему показалось, быстрее обычного добравшись до места.

«Волгу» он оставил около строящегося корпуса, сказав своему шоферу Валерику, что он может часа полтора покемарить в кабине или же поискать холодного кваса где-нибудь поблизости. Петр любил квас, на стройках мучила жажда, и он даже возил с собою трехлитровый эмалированный бидон.

— Сейчас смотаться или же погодить?

— Ориентируйся, шеф, на свою жажду. Когда сам захочешь, значит, и у начальства горло пересохло. Понял? — И, хлопнув дверцей машины, Петр зашагал по знакомой до мелочей площадке к корпусу, где его бригада сидела уже на шестом этаже.

За возводимым зданием в тени сосенок и кленов, оставшихся от сильно порубленной и оттесненной в сторону рощицы, уже белели длинными прямоугольниками два фундамента. Рядом с ними было расчищено место еще для двух корпусов. Таким образом, бригада могла без остановок, лишь наращивая рельсовый путь для крана, переходить с монтажом от одного корпуса к другому. Это сулило высокую выработку, досрочное выполнение квартального плана и, естественно, хорошие заработки.

Еще будучи бригадиром, Петр всегда радовался такой редко выпадающей возможности мощно потрудиться на одном месте. Однако на этот раз в эту перспективу, ломая все, врезалась история с охранной зоной. Если отступить от парка на двести метров, то не только придется перебазировать поток на другой участок или даже в другой район, но и эти уже сделанные фундаменты вырубать.

Подумав об этом, Петр даже поморщился, словно от зубной боли. При этом он сжал челюсти так, что на скулах выступили крутые желваки. Это получалось у него непроизвольно, когда был взволнован, злился на себя, на других или же просто на трудные ситуации, которые вот так хитроумно и коварно умеет сплестать жизнь и ставить перед строителями.

— А, черт меня дери со всей этой петрушкой! — громко выругался Петр. Он решил пока что отогнать от себя эти мысли, чтобы они не мешали ему сосредоточиться на том главном, что предстояло сейчас решить.

Увидев его сверху, с шестого этажа, шагающим к корпусу, временно исполняющий обязанности бригадира Коля Борискин побежал вниз. От прорабской будки, также увидев Шубенкова, к нему спешили начальник потока Хайтин и старший прораб Дубяга.

Встретились они на лужайке перед домом, где сохранилось еще немного свежей зелени, не замазанной цементным раствором и не придавленной плитами перекрытий.

Все трое были сравнительно молодые ребята, все недавние выдвиженцы из шубенковской бригады. Бетонщик Хайтин закончил техникум заочно. Бывший звеньевой сантехников Дубяга заочно учился в строительном институте.

Петр соврал бы себе, если бы не признал, что к людям своей бывшей, как он сам говорил, единокровной бригады у него особое отношение. Эта привязанность родилась давно и окрепла с годами. Петр гордился выдвиженцами из своей бригады. И это было так же естественно, как естественна инерция совершаемых хороших поступков по отношению к тому или иному человеку. Недаром говорят, что любим тех, кому делаем добро, в той же мере, как не любим тех, кому причиняем зло.

— Ну, здравствуйте, братцы кролики! — приветствовал Петр своих ребят, протягивая каждому руку. — Какова обстановка? Мне Зиночка жаловалась на недовоз раствора, деталей.

— Было, — баском прогудел Дубяга, — но утрясли.

— Пришла машина с раствором и два панелевоза. Еще бы закладушек, и на сегодня монтажный день обеспечен, — сообщил Хайтин и при этом почесал свои рыжеватые и слегка кустившиеся брови.

— Так, Яша, ясненько, а что доложит его превосходительство бригадир, товарищ Борискин?

— У нас порядок, как в танковых войсках! — Коля Борискин поправил сползшую набок пряжку монтажного пояса. — Детали на площадке, монтаж движется. Все идет путем, — добавил он весело. — Мы — шубенковцы!

— Шубенковцы! — повторил Петр и слегка улыбнулся. Словечко это, впервые услышанное из уст Коли Борискина, вызвало сложное чувство. Первой реакцией

была ирония, которая и проскользнула в усмешке. Однако ж Петр, как всякий живой человек, был не лишен честолюбия. Compliment Борискина был ему приятен, хотя и несколько смущал.

Может быть, Борискин это и почувствовал, потому что счел пужным подтвердить:

— А чего? Правильно говорю. Мы свою честь знаем.— И простодушно-лучезарным взглядом уставился на Шубенкова.

Коля Борискин был невелик ростом и как истинный монтажник сухощав и жилист. Парень он был отменный, старательный и добросовестный, и вместе с тем какой-то упорно не мужающий. Глядя на его овальное мальчишеское лицо, можно было подумать, что оно не потеряет своего наивно-открытого выражения до глубокой старости. Всегда широкая улыбка Борискина обнажала его уже обожженные никотином зубы. Свою белую каску он носил набекрень или же сильно надвинув на лоб, так что из-под каски виднелись лишь глаза да островатый аккуратный носик.

Сейчас Петр обратил внимание, что красная рубашка бригадира была широко расстегнута на груди, виднелся даже живот. И хотя было жарко и вокруг никого из посторонних, все же эта вольность покорила Шубенкова, покорила несмотря на то, что Коля Борискин весь словно бы светился неумейной молодой энергией и озорным добродушием.

— Ну что вы, право, все так небрежничаєте в одежде,— произнес Петр недовольно, оглядев мельком Дубягу и Хайтина. Их рабочие спецовки выглядели тоже не лучшим образом и были изрядно замазаны.— Все ходите в каком-то затрапезе. Черт-те что! — выругался он.— Не отличишь, кто бригадир, кто старший прораб! Ох, разболтались вы тут без меня!

Все трое улыбнулись, не сочтя нужным оправдываться. Сердитые упреки Шубенкова, они это безошибочно чувствовали, на самом деле выражали дружескую заботу человека, которого все здесь на потоке любили и к ворчливым его упрекам и накатам давно привыкли.

Только Коля Борискин после долгой паузы, в течение которой он передвигал свою каску с левой стороны головы на правую, так, что край ее коснулся уха, произнес негромко:

— Чего там, мы же на работе.

— Нет, не чего там, а непорядок,— возразил Петр.— Аккуратность, она подтягивает человека и на монтаже. По себе хорошо знаю.

Борискин как-то дернул головой, что могло сойти за знак одобрения, пожал своими острыми плечами, отвечая улыбкой на сердитый тон Шубенкова и как бы всем видом показывая, что он замечание принимает, но продолжает оставаться в хорошем настроении.

— Вчера на партийно-хозяйственный актив на комбинате почему не пришел? Ждали тебя,— спросил Петр, наблюдая за тем, как Борискин застегивает рубаху на животе.

— Кто?

— Ждал-то? Общественность. Массы ждали,— хмуря брови, бросил Петр, почти уверенный, что никакой уважительной причины Борискин не сыщет, кроме того, что на собрания он ходить не любил и трудно было уговорить его выступить хотя бы для того, чтобы рассказать о своих собственных успехах в работе.

— Почему я не был? — словно жуя слова, медленно переспросил Борискин, явно выигрывая время, чтобы обдумать ответ поосновательнее.

— Ну, не ври мне только, не люблю.

— В поликлинику ходил.

— Травма у тебя, что такое?

— Не у меня, у жены.

— Брось! — удивился Петр.

Молоденькая жена Борискина работала медсестрой в поликлинике. Петру, когда он увидел впервые Веру Борискину, показалось забавным, что супруги похожи друг на друга. Так бывает чаще всего не в начале жизненного пути, а в конце, в результате долгой совместной жизни. Вера Борискина была такая же светловолосая, как и Николай, худенькая, очень подвижная и веселая.

— Какая у нее может быть производственная травма? — спросил Петр.— Шприцы, что ли, перепутала? Ну, что натворила твоя голубоглазая?

— Голос потеряла.

— Ага, доругалась с больными. Но ты-то тут при чем?

— Испугалась. Что-то с горлом. Ну, просила с ней подойти к врачу.

— Врать-то ты не научился еще, Борискин, фантазии маловато. Небось в домино стучал во дворе. А тому,

что жена молчит, даже порадовался бы, меньше шума в доме.

— Нет, зачем так, Верочку я люблю,— возразил Борискин.

— Это хорошо. Но почему ты за честь своей бригады постоять не любишь? Не в работе, здесь к тебе претензий нет. А вот на собрании, перед людьми. А еще говоришь: мы — шубенковцы! Ну скажи честно, почему ты такой у меня неактивный!

Коля Борискин покраспел, опять пожал плечами, только уже с легким вздохом, и притушил свою лучезарную улыбку. И Петр пожалел тут же, что спросил так резко и грубовато.

А что, собственно, мог ему ответить Коля Борискин? Что он сам, Шубенков, мог ответить лет этак десять назад, если бы кто-то задал ему подобный вопрос? Общественный темперамент — это ведь не мазь, его в кожу не вотрешь. Человек приобретает вкус к общественным обязанностям не сразу, постепенно, когда поймет, осознает полезность этой работы. А для этого надо, чтобы кто-то ему помог найти в себе общественную жилку.

«Если рассуждать честно,— продолжал думать Петр,— то я и сам здесь в чем-то виноват. А что я сделал, чтобы привить это стремление своему товарищу? Почему не воспитал в нем такого чувства? А вместо этого, по сути дела, приучил всех в бригаде, что всегда и везде, во всех случаях, на всех трибунах бригаду представлял только он — Петр Шубенков. И скромный, неустанный работяга Коля Борискин оказался заслоненным фигурой самого бригадира. Так откуда же ему, Борискину, было набраться этих навыков — толково, свободно выступать, хорошо держаться на трибуне?»

Но Борискину сейчас он сказал другое:

— Не будешь ходить на собрания, многое потеряешь в общественном авторитете.

— Я ж работаю,— пожал плечами Борискин.

— Этого мало. Надо, чтобы бригаду было видно. А это в твоих руках, бригадир. Понял?

— Это я могу понять,— вздохнул Борискин.

— Вот и пойми. Походку надо менять, ты теперь не просто Коля Борискин. Ты наследник всего, чего достигли всем коллективом, продолжатель наших традиций. Отсюда — ответственность и все вытекающие последствия. Усекаешь?

— Да, Петр Михайлович.

— Только надо это прочувствовать глубоко, всем сердцем.

— Понял,— кивнул Борискин.

— Ну, лады, теперь какие у вас ко мне вопросы?

Петр переменял тему. Одним нравучением человеку характер не исправишь, дело тонкое, требует постоянных усилий. К тому же надо было заняться конкретным делом.

— Кран надо будет перебросить, Яша. Подумал куда?

— Думаем,— ответил Хайтин, с улыбкой наблюдавший за Борискиным, когда его песочил начальник управления, а сейчас сразу посуровевший — Шубенков брался за него.

— Долго думаете, тоже мне совет в Филях! А въездную дорогу где будем пробивать для панелевозов, решили?

— Нет еще, Петр Михайлович, хотя прикидка есть.

— Я и отсюда вижу, где лучше. Вон там! — Петр махнул рукою в сторону трех сосенок и кустов, уцелевших от ножей бульдозеров.

— Жалко деревья,— вставил Дубяга.

— Обойдите чуть левее. И прикиньте место для теплотрассы. И давайте разворачивайтесь. Жара, что ли, вас так разморила? Надо жить с загадом вперед. Руководить — это предвидеть. Я для тебя говорю. — Петр повернул голову к Борискину. — Слышь, Николай, это ты — руководитель.

— Я понял, Петр Михайлович! Сегодня после обеда и начнем.

— Неужели нужно вас подгонять? У каждого своя должна срабатывать пружина действия, подталкивать, не давать успокаиваться. Я вот такую пружину в себе постоянно чувствую,— заявил Петр. Потом добавил: — Вот что, ребята, один корпус мы поставим здесь, а дальше будет видно. — Петр предвидел недоумение своих ребят как самую первую реакцию и не ошибся.

— Как это? — вскинул лохматые брови Хайтин. — А остальные? Такой мощный фронт работ открылся.

— Фронт! А куда наступаем? Разуй глаза, Яша! Мы своими бетонными коробками вклиниваемся прямо в Со-сновский парк. Этакую красотищу портим. Ты бывал там хоть раз?

— Когда? — вопросом на вопрос ответил Хайтин. — Во время работы так намаешься, что не до парка. А в воскресенье далеко ехать.

— Далеко ехать! Люди вот в Париж ездят, чтобы Версаль посмотреть, а ему с Таганки долгая дорога!

— То Версаль! — Хайтин ухмыльнулся.

— А здесь чем хуже?

— Ну да! — открыл рот Коля Борискин.

— Публика, скажи-ка, а! Никто не бывал в парке! Что мне вас в культпоход, что ли, собирать? Рядом такая прелесть!

— А сам-то? — поинтересовался Дубяга.

— Раз агитирую, значит, знаю, видел. Вот так! Но вообще-то, тут, ребята, завязался трудный узелок. Будем думать, советоваться. Новый дом надо начинать. Шестнадцатизэтажку. Ты готов к освоению? — опять обратился Петр к Борискину.

— А чего же, доверят — сделаем! Ясное дело! А ты как думаешь, Михалыч? — спросил Борискин, заглядывая в глаза Петру и еще по старой бригадной привычке обращаясь к нему попросту, на «ты», хотя и не без некоторой неуверенности в голосе. И Петр это почувствовал.

— Да вот кому доверить, это тоже вопрос, — помрачнев, ответил Петр.

Он пошел вдоль монтажной площадки немного впереди других, за ним начальник потока, старший прораб и бригадир. И пока они шагали вот так и молчали, Петр думал о том, что и на самом деле не все ему сейчас так ясно, как это кажется Коле Борискину. И неясна ему судьба самого Борискина — оставлять ли его вместо себя бригадиром или же просить человека со стороны, а если оставлять, то потянет ли он, удержит ли славу бригады, сможет ли освоить шестнадцатизэтажку в короткие сроки, ибо долгих никто не даст. Или же привыкший многие годы ходить под рукою Шубенкова, быть вторым лицом в коллективе, так и не сможет стать первым?..

ГЛАВА 4

Дом отдыха строителей «Солнечное» находился километрах в восьмидесяти от столицы, немного в стороне от Волоколамского шоссе, в местах, известных по истории боев в Подмосковье.

Дорога к дому отдыха идет по Волоколамке. Как и все шоссе, ведущие к столице, оно основательно загружено потоками машин. И справа и слева от дороги чередуются городского типа поселки и села, примечательное же здесь в том, что дорога бежит мимо памятных мест минувшей войны. Это постаменты, изображающие то бронзовые фигуры солдат, то гранитную колонну с танком или самоходной пушкой наверху. Иногда же представлял взору необычный памятник в виде белых противотанковых надолбзаграждений — скрещенных железных балок, укрепленных на цементном основании.

Все здесь дышит памятью о грозной силе и мужестве людей, стоявших насмерть, обороняя подступы к столице. И вместе с тем все скромно, просто и, может быть, именно в силу этого и представляется величественным.

Неподалеку от деревушки Солнечной находится сельское кладбище, сильно разросшееся и пополнившееся в сорок первом и сорок втором. По сути дела, оно давно уже перестало быть сельским, приняв более пятисот воинов, погибших на поле боя или же умерших позже в близрасположенных госпиталях. Теперь кладбище как бы перешло в почтенный и высокий ранг братской воинской могилы, и к ласкающему глаз деревенскому пейзажу прибавилось ныне и нечто городское: гудки автомобильных сирен смешиваются с мычанием коров, а привычные лесные запахи, ароматы травы, разогретой земли при дуновении ветра соединяются с едкой летучей горечью выхлопных газов.

Сам дом отдыха состоит из основного каменного строения и нескольких дачек вокруг. Главный корпус отличается современным видом, иными словами, обилием стекла, алюминия и красиво облицованных блоков.

«Солнечное» строили сами ребята и для себя, как говорят в управлении, и в этом многозначительном «для себя» содержится вполне определенный смысл. «Для себя» — значит, и постарались особенно. Может быть, поэтому все строения этого дома отличает легкость архитектурных форм и вместе с тем современный уют интерьеров, застекленных коридоров и террасок.

А за стенами корпуса стоит лес, и в стеклах широких окон отражаются толстенные свечи медно-красных сосен, прозрачная зелень берез, осанистость широколапых, важных елей. Лес близко подступает к усадьбе. Он густой, еще не тронутый порубками и опустошающим вторжением

дачников, прекрасный во всей сохранившейся красе подмосковных мест.

В «Солнечное» выдают путевки однодневные и на месяц. Обычно Петр в отпуск уезжал или на юг, там, в Крыму, комбинат тоже имел свой дом отдыха, или в Прибалтику, однажды провел месяц в польском курортном городке Закопане.

Но по воскресеньям (по субботам бригады обычно работали) Шубенков нередко отправлялся в «Солнечное», где для него сохранялась традиционная комната начальника управления, редко занимаемая кем-либо другим.

В этот выходной Шубенковы поехали сюда с утра: Петр, Катя и Мишка. Подъехали как раз к завтраку. В столовой около своего любимого места рядом с витражом на стене, выходящей в лес, Петр столкнулся со своим бригадиром Владимиром Каринцевым и его женой Надеждой.

— Володька, здорово! — приветствовал он бригадира, еще по старой привычке называя Каринцева на «ты», как в те недавние времена, когда они были на одном положении, два передовых бригадира, всегда упорно соперничающие и много лет соревнующиеся друг с другом.

Однако Каринцев в ответ не «тыкнул», хотя и мог, а произнес после паузы дружелюбно, но сдержанно:

— Здравствуйте, Петр Михайлович! — И тут же показал глазами на свою жену, как бы приглашая всех познакомиться с нею.

— Здравствуйте, Надежда, хорошо, что приехали, — сказал Петр и слегка подтолкнул Катю к жене Каринцева. — Я думал, вы знакомы. Жены — наша опора. Жены — пушки заряжены, как это в старой солдатской песне поется.

— Ладно тебе, остряк-самоучка, — грубовато оборвала его Катя. — Сами порох такой, что не дай бог спичку поднести — все взлетит на воздух!

— Вот это комплимент для мужчин! Приятно слышать, — сказал Каринцев.

Катя, вытянув руку, пожала вяловатую ладонь Надежды. Женщины обменялись беглыми и холодноватыми улыбками.

Петр заметил это, но тут же широким жестом хозяина пригласил всех за стол. Усевшись напротив стеклянной стены так, чтобы через зеленые, оранжевые и красные лоскутки стекла смотреть на лес, отливающий, каза-

лось бы, всеми цветами спектра, он одновременно рассматривал на супругов Каринцевых.

Надежда, он видел ее не впервые, в свои тридцать была похожа на девушку, худенькую, стройную, только вот лицо ее, усталое и малоулыбчивое, выражало постоянную озабоченность, а это, как известно, не красит женщину. Она сидела за столом, не глядя по сторонам, и часто поправляла прямые, соломенного цвета, должно быть все же подкрашенные волосы, захваченные сзади в толстый пучок.

У Каринцевых было двое детей, сама Надежда работала арматурщицей на одном из комбинатовских заводов, дети, дом, хозяйство — все это лежало на ней.

Но Петр подумал, что и его Катя работает, хоть и не на заводе, а в институте. И она тоже сама ведет домашнее хозяйство, однако ж оживлена, держится по-иному, выглядит свежо и привлекательно. И верно, тут дело было не только во внешности или в косметике, которую Надежда не употребляла, а еще и в желании женщины поддерживать форму, следить за собою.

«Нет такой косметики, которая может изменить характер», — подумал Шубенков.

Быть может, нечто похожее пришло в голову и Кате, все же они муж и жена, а супружеская жизнь хочешь не хочешь, а вырабатывает некую синхронность мышления.

И она сказала:

— А я сегодня хорошо выспалась, всласть. Только и можно в субботу это сделать, если рано ляжешь. И вообще, товарищи, я считаю, когда женщина хорошо выспится, она приобретает товарный вид.

— Товарный! Хорошо сказано! Остроумно! — Каринцев произнес это не без удовольствия. Острота Кати ему явно понравилась. В отличие от своей хмуращейся жены, он весь сиял сейчас веселостью, хорошим настроением.

Выше среднего роста, плотный в плечах, он был сложен, можно сказать, как истинный атлет. Под стать торсу была и голова крупной лепки, и лицо, о котором с уверенностью можно было утверждать, что оно приятное, главным образом из-за улыбки — широкой, мягкой, освещающей правильные, четко обозначенные и немного женственные черты.

Всей своей статью Каринцев, казалось бы, излучал не только здоровье, физическое и нравственное, но и добрую силу. Единственное, что немного портило его фигуру,

была полнота. Но Каринцев, когда ему говорили об этом, заявлял уверенно, что лишний жирок он быстро сгонит, только бы ему выбраться к себе в Зауралье, в отпуск, а там уж он проведет целый месяц в охоте и в походах по родным курганским лесам и озерам.

Петр Шубенков знал Каринцева по совместной работе в управлении уже лет десять. Появился он в соседней бригаде, скромный деревенский увалень с восемью классами образования за плечами, застенчивый, но очень старательный и упорный в работе.

Его заметил бригадир, ставший потом начальником управления, Иннокентий Иванович Вашенцев. Сам воспитанник детдома, он принял близко к сердцу сиротское детство Володи Каринцева (отец которого погиб в войну, а вскоре умерла и мать). Сочувствие и внимание идут рядом. Одарив паренька вниманием, Вашенцев начал его учить и выдвигать.

Петр и сам не раз думал, что добрая эта страсть — отыскивать в человеке лучшее, поднимать и самого человека до уровня самого ценного, что в нем есть — это тоже своего рода талант, который дан не каждому руководителю.

Через несколько лет Каринцев сам стал бригадиром, сменив Иннокентия Ивановича, и вскоре приобрел известность в управлении, на комбинате своей хорошей работой.

Все, что делал Володя Каринцев, отличалось добротностью. Это не означало, что он в темпах монтажа отставал от других бригад. Темп-то ведь тоже графиком задавался, зависел от организации снабжения, комплектации деталей. Но при всем том Владимир умел вкладывать в свою работу особое старание, выделявшее его среди других бригадиров.

Петр, завтракая (можно было и помолчать немного), глядел на Каринцева и думал о нем. Вот тогда и пришла ему в голову мысль, что он, наверное, еще лучше бы относился к Володьке Каринцеву, если бы тот работал с ним, в его бывшей бригаде. Ну, как, скажем, этот вечный мальчишка, расхлябанный, простоватый Коля Борискин.

«Какие мы ни сознательные, а все же люди-человеки, — мелькнула мысль. — Свое-то ближе к душе».

Петр знал, что Каринцев недавно вернулся из отпуска.

— Как отдыхал? — спросил он.

— Отлично, как всегда.

— Один?

— А ребятишек куда же деть? В камеру хранения не сдашь! — вопросом на вопрос ответил Каринцев.

— А вот мы с Катей чаще в отпуск ездим вдвоем,— заметил Петр.

— Хорошо, раз так получается. А у нас вот такие обстоятельства, что никак нельзя,— словно бы извиняясь, сказал Каринцев, пожал плечами, как будто ему что-то мешало в лопатках, однако не притушил своей мягкой улыбки, хотя в замечании Петра явно прозвучало не совсем тактичное вмешательство в семейные дела Каринцевых.

— Ну да! Это верно. Хотелось бы еще покейфовать? — поспешил спросить Петр, меняя тему и таким образом как бы косвенно смягчая свое замечание.

— Нет, Петр Михайлович. Пусть уж Черное море без меня плещется. Отдохнуть долго не умею. Беспокойный я человек. Сами знаете. Будем теперь вместе загорать не на юге, а где-нибудь на востоке или юго-западе дорогой нашей столицы.

— Точно, Володечка, точно! Тебе на юго-западе, в Теплом Стане,— сказал Петр, которого успокаивало хорошее настроение Каринцева. А оно заразительно, это хорошее настроение и устойчивое жизнелюбие.

Когда вышли из-за стола, Петр предложил Каринцеву прогуляться. Женщины отправились в свои комнаты, а они в лес, в направлении братского кладбища.

— Ну, как, Петр Михалыч, осваивается управление? — спросил Каринцев, когда они остались одни на дорожке. Она уходила от главного корпуса к гуще соснового бора, ночью здесь прошел дождь, земля была еще влажной. И, просыхая сейчас под лучами горячего солнца, она пахлапряно и остро, щекоча ноздри словно бы легким испарением спирта.

— Трудно, Володька. Весна такая дождливая. Сам знаешь, все размокло, все течет. К корпусам и на бульдозере-то не подъедешь. Все потоки строительные мучаются с такой непогодой.

— Это ясно. А как начальство, сочувствует молодому начальнику управления? Помогает?

Петр хмыкнул.

— Помогают, конечно, тем, что напоминают: Шубенков, давай-давай! На начальство надейся, да сам не плошай.

— Бригадиром легче было?

— Я тебе скажу, Володя, легче. А что ты думаешь? Труд физический, зато ответственность ограничена. От сих и до сих. Дом сдал, и порядок. А тут! — Петр махнул рукой. — Этой организационной, административной работе нет ни начала, ни конца.хлопот раньше меньше было, свободнее себя чувствовал. В командировки чаще ездил с разными делегациями. А сейчас не пускают. Говорят, дай раньше план!

— Вот как?!

— А ты думал!

— Петр Михалыч, чудно получается, — заметил вдруг Каринцев. — Сколько помню, вы всегда были любитель поворчать. А дела у вас шли всегда хорошо, даже отлично. Одно другому не мешало.

Сказано это было мягко, в общем-то, по-дружески, однако и с критической ноткой, прозвучавшей так неожиданно для Петра, что он даже остановился, повернув голову, внимательно посмотрел на своего бригадира.

— Ты в моей шкуре еще не бывал. Работаю я сейчас, Володька, по двенадцать часов, и то времени не хватает. Понял?

— Ничего, это вначале, потом дело закрутится, маховик сам потянет, и станет легче.

— Ты так думаешь? Ну поглядим, парень, поглядим! — раздумчиво произнес Петр.

Они как раз подошли к самому шоссе. Около монумента, видно издали, у самой дороги на асфальтированной площадке стояли два экскурсионных автобуса.

Кто были эти люди, приехавшие к памятным местам подмосковной битвы? Только ли ветераны войны, которых тянет сюда не остывшая еще память о пережитом? Нет, не только они. Правда, здесь было много седых участников боев, но немало и молодежи. И не только москвичи, были и приехавшие из других городов, даже иностранцы.

Петр потянул за руку Каринцева поближе к группе. Он решил послушать экскурсовода, молодую женщину, чей сильный и натренированный голос разносился далеко вокруг. Говорила она живо и с той одухотворенностью, которая не притупилась от многократных повторений.

Рассказ шел о событиях октября — ноября сорок первого года.

...Осадное положение в Москве объявили 19 октября. Огромные силы фашистов рвались к столице. Волоколам-

ское направление стало угрожающим. Ударным бронированным кулаком здесь действовала 4-я танковая армия врага. Сосредоточив танки и пехоту, противник надеялся прорвать нашу оборону, захватить Клин и, выйдя на Ленинградское шоссе, ворваться в Москву с севера.

Экскурсовод рассказывала, что оборону в этой местности держали московские ополченцы, люди в основном глубоко штатские, в боях становившиеся солдатами действующей армии.

Об одной такой ополченской дивизии, а именно 18-й стрелковой, сформированной из жителей Ленинградского района Москвы, экскурсовод и рассказывала. Дивизия вела бои здесь, на Волоколамском направлении, западнее города Истры.

Утром 19 октября фашисты начали наступление в районе села Осташева. Бои продолжались несколько суток. Так, первый батальон 1308-го полка за один только день — 29 октября — отразил несколько атак противника, поддержанных двенадцатью танками.

Слушая женщину, Петр подумал, что в холодных окопах за пулеметами, с винтовками в руках лежали здесь те, кто еще вчера стоял у станка, учил ребят в школе, работал в НИИ или музее. В окопы шли и совсем молодые парни, и люди довольно пожилые, забыв про болезни, недомогания, ведомые только одним святым чувством — желанием спасти Родину.

Два бойца-ополченца, рассказывала между тем экскурсовод, Голубев и Тимофеев встретились лицом к лицу с двумя танками. Силы были явно неравные. Но москвичи не дрогнули: они метнули по вражеским машинам бутылки с горючей жидкостью и одну из них подожгли. Второй танк повернул назад.

Разведчики Жаворонков и Иванов проникли в расположение врага и подожгли сарай с двумя танками. Когда из соседних домов выскочили фашисты, наши воины истребили их гранатами и огнем из винтовок.

16 ноября началось второе наступление гитлеровских войск на Москву. Враг не останавливался ни перед какими жертвами. Но жертвы эти были напрасны. В особенно жестоких боях ноября — декабря батальоны 18-й дивизии выдерживали по восемь танковых атак в сутки. Один только 518-й полк за пять дней отразил в районе села Румянцева семнадцать натисков противника, уничтожил два батальона гитлеровцев, четыре батареи и двенадцать

тавков. В те дни по всему фронту прокатилась слава двадцати восьми героев-панфиловцев, и предсмертные слова политрука Василия Ключкова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади — Москва!» — придавали отваги каждому бойцу, стоявшему на рубеже столицы.

Рассказ шел своим чередом, а Шубенков, да, наверно, не он один — все вокруг тоже, — пытался представить себе эти места в суровом сорок первом: тридцатиградусные морозы и метели, навалившиеся на Подмоскovie в ту зиму, окопы, блиндажи, остервенелые валы вражеской пехоты...

Но мешало солнце, бьющее в зеленую траву, в песок вокруг мемориала, пышное торжество начинающегося лета. Никак все это не сочеталось с пронзительным морозом, сковавшим тела бойцов, дома, укрытые сугробами, и поле, все в черных рваных воронках от бомб и снарядов. Трудно было вообразить сейчас, в мирной тишине, этот адский холод — днем и ночью, холод, такой же бесконечный, как и серо-молочное небо, нависшее над траншеями, холод, от которого никуда не уйти и не спрятаться. И цепи вражеской пехоты, и танки. От них тоже не уйти, не спрятаться — Москва за спиной.

Что Петр помнил об этих днях? Немного. Дети не воспринимают всего трагизма происходящего. Их маленькое сердце не может вместить сознания всенародного бедствия. Многое же просто кажется лишь необычным и потому даже интересным. И при всем при том никогда дети не взрослеют так быстро, как в годы войны.

Война, конечно, осталась в памяти Петра, и не какими-то отдельными эпизодами, а скорее общим ощущением постоянной тревоги, предчувствием опасности, напряжением, передававшимся от взрослых. Он помнил окна, перекрещенные полосами бумаги, мешки с песком у стен на тротуарах, стальные ежи колючей проволоки на мостовых, стальные балки, перегораживающие проезд машинам. Как все дети, он помнил аэростаты воздушного зграждения, конечно не зная, что они именно так называются. Аэростаты проносили по улицам девушки в военной форме, держа за веревки так, словно вели слонов, громадных и непослушных.

Петр помнил, что на какое-то время по городу перестали ходить трамваи, а пушки, стоявшие раньше на крышах, были спущены прямо на мостовые. Позже он узнал, что орудия готовили к тому, чтобы бить врага прямой

наводкой. К счастью, до этого не дошло. Немцы были остановлены в тех самых местах, где стояли сейчас Петр и Каринцев, и чуть ближе к Москве, в районе Крюкова и около Химок, где высятся сейчас памятники: скрещенные балки-надолбы на каменном основании.

И еще помнил Петр, как было холодно и голодно, помнил темные улицы, окутанные мраком сплошного затемнения, и то, что редко видел маму и тосковал по ней.

О тех, кто сидел в эти страшные дни сорок первого в окопах под Москвой, Петр стал думать позже, когда подрос и рано определился на тяжелую физическую работу. Они, эти люди, казались ему необычными и удивительными. Да, он всегда любил читать о войне, хотел понять, что могли противопоставить физическим страданиям те, которым мужество и решимость повелевали вынести все.

«А что такое мужество,— думал Петр,— из какого духовного вещества оно состоит, как образуется в душе состояние готовности к любым испытаниям, к самой смерти? Как укрепляется душа? Объяснил ли кто-либо все это с исчерпывающей полнотой, с совершенной ясностью?!»

И еще Петр подумал о том, сколько лет было Василию Ключкову? Женщина-экскурсовод сказала: двадцать три. Примерно столько же было и отцу Петра Шубенкова, Михаилу Васильевичу, тоже воевавшему в это время под Москвою.

И все, что рассказывала сейчас женщина-экскурсовод о подвиге двадцати восьми панфиловцев, о боях около разъезда Дубосеково, о других сражениях на Волоколамском шоссе,— все это имело прямое и непосредственное отношение к танкисту, тогда на двенадцать лет моложе сегодняшнего Петра, которого тем не менее и поныне в семье называют Шубенковым-старшим.

Едва Петр начал думать об отце, как голос женщины затих, словно бы отодвинулся куда-то вдаль. Облик отца вставал перед его мысленным взором. Облик, знакомый только по фотографиям. Они были похожи общей лепкой лица: высокий лоб, густая темная шевелюра, у Шубенкова-младшего уже чуть поредевшая. Нос у отца и сына крупный, с широкими ноздрями, как бы жадно втягивающими воздух. Слегка выдвинут и резко обозначен подбородок, говорят, что это признак волевого характера.

Петр любил своего отца и любил все сильнее и проникновеннее по мере того, как сам становился старше и роковые годы войны все далее уходили в глубь истории.

На какое-то мгновение Петр даже забыл, что рядом стоит Каринцев. А о чем думал он? Ведь Володька тоже потерял отца на войне. И сейчас Петр чувствовал, что товарищ его размышляет, верно, о том же. Иначе он не вздохнул бы несколько раз так глубоко.

...Когда возвращались назад, о своих строительных делах больше не говорили. И не потому, что забыли о них. Уже около самого «Солнечного» Петр вновь стал погружаться в свои деловые заботы. Он размышлял о том, назначить ли Борискина бригадиром, поручив ему первенца — шестнадцатилетку. Или же поступить по-иному и поручить освоение нового дома бригаде Каринцева? Ну а о чем думал Каринцев, Шубенков не знал. Оба они, крупно шагая по дороге, по большей части молчали или же обменивались незначительными замечаниями.

ГЛАВА 5

К обеду в «Солнечное» приехали Лазарев и Боровский. Петр увидел их в столовой. А когда после обеда, отказавшись от прогулки, он прилег поспать — редкое удовольствие, которое он мог позволить себе только в доме отдыха, — примерно через часок в комнату его кто-то постучал. Дверь открыла Катя. Это был Лазарев.

— Не помешал? — спросил он, входя, хотя было очевидно, что именно помешал Шубенковым поспать еще с полчаса. — А ведь это вредно — спать после пяти, голова будет болеть.

— Пяти еще нет, — пробурчал Петр, одолевая тягучую истому. Он просыпался с трудом, как все здоровые и крепко спящие люди.

— Предлагаю не жиры нагонять, а прогулку к озеру с купанием или на лодочке погрести.

— Опять работенка?

Петр уже спустил ноги с кровати и теперь протирал ладонями глаза.

— Это же удовольствие, — возразил Аркадий Николаевич.

— Теперь всякий труд — удовольствие, к этому идем. А все-таки труд.

Петр посмотрел на Катю, чье сердитое сейчас лицо выражало явную озабоченность вторжением в комнату гостя.

— Не ругайте старика. Пошли. Соединим приятное с полезным. Да и поговорить надо. Набежало кое-что,— заметил Аркадий Николаевич, а Петр стал молча собираться, ибо в приглашении секретаря парткома звучала уже и нотка требования.

Направились к так называемому озеру, на самом же деле это был обширный котлован, вырытый здесь давно для каких-то строительных нужд, а потом заброшенный. Сюда набежала вода из пробегавшей вблизи речки Шустрячки, стоячая вода хорошо прогревалась солнцем и оказывалась, к удовольствию купальщиков, теплее, чем в речке.

Петр и Лазарев, разговаривая, шагали впереди, Катя и жена Боровского — Наталья Ильинична шушукались о каких-то дамских делах метрах в пятнадцати позади.

— Я тебя с недельку не видел, Михалыч, болел, зато дома слышал твой голос по радио,— сказал Лазарев.

— Было такое,— вяло откликнулся Петр.

Действительно, три дня назад он сидел в радиостудии на Пятницкой и, глядя сердито на торчащий перед лицом микрофон, мучился над текстом своего выступления в программе «Дневник соревнования». Рассказывал о бригадах Каринцева и Борискина и о бригадирах как о своих учениках, об их многолетнем соревновании, которое освящала не только борьба за сокращение сроков монтажа, но и обмен своего рода маленькими рабочими открытиями, драгоценными крупичками опыта в поисках максимальной эффективности труда.

Редакторша, с которой он имел дело уже не в первый раз, отделенная от Петра стеклянной стеной аппаратной, строго следила за произношением, за естественностью интонации.

— Забудьте про бумажку, вы разговариваете с людьми как их друг, как собеседник, вы пришли в дом, в гости к каждому из ваших слушателей,— говорила она ему через динамик.

— Я не актер,— сердился Петр.

— Никого это не касается,— настаивала редакторша.— Вас слушают миллионы, и этим все сказано.

Редкую фразу Петру удавалось произнести без поправок. Он нервничал и потел, в студии было душно. И от этого злился еще больше. Но когда все благополучно закончилось и Петру дали прослушать свое выступление уже с магнитной ленты, оно ему понравилось. Он слушал

себя с удовольствием. Сейчас он рассказывал об этом Лазареву.

— Так и надо. Там из тебя сделают Андроникова. А ты что же хочешь — без творческих мук? Так, брат, не бывает. А вообще, подумай-ка, интересно живем, — улыбнулся Лазарев. — Если не видим своих рабочих на комбинате, я имею в виду нашу контору, то слышим их по радио или же имеем удовольствие смотреть по телевизору. И учти, вместе со всей страной. Двадцатый век! Кстати, ты не сообщил радиослушателям, кто у тебя будет монтировать первую шестнадцатизатяжку.

— А я еще и сам не решил, — признался Петр.

— Долго решаешь. Не тяни. Думать много, Петя, это еще не значит думать долго, — заметил Аркадий Николаевич.

— Это так. Но вопрос трудный. Вот что бы вы мне посоветовали? — спросил Петр.

— Хочешь подкрепиться мнением парткома?

— Ваш совет хочу услышать.

— Ну что ж, на том спасибо, — сказал Лазарев. — Я расцениваю это как акт твоего ко мне доверия и ценю его. Так вот, — продолжал он, — я бы поручил это дело Каринцеву.

Петр слушал своего собеседника до этой минуты не очень внимательно. Все же выходной день, и можно расслабиться. Теперь же он круто повернул голову к Лазареву.

— Каринцев? Почему именно он? Борискин работает не хуже.

— Понимаешь, Каринцев как личность масштабнее. И если хочешь знать, то и перспективнее, крупнее. Это заметно и невооруженным глазом. И притом Каринцев — твой, как это говорится, «заклятый друг»! Старый, испытанный соперник в работе. То ты его обходил в соревновании, то он тебя. Так ведь?

Петр, соглашаясь, кивнул.

— Так вот. За таким соперником надо, брат, ухаживать. Выдвигать его.

— Шутите? — Петр нахмурил брови.

— Немножко. А в общем-то и всерьез. Послушайка! — Лазарев тронул Петра за руку. — Я давно хотел тебя спросить. Вот ты новый начальник управления. Какой же принцип решил положить в основу своей деятельности?

— Ну и вопросец! А полегче нельзя ли? — Петр чувствовал смущение: попробуй-ка ответить сразу. — Вопрос философский, — заметил он.

— Да нет, житейский, — возразил Лазарев. — Давай, давай, шевели мозгами, вопрос по должности, а она у тебя — серьезная.

— Как бы вы сами сформулировали? — Петр спросил с живым интересом.

— Я бы сказал так: надо стараться соединить деловитость, принципиальность с интеллигентностью руководства.

— Да, интерес-но! — протянул Петр. — Есть над чем подумать.

— Безусловно. Интеллигентность, между прочим, подразумевает, Петр Михайлович, умение подниматься над мелкими уколами самолюбия и в отношениях с людьми проявлять великодушие.

Они как раз подошли к озеру, и интересный разговор прервался, потому что Катя взвизгнула, тронув голой пяткой воду, она ей показалась холодноватой. Женщины посоветались и решили не купаться. Они прошли дальше к реке, чтобы на лодочной станции подождать мужчин.

— Ну а мы-то, конечно, не отступим, окунемся разок-другой, — предложил Лазарев и тут же начал быстро, солдатски раздеваться.

Петр обратил внимание на эту живость движений, на крепкий, мускулистый торс Лазарева, с легким налетом жирка, но не тронутый еще той дряблостью и анемичностью кожи, которые обычно выдают пожилой возраст мужчины.

Даже на шее, на руках кожа у Лазарева была чистой, гладкой, без глубокой сетки морщин, вот только неприятно поражали раздутые синеватые вены ног, видимо больных.

Поймав этот мимолетный взгляд Петра, Аркадий Николаевич мягко провел ладонью по венам, словно погладил их, успокаивая ток крови, и сказал, поясняя:

— Износил сосудики-то ваш Аркадий Николаевич. Это, Петя, наследие войны. Много ходить уже не могу. А как любил пешком прогуляться по Москве! Какое это, брат, удовольствие! Ты себе не представляешь!

— Отчего же. Представляю. Я и сам люблю, да времени нет, — признался Петр.

Они одновременно вошли в воду и поплыли, каждый тем стилем, который более подходил к возрасту. Петр — бурным кролем и в таком темпе, который может выдержать только молодое и тренированное сердце. Он держал лицо в воде и выносил его на поверхность лишь для того, чтобы из-под правой руки шумно втянуть в себя воздух. Лазарев же плыл рядом спокойным брассом, широко разводя руками под водой. Гребок у него получался сильный, мощный, ноги же работали слабее, медленнее и словно бы через такт. Но удивительно было другое: в скорости Лазарев ненамного отставал от Петра.

— Силен, Аркадий Николаевич! — крикнул ему Петр. — Плаваешь как бог!

— Я старый моряк, — улыбнулся Лазарев.

Они тогда уже вылезли из воды и валялись на теплом песке. Лазарев все же сбил дыхание в воде и сейчас шумно отдувался: — Сердечко, конечно, уже не то. И не может стучать по законам молодости.

— Ну нет, еще ничего, дай бог каждому! — сказал Петр, чувствуя, что этот подбадривающий комплимент получился у него не очень естественным.

— Я, Петя, на флот ушел мальчишкой. По призыву комсомола. Там, на флоте, и в партию вступил в тридцать втором. В Отечественную тоже воевал на суше и на воде, — рассказывал Лазарев. — Где-то ближе к концу войны меня из сухопутных частей как бывшего моряка взяли на политработу во флотилию бронекатеров. А они, катера наши, аж на Шпрее выскочили. И там били фашистов.

— Да, довелось вам... И досталось, наверно!

В голосе Петра звучала та уважительная интонация, которую он и не хотел скрывать. Как и многие мужчины, не успевшие покорить по возрасту, он питал к фронтовикам чувство устойчивого интереса и даже некоторой доли доброй зависти. Не так уж велика была дистанция, отделявшая его от фронтового поколения. Однако ж эти годы Петру казались целой эпохой. Человек с такой жизненной и военной биографией, как Лазарев, и вовсе казался Петру чуть ли не в мафусаиловом возрасте.

— Что ты смотришь на меня как на дезертира с того света! — словно бы почувствовав ход мыслей Петра, усмехнулся Лазарев. — Зря. Я еще мужик невыношенный, могу жить и работать полнокровно.

— Да нет, что вы! — смутился Петр. — Это вам показалось.

Они подошли к пристани, взяли лодку. Петр и Лазарев, пригласив женщин, сами сели на весла. И пошли сначала вверх по реке, держась ближе правого берега, который был намного выше левого, круто забирал вверх. Увенчанный мохнатой шапкой соснового бора, берег здесь добавлял в росте еще метров пятнадцать. И казалось, что этот желто-зеленый от травы и песка лобастый откос и впрямь залезал в самое небо.

С откоса да и с поверхности воды открывался вид на заречные луга, озерки, лесок и кустарники, затянутые легкой, маревой дымкой. Нагретый воздух дрожал, и деревья у берегов, строгие сосны и березки, лохматые ели, отражались в спокойной воде, как в зеркале.

Петр, гребя и все время поглядывая на эти дали, думал о том, что есть свое неизъяснимое очарование в этих пейзажах среднерусской полосы России, грустновато-задумчивых, нежных и трогательных, не блещущих яркими красками, но тем не менее прекрасных в своем раздолье, в ощущении бескрайнего простора, тишины, спокойствия.

Должно быть, под влиянием этой красоты все в лодке сначала затихли и только любовались далями. Мужчины усердно гребли, и, влекомая ударами весел, лодка ритмично, толчками двигалась вперед.

Петр, разогревшись на веслах, весь отдался тому особому чувству физической радости, которую приносит энергичная мускульная работа и сознание невянущей силы. Он дышал полной грудью на свежем речном ветру, греб в свое удовольствие, одним словом — активно отдыхал, а не в этой ли гармонии ощущений и состоит полнота наслаждения отдыхом в обществе интересных и приятных людей?..

Когда они причалили, Петр увидел на берегу Павла Ильича Боровского. Он поджидал их на пристани. Сидел на лавочке, скрестив ноги, и улыбался им.

— Боже, жена пропала! Обыскался. Нигде нет. А потом мне говорят, ее какие-то молодцы утащили на лодке кататься. Надежда! — вскричал он шутя. — Ты без меня с мужчинами, как понимать твоё поведение?

Боровский, протянув руку, помог Кате выбраться из лодки.

— По-моему, это нормально — с мужчинами. С кем же еще? — ответила Надежда Ильинична.

Боровский опешил, приподняв брови, или же сделал вид, что удивлен ответом жены.

— Вот ты как формулируешь! Знаете, товарищи, был однажды такой конкурс, не важно по какому поводу,— продолжал он.— Так вот, учредили две премии: первая — поездка в Париж, вторая — поездка в Париж с женой.

— Ну вот видишь,— перебила его Надежда Ильинична,— значит, я каталась с нашими друзьями как раз по первой премии.

— Так это ж не Париж!

— Да, до него три тысячи километров. Как сказал один наш знакомый, «боже, какая глушь!».

Надежда Ильинична первой и рассмеялась. Ее живой темперамент не позволял ей дожидаться реакции собеседников, тем более что неизвестно, будут ли они еще смеяться?

Боровский был среднего роста, плотный, осанистый, в общем — представительный. Лоб, высокий, хорошей лепки, и полноватые щеки, придававшие лицу молодящую мягкую округлость. Только вот в глубине темных зрачков Боровского таился устойчивый осадок какой-то грусти, который с трудом смывала даже улыбка. И Петр подумал, что не морщины, не седина на висках, а именно глаза точнее всего говорили о возрасте Боровского, уже перешедшего полувековой рубеж, много повидавшего и много пережившего.

От пристани всей компанией отправились к дому отдыха. Уже сгущались сумерки, наступал вечер.

По воскресным вечерам в «Солнечном» показывали кинофильмы.

Сегодня шел какой-то американский вестерн, как выразилась Катя, обожавшая кино, детективы особенно. Что же касается ковбойских, приключенческих фильмов, то они ее мало занимали.

— Да все они на одну колодку — эти вестерны,— заметила Катя.

— Значит, сегодня не пойдешь? — спросил Петр.

— Ты знаешь,— она поколебалась,— все-таки схожу. Что делать в комнате? А вдруг стоящая лента?

Петр засмеялся.

— Обругала, а в кино все же поплетешься. Ну и логика. Чисто женская.

— А вдруг! — повторила Катя.

Это самое «вдруг» всегда заставляло Катю, усталую после работы, в жару ли, в мороз тащиться куда-нибудь в Зарядье, в Лужники, в Чертаново или же в палящую

июльскую киностраду международных фестивалей, обливаясь потом, страдать в душных залах в стойкой надежде на это самое интересное кино.

Петр этого не понимал.

— Ты просто киноманка какая-то! — не раз вырывалось у него. — Неужели не жалко времени?

— Люблю кино, — отвечала Катя. — Люблю зрелища, я женщина, и этим я права, как сказал Шекспир.

Где и когда изрек это Шекспир в отношении женщин, Катя не могла точно припомнить, однако это ее не смущало.

— Не понимаю этой твоей страсти, — сказал ей сейчас Петр, когда они вошли в свою комнату.

— Ты многого во мне не понимаешь, — огрызнулась Катя. — Страсти! Страстями надо уметь жить, а не только этим самым «перевыполнением по валу». Памятника тебе не поставят, работяга.

— А вдруг! — вспомнив Катину словечко, сказал Петр.

— Брось, не смейся! — Она махнула рукой. — Ты, конечно, сейчас завалишься спать, но имей в виду, после кино разбуду. Надо поговорить. Вот здесь накопилось много — жжет! — Катя маленьким, круто сжатым кулачком стукнула себя по груди.

Когда Катя вернулась в комнату, Петр, успевший подремать часок, проснулся и читал «Блокаду» Чаковского, большой роман об обороне Ленинграда. Вот уже месяц, как он возил с собой книгу в портфеле и вынимал в свободные минуты или же читал вот здесь, в однодневном доме отдыха.

Книги о войне всегда привлекали его. Интересовала прежде всего сама история. Огромные события, которые коснулись живым и горячим дыханием его сознания еще в юности и на всю жизнь зажгли в нем интерес к этой героической эпохе.

Петр знал по работе на комбинате и в управлении многих участников войны. У иных были награды, особенно чтимые Петром, ордена солдатской «Славы». Люди эти в обыденной жизни представлялись ему самыми обыкновенными, со своими слабостями, недостатками, со страхами подступавших болезней, с мнительностью, иногда суевением.

«Как же они воевали? — спрашивал он себя. — Откуда у них, таких обыкновенных, брались богатырские нрав-

ственные силы?» Книги Симонова, Бопдарева, Бакланова, Василя Быкова о войне убедительно говорили об этом. И все же после них всегда оставались какие-то вопросы, на которые не мог ответить ни автор, ни события, ни странное порою поведение и поступки самих людей на войне.

И еще, читая такие книги, Петр часто думал об отце, воевавшем под Москвой, на Западном направлении, потом в Восточной Пруссии. Он старался представить отца во фронтовых условиях, поняв его, понять и многое в себе. Где-то он вычитал две строчки, поразившие его: «Не думайте, что мертвые не слышат, что о них живые говорят!»

«Мертвые, конечно, не слышат,— подумал Петр,— но живые не должны знать об этом».

Вошла Катя и удивилась, что Петр не спит.

— Я думала, что ты уже третий сон досматриваешь,— сказала она.

— Тебя ждал.

— Смотри, какой внимательный. Уж не заболел ли?

Петр, не ответив, спросил, как картина. По лицу жены он видел, что она не в восторге.

— Я даже заснула там разок, тихонько, а проснувшись, стала думать о тебе. Не послушался меня, а сейчас в глубине души жалеешь, что взял управление. Знаю — жалеешь, но не признаешься из упрямства.

Катя села на диван рядом с Петром, касаясь его плечом, она любила вести серьезные разговоры с близкой дистанции, как сама говорила.

— Нет, не жалею,— ответил Петр после паузы,— но мне трудно. Много нерешенных проблем.

— А ты их сам подваливаешь. История с Сосновским парком, например.

Петр удивился. О Сосновском парке он не заговаривал с женой.

— Откуда такая информированность?

— У тебя есть друзья и враги. Но ты их плохо различаешь. И лезешь на рожон. Бойся первого порыва — он всегда благороден. Это какой-то неглупый человек сказал. Ну, согласишься ты отодвинуть дома на двести метров. Потеряешь темп, не выполнишь квартальный план. Кто оценит твое благородство? А за план спросят! Да еще как!

Петр закрыл книгу и внимательно посмотрел в лицо жены. Она сидела рядом слегка раскрасневшаяся, повернуто, в кинозале было душно или сейчас так разволновалась, напряженная, сердитая.

То, что она сейчас сказала, в чем-то было и правильно — за план, конечно, спросят. Но Петра неприятно задела обнаженная расчетливость ее совета. Катя имела в виду лишь выгоду для мужа, как она ее понимала.

— План не самоцель, Катя. Душа всякого плана — это все-таки забота о людях, я так понимаю. — Петр старался выдержать тон спокойного и уважительного разговора.

— Красивые слова! А за слова и тем более поступки надо платить, товарищ Шубенков. За все в этой жизни надо платить.

Катя рывком встала с дивана, налила себе в стакан боржома.

— Теперь насчет шестнадцатэтажек. Кому собираешься поручить первый дом? — спросила она.

— Ну, даешь! — искренне удивился Петр. — Ты что, у меня главным инженером работаешь?

— Я главный твой друг, запомни! Тебе очень повезло в жизни один раз.

— Когда тебя встретил.

— Вот именно. Пока я с тобою — все будет хорошо. Я твой маскотта. Счастливый талисман.

— Это что за словечко, французское, что ли? — спросил Петр.

— Не помню, может и испанское. Но я его давно знаю. А сказать тебе хочу вот что: ты разговаривал с Каринцевым, гуляли, к кладбищу ходили.

— Ну и что?

— Каринцев хочет делать первую шестнадцатэтажку?

— Не говорили мы об этом.

Петр выжидательно посмотрел на Катю, которая снова опустилась на диван рядом с ним.

— А ты-то вообще откуда знаешь о шестнадцатэтажках?

— Жена его сказала, сидела рядом в кино. Если так поступишь, это будет очередная твоя ошибка, я сейчас объясню почему, — живо продолжала Катя. — Каринцев тебе завидует. Давно, постоянно, я это кожей чувствую. А зависть — это кислота, разъедающая любую дружбу.

Есть поговорка: «Оказанная услуга — уже не услуга». Ты станешь его выдвигать, но он это быстро забудет. А завистливое сердце — это постоянная величина в любом уравнении человеческих отношений. Как говорят математики, константа.

— Но может, ты преувеличиваешь, я что-то такого не замечал за ним,— произнес Петр с той малой толикой неуверенности, какая всегда возникает при таком вопросе — завидует тебе человек или нет? Но этой толики было достаточно, чтобы Катя зацепилась за нее.

— Не очень-то уверен, не очень. Ну зачем тебе выдвигать такую фигуру, как Каринцев? Он и твое место с удовольствием бы занял, и не очень-то почтителен. Другое дело, Коля Борискин, твой воспитанник, тихий малый, старательный, настоящий безотказный работяга, каким и ты был. Он предан тебе и будет искренне благодарен.

— Все сказала? — спросил Петр.

— Ну, почти все пока,— неуверенно произнесла Катя, ибо еще не могла понять, как Петр отнесся к ее словам. Но теперь уже с дивана поднялся он, разговор брал его за живое.

— Ты пойми, мы не можем на такой личной основе выстраивать наши деловые отношения. Так далеко можно зайти. Должна быть объективность. Чего человек стоит в деловом отношении. А ты — завидует, не завидует, предан. Беспринципность это.

— А какой твой принцип, Шубенков?

Катя почти выкрикнула этот вопрос. Петр видел, что она очень разозлилась, а когда волна такого раздражения накатывала на нее, Катя обращалась к мужу по фамилии — сухо, отчужденно, как на суде. Это иногда смешило Петра.

— Ну, Шубенков! — повторила Катя, и это звучало как вызов.

Петр вспомнил прогулку по реке и разговор с Лазаревым и, пожалуй, неожиданно для себя четко повторил формулу секретаря парткома:

— Мой принцип — соединять принципиальность с интеллигентностью руководства.

— Вот как! — произнесла Катя после явно затянувшейся паузы.

Должно быть, она не могла найти сразу, что же ответить Петру. Повторив по инерции возбуждения еще раз:

«Вот как!», она как бы подтвердила это. И еще Петр заметил взгляд Кати, скользнувший по его лицу. Жесткий, все еще сердитый, но с тем оттенком удивления и, быть может, даже некоторой растерянности, которые она не могла сейчас скрыть. Во взгляде этом Петр прочел многое, и в том числе, должно быть, не радующее Катю наблюдение: Петр все меньше слушает ее советы.

— Давай спать,— примирительно заключил Петр.— Всех вопросов мы не решим, да и вредно вести такие принципиальные споры на ночь. Это как кофе поздно пить. Не уснем.

— Ты-то через пять минут будешь спать как сурок,— буркнула Катя.

Они легли, но когда Петр попытался приласкать жену, она резко отдернула плечо.

— Отстань. Нагрубил и хочешь грубость теперь соединить с лаской. Не выйдет! — Она повернулась к Петру спиной.

— Ну, мать! Это уж совсем глупо! — вздохнул Петр и, почувствовав себя обиженным, сам уткнулся лицом в подушку.

...Утром, усаживаясь в машину, Петр увидел Каринцева. Тот с женой уже сидел в микроавтобусе-рафике, который по понедельникам комбинат присылал в «Солнечное» за отдыхающими.

— Володя, можно тебя на минутку? — крикнул Петр, подходя к автобусу.

Каринцев мгновенно выскочил из машины. Столько в нем чувствовалось утренней бодрости, энергии, живости, что Петр подумал: вот неподдельное выражение физической радости существования. И сердце его легонько укололо жало произвольной зависти. Он-то, Петр, не чувствовал себя таким свежим с утра, плохо спал и, поссорившись с вечера с женой, проснулся с тяжелой головой.

— Вот что, Каринцев, я тебе скажу,— начал Петр.— В человеке решение должно созреть, как плод на дереве.

— Не понимаю, о чем вы? — пожал плечами Каринцев.

Но вслед за этим почему-то усмехнулся.

— Вот влезешь со временем в мою шкуру начальника управления, и охоты усмехаться у тебя поубавится,— в сердцах заметил Петр.

— Просто не понимаю, вот и все,— посерьезнел Каринцев.— Зря обижаешься, Петр Михайлович.

— Сейчас поймешь,— сказал Петр.— Вот что, надо тебе, друг ситный, готовиться монтировать первую шестнадцатизэтажку. Твоей бригаде поручим. Это решение я принял окончательно и буду его отстаивать на комбинате. Так что можешь считать вопрос решенным.— И Петр, не дав несколько ошеломленному Каринцеву что-либо ответить, круто повернулся и быстро зашагал к своей машине.

ГЛАВА 6

В середине следующей недели, как обычно побывав с утра на строительных площадках, Петр уже после обеда заехал на комбинат. Проблема охранной зоны по-прежнему мучила его. Бригада Борискина подошла со своими корпусами вплотную к той двухсотметровой полосе, за которую боролась дирекция Сосновского парка. Надо было что-то решать, а решение еще не было принято ни на комбинате, ни у районного архитектора, ни в ГлавАПУ.

Борискин, обычно тихий и покладистый, тоже начал шуметь. Утверждение его в бригадирской должности, Петр провел это назначение, добавило ему активности в действиях и металла в голосе.

Что, в самом деле, предпринимать, к чему готовиться — к продолжению ли работ здесь, на площадке в восточном районе, или к перебазировке в другой район всего строительного потока? Подобными вопросами занимался на комбинате отдел подготовки производства. Вот туда Петр и зашел вначале.

Начальник отдела оказался в отпуске, сотрудники же не могли сообщить Шубенкову ничего определенного. Волей-неволей Петру пришлось направиться в кабинет Ярцева.

Ярцев принял сразу, без проволочек, быстро выпроводив из кабинета людей из планового отдела. Просматривалось ли за этим особое уважение к Шубенкову лично или же к престижу его новой должности, определить было трудно. Служебную субординацию во всех ее тонкостях Петр еще не освоил окончательно. К начальнику комбината, например, он проходил, только предварительно доложив секретарше.

Упруго поднявшись за столом, Ярцев встретил Петра на середине ковровой дорожки, бегущей от его стола к двойным, обитым кожей дверям.

— Приветствую! — Ярцев с размаха, дружески хлопнул своей большой ладонью по твердой от мозолей ладони Шубенкова. — Рад видеть. Как настроение, работа, как супруга? Гордится вами? Заслужил! Знаешь, — внезапно переходя на «ты», продолжал Ярцев, слегка понизив голос и уже заранее улыбнувшись какой-то своей еще не высказанной мысли, — был у меня приятель, получивший назначение министром в одной союзной республике. Где, какое — не столь важно. Так вот. Вышел указ. А вечером, когда стали ложиться спать, жена-то и говорит ему: «А ты чувствуешь сейчас, что лежишь рядом с женой министра?» — Ярцев сам сдержанно хохотнул. Анекдот был, должно быть, обкатанным и уже не очень-то веселил.

— Моя жена уехала в командировку от своего института, — зачем-то сообщил Петр. Этой суховатой информацией он как бы отвечал Ярцеву на всю сумму его вопросов. Хотел он или не хотел, а так получилось, что раскованного, с претензией на искренность тона, предложенного Ярцевым, он, Петр, вроде бы не принимал и сейчас к душевному разговору не был расположен.

Ярцев это понял, вернулся к столу, показал рукою на кресло рядом.

— Слушаю, — произнес он тоже суховато. — Догадываюсь, что речь пойдет о Сосновском парке.

— Да, Юрий Матвеевич, — кратко подтвердил Петр. Еще когда шел к кабинету Ярцева, Петр думал о том, что знакомство семьи Шубенковых с Юрием Матвеевичем было давнишним. Имя Ярцева Петр слышал еще от мамы. Юрий Матвеевич где-то воевал вместе с отцом. Раз или два, когда Петр еще бегал в школу, Ярцев заходил к ним домой. Мама тогда жадно расспрашивала его о погибшем муже, всегда при этом очень волнуясь и переживая. Годы не могли утишить ее душевной боли.

Потом Ярцев перестал ходить к ним, а Петр, уже став молодым монтажником, неожиданно встретился с Юрием Матвеевичем, узнав в начальнике комбината старого знакомого.

Служебная дистанция между ними была велика, прямые деловые отношения возникали редко, к сближению иному ни тот, ни другой не стремился. К тому же люди

старше на двадцать лет всем молодым уже кажутся стариками.

Ярцев вначале держался суховато-покровительственно, а когда Петр стал знаменитым бригадиром, то и немного отчужденно, так, словно бы хотел показать, что популярности молодого Шубенкова он не завидует, но и особенно способствовать этой популярности не собирается.

Иногда он говорил при встрече: «А я, дружок, знал твоего отца, вместе войну пахали, мировой был мужик!» Однако в подробности фронтовой дружбы с отцом не углублялся и к расспросам Петра тоже не поощрял.

И все же, все же! Всякий раз, когда Петр виделся с Ярцевым, что-то трогало его сердце, натягивалась какая-то струнка памяти, и струнка эта тянулась к дорогому для Петра образу отца.

— Ну, так как с Сосновским парком? — прервав затянувшуюся паузу, спросил Ярцев.

— Ведем монтаж, Юрий Матвеевич, подошли к черте охранной зоны.

— Эта зона только в вашем воображении! И этих, как их, музейщиков!

— Почему в воображении?.. Это деревья, природа, — не согласился Петр, отмечая про себя грубовато-раздраженный тон Ярцева. И та «струнка памяти», которая звучала в его сердце, сейчас притихла и ослабла.

— Возмущенного письма к нам на комбинат вы так и не написали. Хотя мы вроде бы договаривались с вами, когда вы еще были бригадиром, — продолжал Ярцев. — Вопрос повис в воздухе. Вы что же, сам себе враг? Мягкотелость, нерешительность не помощники руководителю, поверьте моему опыту и сединам.

— Не простое это дело. Я в парке был, ребята из бригады тоже. Прекрасное место. Не испортить бы нам эту прелесть!

Петр старался говорить мягко, спокойно, видит бог, для него самого это была трудная проблема.

— Значит, были в парке. И с директрисой познакомился? — спросил Ярцев. — И я имел честь. Сюда прибегала.

Ярцев отодвинул от себя бумаги, откинувшись на спинку глубокого кресла. И жесткость его взгляда, одобренного иронией, не понравилась Петру.

— Да, познакомился, а что?

— А то, что заметно влияние этой энергичной дамы. А слова-то нахватал от нее. «Прекрасное место», «преlestь»! — повторил Ярцев. — Ты что, у нас теперь искусствовед по совместительству?

Петр слегка сжал зубы, получалось это у него непроизвольно всякий раз, когда он начинал волноваться.

— Я не искусствовед, Юрий Матвеевич, я свой город люблю. И как строитель, и как москвич. И вы ведь тоже любите...

— Брось! — грубо прервал его Ярцев, — брось, мы не на митинге! Это все лирика и не наша епархия — парки, искусство. Куда ты лезешь? С нас спрашивают за другое: кубики, план. А как спрашивают, надеюсь, объяснять не надо.

Петр помолчал. Уже второй раз Ярцев давил на него, стараясь столкнуть с бригадой на плане, на денежном интересе.

— Так ведь смотреть надо шире... — начал было Петр. Но Ярцев его не слушал.

— Мы тебя воспитывали. Мало хорошего человека заметить, надо его еще, как говорится, и в люди вывести. Вот тебя и вывели — теперь ты уважаемый, знатный человек. А ты чем отвечаешь? Запомни, Петр, один из самых больших грехов на земле — это неблагодарность!

— Ну, есть грехи и побольше. А чем я провинился, Юрий Матвеевич?.. — Петр сам заметил удивленно, что произнес слова тихо, почти шепотом, но вот этот его напряженный шепоток, как ему показалось, заставил Ярцева насторожиться.

И если в начале этого малоприятного разговора Петр ощущал только томление в груди, то сейчас там уже все горело. Петр покраснел, что случалось с ним редко, и сам почувствовал это. Волнение Петра заметил и Ярцев. Манеру круто разговаривать с подчиненными у нас ныне не жалуется никто. Разносы и раздолбы стали выходить из моды. Да и какому руководителю приятно, когда зашедший к нему в кабинет человек, будь то рабочий или начальник управления, уходит с чувством явной обиды. Нет, множить число обиженных никому не хочется.

Должно быть, Ярцев ощутил интуитивно, что он перебрал и по тону, и по существу резковатых слов, адресованных Шубенкову. И он попытался сгладить остроту упреков.

— Ты, Михалыч, пойми, нельзя нам забывать о наших профессиональных интересах. Комбинат для нас — дом родной, одна семья, и не след забывать, что для всех нас эта семья делает!

Но Петр оставил этот смягчающий тон без внимания. Нет, с ним так разговаривать нельзя. У него свое представление о гордости и свой болевой барьер на... несправедливость. Жена говорила, что этот барьер — низкий. Может быть, и так! И может быть, это к лучшему. Меньше окажется желающих задеть его чувство собственного достоинства.

— Что помнить? — спросил Петр. — Кому помнить? Моя бригадирская спецовка у меня на гвозде висит в прорабской. Хоть и начальник, а на рабочую спецовку нет-нет да и посматриваю. В любой момент могу снова ее надеть. Я рабочий. Вот этим своим рукам только и обязан.

Хотелось круто повернуться, уйти сразу из кабинета. Но Петр усилием воли сдержался: Ярцев — непосредственное начальство. С ним и жить, и работать, и поддерживать нормальный уровень отношений. В этом — необходимость.

Помолчали. Ярцев закурил, вытер платком сухой лоб. Заметил сдержанно:

— Этим вопросом занимается сейчас производственный отдел. Решение не только от нас зависит. Что у вас еще есть ко мне?

Петр вытащил из кармана пиджака листок с пометками. Раскрыл папку с бумагами. Всегда находились большие или малые вопросы, которые надо протолкнуть на комбинате. Сейчас он почувствовал необходимость как-то снять напряжение, сгладить вспышку, о которой готов был уже пожалеть.

Не поднимая головы, Ярцев читал бумаги, одни подписывал, другие откладывал для согласования.

«А может быть, и не стоит жалеть! — подумал вдруг Петр. Вспомнил, как Аркадий Николаевич сказал ему однажды: «Дорогой мой, иногда надо уметь поговорить и на басах. Постоять за себя».

Вот он и постоял за себя. Сейчас они расстанутся с холодком отчужденной вежливости. На душе у Петра было все же мутно. Уже выйдя из кабинета Ярцева, подумал: «Какой бы ты ни был строительный начальник, а долго держать нервы в напряжении ты себе позволить не

можешь. Иначе сгоришь. И хочешь не хочешь, а изволь быть отходчивым».

Глубоко вздохнув, теперь уже в полную силу, благо никого в коридоре не было, Петр направился в партком.

Ему повезло. Лазарев был на месте.

— Заходи, заходи! — приветствуя Петра взмахом руки, сказал Аркадий Николаевич. Он рылся за столом в бумагах. — Садись, рассказывай, какими новостями богат? — Поднял голову, повнимательнее взглядываясь в подходившего Петра. — Что такой взлохмаченный, поддрался, что ли, на улице?

— Где уж там, прическу берегу, волос-то на две драки осталось.

— Так каким же ветром тебе эти остатки так растормошило? — поинтересовался Аркадий Николаевич.

— Сосновским, — выдохнул Петр. — Проблема охранной зоны. Нашла тут коса на камень! Ярцев требовал от меня возмущенного письма против администрации парка. Я не дал. Сейчас вот вышел неприятный разговор.

— Разговорный ущерб — это еще ничего. Не случилось бы ущерба в деле, — заметил Аркадий Николаевич. — Да, я знаю, о чем речь. Перебазировка потока, снос возведенного фундамента. Потеря в темпе, во времени. И прочие неприятности.

— Все так, — кивком подтвердил Петр и спросил: — Что же делать?

— А то, что решил. Решение есть?

— Есть. Надо отступить нам, Аркадий Николаевич. Пренебречь престижем, самолюбием, чем угодно и отступить корпусами от парка. Потери будут? Да! Но наверстаем общими усилиями. Люди в бригадах поймут, постараются. План по управлению не уроним. Обещаю.

Петр прижал ладонь к груди, для большей убедительности.

— Ну-ну, излагай, красиво говоришь, Петя, — как-то странно поощрил Аркадий Николаевич, не определяя еще своего мнения.

— Что излагать — картина ясна: если погонимся за своим интересом, нанесем вред парку, быть может непоправимый. Что должно перетянуть на весах решения — временное, злободневное или постоянный фактор, который будет действовать долго? — спросил Петр, сам чувствуя, что при такой формулировке ответ содержался в самом вопросе.

— Да-да, все так. Только одно неясно. Кого ты хочешь сейчас убедить: меня или самого себя? — спросил Аркадий Николаевич. — Похоже, что все-таки сначала себя, ибо меня не надо, ну а начальник комбината нас не слышит.

— Шутите все, — потупился Петр.

— Какие тут шутки, просто хочу, чтобы ты успокоился, не тратил понапрасну свой темперамент.

— Но вы-то поддерживаете или нет?

Петр вскочил с места, но так как Аркадий Николаевич продолжал сидеть спокойненько за своим столом, Петр снова опустился в податливую мягкость кожаного кресла.

— Интересно, а чего же ты ждешь от меня, секретаря парткома? Вот ты рассудил по совести, взвесил на чаше весов все обстоятельства и отдал предпочтение тому, что обращено в будущее. А от меня, наверное, ждешь, чтобы я оказался менее дальновидным? — спросил Аркадий Николаевич.

— Ну, знаете, никогда не поймешь, — когда вы шутите, когда серьезно говорите! — Петр передернул плечами.

— Опять ты насчет шуток. Не такая у меня выборная должность, браток, чтобы шутить по поводу большого дела, — заметил Аркадий Николаевич. — Тем более, что дело это партийное — охрана природы.

— Да конечно же, дело серьезное, хотя, может, кому-то оно и кажется мелким, — обрадованно подхватил Петр. — Я уже докладывал Ярцеву: ребята из бригады Борискина в большинстве своем понимают ситуацию и поддержат меня. Живые ведь люди, с душою, с совестью.

— Так за чем же дело, Петр Михайлович? — вдруг сменив тон, спросил Аркадий Николаевич, и в голосе его послышалась знакомая Петру твердость. — Вот ты начинаешь свою новую должность сразу с конфликтной ситуации. Скажешь, мол, не повезло. А я скажу — нормально, — продолжал Аркадий Николаевич. — Ибо не первая и не последняя. Значит, надо себя воспитывать так: вызрело решение — стой на своем. Проявил активную позицию — сумей ее защитить. Ты же коммунист, Шубенков!

— Я вас понял. — Петр, возбужденный, все же выскочил из своего кресла. — Ясно понял. Что касается плана, то мы здесь намерстаем, — еще раз посчитал нужным заверить он.

— Само собой. План — это наша святая заповедь, — напомнил Лазарев. — В общем, если такое решение состо-

ится, то действуй, Петр Михайлович. А с начальником комбината я поговорю. За успех не ручаюсь, но попытка будет. Одним словом, я твой единомышленник.

— Вот за это спасибо. Вы мне сейчас настроение исправили.— Петр впервые улыбнулся, повеселел.— Если разрешите, я пойду, есть тут делишки в разных отделах.

— Давай! — махнул рукою Аркадий Николаевич.— У меня тоже дел навалом.

Петр зашагал к двери, чувствуя, что ему и дышать стало легче, и шаг обрел упругость, и энергии добавилось.

— Только смотри, очень тебя прошу, в делах своих ненароком не подставляй незащищенный бок Ярцеву. Сосновский парк он запомнит. А рука у нашего Юрия Матвеевича крепкая, в случае чего, не дрогнет,— предупредил Аркадий Николаевич.

Петр даже остановился в дверях, услышав такое напутствие секретаря парткома. Однако настроения его это уже не изменило, и он бросил весело:

— Я понял и учту!

ГЛАВА 7

На следующий день Петр договорился о встрече с Ириной Сергеевной. Она просила его приехать после обеда на площадь Маяковского, назначив свидание в вестибюле здания Главного архитектурно-планировочного управления.

Ей предстояла беседа с заместителем главного архитектора города относительно охранной зоны. Шубенкова же она уговорила пойти с нею как начальника строительного управления, который ведет работы вблизи Сосновского парка. Попроси его кто-либо иной, Петр не поехал бы в ГлавАПУ, своих забот хватало по горло. Но Ирине Сергеевне отказать он не мог.

После памятного воскресенья Петр и Ирина Сергеевна не встречались, но по телефону обменивались новостями, и Ирина Сергеевна была в курсе шубенковских успехов и неудач, а он — ее борьбы за охранную зону.

Дело это, вопреки скептическим прогнозам Ярцева и Копытко, хотя и медленно, но продвигалось вперед. Идея охранной зоны в разных инстанциях находила понимание и сочувствие, что морально поддерживало Ирину Сергеевну. Эстетические соображения, ею отстаиваемые, иногда,

к удивлению, перевешивали интересы чисто прагматические и производственные.

Ирина Сергеевна как-то сказала Петру по телефону, что в иные времена никто и не стал бы разговаривать с какой-то там директоршей парка и думать об изменении утвержденного уже плана застройки большого района столицы.

«Меняется общественное унастроение в нашу пользу», — заметила она.

«В какую же?» — поинтересовался Петр.

«Станный вопрос! В сторону охраны природы, красоты, эстетики. Это настроение становится реальной силой», — заявила Ирина Сергеевна.

Петр же подумал тогда, что, должно быть, именно эта сила и пробила Ирине Сергеевне дорогу в один из главных кабинетов монументального дома на площади Маяковского.

Однако в назначенный час хозяина кабинета Василия Васильевича на месте не оказалось. Он просил через секретаря извиниться от его имени перед товарищем Соколовской, и если она располагает временем, то подождать его.

— Что делать! — вздохнула Ирина Сергеевна. — Кому нужно, тот ждет.

— Можете посмотреть пока карту Генерального плана реконструкции Москвы, — предложила секретарь. — Есть у нас на последнем этаже такой зал. Там экскурсии бывают, делегации.

— Пожалуй, — согласилась Ирина Сергеевна и попросила Петра: — Рабочий день заканчивается, подарите мне еще часок, не скупитесь.

Она казалась оживленной, надетое ради такого визита строгое черное платье с белым воротничком шло ей, глаза блестели.

Они пошли по лестнице, отказавшись от лифта. Ирине Сергеевне это не составило труда, а Петру тем более. На своих корпусах, бегая по лестничным маршам вверх и вниз, он одолевал за смену не один километр. Поднимаясь с этажа на этаж, они имели возможность заглядывать через стеклянные двери в чертежные залы, заставленные кульманами, столами, стендами с листами расчерченных ватманов.

Здесь работали сотни архитекторов, планировщиков, инженеров. Каков город, таков и главный штаб архитек-

туры и планировки. Монументальное здание с новыми пристройками занимало половину квартала и было чем-то похоже на многолюдный и шумный улей, где в каждом уголке архитекторами лепились свои многочисленные «соты» — квартиры, дома, кварталы, которые потом соединялись в общем градостроительном рисунке нового, огромного жилого района столицы.

Этот зал на последнем этаже, куда через стеклянные двери вошли Ирина Сергеевна и Петр, поражал своим объемом. Он был под стать самому зданию. Наверняка такой зал мог бы вместить средних размеров выставку проектов или картин. Помещение освещалось большими окнами, чуть ли не во всю стену.

Конференц-зал ГлавАПУ использовался и по прямому назначению — для заседаний. Петр вспомнил, что на одном из них он как-то присутствовал. Тогда здесь проходила защита проектов, изготавливаемых архитектурными мастерскими.

Ирина Сергеевна показала рукой на стол для заседаний. Он тянулся от стены до стены метров па тридцать.

— Что в нем особенного? — пожал плечами Петр.

— А гипсовые макеты новых районов. Мне очень нравятся, хорошо сделаны.

Ирина Сергеевна насчитала четыре таких макета, они стояли на зеленом сукне.

— Да, это хорошо, — согласился Петр.

Вооружившись длинной, точно шпага, указкой, Петр подошел к карте генплана. Любого москвича Генеральный план реконструкции и строительства столицы вряд ли мог оставить равнодушным. Все мы любим свой город, думаем о его будущем. Ну а что же сказать о профессионале-строителе, который почти всю свою сознательную жизнь отдал московским стройкам?!

Последний по времени план перестройки и реконструкции Москвы был утвержден решением правительства в 1971 году. Тогда же генплан широко обсуждался и на комбинате, и на разных общемосковских совещаниях строителей, на которых Петру как знатному бригадиру довелось присутствовать.

То, что Петр вспомнил об этом, Ирина Сергеевна словно бы почувствовала интуитивно, глядя на загоревшиеся возбуждением глаза своего спутника. Должно быть, поэтому и спросила, не хочет ли он, Петр Шубенков, прочесть ей сейчас лекцию о генплане.

— Какой из меня лектор? — Петр пожал плечами. — Просто мне самому интересно взглянуть на карту. Имею прямое отношение к этим делам. Сколько делаем мы и сколько еще должны сделать!

Петр всматривался в карту генплана. Он хорошо знал Москву и мог читать карту реконструкции, как военные люди читают карту местности, на которой разворачивается бой. Тут было о чем подумать строителю.

К девяностым годам моноцентрическая структура Москвы начнет постепенно заменяться полицентрической, иными словами, в Москве кроме главного центра образуется еще восемь центров — в каждой из восьми планировочных зон. Эти как бы автономные и одновременно связанные с главным центром и между собою части города призваны создать москвичам наилучшие условия жизни, труда, отдыха. Каждая из зон в недалеком будущем превратится в крупный, почти миллионный город со своими социально-культурными и архитектурными особенностями.

Об этом говорилось и в краткой памятке, помещенной под стеклом у основания карты генплана. Ирина Сергеевна подошла ближе и прочитала некоторые абзацы из этого описания вслух:

— Послушайте, послушайте! — крикнула она Петру. — Вот это место имеет к нам с вами прямое отношение. «Бурно строящаяся, развивающаяся и реконструируемая Москва остается и останется тем любимым нашим городом, который сохранит все черты, делающие его неповторимым.

Генплан предусматривает тщательную охрану каждого старинного дома, особо бережное отношение к историческим памятникам, прежде всего на улицах Кропоткинской, Герцена, Богдана Хмельницкого, Воровского, Арбате, Петровке, Кузнецком мосту, в Заяузье и в Замоскворечье, где намечено создание заповедных зон.

Но подлинной жемчужиной Москвы, ее архитектурным символом, известным всему миру, навсегда останется центр города с Кремлем и святыней нашего народа — Красной площадью. Этот район до Садового кольца включительно, развивающийся вокруг исторического ядра Москвы, сохранит свою ведущую роль и в грядущем облике столицы».

— Как жаль, что ничего не сказано о наших парковых заповедных зонах, — сокрушенно вздохнула Ирина

Сергеевна.— Вот если бы их тоже догадались поставить под охрану генплана. Нам бы легче жилось.

— Ну это же генплан, Ирина Сергеевна,— заметил Петр.— Так сказать, основной закон, основное направление реконструкции. Все подробности, детали не могут, естественно, в него войти. Жизнь-то все время вносит поправки.

— И то верно! Ах как хорошо, что я захватила вас с собой. Чувствуется ум мужской, государственный. Поддержите слабую женщину перед Василием Васильевичем.— Она живо повернулась к Петру.

Он улыбнулся в ответ, понимая, что в этой реплике трудно отделить меру серьезного от иронии.

— Не обижайтесь,— тут же добавила Ирина Сергеевна,— я нервничаю. Почитайте-ка мне еще, что там написано в пояснительной записке.

— «Внутри Садового кольца будет больше административных и культурно-просветительных зданий, в северной зоне разместятся выставки, музеи, спортивные комплексы, на юго-западе — научные учреждения, вузы, на востоке — производственные и спортивно-массовые комплексы, приближенные к лесным и парковым массивам Сокольников, Измайлова, Кузьминок.

Своеобразие этих планировочных зон,— читал Петр дальше,— никоим образом не заслонит типические, общемосковские черты и вместе с тем наложит отпечаток на ландшафт города с его холмистым рельефом и крутыми изгибами Москвы-реки, широкими современными магистралями и проспектами и истари тихими московскими улицами и переулками.

Примечательно, что силуэт Москвы за чертой Садового кольца будет становиться «все более высотным». Это неизбежно, если мы не хотим уж очень «растягивать» нашу столицу, а оставим ее в пределах, определенных Генеральным планом. Высотную часть города образуют двадцатипятиэтажные жилые дома и сорока-пятидесятиэтажные административные здания, к которым вплотную подступят зеленые клинья лесопарковых пригородных зон. Москва будет насыщаться зеленью столь же неукоснительно и равномерно, как и застраиваться новыми кварталами».

— Стоп! — остановила Ирина Сергеевна.— Во-первых, лучше не скажешь! Во-вторых, за нами уже, кажется, пришли.

И действительно, в дверях конференц-зала появилась секретарша Василия Васильевича и манила их рукою.

Заместитель главного архитектора города был высок, чуть сутуловат, крупное его лицо с поредевшей седою волной волос, глубокие, по-мужски грубоватые морщины — все это хранило зримый и достойный отпечаток прожитых лет и умудренности опытом. Он встретил Петра и Ирину Сергеевну радушной улыбкой.

— Посмотрели карту генплана? — первым делом спросил он, и Петр уловил его одобрение к интересу гостей.

— Да, очень, очень интересно. Впечатляет! — живо откликнулась Ирина Сергеевна.

— Вам кто-нибудь давал объяснения?

Ирина Сергеевна кокетливо, хотя, быть может, и несколько грубовато, ткнула пальцем в грудь Петра.

— Вот он! Да, разрешите представить моего спутника. Это Шубенков Петр Михайлович, начальник строительного управления.

— Мне представлять Шубенкова не надо, — остановил ее Василий Васильевич.

— Его управление ведет работы в восточном районе. — Ирина Сергеевна почему-то покраснела.

— А вот это существенная деталь. Так вы, Петр Михайлович, тоже ходатайствуете о создании охранной зоны? — Василий Васильевич взглянул при этом на Петра с очевидным любопытством и плохо скрываемым удивлением одновременно.

Неожиданность вопроса да и прямота его смутили Петра. Он подумал, что, наверно, выглядит странновато в глазах Василия Васильевича. Строитель, который сам хлопочет о том, чтобы сломать готовые фундаменты. Благо еще кто-то его заставлял! А то по своей воле. И в ГлавАПУ приехал.

— Да, я сочувствую вполне, мне кажется, нужное дело, — твердо ответил Петр.

— Поздравляю! — изрек Василий Васильевич.

— Не понял? — насторожился Петр.

— Поздравляю с благородным порывом. Вы не обижайтесь на меня, но строитель с такой просьбою у нас редкость.

— Зачем обижаться, я не дурак, — сказал Петр.

— Ну, это-то очевидно. Дураки никогда не выбирают

решений в прямой вред себе. Это может сделать только умный человек.— Василий Васильевич улыбнулся.

— Он наш союзник,— вмешалась Ирина Сергеевна.

— Ну, тогда ближе к делу.— Василий Васильевич перевел на нее взгляд.— Бумаги ваши мы посмотрели. Есть заключение районного архитектора. Он за создание охранной зоны. Нам, естественно, это тоже близко. Природа или улучшает работу архитекторов, или, что, увы, тоже бывает, прикрывает наши недостатки. Я бы сказал еще, что природа сама лучший наш архитектор. «Больше зелени, чем бетона» — вот такой лозунг следовало бы вывесить в каждой архитектурной мастерской, хотя есть в нем и некоторое профессиональное несоответствие. Мы-то проектируем все-таки бетон, здания.

— И все же это хорошо сказано — больше зелени! Слава богу,— воскликнула Ирина Сергеевна,— мы стали думать о сохранении природы, а не только стремиться побеждать ее.

Петр посмотрел на свою спутницу и увидел, что она вся сияет от радости. Что же, ее понять можно. Такое могучее учреждение, как ГлавАПУ, поддержало проект и старания директора парка.

— Василий Васильевич, это уже все с нашим вопросом или еще нет?

Ирине Сергеевне, конечно, хотелось услышать уверенное «да».

— Да нет, еще не все,— немного замаялся Василий Васильевич,— надо получить соответствующее решение Главмосстроя.

— Долго ждать?

— Ну вы же знаете, дорогая, есть известный порядок прохождения бумаг. Недельки три, месяц.

— В парке ждать могут, а вот строители — нет! — резковато вмешался Петр.— Мне надо готовить строительный поток к перебазировке. И место надо определить. А то ведь простой влетит моим ребятам в такую копеечку, что и любовь к природе может не выдержать. Люди есть люди.

— Понимаю вас,— сказал Василий Васильевич.

— На меня ведь тоже жмут сверху,— продолжал Петр,— сдерживаю напор, пока могу. Тут промедление буквально смерти подобно для этого проекта. Поэтому прошу, ускорьте решение вопроса. За тем, собственно, и приехал к вам.

— Ясно,— кивнул Василий Васильевич.— Дело житейское... Я не только позвоню к вам на комбинат, но и постараюсь ускорить прохождение вопроса в Главмосстрое. Вы правы, есть дела, не терпящие промедления.

Он поднялся за столом, давая понять, что разговор окончен. Протянул руку Ирине Сергеевне, все еще пунцовой от волнения, потом Петру. Взгляд Василия Васильевича выражал сочувствие вместе с одобрением. И Петру почудилось, что улыбка его как бы говорила: «Держись, братец строитель! Ты сделал доброе дело, и оно не останется безнаказанным!»

Однажды Петр услышал эту горькую шутку в коридорах Главмосстроя, и она запомнилась.

Но все равно эта встреча в ГлавАПУ воодушевила сейчас не только Ирину Сергеевну, но и его, Петра Шубенкова.

— Как я вам благодарна, вы даже себе не представляете,— призналась Ирина Сергеевна Петру, когда они вышли из дверей здания.

— Нет, немного представляю, как на меня кинутся кое-какие товарищи завтра на комбинате.

Петр действительно мысленно представил себе еще одну возможную стычку с Ярцевым и слегка усмехнулся.

— Кинутся, ну и что! — задорно вскинула голову Ирина Сергеевна.— Вы что, не мужчина, не боец?! Неужели же наш замечательный парк, его искусство, я, наконец, не стоим того, чтобы за нас пострадать немного?! Помните, у Шекспира: «Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним!»

— Допустим, а где же сострадание? — нашелся Петр.— Где оно? Вы, я вижу, домой торопитесь. Как говорится: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить!»

— Ишь какой! — Ирина Сергеевна удивленно вскинула мохнатенькие брови.— Ишь какой! — повторила она явно не без удовольствия.— Да, сейчас тороплюсь домой, а завтра жду вашего звонка. Сострадание будет,— пообещала она,— я человек благодарный.

И тут же, послав Петру воздушный поцелуй, она заторопилась к метро, дважды оглянувшись на Шубенкова, который все еще с неопределенной улыбкой стоял в раздумье около вестибюля здания ГлавАПУ.

Владимир Каринцев получил новую квартиру как раз в те дни, когда его бригаде поручили монтаж первенца новой серии шестнадцатиэтажных башен. Первенец это первенец, и одним этим уже много сказано.

Хлопотный, хотя и радостный, переезд с одной квартиры на другую совпал с началом монтажа дома, проект которого впервые во всей Москве осуществлялся на практике.

Жили Каринцевы раньше в районе Севастопольского бульвара в двухкомнатной квартире, тесноватой для четверых. Да и подрастали дети — мальчик и девочка. Единственным удобством здесь иногда оказывалась близость к самим новостройкам. Но так уж случалось, что, когда Каринцев жил на Юго-Западе, он монтировал дома все больше в Свиблове, Новогирееве, Вешняках или Ивановском, то есть на другой стороне Москвы. А как только дали ему квартиру вблизи Речного вокзала в Химках, то первую шестнадцатиэтажку наметили ставить опять же на юге — в Северном Чертанове, куда от Химок часа полтора езды на метро, в автобусах только в один конец.

Но все равно в новую квартиру Каринцевы перебрались с радостью. Это старикам всякие переезды уже в тягость, а у Каринцева перемена жилья вызвала подъем в настроении, словно бы он не мебель перетаскивал в новую квартиру, а садился в поезд, чтобы отправиться в манящее неизведанными радостями путешествие.

Каринцев хоть и строитель, но масштабный, и с обустройством собственной кухни или ванной возиться не очень-то любил, да и времени не хватало. Но тут выручила жена, все взвалила на себя — переезд, возню с детьми, домашнее хозяйство.

Существует в иных семьях такой установившийся, нигде не зафиксированный, но тем не менее прочный договор на распределение семейных обязанностей. И раньше, живя на Севастопольском бульваре, и здесь, у Речного вокзала, Каринцев вставал ежедневно в 5.15 утра. Не было случая, чтобы Надежда не встала вместе с ним, хотя должна уходить на работу чуть позже. На заводе смена начиналась в восемь тридцать. Она разогревала завтрак, в хорошем настроении отправляла мужа на работу.

И так каждый день, год за годом, не уставая. Каринцев уходил осенью и зимой затемно, возвращался тоже

обычно затемно, часам к восьми, а то и позже — собрания, заседания, общественная работа. С детьми — только в воскресенье. Иного времени не было. И тут находил понимание — не слышал от жены ни жалоб, ни упреков в том, что она его мало видит и в кино, театры вместе ходят редко.

— Она у меня хорошая семьянинка, верный человек! Я без нее, наверно, не смог бы так вкалывать! — как-то сказал он Шубенкову в пору их совместного бригадирства, когда они после собрания в управлении забежали однажды в «стекляшку» выпить пивца.

— Повезло тебе, — мрачновато буркнул Шубенков, должно быть уловив в голосе Каринцева нотку самоуверенного удовлетворения и даже гордости за такую жену, в то время как он, Шубенков, не мог ответить товарищу теми же словами.

— А это потому, что сам нашел, не по приговору суда получил, — попытался шуткой смягчить свою похвальбу Каринцев.

— Я тоже не по приговору, да не такой везучий, как ты! — признался Шубенков. И возможно, от сознания того, что такое признание звучит не очень-то хорошо и что он, по сути дела, жалуется на Катю, от этого нахмурился еще больше.

— Зато твоя красивее моей, — заметил Каринцев. — С высшим образованием. Выше даже мужнего. Это редкость, Михалыч! А моя попроще, фактически тоже работа на заводе.

Насчет красоты Каринцев был не слишком искренен. Свою Надю он ценил высоко.

— Да брось ты мне подсиропливать, я сладостей не люблю, — нахмурился Шубенков. — Было бы счастье!

— А в чем оно?

— В любви. Если любишь, ни о чем таком и не думаешь. Любишь, и все! — Шубенков при этом махнул ладонью, чуть не свалив пивную кружку с мраморного столика.

— Я потому и хвалю Надежду, что люблю. Мне это удовольствие доставляет, — заявил тогда Каринцев, как бы ставя точку.

Этот разговор как-то вспомнился Каринцеву на новой квартире. К вечеру они собрались всей семьей у телевизора и могли с удовлетворением заметить, что квартира обрела жилой вид и все выглядит неплохо. Труды же здесь

были главным образом Надины. Каринцев ворочал лишь там, где требовалась мужская сила.

— Спасибо тебе, Надюха! — прочувствованно сказал он жене. — Ты у меня герой домашнего труда. Если бы такое звание объявили, тебе бы медаль, а то и орден.

— Ладно уж. — Надежда махнула рукой. — Мне лучший орден, когда дома все хорошо: и у тебя, и у детей.

— На стройке как раз дела тяжелые, — признался Каринцев. Обычно он не любил безо всякой нужды посвящать жену в свои производственные проблемы, ей хватало своих.

И Надежда насторожилась.

— Новый дом надо слепить. Задача! Ты видела проект?

— Покажи!

Они сели тогда рядом на диван, и Каринцев показал ей некоторые чертежи, которые были у него дома, и фотографию с большого макета, выполненного в одной из мастерских МНИИТЭПа. В отличие от знакомой и привычной Каринцеву продолговатой девятиэтажки, которую он мог монтировать, как однажды выразился, с завязанными глазами, новый дом даже внешне являл собою иную картину.

Это была башня, соединенная из четырех кубов-секций. Проект прибавил не только новых семь этажей, отчего количественно наращивались трудности, характер монтажных работ изменялся и качественно. Появилось много новых деталей: несущие стены с пилонами, которых раньше не было, вместо балконов — лоджии. Так называемый открытый стык между панелями из экспериментальной новинки на девятиэтажках стал здесь обязательной частью проекта. Самое же главное заключалось, пожалуй, в том, что другой стала и общая конфигурация здания.

— Сложный домик! — заметил Каринцев. — Мы его освоим. Только нужно время. А пока приходится переживать трудности.

— Не ты же один ответственный! — всполошилась жена.

— Не один я, Надюха, не один. Народу на площадке бывает много. И хронометраж начали вести.

— А это зачем?

— Ну, сколько времени занимают разные операции. Чтобы и для других домов и бригад дать точный график.

Отсюда и темпы, и производительность, и заработки. Усекаешь?

— Как не усечь насчет заработков. Не потеряешь ли в деньгах?

— Потеряю, и не я один, вся бригада. Вначале. Это неизбежная вещь. Как водится: хочешь чего-то добиться — и попотеть, и немного пострадать надо. — Каринцев как бы извинялся перед женою заранее за то, что в этом месяце принесет домой меньше денег.

— Ну, если немного, то это и не страшно. Живы будем — не помрем. Лишь бы дело пошло в гору, лишь бы ты был доволен, Володечка!

— Молодец! — обрадовался Каринцев. — Понимаешь ситуацию, — похвалил жену. И вспомнил...

...Шестнадцать дней назад бригада приступила к монтажу первого высотного корпуса.

На строительной площадке было еще сравнительно пустынно. В полукилометре зиял заросший травой овраг, слева курчавился зеленью чудом сохранившийся в такой близости от кварталов фруктовый сад. И еще вблизи этого большого сада притулился садик маленький — детский.

Фундаментчики, как обычно, подготовили бригаде бетонное основание, смонтирован был башенный кран, уже возвышались на земле штабеля из панелей, лестничных маршей и плит перекрытия — все было готово к началу нулевого цикла и монтажа первого этажа.

С утра на площадку Каринцева съехалось начальство — и управленческое, и комбинатское: Лазарев, Боровский, Шубенков, Копытко. Провели десятиминутку в прорабской Каринцева как последний смотр перед началом работы.

— Даю тебе добро, Владимир! Бери бригаду и начинай. Раньше говорили — с богом! Я скажу — с удачей! — Шубенков крепко пожал Каринцеву ладонь. — Ты у нас ведущий, прокладываешь для комбината новую дорожку. Сейчас шестнадцатизэтажный, потом двадцати-, потом двадцатипятиэтажный. Вперед и выше!

— Ведущий предполагает ведомых, а у нас двадцать бригад на комбинате — какой простор для передачи опыта! Учти это, Каринцев! — добавил Лазарев.

После этого к Каринцеву с приветствиями подходили все начальники и свои ребята-работяги. Получилось какое-то незапланированное маленькое торжество.

— Космонавту, который все выше и выше,— протянул свою ладонь и Копытку. И хмыкнул при этом как-то не по-доброму.

— А что! — Каринцев иронической интонацией главного инженера пренебрег.— А что! — задорно повторил он.— Я считаю, что каждый в своем деле набирает высоту. Я сегодня скажу ребятам «Поехали!», как Гагарин перед полетом в космос.

— От скромности ты определенно не умрешь,— съязвил Копытку.— А на этом домике как бы не пришлось тебе, товарищ Каринцев, кровью харкать. Ты его слепи сначала в срок, а потом уж крикнешь «Поехали!».

— Да не каркайте вы хоть сегодня,— возмутился Лазарев.— Есть у иных людей привычка обязательно товарищу и в праздник настроение испортить. Чем-нибудь, как-нибудь.

— Привычка — вторая натура,— добавил Шубенков.

— По себе знаете,— окрылся Копытку.

— Я на свой аршин людей не меряю,— отрезал Шубенков.

Эта внезапно вспыхнувшая перепалка начальника управления с главным инженером выглядела странноватой, особенно в такой обстановке.

— Будет вам, Константин Касьянович, я ничего не слышал, вы мне ничего не сказали. А если и подумали что про себя, так это дело ваше,— примирительно заметил Каринцев.— Сейчас начинаем.— Он взглянул на часы.— Там ребята бутылку шампанского приготовили: пусть товарищ Шубенков о фундамент ее разобьет, чтобы рос наш домик ладнее.

Все отправились на площадку. Каринцев подал знак машинисту крана, тот поднял с земли первую панель и потащил ее на корпус. И в это мгновение двинулась вперед стрелка почасового графика, единого для транспортников и строителей, для всех звеньев конвейера, для четырех заводов комбината, комплектующих все детали домов.

И начался первый день творения, как пошутил тогда Аркадий Николаевич Лазарев.

Бригада монтировала первый этаж. На девятиэтажке это занимало двое-трое суток. А здесь шел уже шестнадцатый день монтажа только лишь первого этажа. Да, шестнадцатый! И как это ни казалось диким и странным Каринцеву, привыкшему к высоким темпам стройки,

мрачноватый прогноз главного инженера Копытко вроде бы становился реальностью...

— А что же Шубенков теперь говорит тебе? — опечаленно спросила Надежда, прервав затянувшееся молчание, пока Каринцев и вспоминал, и молча думал. От того же, что думал он невеселое, на сердце накатывалось тяжелое томление, которое хотелось стряхнуть с себя.

— Что говорит Шубенков? А что, Надюша, в таких случаях говорят все начальники? «Давай, давай!» И сам он такое же слышал, когда бригадировал. Хотя понимает ситуацию и помогает. Редкий день, чтобы не приезжал на площадку, да и к себе вызывает в управление. Но что поделаешь, есть такие трудности, которые разом, как мел с доски, не сотрешь. Время нужно, а где его взять?..

На следующий день рано утром Каринцев, когда ехал на работу, вспоминал этот разговор сначала на длинном маршруте в метро, до конечной станции «Каховская», а затем пересаживаясь на автобус.

У «Каховской» сесть в автобус даже рано утром не так-то просто. Куда уж как ни окраина, а народу — тьма! А ведь еще полгода назад кругом были пустыри, да лес, да овраги, выходящие своими извилистыми расщелинами к черте кольцевой шоссеиной дороги. А сейчас по всему обозримому периметру везде уже вставали кварталы, и вздымался в небо изломанный, зубчатый силуэт новых микрорайонов.

«Растет Москва,— думал Каринцев,— и народ все прибывает и прибывает». Еще недавно ему казалось: вот-вот они застроят все свободные площади в столице. Темп-то огромный.

«Нет, безработицы строителям в Москве и не предвидится,— продолжал думать Каринцев.— И сын Игорек, если решит стать строителем, сможет продолжить отцовское дело. Москва будет расти, перестраиваться, хорошеть вечно, как один из самых замечательных городов нашей земли».

На строительной площадке, где уже вылез из-под земли фундамент, между возведенными стенами первого этажа ходили Копытко и Боровский. Увидев начальство, Каринцев поспешил к ним.

— Ну что, герой труда, загораешь на фундаменте, заело у тебя,— вместо приветствия грубовато бросил Копытко. Он разговаривал со звеньевым Геннадием Чоховым и бетонщиком Худяковым.

Чохов — тощий парень с острым профилем и лохматой шевелюрой, которая выбивалась даже из-под каски, был на полголовы выше Копытко, в то время как маленький Худяков в своей брезентовой робе казался почти квадратным. Стоя рядом с Копытко, они как бы образовали живую пирамиду. Заметив это, Каринцев слегка улыбнулся и еле заметно подмигнул своим рабочим. Он ценил обоих, это были кадровые строители в бригаде — ее золотой фонд.

Однако неопределенная эта улыбка Каринцева могла быть истолкована по-разному. Копытко, видимо, принял вариант некой иронии, объяснить которую себе не мог.

— Чего осклабился? Тут бригадиру впору плакать. График завалил, монтаж еле дышит, радоваться-то какая причина?

— Радоваться нечему, но и слезам Москва не верит. Пилоны, Константин Касьяныч, замучили нас. Раньше их мы не делали. А сейчас выводим эти столбики по вертикали, и семь потов сходит. Потому что нет монтажной оснастки, опыта нет.

— А я говорил, — почти обрадованно воскликнул Копытко, — о чем предупреждал? Проект сырой, подготовки не было настоящей, а мы взялись и пошли-поехали! «Уря, уря!»

— Заводы должны сделать нам оснастку. Я вас просил об этом много раз, — нахмурился Каринцев.

— Я штампы не рожаю. На завод надейся, а сам не плошай, самим пока что-то соображать надо.

— Соображаем как можем, — сухо ответил Каринцев, подумав про себя, что ставить задачи легче, чем их решать, и что главный инженер злится, но конкретных советов не дает, технологических решений не предлагает, а только понукает и сигнализирует о том, что всем и так ясно.

«Деятель типа «давай-давай!». Глотка луженая, и это главный инструмент».

Это Каринцев произнес про себя, а может быть, и сказал бы в лицо Копытко, он был неробкий с начальством. Но тут вмешался Боровский, спросив, знает ли бригадир стоимость фонда зарплаты за эту первую шестнадцатитажку.

— Знаю, двадцать четыре тысячи на бригаду.

— Правильно. У вас сейчас производительность упала. Есть, конечно, на это объективные причины, но вот,

Владимир Лаврентьевич, если уменьшить численно состав бригады, заработки поднимутся. И тогда этот трудный период освоения легче будет пройти. Выгода здесь очевидна.

— Это он понимает,— вмешался Копытко.— Ты, Каринцев, вкалывай по-настоящему, людей мобилизуй, сумей потребовать на максимуме. План — это закон нашей жизни. Если через два дня не выйдешь на второй этаж, ну, в общем, пеняй на себя!

— А мы что, разве не выкладываемся на полную катушку? Вы у ребят спросите! — Каринцев начинал закипать, несправедливость главного инженера задела его. — Константин Касьяныч, вы у ребят спросите,— повторил Каринцев и кивнул на Чохова и Худякова.

— Сварки больно много, товарищ главный, никогда не было у нас столько сварки,— поддержал бригадира Чохов. — Сварщик варит, а мы стоим. А что сделаешь? Надо бы кое-какие металлические рамки на земле варить, а еще лучше на заводе. А мы бы тогда их точно сажали на место, и быстрее бы дело шло.

— Хорошая мысль, Худяков. Я тоже так думаю,— заметил Каринцев.

— Хорошая мысль. Академики в серых робах! Вы что, сговорились, что ли?! — почти закричал Копытко и побагровел. Сначала краской налилась грудь, видная из-под расстегнутой рубашки, потом шея, щеки и лоб. — Что мне с ваших «надо бы», да «как бы», да «если бы»? Условная форма! А нам безусловно план надо тянуть. Бригадный подряд выполнять. Ты договор подписывал? Ответь, Каринцев!

— Подписывал. Но сами видите, с какими мы столкнулись трудностями. Я уже пятый день прошу вас, Константин Касьяныч, съездите на завод, поставьте вопрос о новой монтажной оснастке для этого дома. Сами-то мы тут не можем ее сделать!

— Сделать не можешь, а поставить вопрос можешь,— бросил Копытко.

— Кто я такой? Бригадир. Тут должен быть начальственный голос.

— Ну, ты такой бригадир, что умеешь разговаривать басом,— возразил тут же Копытко и после паузы, почему-то вздохнув, добавил: — У нас есть начальник управления, знатный товарищ. Это его забота, к нему обращайся,

а сейчас хватит нам с тобою прений, иди работай, бригада ждет.

— Иду, — резче, чем обычно, ответил Каринцев. И все же сразу на монтажную площадку он не пошел, а заскочил на минутку в прорабскую, подошел к телефону.

— Где Шубенков? — спросил он, позвонив в диспетчерскую управления.

— На дороге в восточный район, — ответили ему.

— А соединиться можно? Это Каринцев.

— Попробуем.

Сквозь гул проводов и расстояния Каринцев слышал, как кричал в трубку диспетчер:

— «Первый»! «Первый»! Ответьте, где вы? Алло! Вышли, что ли, из машины? Валерик!

Наконец Валерик откликнулся. Наверно, выходил из машины вместе с Шубенковым. Каринцев понял, что он засек «Волгу» Шубенкова на Рязанском шоссе, на другом конце Москвы, если смотреть из Северного Чертапова.

— Чего тебе, Володя? — Голос Шубенкова звучал ясно и четко.

— Копытко здесь, приехал стружку снимать с меня, — начал Каринцев.

— Много снял?

— Да чешет и чешет. За то, что сидим шестнадцатый день на первом этаже.

— Чтобы твою фигуру в стружку перегнуть, ему месяц надо потеть.

Каринцев почувствовал, как усмехается Шубенков. Представил себе его в машине, рядом с шофером, с лоснящимся от пота лицом, облизывающим губы, слегка занемевшие от холодного кваса.

— Мне не до смеха, Петр Михайлович.

— И мне тоже. Сколько еще думаешь монтировать первый этаж?

— Дня два еще.

— И того восемнадцать! Многовато даже для начала. — Голос у Шубенкова стал заметно суше. — Заклинило крепко. Ну ты хоть проанализировал, что жмет больше всего, какой узел надо разрубать?

— Говорил же я, монтажная оснастка. Бетонирование вертикальных стыков. Пилоны эти, черт бы их побрал. Никогда раньше мы с ними дела не имели. Нужна помощь завода.

— А Копытко что? Инженерные же вопросы.

— Говорит, у нас есть начальник управления. У него глотка крепче.

Шубенков на том конце провода не то зевнул, не то закрипел зубами.

— Глотка у него, я думаю, луженее моей. А к глотке еще бы и старания и ума побольше.

Каринцев помолчал. Он ждал ответа на свой вопрос относительно завода.

— Я сейчас к Борискину, оттуда на Краснопресненский завод. Будем требовать. Если у тебя есть какие-либо соображения по оснастке, чертежи давай мне.

— Понимаю.

Каринцев кивнул, хотя этого кивка Шубенков, естественно, не мог увидеть.

— А ты не раскисай,— продолжал Шубенков.— Освоение — это освоение. Каждый понимает. Работай напористо, но спокойно. Как это в пословице: «Глаза страшатся, а руки делают»! Так понемногу, раскачкою, раскачкою, а дойдем до ума. Бывай!

— Спасибо. До вечера,— с чувством душевного облегчения произнес Каринцев и повесил трубку.

По дороге на площадку он подумал:

«Вот Шубенков умеет поднять настроение. Хвалит он или если даже ругает. Это важное свойство для любого руководителя. А то ведь с иным поговоришь — точно мыла наешься. Вот как с Копытко. И не то чтобы работать, а и жить после таких разносов не очень хочется».

На монтажной площадке шла обычная работа. Каринцев надел брезентовые рукавицы, сам взялся за стропы крана, на которых опускалась вниз наружная панель. Потом лопатой подровнял бетонную «постельку» для панели.

Руководитель бригады, он любил поработать и сам. И в силу необходимости, когда надо было помочь товарищам, и для удовольствия. Работа снимала раздражение, успокаивала.

Вот и сейчас постепенно улетучился налет свинцовой угнетенности, оставшейся после разговора с Копытко. Так всегда: начинаешь работать и тем самым обретаешь устойчивость настроения. Душа становится на место. Правильно сказал ему по телефону Шубенков: «Не раскисай, не бойся трудностей. Глаза страшатся, а руки делают»!

Через два дня у себя в управлении Шубенков собрал узкое совещание. Пригласил представителей завода, автора проекта здания — архитектора. Это была хорошо знакомая ему Тамара Анатольевна Кунина — красивая женщина, что называется средних лет, с высокой прической, чем-то всей статью своей и даже лицом напоминающая певицу Людмилу Зыкину.

Справа от стола Шубенкова, там, где размещался секретор, сидел по просьбе Петра приехавший на совещание Ярцев. Слева устроился Каринцев.

Вечер был душный, и Петр включил вентилятор под потолком. Он заработал с шумом, напоминавшим шелест листьев, гонимых ветром. Однако звук не был столь резким, чтобы мешать разговору. Куда явственнее звучали голоса улицы, врывающиеся через распахнутые окна кабинета.

Это был привычный Петру шум перекрестка, густо насыщенного транспортом: уханье строительного крана, гудки машин, свистки лейтенанта-гаишника, чья суетливая фигура мелькала на скрещении двух многолюдных улиц.

В общем, вся эта шумовая гамма, как ни странно, не мешала Петру Шубенкову сосредоточиваться на своих мыслях, а, может быть, даже и помогала, тонизируя, взбадривая в той же мере, как и поднимал настроение открывающийся из окон вид на высотные новостройки, широко раскинувшиеся кварталы.

— Мы собрались здесь, — начал совещание Петр, — чтобы помочь бригаде Каринцева, которая восемнадцать дней проторчала на первом этаже, наконец-то переползает на второй, но продолжает испытывать большие помехи и трудности. Помех там немало, но, пожалуй, самая острая проблема — это монтаж наружных панелей и история с зубом наружной панели, который никак не садится плотно на свое место и образует большой зазор.

— Такая щель получается, что и смотреть страшно! — вставил Каринцев.

— Вот именно, Володя. Так вот, товарищи, давайте не будем выяснять, кто виноват: проектировщики, строители, ваша ли это ошибка, — Петр кивнул в сторону Тамары Анатольевны, — наша ли какая неумелость? Начнем выяснять — поссоримся, и это нас далеко уведет в сторону.

Да и что толку сейчас от этих выяснений! Тут нужна скорая инженерная помощь. Вот только это. Давайте, товарищи, ближе к делу. Слово для сообщения, хорошо бы и для существенных предложений имеет главный пострадавший, бригадир Каринцев. Прошу!

Пока Каринцев со свойственной ему неторопливостью и несуетностью, с некой даже не по возрасту степенностью поправлял галстук и прическу, поднимался со стула, Петр думал о том, что Тамару Анатольевну он, начальник управления, не мог бы упрекнуть в нерадении. Ни к своему проекту, ни к его реальному воплощению во плоти — из железа и бетона.

Тамара Анатольевна каждый день появлялась на стройке, пока шел монтаж первого этажа. Формально для осуществления архитектурного надзора, а фактически для помощи бригаде. Она постоянно торчала и в бытовке бригадира, порой даже мешая Каринцеву, ибо радиотелефон им приходилось делить на двоих.

Петр вспомнил сейчас еще забавный эпизод в первый день монтажа. Надо было бригаде «поставить первый угол», как говорят строители, то есть уложить панели на краю фундамента, геометрически точно их выверить, до миллиметров, с тем чтобы в ходе дальнейшего монтажа не перекосить все высотное здание. Точность монтажа на шестнадцатизэтажке вырастала на целый порядок.

Но этот «чертов угол», как ругался Каринцев, никак не ложился. Пробовали так и этак. Детали-то были новыми, непривычными, более сложной, чем на прежних домах, конфигурации, не подходили к ним и старые стробцины.

Не только Каринцеву, но и Петру хотелось облегчить душу непарламентскими выражениями. Но мешала Тамара Анатольевна. Долго они этот угол пытались ставить по науке, а потом, разозлясь, Каринцев отошел от инструкций, больше полагаясь на интуицию. И тут Тамара Анатольевна махнула рукой и сказала:

«Валяйте, ребята, ставьте, как хотите. Только чтобы я не видела этого безобразия. Я отвернусь».

Интуиция вывезла. Угол после долгих мучений поставили, выверили, оказалось все в норме. Но в бригаде долго еще с улыбками вспоминали, как Тамара Анатольевна с полчаса стояла спиной к монтажной площадке и для верности даже зажмурила глаза...

Тут Каринцев начал говорить, и речь его была краткой.

— Мы застряли на первом этаже из-за трудностей освоения нового. Новое — это новое! Мы упущенное наверстаем, но нам надо помочь. Ждем помощи от заводов. Конкретно — наружные панели надо укоротить. Сами мы этого, конечно, сделать не можем. А что можем, то делаем, например струбцины.

— Как настроение в бригаде? — спросил Ярцев.

— Настроение? — Каринцев помялся.

— Смелее.

— А что может быть хорошего, Юрий Матвеевич, посудите сами. — Каринцев вздохнул. — Мои ребята привыкли к скоростям. Обычно только и просят. «Давай, бригадир, давай темпы!» А сейчас мы сели на мель. Ползем в монтаже, как на волах. И непривычно и обидно.

— Ищите виновных, обида пройдет, — заметил Ярцев.

— Ну, не знаю. — Каринцев пожал плечами.

— Товарищи, эмоции пока оставим. Послушаем Тамару Анатольевну как автора проекта. Пожалуйста, — пригласил Петр.

Прежде чем начать, Тамара Анатольевна почему-то бросила взгляд в сторону Ярцева. То ли уже заранее ждала от него упреков, то ли испытывала неприязнь в предчувствии того постоянного противоборства сторон, когда лицом к лицу сталкивается стремление к многоликости и разнообразию форм — у архитекторов, к упрощению и стандартизации — у строителей.

— Как автору проекта говорить мне непросто. И не потому, что я боюсь упреков, которые вот-вот обрушит на меня Юрий Матвеевич. Мы в этом отношении люди закаленные, со строителями воюем давно. — Тамара Анатольевна поправила правой рукой прическу, жест ее получился вальяжным, с сознанием достоинства и женского обаяния. — Проект обкатан достаточно во всех инстанциях. Но это не гарантирует от того, что кое-где в чем-то могут обнаружиться сырые места. Вот хотя бы, как на этих стыках. В проекте, правда, все выглядит гармонично.

— Гладко было на бумаге, — прервал ее Ярцев.

— Знаю, знаю поговорку. И про овраги, и про все другое, что обнаруживается в действительности. Но не приходит ли вам, Юрий Матвеевич, в голову, что и завод может давать панели с допусками, неровные, неточной геометрии?

— Можно измерить,— бросил Ярцев.

— Мерили. И представьте себе, попадаются некондиционные и просто кривые, то есть явный брак.

— Ну, знаете! — вскипел Ярцев. — Вы еще валите с больной головы на здоровую. Спасибо.

Петру пришлось вмешаться.

— Не время нам, честное слово, препираться. «Горлом не возьмешь, бранью не выпросишь». Бригаде Каринцева легче не станет.

— Ну, если вы такой специалист по пословицам, я вам отвечу другой: «Не выругаешься, дела не сделаешь». Это не в том смысле, чтобы нам тут оскорблять друг друга,— пояснил Ярцев,— а в том, чтобы, доругавшись, установить истину, на ком вина, и с виновного спросить.

— А я пока хочу спросить только одно, Тамара Анатольевна,— Петр повернулся к архитектору,— вы поддерживаете предложение Каринцева насчет наружной панели? — Петр все время не оставлял попыток ввести обсуждение в деловое русло.— Чертежи подпишете?

— Придется, видимо, пойти на это,— вздохнула Тамара Анатольевна.

— Скажите на милость, какое благодеяние! «Придется пойти»,— зло повторил Ярцев.— Прямо осчастливили! А нельзя ли у вас полюбопытствовать, куда придется ходить или бегать тому, кто должен менять штампы на заводе? Вот ему, например, бедолаге?

Ярцев ткнул пальцем в плечо главного инженера завода, сидевшего рядом и до сих пор сохранявшего угрюмое и безразличное спокойствие.

— Не понимаю вашего тона и не принимаю его,— покраснела Тамара Анатольевна.

— Нет, вы прекрасно понимаете, что заводу надо менять технологию формовки, детали,— громко заявил Ярцев.— Это ж практически — все ломать!

— Так уж и ломать. Просто ужать формы,— возразила Кунина.

— Это вам просто. А у нас конвейерное производство. И чтобы вносить какие-либо поправки, одной вашей подписи мало, уважаемая. Необходимы еще санкции различных инстанций.

— Да-да, бег на длинную инстанцию,— не то оговорившись, не то с осмысленной иронией произнесла Тамара Анатольевна.— Вот вы, Юрий Матвеевич, и дадите нам эту санкцию,— добавила она.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала! Вы думаете, кому-нибудь охота расплачиваться за чужие грехи? Таких любителей ныне маловато находится. Вот только, может быть, Евгений Ашотович, который все молчит. Проснитесь, друг. Это на нашу шею хомут надевают!

Главный инженер, к которому так обратился Ярцев, худощавый брюнет с кавказскими чертами лица, поднялся со стула и неожиданно обратился не к Тамаре Анатольевне, а с полуупреком или полужалобой к своему непосредственному начальству:

— Юрий Матвеевич, вот вы требуете и требуете от нас наращивать объемы производства. А каково состояние нашего оборудования? Станы-то уже старички. Им пора на пенсию. Мы ведем реконструкцию, не снижая производительности. И в жесткие сроки. Легко ли это?

— Вы, собственно, к кому обращаете этот монолог? Ко мне, в Главмосстрой, к господу богу? Не мальчик, и знаете, что всюду так. Никакая реконструкция не может отменить выполнения плана. Чего вы заныли?

— Не ноем, правду говорим, — с пробившимся гортанным акцентом и тоже, видимо, возбуждаясь, заявил Евгений Ашотович. — Теперь — жилье... Мы все время просим: дайте нашим людям квартиры около завода, здесь, на Пресне, а не в Теплом Стане или Чертанове. Вы же знаете, Юрий Матвеевич, дать людям жилье в другом конце города — это значит через год потерять половину рабочих.

— Ашот Евгеньевич, нет, простите Евгений Ашотович, вы, часом, не забыли, куда и зачем пришли? — Ярцев, видно, терял терпение. — При чем тут реконструкция, жилье, черт побери! Мы решаем локальный вопрос о наружных панелях. Ваше мнение?

— Будет указание — сделаем.

— Кроме указаний надо иметь еще и свои соображения. Вы что — бездумный исполнитель? Странно! Должность у вас не такая. Все-таки главный инженер.

Евгений Ашотович не ответил. Не хотел ли спорить с начальством, оскорбился ли грубостью Ярцева или не имел серьезных возражений по существу? Раздумывать над этим Петру было некогда.

— С панелями надо сделать то, что просит Каринцев. Иного выхода нет, — сказал Петр Ярцеву. — Я сам убедился — бригадир прав. Если надо помочь, то я готов всеми средствами.

— Однако ж все это не такие пустяки,— ответил Ярцев, понемногу успокаиваясь.— Вовсе не такие пустяки, как кажется автору проекта. Да и вам, Петр Михайлович. Наши-комбинатские заводы работают на пределе возможностей. Уж вам-то как этого не знать! А тут еще нате, исправляй огрехи творческой, с позволения сказать, мысли. Час от часу не легче!

Ярцев поднялся, застегивая портфель. Нахмуренное выражение его лица не оставляло сомнений в том, что он не намерен больше терять времени в кабинете Шубенкова.

Петр улыбкою пытался разрядить напряжение.

— В общем, можно сказать, что обмен мнениями был полезный.— Петр подводил итоги совещания.

— Юрий Матвеевич,— он обратился к Ярцеву,— так сложились наши дела, что этот вопрос мы будем пробивать всеми силами. В Москве рождается новый дом. Дом хороший. Радость для жителей, украшение столицы. Так неужели мы не сделаем все, чтобы эти роды прошли успешно? Сделаем, сделаем! С вашей помощью, Юрий Матвеевич,— говорил он уже в спину уходящему Ярцеву, который только раз оглянулся, чтобы бросить на Петра, казалось бы, мимолетный, но острый и неприятно кольнувший взгляд.

После этого короткого заседания, напряжение которого отозвалось на нервах Шубенкова, да, наверно, и других тоже, все разошлись. Лишь Тамара Анатольевна задержалась в кабинете, и Петр почувствовал, что она хочет с ним поговорить. Но как обычно, едва закончилось заседание и вновь заработал отключенный на время селектор, он замигал огоньками, затрезвонили телефоны, стали заходить в комнату сотрудники управления.

— Нам здесь не дадут поговорить. Давайте выйдем на свежий воздух.

— Вероника! — крикнул Петр через селектор секретарше.— Меня снова нет, все вызовы не отменяются, переносите только на полчаса.

На перекрестке они остановились в раздумье, куда свернуть.

— Может быть, к заставе, там в садике хорошо? — предложил Петр.

— С удовольствием,— согласилась Тамара Анатольевна.— Маловато мы движемся, пешком гуляем по Москве, а какое это наслаждение! Знаете, я в молодости очень

любила гулять по нашему городу. Движение — это жизнь. Все мы это знаем, давно усвоили, но до чего же ленивы!

— О себе я этого сказать не могу. Двигаюсь изрядно, и когда бригадирствовал, и сейчас. Иногда так намотаешься, что как собака готов язык на плечо высунуть.

— Образ-то не слишком эстетичный. — Тамара Анатольевна усмехнулась. — Кстати говоря, Петр Михайлович, насчет этики и эстетики. Грубоват ваш Ярцев. Просто хамски разговаривает. Да еще с женщиной. И это его постоянное раздражение против всех становится чертой характера. Может быть, он сам этого не замечает? Так надо ему подсказать.

Они шли по улице, где движение потише и было не так шумно.

— Насчет Ярцева я не могу быть объективным, — отзывался Петр. — У меня с ним нечто вроде биологической несовместимости. Вот чувствую кожей — разные мы люди. Не жалуем друг друга симпатиями. Вот потому ваш вопрос, Тамара Анатольевна, для меня трудный.

Петр помолчал. Он тоже был зол на Ярцева, но раздражение — плохой советчик в оценке людей.

— Послушайте! — воскликнула Тамара Анатольевна так, словно нашла что-то на дороге. — А вам не кажется, что Ярцев в душе против нашего дома вообще, что ему было бы куда спокойнее продолжать гнать паровоз по старым рельсам, лепить и лепить девятиэтажки? Дело налаженное, спокойное и доходное. Перевыполнение плана, премии. Безо всякой мороки. А люди — что ему! Было время, жили и хуже.

— Ну, это вы строго очень, жестко, пожалуй. Вряд ли так обстоит дело. — Петр был смущен ее резкостью. И вообще, ему не хотелось больше развивать эту тему.

— А может быть, и не вряд ли? — не унималась Тамара Анатольевна. — Прямо кто же поперет против новой серии домов? Кто выступит открыто? А вот ставить палки в колеса, где можно, тормозить — это и есть трусливая форма сопротивления.

— Не знаю, не знаю. Чтобы так судить, надо больше знать человека, а я с Ярцевым сталкивался не так уж много. Воздержусь.

Они подошли к садику и сели на скамейку под молодой липой.

— О чем вы хотели со мною поговорить? — спросил Петр.

— Говоря честно, просто хотелось побеседовать с хорошим человеком, снять с души тот горький осадок, который остался у меня после совещания. И как-то разрядиться. Поверьте мне. Я не вижу ошибки в своих чертежах и вместе с тем не понимаю причину того, что происходит у Каринцева. Винить же целиком завод я тоже не имею основания. Что вы думаете об этом?

— Если откровенно, то думаю, что небольшая ошибка у вас все же была. В точности. Что хочу сказать, — Петр оживился, ибо не раз думал об этом, — мы привыкли в строительстве считать только на сантиметры. И мерить грубо. Кирпич, панель — не втулка, дом — не турбина. Чего, мол, там особенно чикаться! И не замечаем, что в домостроении мы сейчас выходим на точности качественного машиностроения. Вот в чем штука. А на заводах железобетонных изделий иной раз формы меряют куском шпата, а углы подбивают кувалдою. Сам видел, правда лет пять назад. Ну какая же тут может быть точность?

— Может быть, может быть! Я вам скажу, Петр Михайлович, мыслите вы живо, цепко и весьма по-современному. Странно, что вы так долго просидели в бригадирах. Хватка у вас начальственная.

— Бригадиру тоже голова пужна, Тамара Анатольевна, тем более, если мыслить современно, — усмехнулся Петр.

— Уколол, уколол! — Тамара Анатольевна с улыбкой и кокетливо тронула Петра за плечо, глаза ее засветились живым интересом к разговору ли, к собеседнику — понять было трудно. Во всяком случае, она, видно, разрядилась и повеселела.

Петр вспомнил об Ирине. Он давно уже не видел ее и скучал. Тамара Анатольевна была, видно, старше Ирины, раскованнее и злее, но что-то в характерах их сближало — волевое начало, умение постоять за себя. В характере ее чувствовалась уверенная самостоятельность женщины, привыкшей по-мужски решать все вопросы.

— Ну а вы-то сумеете постоянно перестраиваться на все наши повшества? — вдруг резко сменила тон Тамара Анатольевна. — Освойте вот шестнадцатэтажки, да мы-то не остановимся, еще неизвестно, на что вас через парутройку лет переориентируем... А трудно, трудно придется вам, Шубенков, не легче, чем Ярцеву сейчас.

— Так работы, перегрузок я никогда не боялся,— с легкой улыбкой ответил Петр.— Мне один писатель, вместе в одной делегации в Югославию ездили, сказал как-то вроде бы даже и всерьез: «Петя, запомни! Инфаркты бывают не от работы, не от перегрузок, а от неосуществленных желаний».

— Остроумно. Это могла бы сказать и женщина,— заметила Тамара Анатольевна.

— Да так, таким путем. В общем, давайте договоримся — действовать как наметили. И домик вытянем. Будет стоять как штык!

— Как штык — это армейское сравнение,— возразила Тамара Анатольевна,— нам не подходит. Нам красота нужна.

— Добро. Пусть так. Надо прощаться, Тамара Анатольевна. Спасибо за прогулку. Думаю вернуться на трамвае в управление. Пешком уже некогда. Всего вам хорошего,— пожелал Петр.

ГЛАВА 10

Ирина звонила несколько раз по прямому телефону в кабинет начальника управления, минуя секретаршу. Этот номер ей дал Петр, опасаясь, что Вероника начнет узнавать женский голос, упорно домогающийся Шубенкова, и насплетничает Кате. Жены начальников всегда в хороших отношениях с секретаршами.

Встретиться им все не удавалось. То Петр не мог, то Ирина оказывалась занятой. Наконец в пятницу договорились. Петр сказал Веронике, что поехал на совещание в Главмосстрой на улицу Горького, и действительно посидел на совещании полчаса, чтобы «отметиться», потом быстренько сбежал и на метро по прямой направился в Измайлово.

На метро с тех пор, как стал начальником управления, Петр ездил редко, и сейчас, вспомнив бригадирские времена, с удовольствием ощущал все преимущества этого вида транспорта. Быстроту движения. На «Волге» да еще через центр — времени ушло бы не меньше. Потом живительную прохладу в подземных вестибюлях. Демократично и удобно.

Петр от Щелковской пешком прошел до 15-й Парковой. Когда-то он с бригадой на первых Парковых возво-

дил дома-пятиэтажки без лифта, системы архитектора Лагутенко, ныне уже основательно позабытого, который в свое время слишком потрафил нетерпеливому стремлению дать быстро дешевое жилье столице и пренебрег многими требованиями комфорта и эстетики.

Возмездие пришло быстро. Дома эти стали непопулярными.

«Служенье муз не терпит суеты», — сказал когда-то Пушкин. И для музыки архитектуры нет исключений. Архитектор, по слухам, бродившим среди строителей, пытался даже отказаться от премии за этот проект. А сами здания, хотя и стоят еще в изрядном количестве, но запово в Москве не возводятся и в современной столице считаются уже архитектурным анахронизмом.

Ирина жила в шестиэтажном, кирпичной кладки доме, принадлежащем кооперативу «Эфир-2». Название это говорило о том, что хозяева кооператива — сотрудники радио и телевидения. Так оно и оказалось. Среди сынов эфира директор Сосновского музея занимала однокомнатную скромную квартирку, так сказать, в порядке исключения.

Петр поднялся на последний этаж в гроыхающем лифте. Затем с приятным и каким-то особым трепетом, давно уже им не испытываемым, Петр нажал на кнопку звонка.

— Как добрались, быстро нашли? — обрадованно спросила Ирина, открывая Петру дверь в маленькую прихожую. — Снимайте ботинки, полы натерты, я дам вам тапочки, — не ожидая ответа, тут же приказала Ирина. — У меня такой порядок.

Петр послушно снял туфли, влез в просторные тапочки и спросил, куда ему идти: на кухню или в комнату?

— Если хотите есть, то прямо на кухню — накормлю, а нет, так в комнату, но в любом случае я вам сначала сварю кофе. По-турецки. Это у меня получается неплохо. И не заявляйте, что не устали. Все равно не поверю. Сидите, я быстро.

Петр прошел в комнату, сел в удобное кресло около круглого стеклянного столика для журналов и огляделся. Он сразу заметил на стене множество картин, главным образом акварелей. Обращали на себя внимание чистота в комнате и такой порядок, которого у себя дома Петр не видел. Катя была неаккуратна, вещи обычно валялись где попало. Здесь же все имело свое место, нигде ни пылин-

ки, ни соринки. Пианино, которому нашлось место у задней стены, говорило о любви к музыке более глубокой, чем прослушивание магнитофонных записей или телевизионных концертов.

Петр скользнул взглядом по корешкам книг в большом остекленном шкафу. Много книг по искусству, несколько дорогих изданий, например альбом Босха.

О существовании этого знаменитого художника Петр узнал случайно. В одной из своих командировок в Венгрию гулял по улицам со своим товарищем по делегации, художником из Риги. Тот увидел роскошное издание Босха в книжном магазине на улице Ракоци и застыл, как пригвожденный, у витрины. Петр видел, как художник колебался: купить — не купить это антикварное издание. Наконец решился, не пожалев 500 форинтов. Причудливая фантазия Босха, его фантазмагорические видения поразили и Петра, не очень-то сведущего в живописи.

— Вот у вас Босх! — сказал Петр удивленно взглянувшей на него Ирине, когда она вошла в комнату с подносом, поставила на столик чашки и села напротив Петра.

— Оцениваете?

— Что? — не понял Петр.

— Комнату, книги, картины. Не удивляйтесь, картины и некоторые книги мне дарит брат-художник. Он — талант. Смотрите, какие солнечные акварели!

Петр заметил, что и большой абажур, венчающий торшер у изголовья дивана, был расписан по периметру цветными фигурками мифологических персонажей. Ирина проследила за взглядом Петра.

— Тоже Васина работа. Я его зову «Васявеличество». Из уважения к его одаренности.

— Художественная квартирка у вас, — заметил Петр и этим, видно, польстил Ирине.

— Обыкновенная. Вы пейте кофе, он стынет.

Отведав кофе, Петр вспомнил, что он захватил с собою бутылку коньяка, извлек из холодильника, который стоял в небольшой комнате отдыха, соединенной со служебным кабинетом. Водку и коньяк держал всегда для гостей — своих и иностранных. Сейчас же вытащить бутылку из кармана плаща Петр не решался: «Пришел в гости к одинокой женщине и — на тебе, тут же бутылка!»

— Что вы так затуманились? — почувствовав замешательство Петра, спросила Ирина.

— Грубый я человек, работяга. Прихватил коньячок, а сейчас не знаю, что с ним делать? Извините.

— Ладно уж! Чтобы карман не оттягивала, ставьте на стол. Будет настроение, и выпьем по малой. Мы не дети!

— Спасибо на снисхождении, вы мудрая женщина, — с облегчением вздохнул Петр. — Я люблю в людях простоту, искренность, открытость. Вот полегчало на душе.

— Ладно, ладно! Только вы из моей открытости, дорогой товарищ, не делайте поспешных выводов. Сечете ситуацию? Это у брата есть такое выражение.

— Секу вполне определенно. — Петр улыбнулся. — Я сообразительный.

Потом они заговорили о Сосновском парке. Ирина заметно оживилась. Эта тема, видно, не могла ей наскучить. Она снова напомнила Петру, что еще предстоит утверждение в Главмосстрое представления ГлавАПУ относительно создания зеленой зоны.

— А потом фундаменты, которые уже сделали, засыпать землей и посадить там саженцы, — рассуждала она. — И тут подойдут новые заботы: где найти средства, как попасть в план районных организаций по озеленению, не пропустить сроки. К тому же на моих плечах еще и ремонт некоторых старых строений в самом парке. Помните, я вам показывала. Летний театр. Бельведер. Забот полный рот.

— Здесь я тоже секу, — пошутил Петр, — знакомые хлопоты.

Ирина ушла на кухню приготовить ужин. Пока она там возилась, Петр вытащил из кармана плаща бутылку, откупорил и разлил коньячок по маленьким рюмочкам из зеленого стекла. Они выпили по одной, потом по другой.

— Хорошо мы сидим, уютно, — сказал Петр. — Я чувствую, что душа у меня начинает разогреваться.

— «Хорошо сидим», — повторила Ирина, — какое забавное выражение. Должно быть, из сугубо мужского лексикона. Женщины так не говорят.

— Конечно, мужского. Посидеть — это у нас, у строителей, значит после работы выпить немного в хорошей компании, откровенно поговорить о том о сем, вспомнить что хочется. Обычно после получки, два раза в месяц. Это у нас называется «день монтажника».

— Только два раза в месяц? — Ирина Сергеевна недоверчиво покачала головой.

— Бывает и больше,— признался Петр.— Тут нормы нет. И между прочим, осуждать нашего брата тоже не за что. Мы вкалываем будь здоров. Однако ж не так, как у Некрасова сказано про мужика: «Он до смерти работает, до полусмерти пьет». Соблюдаем аккуратность.

— Аккуратность так аккуратность. А что бы вам сейчас хотелось вспомнить, о чем поговорить со мною? Вот что интересно.— Ирина блеснула глазами.— Я думаю, что, если с женщиной не о чем поговорить, занятый человек вряд ли после работы потащится из центра в Измайлово.

— Совершенно правильно думаете. Вы умница! — воскликнул Петр.

— И все же о чем, Петр Михайлович?

— Конечно, о вас.

— Это неинтересно, право,— возразила Ирина.— Я самая обыкновенная женщина. Дюжинная натура. И со всеми женскими недостатками. Капризна. Переменчива в настроениях. Бываю и доброй, и злой, и веселой, и мрачной.

— Нет, вы умница! — повторил Петр.— Я в этом убеждаюсь все больше. Женщины обычно живут сегодняшним днем, в завтрашний редко кто заглядывает, а вы умеете думать с перспективой. Людей чувствуете хорошо. А еще — бойцовский характер. Это вообще редкость. Я сразу заметил у вас такую неженскую боевитость и упорство. Не истеричность и вспышки, этим не удивишь, а именно спокойное упорство.

— Так это, наверно, не очень хорошо, если боевитость неженская. Я ведь женщина!

— Нет, хорошо, вам все идет,— подтвердил Петр.— Все о чем говорю.

При этом Петр снова дотронулся до теплой руки Ирины, она еле заметно вздрогнула и отняла руку, но не сразу. Спросила, чуть зардевшись:

— Это что же, объяснение в любви?

— Да. А разве не чувствуете?

— Я чувствую, Петр Михайлович, что вам надо сейчас успокоиться и рассказать что-нибудь о себе.— Ирина слегка отодвинулась вместе с креслом.— Вот хотела давно спросить, как вы попали в рабочие? Человек способный, почему сразу не пошли в институт?

— А почему обязательно в институт и сразу? — Петр пожал плечами.— Я недавно заочно закончил строитель-

пый институт, правда, долго мучился, лет шесть, но о том, что вышло не сразу, не жалею. Да и чувства удовлетворения больше. Сразу со школьной парты пересест на студенческую — велика ли невидаль! Вот из бригадиров выйти в инженеры, в строительные начальники — тут попотеть надо.

— Безусловно, — согласилась Ирина.

— Чувство самоуважения у человека должно расти. Если растет — значит, жизнь идет правильно.

— Тоже верно, — кивнула Ирина.

— А в рабочие попал, — продолжал Петр, — потому, что жизнь заставила. Отец погиб в сорок пятом. Я — подросток, а мама, она в войну работала кассиршей в магазине, хотя имела филологическое образование, не могла устроиться по специальности, а как только закончилась война, пошла в школу. Велики ли заработки у педагога? Жили мы в развалюхе около Химок. Это сейчас город туда подбежал, а раньше пустырь пустырем. Комнатенка вроде чулана. Как выбираться оттуда? Одна надежда, что жилплощадь дадут на работе. Был я парень рослый, сильный, энергии неуправот. Ну и пошел на завод, учеником слесаря. Там рядом с нами был один небольшой. Однако не прижился.

— А отчего же? У вас такая рабочая статья...

— Стать статью, а вот чего-то не хватало мне. Я думаю, воздуха.

— Потолки низкие в цехе?

— Нормальные, — улыбнулся Петр. — Не хватало воздуха, который... ну как бы под сердцем. Хотелось чего-то более интересного, захватывающего, так, чтобы утром встать и бегом, бегом на работу, скорее бы начать ее. Вот так!

— Как хорошо вы это говорите, — заметила Ирина. — Нечто похожее я тоже переживала.

— Значит, вы меня понимаете?

— Понимаю так, что на стройке вы нашли себя.

— Нашел дело на всю жизнь. — Петр при этом сделал еще одну попытку погладить руку Ирины.

— Странные вы, мужчины, — вздохнула она. — Вот говорит человек умно, хорошо, даже вдохновенно, а рука, как автомат, зачем-то производит непонятные манипуляции, словно бы это рука совсем другого человека. Зачем это? И чего вы, вообще, мужики, все время ищете на стороне? Чего вам не хватает в семье?

— Я же вам сказал — воздуха.

Петр улыбнулся, ощущая приятную легкость раскованности и смелости. Налил себе и Ирине еще немного коньяку.

Чего он искал в этих встречах с Ириной? Сейчас он отшутился, а если ответить всерьез? Найдет ли он ясный ответ, если даже потребует сам у себя исповеди с условием абсолютной искренности?

Петр чувствовал, что его тянуло к Ирине, он любил с нею разговаривать. И Петру казалось, что эта женщина понимает его глубже и больше, чем Катя, с ее всегдашними жесткими прикидками любого поступка с точки зрения прямой пользы для себя или мужа.

Петр упрекал жену за ее усиленную тягу к так называемым нужным людям. «Нужники» — так называл он их. Порою болезненно ощущал неискренность, преувеличенное восхищение Кати, иногда даже нотки холуйства перед «нужниками», приходившими в дом. И хотя все это облекалось в формы свойственной Кате живой непосредственности, фальшь оставалась фальшью. Петр ее не принимал и не мог к ней привыкнуть.

Ирина же представлялась Петру другой. Ему нравились ее душевная уравновешенность и сила, опирающиеся на чувство достоинства. А уж это, как думал Петр, всегда противостоит стремлению перед кем-либо заискивать, заводить так называемые деловые связи, иной раз просто по инерции повышенной общительности, даже без большой практической нужды.

— О чем вы так задумались? — прервав затянувшуюся паузу, заинтересованно спросила Ирина.

— Думаю о том, какая вы хорошая женщина.

— Да ладно вам, — она махнула рукой, — комплимент, повторенный дважды, теряет свою силу, а в третий раз так вообще все ставит под сомнение.

— И еще думаю, не выпить ли по одной?

— Нет уж, хватит. Вы что, хотите пить со мною на равных? Я вам не мужик все-таки. Это одна из тех вещей, где я не признаю равноправия, — заявила Ирина.

— Я понял и слушаю приказание. Только хочу сказать, что чувствую себя с вами так хорошо, что хочу даже поцеловать...

Петр снова дотронулся до руки Ирины, и она ее не отняла... Потом Петр поднялся и потушил люстру. Ирина его не остановила. Свет торшера, ложившийся на тахту

веселым желтоватым пятном, оттенял полумрак комнаты. Когда потух и свет торшера, Петр увидел сквозь незашторенные окна словно бы приблизившийся силуэт дома напротив, весь в светящихся сотах окон.

Здесь, в глубине Измайлова, где нет промышленных предприятий, мало машин, далеки трамваи и троллейбусы, всегда тише днем и особенно вечером, чем в иных районах. На обширных зеленых скверах и аллеях пахнет, как в лесу. Петр услышал под окном какое-то птичье щебетанье. Подул ветерок, и легкая занавеска на окне щелкнула, как кнут.

— Закрой окно,— тихо прошептала Ирина.

Чуть правее громады выстроенных корпусов Петр увидел знакомое очертание строительного крана. Сюда, в комнату, даже в этот вечерний час доносился шум стройки.

Петр нашел в темноте руку Ирины Сергеевны и начал ее целовать. Потом наклонил ее голову и поцеловал в висок, в щеки, долго не отнимая губ...

— Тише, тише, у меня соседи, тише, умоляю,— просила она.

Что-то свалилось с тумбочки. Звякнуло стекло.

— Неужели будильник?! — воскликнула Ирина Сергеевна.

— Может быть, какая разница! Будильник, время — все кончилось, все, все! — жарко шептал Петр.

Да, он не слышал больше ничего: ни шума стройки, ни перебранки соседей за стеной, ни тиканья лежащего на полу будильника. Ничего. Никого. Тишина навалилась на них мягкой шубою...

ГЛАВА 11

Перед тем как отправиться в Главмосстрой для окончательного решения вопроса с защитной зоной, Ирина позвонила Петру в управление.

— Одной мне не хотелось бы идти к этому самому заместителю начальника Главмосстроя. Большой начальник, я его побаиваюсь, посоветуй что-нибудь?

— Валентин Петрович Шаховской — умный человек, хотя и с характером. Я его давно знаю.

— Составь компанию. Век буду помнить и благодарить за наш парк.

— Мне неудобно. О том, что я ходил в ГлавАПУ, знают на комбинате. Понимаешь,— помялся Петр,— могу, как это говорится, лицо потерять.

— На благородном деле лица не теряют, а впрочем, тебе виднее.

По тону Ирины Петр почувствовал, что она обиделась. Наверно, надула губы и сдвинула к переносице лохматенькие брови.

— Есть идея. Я попрошу пойти с тобою бригадира Каринцева,— решил Петр.— Шаховской его хорошо знает. А разговаривать с начальством Володька умеет. Даже лучше, чем я.

— Ну что ж. Понимаю твою осторожность, хотя и не очень одобряю. Получив должность, не становись, Петр Михайлович, комиссаром собственной безопасности. Вот это действительно будет не к лицу. Ладно, давай своего гегемона,— смягчилась Ирина.

— Кого — не понял? — спросил Петр.

— Представителя класса — гегемона. Шучу, Петенька, не сердись. За Каринцева я тебе тоже благодарна,— закончила разговор Ирина.

С Каринцевым она договорилась встретиться прямо в здании Главмосстроя. В этот дом на улице Горького Ирина попала впервые. Здание ей понравилось: солидное, торжественное. В широких коридорах удивила малолюдность, или, может быть, она пришла в тихий час, когда посетителей немного. И в учреждениях бывают свои часы пик и часы сравнительного затишья.

Полы в коридорах главка устланы мягкими ковравыми дорожками, скрадывающими шум шагов. Двери кабинетов высокие, большие, с медными ручками. Приемная Шаховского сама могла сойти за солидный кабинет. Здание было с такими габаритами внутренних интерьеров, которые сейчас строителям и не снятся.

Каринцев уже ожидал Ирину. Красивый, статный парень с располагающей улыбкой, он болтал с секретаршей, и Ирина сразу решила — это он.

— Здравствуйте, я — Соколовская. А мне вас можно называть просто Володей, или это не подходит для знатного строителя? — спросила Ирина.— Нас заочно познакомил Шубенков. Он мне о вас рассказывал немало.

— Конечно, можно и нужно. Когда зовут по имени, чувствуешь себя моложе,— улыбнулся Каринцев.

— Ладно, не кокетничайте, вы и есть молодой еще человек и, я бы сказала по старинке, приятной наружности. Не считите за комплимент. В подхалимстве не грешна.

Минут через десять секретарша пригласила Ирину и Каринцева в кабинет. За большим столом поднялся высокий, худощавый мужчина лет за шестьдесят с седой шевелюрой, вышел на середину кабинета, приветствуя Ирину, и сказал Каринцеву без улыбки, но мягко и запросто:

— Здравствуй, Владимир.

Затем Шаховской пригласил их в кресла около небольшого стола, примыкавшего к письменному, и сам устроился напротив. Преодолевая невольное волнение, которое ей внушала должность хозяина кабинета, Ирина все же обратила внимание на то, что всюду на специальных подставках располагались макеты зданий различной конфигурации как своего рода наглядная иллюстрация того, чем занимается главк. Такие же макеты она видела в кабинете Шубенкова (снимки его ей однажды показал Петр). И это почему-то немного успокаивало. И еще она отметила про себя, что Шаховской не удивился, увидев ее в сопровождении бригадира Каринцева.

«Суровый, видно, человек», — почему-то подумала она о Шаховском.

Ирина давно уже приготовила речь в защиту защитной зоны. В папке ее лежали все материалы, одним словом, она была готова просить или спорить, аргументировать, доказывать в зависимости от того, как потечет эта беседа. Но странное дело! Хозяин кабинета не торопился пачать разговор с Ириной. Он и не смотрел почти в ее сторону, а, перелистывая какую-то брошюру, которую держал в руках, спросил у Каринцева:

— Ты знаешь, что это у меня?

— Нет.

— Это, брат, важная штука, которая должна тебя и всех бригадиров заинтересовать самым живым образом. Это новое типовое Положение о бригадном подряде, которое мы должны утвердить. Производственный и нравственный кодекс хозрасчета. Вот что это! И по нему тебе, бригадиру, жить и работать.

— Интересно, — протянул Каринцев.

— Еще бы! Ну, так доложи — как живешь, почему не заходишь? — спросил Шаховской и слегка подался корпусом в сторону Каринцева.

Ирина же в этот момент подумала о том, что она записывалась на прием к Шаховскому за две недели, а в назначенный день он дважды переносил встречу по крайней своей занятости, поэтому вопрос: «Почему не заходишь?» — вызвал на ее губах легкую улыбку. «Так ли просто к вам зайти, Валентин Петрович?», — подумала она.

Что она знала о Шаховском из рассказов Петра? А то, что Шаховской был первым начальником комбината, сидел на теперешнем месте Ярцева. Он создавал этот комбинат в начале шестидесятых годов, собирал кадры, которые и должны были превратить строительную площадку в цех огромного предприятия под открытым небом, где с помощью индустриального потока и четкого графика осуществляется весь комплекс домостроения.

Именно Шаховской в свое время выдвинул Ярцева, он хорошо знал и бригадиров, с которыми начинал новаторское по тем временам дело, в том числе, конечно, и Шубенкова и Каринцева. Домостроительные комбинаты, теперь окрепшие и разросшиеся, сведенные недавно в одно мощное объединение крупнопанельного строительства, Шаховской рассматривал, естественно, как свое кровное дело. И, по словам Петра, любил, как первую девушку.

«Так вот почему он так пристально разглядывает Каринцева, — догадалась наконец Ирина, — и вежливо отвернулся от меня, как будто бы меня и нет здесь вовсе». Начиная сердиться, она тем не менее внимательно слушала завязавшийся разговор Шаховского и Каринцева.

— Я живу хорошо, Валентин Петрович, — заговорил Каринцев со своей неизменной полуулыбкой, которая не всегда отвечала тону и смыслу того, о чем он говорил, — а мог бы еще лучше. Если бы не кое-какие наши застарелые строительные болячки. Если честно говорить, то перебазировки мучают. В прошлом году восемь раз менял место стройки. А приедешь — сплошь и рядом площадка не обустроена, даже воды иногда нет, энергии.

— Случается, — кивком подтвердил Шаховской.

«Наверно, — подумала Ирина — он дает бригадире выплеснуть все, что накопилось у того на душе, раз уж появилась возможность откровенно поговорить со строительным начальником такого ранга».

— Вот бригадный подряд, вы говорите, — продолжал Каринцев, ободренный, должно быть, тоном Шаховского и поощрительной краткостью этого самого «случается». —

Конечно, хорошее дело. На комбинате фактически мы уже давно перешли на него. Знаете, как шутят: «Переведем, мол, всех подряд на бригадный подряд». А вот в трестах Фундаментстроя он применяется, насколько я знаю, редко. А мы от них зависим, как говорится, железно.

— Трест Фундаментстрой теперь вошел в ваше крупнопанельное объединение,— заметил Шаховской.

— Я знаю,— кивнул Каринцев.— Но все равно «нули» они нам задерживают.

— Знаю,— слегка вздохнул Шаховской.— Что я тебе скажу? Со своей бригадирской вышки ты, Владимир, конечно, не все видишь, но прав в одном. Вашему комбинату для ритмичной работы необходим задел нулевых циклов. Более того, нужна ясная перспектива на ближайшее будущее. И синхронность всех звеньев строительного механизма. И конечно же, опережающее инженерное освоение новых районов. Все так. И вот именно поэтому я и хочу обратить твое внимание на это типовое Положение. Мы здесь, в Главмосстрое, видим в бригадном подряде важный экономический и моральный рычаг для совершенствования именно нашего стиля работы. Того стиля, который сложился на наших комбинатах. Улавливаешь мою мысль?

— Да, Валентин Петрович,— сказал Каринцев.

— Я тебе скажу еще так: в числе новых организационных идей в промышленности, которые оправдали себя в последние годы, злобинский бригадный подряд — один из самых удачных.

— Это верно,— вновь охотно согласился Каринцев.

— А раз верно, то посмотри, пожалуйста, Положение, а я пока поговорю с Ириной Сергеевной,— предложил Шаховской, повернул к Ирине голову, но едва Ирина открыла рот, как Шаховской вновь обратился к Каринцеву.

— Обрати внимание на такие пункты,— сказал он и, заглянув в другой экземпляр Положения, перечислил: о том, что численность работников в бригаде ты устанавливаешь сам. И заботишься о прибыли. Отсюда выход для твоей инициативы, хозяйственного расчета, смелости даже. Ведь с меньшим числом людей ты можешь сделать больше и больше заработать.

— Все так,— кивал Каринцев. Разговор этот, видимо, его увлек. Как и Шаховской, он словно бы забыл об Ирине.

— И вот еще: «Обязательным условием начисления фонда материального поощрения,— прочитал Шаховской,— является выполнение плана ввода жилья и плана прибыли». Что это означает? — спросил он у Каринцева и тут же сам ответил: — А то, что полный расчет по аккордному наряду производится только после приемки объекта. Зарплата — по тарифам. Но допускается распределение премий с учетом трудового вклада каждого рабочего. К чему это я говорю? А снова к тому же, чтобы ты, бригадир Каринцев, понял, как выросла твоя роль организатора производства, возможность умно, по-хозяйски влиять на трудовую жизнь бригады.

— Все ясно, задача понята, Валентин Петрович,— четко произнес Каринцев, но вот эта уже чисто военная реакция, видно, и не слишком понравилась Шаховскому.

— Не торопись рапортовать,— остановил он.— Дело новое, только входит в жизнь, его еще до ума надо упорно доводить. И возможно, дорабатывать долго. Ты же вот сам верно заметил — наши недостатки и нерешенные проблемы держатся стойко, годами. Они-то и будут мешать бригадному подряду.

Ирина, не выдержав, громко вздохнула. Она уже томилась от разговора, который к Сосновскому парку не имел ровным счетом никакого отношения.

«А ведь бригадир — мужичок молоток. С головой и цепкой хваткой», — подумала о Каринцеве Ирина. Петр, наверно, правильно сделал, послав с нею в Главмосстрой именно этого бригадира. Разговаривать с начальством он действительно умел, явно нравился Шаховскому. Обаяние — это такая вещь, которую на базаре не купишь. Обаяние — категория человеческой одаренности. «Он далеко пойдет», — решила Ирина.

Шаховской теперь, как про себя сформулировала Ирина, «явно разговоренный Каринцевым» и, верно, в хорошем настроении, наконец-то обратился к ней:

— Извините, мы отвлеклись немного. Уж больно тема актуальна — бригадный подряд. Сейчас живем этим. А потом я своих комбинатских ребят давно не видел. Жар воспоминаний, конечно, молодости не возвращает, но все же как-то освежает чувства. Вы, конечно, поняли, что мы когда-то вместе начинали Москву поднимать вверх и вот комбинат создавали.

Ирина кивнула утвердительно.

— Вы не очень скучали?

— Немного. Ну ничего. Так как же с нашим делом, Валентин Петрович? Вы ведь тоже понимаете, я не случайно пришла с представителем комбината. Рабочие в управлении Шубенкова не возражают против нашего проекта. И товарищ Каринцев может это подтвердить.

— Ясно, раз пришел с вами — значит, подтвердит. Ну так вот что,— спокойно начал Шаховской.— Я познакомился с вашими бумагами. С заключением ГлавАПУ. Уважаемая Ирина Сергеевна, придется, видно, на этот раз согласиться с вашими предложениями. Но не скрою, большой радости нам, производственникам, вы не доставили. Такие вопросы, конечно же, надо продумывать и решать заранее, а не заставлять строителей бросать уже начатую работу. Это тоже, извините, не по-хозяйски. И никакие благие намерения такой сумбур не оправдывают. Я хотел, чтобы вы это поняли и учли на будущее.

— Хорошо,— согласилась Ирина,— но учтите и вы, к вам тоже не так-то быстро попадешь на прием, а мы начали борьбу за свой парк, едва только узнали о проекте застройки района.

— Это понятно,— кивнул Шаховской.— Вам могло показаться, что я бесцеремонно заставил вас выслушать наш деловой разговор о бригадном подряде.

— Нет, почему же, я слушала не без интереса.

— А я затеял этот разговор при вас не случайно. Поверьте,— тут Шаховской впервые улыбнулся Ирине,— хотелось, чтобы вы почувствовали, в какой мере нам, строителям, противопоказаны вот такие внезапные нарушения ритма и графиков. Ведь наша мечта работать по четкому перспективному плану, рассчитанному на два-три года минимум.

— Напрасно вы думаете, что я этого не понимаю. Но мы вот уже сколько времени ведем борьбу, а в итоге ваши корпуса нависли над парком. Так уж получилось. Вы тоже извините,— сказала Ирина.

Да, она готова была сейчас извиняться — за причиненное беспокойство, за то, что отнимает время у занятых людей, за все что угодно — лишь бы получилось с защитной зоной.

— Это лишнее,— махнул рукою Шаховской.— Мы тут тоже не узколобые деляги, а живые люди, которые тоже умеют любить природу, ценить красоту...

Ирина поднялась из кресла вместе с Шаховским и Каринцевым. Валентин Петрович проводил ее до дверей, спутника же ее попросил задержаться еще минут на десять. Радостно-возбужденное состояние охватило Ирину. Впору пробежаться по коридорам Главмосстроя или даже запеть. «Вышло! Вышло, как хорошо! — говорила она сама с собою. — Будет защитная зона, будет! Большое дело я сделала! Ай да молодец, Ирина Сергеевна!»

Петр, как и договорились, ждал ее в скверике напротив здания Главмосстроя, там, где сидел на коне бронзовый Юрий Долгорукий.

— Я вижу по твоим глазам, что все в порядке. Подтверди! — потребовал Петр.

— Ах как ты меня успел изучить! Скажите пожалуйста. — Ирина улыбалась.

— Немного уже изучил. Да и нетрудно отгадать твое настроение. Ты вся светишься, словно под током. Дотронься — и ударит.

— Что ж, смелее, дотронься.

Петр легонько обнял Ирину за плечи, перед этим оглянувшись.

— Да ты не тока моего боишься, а своей жены, вот что!

Нет, она не рассердилась. Просто добродушно пошутила. Сейчас ничто не могло испортить ей настроения.

— Победа, товарищ Шубенков! Победа! И конец моим хождениям по мукам. Я сейчас, как говорят спортсмены, прошла финишную прямую. Возбуждена, как девчонка, и не могу ни сидеть, ни стоять на месте.

Ирина потащила Петра по дорожке скверика.

— Но куда? — спросил он.

— Куда хочешь!

— Сейчас решим. Только хочу спросить, как тебе понравился Валентин Петрович, мой бывший начальник?

— Он заставил меня выслушать лекцию о бригадном подряде. Так сказать, в порядке общего развития. Я вначале шипела, как чайник без воды на конфорке. Но потом все разъяснилось.

— Ты знаешь, Шаховской — человек с удивительной работоспособностью. Ведь ему под семьдесят, а трудится по-прежнему, как вол. В кабинете его можно застать и в десять часов вчера.

— А тебя?

— Иногда тоже.

— А я-то думала, что теперь люди в промышленности строго придерживаются рамок рабочего дня,— удивилась Ирина.

— Где-то, наверно, и придерживаются. А вот мне жена говорит: «Живешь ты — на работе, а в семье только коечник».

— А ведь это плохо, Петр, жену твою я в данном случае понимаю. Но сейчас о ней говорить, извини, не хочется. А вот о Шаховском еще скажу. Я заметила, что он равнодушен к вашему комбинату.

Петр утвердительно кивнул.

— И второе. Воздержаться всегда легче, чем сделать добро. А он не воздержался и решил вопрос с парком. А вообще-то, он, наверно, человек требовательный, часто бывает и жестким.

— Бывает. Не размазня, конечно. Умеет потребовать. Слабохарактерные не очень приживаются на стройках,— произнес Петр убежденно.

Они подошли к дверям кафе, находящегося рядом с парадным подъездом Главмосстроя.

— Зайдем, надо как-то отметить,— пригласил Петр.

— А не лучше ли махнуть в Измайлово. Забежим по дороге в магазинчик, а потом вдвоем уютно посидим, потолкуем. У меня дома тебе оглядываться не придется.

— А ты умница! — не обращая внимания на иронический укол, воскликнул Петр, и они решительно зашагали по улице Горького вниз, к метро, как люди, которые внезапно приняли верное, вполне их устраивающее решение.

ГЛАВА 12

Поездка в Калининград выплыла неожиданно. Так оно обычно и бывало. Обмен опытом между строителями планировался на много месяцев вперед, и когда подходили сроки, делегации формировались наскоро из людей уважаемых и компетентных, а следовательно, и очень занятых.

Шубенков и будучи еще бригадиром не слишком-то любил отрываться от своих дел. Даже интересные поездки за рубеж, приносявшие много ярких впечатлений, вместе с тем и утомляли не меньше, чем монтаж корпусов.

Теперь же, став начальником управления, Петр стал ездить реже, и не потому, что поубавились приглашения, а оттого, что не отпускало начальство. Постепенно и сам Петр охоту к перемене мест стал ощущать все в меньшей степени по той главной причине, что будь ты в Африке или в Тюмени, в Ессентуках на лечении или же в Карловых Варах, а все равно никто не снимет с тебя ответственности за выполнение плана, и сам ты ни на кого ее не переложешь, ничем не заменишь.

Насчет Калининграда позволили Петру из Главмостроя, сказали, что надо ехать обязательно, и зачитали состав делегации от комбината. Это были люди Петру приятные — Лазарев Аркадий Николаевич, Коля Борискин.

Будь это еще какое-либо другое место, Петр, может быть, и сопротивлялся, ссылаясь на разного рода трудности и сложности освоения новой серии домов, но Калининград — это Калининград. Под этим городом, тогдашним Кенигсбергом, весной сорок пятого погиб отец.

Самолет улетал из Шереметьева утром. По давней в семье Шубенковых традиции Петр и Катя всегда встречали и провожали друг друга вне зависимости от того, находились ли они в ссоре или же расставались в добром согласии.

Все проводы похожи, куда бы человек ни уезжал. Легкое преддорожное волнение, просьбы, наставления, традиционное «береги себя», «позвони, как прилетишь», поцелуй перед выходом на летное поле.

— Пей меньше, по начальственной норме, а не по бригадирской, помни, у тебя шалют сосуды. — Катя с улыбкою похлопала Петра по щеке своей пухлой ладошкой.

— Ладно тебе! — ответил Петр так же недовольно, как ответил бы и любой другой мужчина, думающий о себе, что выпивает он нормально, как все, и только в компании, соблюдает «пропорцию», ведет себя хорошо, так что такие наставления не нужны ему.

— Не ладно, а помни, — погрозила пальцем Катя. — И поклонись от меня памятнику отца, он был по-настоящему хороший человек.

— Обязательно. Ну, прощай, скоро увидимся, — заторопился Петр: остальные члены делегации, подхватив чемоданчики, уже ушли вперед.

Зайдя в салон Ту-134, Петр устроился рядом с Лазаревым и Борискиным, заняв место у окошка, и эти два с

половиною часа лёта они то разговаривали о том о сем, то замолкали, погружаясь в полудремотное состояние, когда надвигающаяся сопливость борется с желанием окунуться власть в спокойные раздумья и воспоминания.

Но даже и разговаривая с Лазаревым, который сидел ближе, Петр то и дело посматривал в окошко, любуясь необычной картиною рассвета, наблюдаемой с высоты восьми тысяч метров.

Они летели над полями Белоруссии, рощами Литвы, сосновыми и буковыми лесами Калининградской области. И рассвет как бы шел вместе с самолетом, постепенно набирая силу, расширяясь и неуклонно простираясь с востока на запад.

Еще ясно светила луна, и казалось, что усиливается лунный свет, а не солнечный. Но с каждой минутой что-то неуловимо менялось в небе. Пока даже не сама окраска его. Появлялось лишь предчувствие перемены, черные пятна выделялись рельефнее, так, словно бы в туманном море неба появлялись островки с зубчатыми краями.

А внизу, в просветах между тучами, реки и озера начинали отсвечивать чем-то металлическим, небо прояснялось все больше, а на востоке солнце словно бы постоянно и все сильнее пригревало гигантским паяльником тонкую красную полосу земли.

Затем солнечный свет начал белить верхушки холмов, острые пики сосен и, спускаясь ниже, касался строгих шпилей готических соборов, золотил черепичные скаты крыш и чистые ленты мостовых, переливающихся розовато-нежными бликами.

Калининградская земля! Петр вспомнил, как вот так же ранним утренним самолетом он летал в этот город пять лет назад, в дни празднования 25-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Его пригласили горсовет и областной комитет ветеранов войны как сына героя-танкиста, погибшего в боях за Калининград.

Петр, выйдя тогда из самолета на травяное поле еще не слишком обустроенного Калининградского аэропорта, вступил на эту незнакомую землю с ощущением, которое трудно передать одним словом. И волнение, и любопытство, и горечь, и гнев, и боль памяти об отце, и даль памяти о пережитом мамой, отцом и им, Петром.

Мама, побывавшая в Калининграде раньше и несколько раз, естественно, рассказывала Петру о том, что здесь увидела, пережила. Но все же ничто не может сравниться с непосредственными живыми впечатлениями.

Тогда с аэродрома, где Петра встречал горвоенком — полковник и члены комитета ветеранов, его, знатного бригадира строителей, на машине сразу же повезли в тот самый небольшой городок — поселок, который на старых немецких картах обозначался, как Фридрихсорт, а после войны был назван поселок Шубенков, в честь подвига, совершенного здесь майором-танкистом Михаилом Шубенковым.

Гладкое, как черное зеркало, шоссе было обсажено по обеим сторонам буками и соснами. Они стояли словно бы в белых высоких чулках защитных известковых обмазок. Дорога привела машину в поселок Шубенков, или, как здесь чаще произносили по-русски, Шубенково.

Сразу же после войны Шубенково выглядело как поселок при станции с железнодорожными ремонтными мастерскими, большим пушным зверосовхозом, маленьким заводом. Но теперь все здесь разрослось, появилось много новых улиц, строений.

— Вот-вот возведут в ранг города, — сообщил Петру горвоенком, с явным желанием сказать что-то очень приятное сыну Героя.

— Да, это хорошо, — кивнул Петр.

Неподалеку от станции, в окружении нескольких массивных, прочной немецкой кладки старых домов с желто-коричневыми черепичными скатами крыш находилось, должно быть уже после войны выстроенное, несколько аляповатое, с белыми колоннами здание клуба.

От клуба дорожка, обсаженная липами, вела прямо к памятнику. Петр прежде всего хотел посмотреть памятник отцу и сразу круто свернул на эту дорожку, впрочем, это, видно, совпадало и с намерениями горвоенкома.

Как ни волновался тогда Петр, а волнение, как известно, убивает наблюдательность, а все же он заметил, что кора лип сильно отливала зеленым, словно бы она успела слегка заплесневеть. Тонконогие же березки, как и в Подмосковье, отражали утренний свет и издалика казались похожими на высокие свечи.

Стояли в зеленом эскорте у памятника дубки, мелкие елочки и две голубые ели у самого подножия монумента, как бессменные часовые.

— Вот он.— Военком показал Петру рукою на памятник, который постепенно выдвигался навстречу им из глубины аллеи.

— Да, это он! — тихо произнес Петр, чувствуя, как сильно и жарко забилося у него сердце.

...Это он понял позже. Сколько ни готовься к такой встрече, а все же свидание с родным тебе человеком, отлитым в бронзу, всегда ошеломяет — иначе и быть не может.

Он вначале слишком близко подошел к памятнику. Пришлось закинуть голову, разглядывая бронзовую фигуру отца. И что-то мешало смотреть. Волнение ли, жестким комом схватившее горло? Слеза ли, произвольно замутившая взор?

Петр стоял ближе всех к памятнику, горвоенком и его спутники деликатно поотстали, пропустив Петра вперед.

Петру врезалось в память самое первое впечатление. Памятник ему показался ни большим, ни малым, в нормальный человеческий рост, отец — молодой, крутолобый, с густыми бровями, с чуть вздернутым носом и резко очерченным подбородком, точно такой, как на старых фотографиях в альбомах мамы, в меховом танкистском комбинезоне смотрел прямо перед собою, поверх этих дубков и кленов, в сторону железнодорожной станции, связывающей город Калининград с носящим его имя поселком Шубенково.

В постамент памятника была врезана темная плита, на которой крупными белыми буквами написано:

*Герой Советского Союза
Шубенков Михаил Васильевич
1919—1945*

Петр вслух прочел эту надпись.

— Ну, здравствуй, папа! — негромко произнес он и сдернул со своей головы кепку.— Здравствуй!

Повинуясь сильному душевному волнению, Петр хотел было опуститься перед памятником на одно колено, как это делают солдаты в армии и как делал он сам во время принятия присяги, целуя край боевого знамени. Но, колебавшись, он все же не сделал этого. Почему? Что-то удержало. Необычность обстановки, внутренняя застенчивость, всегда восстававшая против позы, аффектации, просто боязнь показаться слишком сентименталь-

ным и впечатлительным в глазах горвоенкома и его спутников офицеров. Потом Петр вспоминал об этой своей нерешительности с горечью.

— Здравствуй, папа! — повторил он тогда еще тише, сделав еще один короткий шаг ближе к постаменту.

Сколько было лет отцу, когда он погиб? Двадцать шесть. А Петру теперь тридцать, он, Шубенков-сын, оказался старше отца. Старше уже сейчас, а далее год от года он будет становиться все старше, а отец так и останется вечно вот таким же молодым, веселым, сильным, каким его, следуя правде жизни, характера и духовной сути, изобразил скульптор.

«Отец моложе меня, но старше одновременно, — думал тогда Петр. — И не только потому, что мой отец, а потому, что он Герой войны, совершивший свой подвиг. И уже это одно дает ему право учить сына, наставлять его всей мерой своего опыта, выстраданного, пережитого, учить сына, родившегося для послевоенной мирной жизни. Подвиг дает право учить. Как это верно!»

...Сколько времени он стоял тогда молча около памятника? Ему казалось, что долго. Минут десять. Хотя прошло, наверно, всего-то минуты две-три. Петр обернулся. Горвоенком о чем-то беседовал сзади со своими офицерами, они сбились в кружок, как бы не обращая внимания на Петра и давая ему возможность побыть наедине с монументом столько, сколько ему захочется.

Но Петра стесняло присутствие посторонних. Ему казалось, что он задерживает этих людей, приехавших сюда, конечно, ради него, Петра Шубенкова, но уже не раз видевших и этот скверик, и бронзовое изображение героя-танкиста.

— Спасибо! — произнес Петр, подходя к горвоенкому и пожимая им всем руки.

— Уже? — спросил его горвоенком.

— Да, спасибо, — еще раз повторил Петр. — Я теперь сюда буду часто приезжать, хотя и далековато от Москвы. Один, — почему-то добавил он и тут же спросил: — Что еще можно здесь посмотреть?

— Сам поселок и вот клуб. Там есть выставка, посвященная подвигу вашего папы. Посмотрите?

«Подвиг папы!» — повторил Петр про себя слова горвоенкома. Это необычное сочетание звучного слова «подвиг» и сердечного, мягкого «папа» и та неподдельная

душевность, с какой военком произнес эти слова, тронули сердце Петра и радостью и печалью.

Папой он называл отца будучи только малым ребенком, да и то не видя его рядом с собою. В слове этом вдруг зазвучала для Петра уже забытая музыка детства, горькая полынь воспоминаний о войне. Легкий озноб волнения охватил Петра. Он даже вздрогнул, и ему не хотелось, чтобы военком заметил это.

— Да, конечно, конечно,— сказал он.— Я посмотрю выставку.

Они зашли тогда в прохладный вестибюль клуба, где в фойе висел бросившийся в глаза плакат: «Путь к бессмертию», а ниже транспарант с фотографиями времен войны, иллюстрирующими боевые действия в Восточной Пруссии, танковые бои на подступах к Кенигсбергу.

Фотографии эти, примечательные сами по себе, прямого отношения к подвигу танкистов батальона Шубенкова не имели. Может быть, поэтому они не слишком запомнились Петру. И вообще, клуб, скромный, малоухоженный, не произвел на него впечатления. Здесь все выглядело как-то хмуро, неуютно, и куда лучше и легче дышалось на липовой и буковой аллее, ведущей к памятнику, где ветерок примешивал к запаху цветов, травы, подсушенной коры деревьев еще и легкую горечь паровозного дыма, и влажное дыхание близкого моря...

...И все же Шубенково крепко пало Петру на сердце. Во второй раз очутившись в Калининградском аэропорту, Петр первым делом подумал о поселке. Он поехал бы туда немедленно, однако у встречавших товарищей из местного ДСК был свой план проведения этой деловой поездки коллег из столицы. Они повезли своих гостей сначала в город, в лучшую гостиницу — «Москва».

Хотя Петр ехал по этой дороге из аэропорта в город не впервые, многое в облике Калининграда привлекло его заинтересованное внимание. Когда начали по обеим сторонам шоссе мелькать пригороды, Петр отметил про себя живописное чередование современных домиков и тех старинных, с толстыми кирпичными стенами и черепичными островерхими крышами, чье немецкое происхождение не оставляло никаких сомнений.

Центр города поражал тем же пестрым смешением стилей, не только национальных, но и временных. За архитектурными формами здесь проглядывали столетия, со всем их неповторимым своеобразием.

И здесь и там новенькие типовые пяти- и девятиэтажные корпуса, так хорошо знакомые Петру и его товарищам по московским стройкам, соседствовали со старинными дворцами и готическими соборами разных веков.

Привлекали внимание остатки взорванной самими фашистами внутригородской крепости у реки Претель, разбитый, но уже начавший восстанавливаться дворец немецких феодалов, и все это рядом с домами и улицами вполне современными и, можно сказать, вполне типическими по своему облику для нашего областного центра.

— Вы посмотрите, товарищи,— сказал в машине Лазарев,— на этот необычный город, уникальный в нашей стране,— очаг советской культуры на месте бывшего расадника прусского милитаризма.

Около памятника Иммануилу Канту в центре города машины остановились. Главный инженер комбината Пугачев, встречавший московских гостей, предложил им осмотреть знаменитый мемориал.

Можно было только удивляться тому, каким чудом сохранилась эта могила в период боев, в хаосе бомбежек и артобстрелов.

Пугачев сказал москвичам, что это целиком заслуга советских воинов, которые бережно отнеслись к памяти знаменитого немецкого философа.

Когда все близко подошли к могиле, Петр и Коля Борискин осторожно и уважительно потрогали тяжелые стальные цепи, которые провисали между колоннами, окружая полуовальную гробницу Канта. На ее граните выделялась надпись по-немецки. И тут же рядом, на ввинченной в камень медной табличке по-русски можно было прочесть: «Им. Кант. 1722—1802 гг. Гробница охраняется государством».

— Государством! — вслух прочтя надпись, сказал Петр.— Вот как!

— А как же? — откликнулся Лазарев.— Мы чтим высокие умы человечества. Мы — интернационалисты.

Аркадий Николаевич с улыбкой тут же обратил внимание на одну из стен монумента, где некая Галя Кондакова мелом обозначила и день и факт своего посещения гробницы. Рядом виднелись и другие, детскими руками выведенные мелом фамилии.

— Недавно приходили,— заметил Борискин.

— Да! — протянул Лазарев.— Примечательный факт. Эх, товарищи, думал ли умерший в Кенигсберге сто

семьдесят три года назад Иммануил Кант, что тихая кабинетная мысль его окажется сильнее пушек и никакой полководец не сравнится с ним в славе?

— Нет, он так не думал,— откликнулся Пугачев.— То, о чем он думал, он написал в своих сочинениях. «Вещь в себе» и так далее.

— А что это такое? — заинтересовался Борискин.

— А это вроде бригадного подряда,— усмехнулся Пугачев.— Вот ты подписываешь договор на сооружение корпуса. Это, так сказать, пока еще «вещь в себе», то есть ты не знаешь, дадут ли тебе вовремя детали, материалы, сработают ли фундаментчики и так далее.

Борискин понимающе кивнул.

— Потом ты видишь, что панелей недовоз, график сломан, фундаментчики подвели, с электроэнергией перебои и в довершение всего столовую не подвезли и жрать падо бегать за четыре квартала в занюханную кафешку. А там — очереди.

— Точно! — встрепнулся Борискин.

— И тогда ты понимаешь,— все еще с улыбкой продолжал Пугачев,— что договор на бригадный подряд — это уже «вещь в тебе», то есть сидит в твоей печенке и ничем ты ее оттуда не вытащишь.

— Ага! — протянул Борискин.— Умный был старик.

— Да бросьте вы! — вмешался Лазарев.— Что за объяснение? Этак вы любую философскую категорию под рабочую оперативку подведете. Или привяжете к какому-нибудь фельетону.

— А что? — нахмурился Пугачев, должно быть раздумывая, обидеться ли ему на гостя или свести все к шутке.— Философия, Аркадий Николаевич, должна быть жизненной. Не правда ли?

— Но только в высоком смысле соответствия социальным законам бытия. Только так!

— Да, согласен,— решил не раздувать спора Пугачев.— Кстати, насчет соответствия. Кант, по свидетельству современников, был очень точный человек. По нему городские часы сверяли. Выходил на прогулку каждое утро ровно в восемь.

— Таковую бы точность и обязательность на наши комбинаты,— тут же вмешался Лазарев.— Точность — хорошая штука! Говорят, это вежливость королей. Я думаю, и строителей тоже.

В гостинице «Москва», вполне достойной областного

центра, Петр попал в один номер с Лазаревым. Быстренько умылись с дороги. Аркадий Николаевич спросил, когда Шубенков поедет в поселок Шубенково.

Насторожившись, Петр спросил резковато:

— А что, Аркадий Николаевич?

— В попутчики напрашиваюсь. Хочется посмотреть и памятник, и поселок. Для меня это честь.

— В каком смысле? — не понял Петр.

— Честь быть вашим современником.

— Шутите, Аркадий Николаевич.

Петр был готов даже обидеться.

— Немножко. А если всерьез, то о твоём отце думаю. Майор не успел выйти в генералы, и стал бы им, конечно, если бы не погиб. Ведь он из тех офицеров, которые в эту войну «выходили в города»! Давали им свои славные имена. Все это меня очень интересует,— продолжал Аркадий Николаевич.

— Не город еще, пока поселок небольшой,— заметил Петр, стараясь не показать Лазареву, как он искренне тронут его желанием поехать в Шубенково.

— Вот именно пока. Знаешь как у нас растут такие рабочие поселки. А здесь не советский край, что ли?

Аркадий Николаевич тут же предложил, не теряя времени, пойти посмотреть город, центр и знаменитый форт Донна, о котором он читал.

— Готов, иду! — согласился Петр.

До форта Донна, или, как это точнее звучало по-немецки, Форт дер Донна, пришлось идти минут двадцать, он находился в центре. Это была, по сути дела, еще одна крепость внутри старого города, внешне почти полностью сохранившаяся.

Представьте себе толстые, метра в полтора кирпичные стены большим шестигранником, расположенные на холме, который окружен глубоким рвом, заполненным водою.

Глядя на форт, на его массивные аркообразные ворота, напоминающие короткий тоннель, Петр вспомнил свою поездку по нашим Прибалтийским республикам, где он видел такие же средневековые замки. Правда, там они тщательно охраняются и широко используются для посещения туристами, чего при первом взгляде нельзя было сказать о крепости дер Донна.

И все же не без некоторого воодушевления, которое вызывает всякое прикосновение к старине, и тем более

связанной с историей Отечественной войны, Петр и Лазарев прошагали через мост над оврагом, миновали ворота и вступили на каменную брусчатку внутрикрепостной площади, застроенной продолговатыми, угрюмого вида строениями.

Кое-что уже знающий об этом форте Аркадий Николаевич сообщил Петру, что здесь был когда-то въезд в древний город Кенигсберг — город и крепость, а ныне на стене около ворот они увидели памятную доску, извещавшую, что на этой крепостной стене и был в апреле 1945 года вывешен флаг нашей Родины, символизирующий сдачу крепости и всего города победоносным советским войскам.

Форт, такой внушительный с внешней своей стороны, удручал внутри. В помещениях крепости было и мрачно, и холодно, и сыро. Они использовались как естественные холодильники.

— Ну и ну! — воскликнул Аркадий Николаевич. — Какое поразительное нерадение к прошлому, к целым пластам истории, да и просто, наконец, к памятнику архитектуры. Ведь этот же форт сам просится под музей.

— Конечно, — поддержал Петр. — Безобразие, что здесь какие-то склады.

Лазарев не мог говорить спокойно, так он был возмущен:

— А у нас копеечный прагматизм, по дешевке оборудовали склады и рады, что холод есть даже летом, и, как видишь, грязи тоже хватает.

Осмотрев Донну, решили потратить еще часок-другой и съездить за город, к не менее знаменитому форту № 5, вокруг которого тоже шли тяжелые бои. Шофер такси, молодой парень, толком не знал, где же этот форт, ибо, живя в Калининграде уже лет десять, ни разу там не был.

— Вот тоже показательно, — заметил в машине Аркадий Николаевич, — сами жители мало что знают о том, как здесь наши люди кровь проливали.

Форт № 5, отлично оборудованный артиллерией, дзотами, упорно сопротивлялся, и немало полегло здесь наших воинов. Петр думал об этом, когда смотрел на вывоченные из-под земли огромные махины бетона, их могли поднять в воздух только авиационные бомбы. Все здесь вокруг было тогда обильно полито кровью. А сейчас бетон зарос травой, воронки заполнила вода, по дороге

прыгали воробьи, и чирикала какая-то птичья мелочь в густых зарослях кустарника.

— Какое учреждение разместилось на месте бывшей «неприступной крепости», как писали когда-то нацисты? Как думаешь, Петр Михайлович? — спросил Лазарев, когда они, оставив в стороне такси, шагали к тоннелеобразному входу в главный бастион форта.

— «Райснаб», — прочел Петр надпись у входа.

— Точно! Опять какой-то склад, — поразился Лазарев.

У входа в бастион стояла будочка-проходная, а на стене ее — доска с правилами техники безопасности и противопожарной охраны.

— Нашли место, а? — Лазарев развел руками. — Бывшее логово нацистов — и тут же... «Не стой под краном и стрелой!»

Петр видел, что настроение Аркадия Николаевича испорчено основательно. Они сели в такси, ожидавшее около форта, и поехали снова в центр города, к мемориалу воинов, погибших при штурме Кенигсберга.

Как-то получилось, что в первый свой приезд Петр не успел хорошенько познакомиться с этой площадью, братской могилой и похожим на меч гранитным обелиском, воздвигнутым в честь подвигов гвардейцев 11-й армии. Сейчас же ему и Аркадию Николаевичу никто не мешал. Они не торопясь обошли вокруг впечатляющего мемориала, занимающего собою всю площадь Победы, и внимательно прочли надписи на могилах, на постаментах и обелиске.

Петр вытащил блокнот и записал некоторые изречения, выбитые на мраморе:

Отечество воспитало вас героями,
И героически вы бились за Отечество.

Вы прославили Советскую Родину,
И Родина будет вас славить вечно.

Ваше мужество было беспримерным,
Ваша воля была непреклонной,
Ваша слава бессмертна.

Штурм Кенигсберга на вечные времена
Войдет в историю Отечества.

За четыре дня была сокрушена
Прусская твердыня.
Советский народ будет вспоминать вас
С любовью и благодарностью.
Слава героям штурма Кенигсберга!

На самой большой гробнице была выбита надпись, около которой Аркадий Николаевич и Петр стояли особенно долго.

Здесь похоронены
тысяча двести гвардейцев —
отважных воинов 11 гв. армии,
павших при штурме города
и крепости Кенигсберг.

6—10 апреля 1945 года.

Пока Петр и Аркадий Николаевич осматривали мемориал, уже стемнело, и стал ярче виден факел Вечного огня около главного обелиска. Петр заметил, как маленький мальчик подошел сюда и стал зажигать веточку. А мама, сидевшая поодаль на скамейке, кричала ему через всю площадь:

— Андрюша! Иди сюда, не смей этого делать, иди сюда сейчас же!

И Петр подумал: «Для этого Андрюши здесь просто огонь, такой красивый и притягательный. Он ведь не знает еще, что этот огонь — Вечный».

— Удивительный город, в котором столько наслоилось, удивительный! — несколько раз повторил Аркадий Николаевич, когда они вернулись в гостиницу. — Как много он говорит солдатскому сердцу! Но и твоему, должно быть, тоже.

— Да, и моему, — ответил Петр.

— Ну, давай спать ложиться, завтра день напряженный. На сегодня все, отбой, — скомандовал Аркадий Николаевич, грузно и устало опускаясь на кровать.

ГЛАВА 13

Утром Петр проснулся рано, как бывало после дня, наполненного сильными впечатлениями, проснулся с ощущением тяжести на сердце. Происходило это, видимо, еще и потому, что он видел во сне маму и отца молодыми на прогулке вдоль Покровского бульвара в Москве, где находилась военная академия, в которой до войны учился Михаил Шубенков.

Что помнил Петр об отце? Что слышал от других? Что прочно отложилось в памяти из рассказов мамы, из записных книжек, оставшихся от отца? Выходило, что в общей сложности он знал немало.

В 1936 году, семнадцати лет, Михаил Шубенков стал

слушателем Военно-инженерной академии. Тогда слушателями зачисляли молодых военнослужащих — на командные факультеты, а на инженерные брали из рабфаков по особому отбору, исходили из решения комплектовать кадры будущих военных инженеров из рабочей прослойки.

Михаил Шубенков на рабфаке не учился, только некоторое время работал на стройке каменщиком. Однако к экзаменам был допущен в порядке исключения, по просьбе отца, который знал еще по гражданской корпусного комиссара — начальника инженерной академии.

Тот, кто впервые в семнадцать лет надевал военную форму, да еще слушателя высшего военно-учебного заведения, тот поймет ту признательность судьбе, тот глубокий интерес к истории академии, ее традициям и славе, которые испытывал тогда Михаил Шубенков.

В академической библиотеке, к удивлению молодого слушателя, оказалось всего несколько, да и то дореволюционных, книг по истории этой, одной из старейших в России академий. Ее глубокие истоки уходили к эпохе Петра Первого, утвердившего еще в 1712 году первый штат минерной роты, а затем создавшего военные школы, имевшие в своем составе так называемые «верхние школы» — прообраз будущих военных академий.

Михаил Шубенков показывал в те годы своей жене тетрадку с выписками из различных книг, и там значилось, что основал высшее училище Александр Первый и что оно пополнялось молодыми людьми не моложе четырнадцати и не старше восемнадцати лет.

Как меняются представления о возрастах! Четырнадцать лет — это сейчас мальчик, а тогда — уже военный человек. Сто лет назад люди и начинали жить раньше, и раньше умирали.

Михаил Шубенков узнал из книг, что Главное инженерное училище помещалось вначале в павильоне Михайловского (ныне Инженерного) замка в Петербурге.

Особое впечатление произвели на Михаила Шубенкова раскопанные им в книгах подробности об учебе в Михайловском замке Ф. М. Достоевского, Д. В. Григоровича, композитора Цезаря Кюи, физиолога И. М. Сеченова, ученого П. Н. Яблочкова. Он выписал тогда в свою тетрадку и показывал жене такой отрывок из воспоминаний А. Ф. Кони о Достоевском:

«...Весной 1845 года начинающий, впоследствии очень известный писатель Григорович взял у своего товарища

по воспитанию в Инженерном училище рукопись его первого литературного труда и отнес к Некрасову, собирающему материалы для «Петербургского сборника».

Чтение рукописи привело их в восторг и вызвало у сдержанного вообще Некрасова слезы. С известием об этом впечатлении самым ранним утром Григорович поспешил к автору, а затем вместе с Некрасовым отправился к знаменитому русскому критику.

— Белинский! — вскричал один из них, входя. — Новый Гоголь родился!

— Это у вас Гоголи-то, как грибы растут! — сурово ответил Белинский, однако взял рукопись, а вечером в тот же день пришел к нам сказать, что совершенно восхищен этим произведением и непременно желает видеть молодого автора, которого затем приветствовал самым задушевным образом и, так сказать, благословил на дальнейшую писательскую деятельность. Этот молодой автор был Достоевский, а произведение его называлось «Бедные люди»...

Итак, «Бедные люди» были написаны в стенах учебного заведения Достоевским, который вместе с братом Михаилом поступил в Инженерное училище в 1838 году. Через три года Федор Достоевский был произведен в полковые инженер-прапорщики, а затем — в подпоручики, с переводом в верхний офицерский класс.

Петр даже выписал к себе в тетрадку некоторые выдержки из отцовских записок. Хотя сам он не учился в этой академии, но был строителем и москвичом, и поэтому не был безразличен к таким, скажем, подробностям, как то, что великий писатель родился в Москве, в семье лекаря бывшей Мариинской больницы.

Петру нравилось и то, что отец еще очень молодым строил большие планы на будущее. Он хотел впоследствии совместить военное образование с гуманитарным. Его отличал максимализм мечтаний и надежд. В девятнадцать лет мир видится как поле бескрайних возможностей и осуществимых желаний.

Есть люди, которые, кажется, рождены для военной формы. Таким Петру представлялся и отец. Он был выше среднего роста, с широкими плечами и узкой талией спортсмена, на нем хорошо смотрелась форма слушателя академии с гладкими пока петлицами, на которых скоро должны были появиться первые командирские кубики. Командирская фуражка инженерного рода войск с зеленой

тульей, темным кантом и глянцеви́то блестящим козырьком ладно сидела на темных и густых волосах, под козырьком светились живые глаза.

В записках отца по истории академии Петр увидел много славных имен военных инженеров, об иных, признаться честно, он и узнал впервые из этой тетрадки: Тотлебен, Кондратенко, Величко, Карбышев — славные фортификаторы русской, Советской Армии.

В годы гражданской войны особенно прославились фортификационные работы в Самарском укрепленном районе под руководством В. В. Куйбышева. Его имя впоследствии получила академия. Известна также деятельность по созданию укрепрайонов против Колчака Дмитрия Михайловича Карбышева, ставшего после гражданской на многие годы профессором академии.

Михаил Шубенков делал записи в своей тетрадке, как он однажды написал, «только для себя, для своего духоводъемного настроения».

Собственно, с той же целью читал эти записи и Петр. И еще затем, чтобы как-то почувствовать отцовский характер, представить его себе полнее в те довоенные годы, — мир его интересов, увлечений, мечтаний. Пусть скупое, пусть косвенно, но все же они проступали и сквозь строчки, рассказывающие об истории академии.

Покровский бульвар в Москве начинается у одноименных ворот и тянется до Воронцова поля. Когда бы Петр ни проезжал на машине вдоль этого бульвара, он всегда непременно бросал взгляд на светло-серый массив академического здания. Оно и ныне такое же, как и сорок лет назад.

И всякий раз сердце Петра отзывалось каким-то стеснением, какой-то болью, как при всякой мысли об отце. И вновь и вновь он пытался представить себе молодого Михаила Шубенкова, полного здоровья, оптимизма и ощущения бесконечности жизни, когда он стоял в военном строю на дорожках этого Покровского бульвара с тем, чтобы отправиться оттуда пешим строем на запятия, на строевую подготовку или же на парад.

Да, в тетрадках отца сохранились записи и об участии в парадах. Происходило это в мае и в ноябре, когда слушатель Михаил Шубенков в составе академических расчетов направлялся на Красную площадь.

«Как передать то напряжение и восторг, — писал отец, — которые мы испытывали при торжественном

движении в военной колонне мимо Мавзолея, держа строгое равнение и «давая ногу», молодежато маршируя по самой знаменитой площади мира.

Навсегда мне запомнились слова команды, которой вот уже много лет открывается военный парад:

«...К торжественному маршу... побатальонно... дистанцию на одного линейного... первая колонна прямо, остальные напра-во!»

Так звучит ликующий и гремющий голос командующего парадом, многократно усиленный репродукторами на площади. Колонны делают перестроение, поворачиваясь направо, и одновременно, вместе с первыми звуками походного марша, трогается сводный полк командного состава или первый батальон Академии имени Фрунзе.

Была девятнадцатая годовщина Революции, и командовал парадом командарм первого ранга Белов, принимал парад маршал Ворошилов. В газетах писали:

«Конница вступила на площадь. Впереди на горячем коне — комбриг Курочкин. Сводный тачаночный полк вылетел на площадь. Кованые тачанки пронесли бойцов мимо трибун и скрылись внизу, за поворотом.

После некоторой паузы площадь заполнили самокатчики Московского гарнизона. Неутомимые связисты и разведчики — они открыли ту часть парада, которая характеризует богатую техническую оснащенность Красной Армии.

Едва они успели скрыться за поворотом, как появились их резервы — батальоны московских велосипедистов-осоавиахимовцев...»

Отец забыл тогда написать, что в этих самых безукоризненно строгих рядах самокатчиков и проезжал по площади в тот праздничный день слушатель академии Михаил Шубенков. Он прошел тренировку и попал в тот год в строевые расчеты велосипедистов.

Петр перечитывал эти записи отца после войны. Много здесь уже и тогда казалось Петру странным по мысли, по ощущениям, принадлежавшим уже иной эпохе, но по-своему милым и трогательным. Конечно же, невольно напрашивались сравнения прошлого и нынешнего. Армия стала иной, неузнаваемой.

Потом отец вспоминал в своих тетрадках, как после парадов они обычно встречались на вечеринке у одного из товарищей по учебному отделению, который потом погиб на войне. Звали его Алексей Калугин. Он жил близко от

Чистопрудного бульвара, в Большом Харитоньевском переулке, где и посейчас можно найти дома пушкинской поры, в одном из таких домов проходили детские годы Александра Пушкина.

Слушатели учебного отделения, где занимались и Шубенков и Калугин, знали об этом и любили переулок, о котором вспоминает Пушкин в своей поэме «Евгений Онегин»:

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот...

Да, Михаил Шубенков любил этот тихий и красивый переулок, застроенный почти сплошь старинными особняками. Дом Калугина стоял ближе к Садовой и напоминал не столько барский особняк, сколько служебную пристройку к нему. Обычно молодые военные собирались на вечеринке именно в первые дни праздников.

Нина Пчелкина — будущая мама Петра Шубенкова, была тогда студенткой пединститута, и привела ее на вечеринку сестра Калугина, они вместе учились.

Мама, судя по тогдашним запискам отца, выглядела худой и стройной, с длинными каштановыми волосами, уложенными сзади в большой пучок — по моде тех лет. Она с детства страдала легкой близорукостью, уже тогда носила очки, а снимая их, мило щурилась, скорее всего не замечая этого. У нее был взрывной громкий смех, манера смеяться удивительно искренно и непринужденно.

Прошли годы. И теперь сам Петр мог бы подтвердить, что смех ее не потускнел и не изменился, что говорило об устойчивости характера и прочном жизнелюбии, сохранить которые нелегко.

И еще, по свидетельству отца, улыбка у мамы всегда была немного плутоватая, и когда она смеялась особенно весело и заразительно, приходил в движение кончик носа. И Михаил Шубенков часто дразнил ее кроликом.

...Пожинав, обычно уже после двенадцати ночи, друзья отправлялись охладиться после застолья и погулять по праздничной Москве. Как обычно, их тянуло к центру, где иллюминация была ярче и богаче.

Описание праздничных довоенных улиц Москвы Петр в записках отца читал и перечитывал с особым интересом уже в ту пору, когда сам стал строителем.

Широкая улица Горького. В праздничные вечера ее заливала от края и до края ликующе-возбужденная толпа. Окунувшись в этот людской водоворот, связанные общим возбуждением и радостью люди невольно подчинялись влекущей силе людской массы.

Отец писал, что тот, кто хоть раз испытал это, вряд ли забудет общее состояние душевного подъема, вызванное этим, казалось бы, не очень удобным гуляньем в тесных рядах, сплошь заполнивших мостовые и тротуары.

На улице Горького молодые слушатели академии и их подруги старались держаться ближе к ярко освещенным витринам магазинов между площадью Маяковского и Пушкина, в которых по праздникам выставлялись фотографии и рисунки новых архитектурных проектов. Это были монументальные здания, предназначавшиеся к возведению в центре Москвы.

Михаил Шубенков интересовался строительством, справедливо уверенный в том, что будь ты инженер военный или гражданский, а так или иначе строить дома когда-нибудь придется. Он записал:

«Сооружением жилья человечество занимается со времен каменного века. И в третьем тысячелетии будем заниматься тем же. А в строительстве объектов военных и гражданского назначения много общего, тождественного...»

Тогда в центре Москвы еще было много старых зданий. В тридцатые годы менялся не столько облик улиц и площадей, сколько их названия. Садово-Триумфальная площадь получила имя Маяковского в тридцать пятом году. Да и сама улица Горького, ныне уже, наверно, не все помнят об этом, была названа в честь великого пролетарского писателя в тридцать втором.

Отец писал, что во время одного такого праздничного гулянья он и узнал, что Нина Пчелкина питает особое пристрастие к тем примечательным домам в столице, которые так или иначе оказывались связанными с историей русской литературы. Это тогда почему-то очень удивило его.

Отец вспоминал и то, как однажды людской поток повлек друзей от площади Пушкина вниз, и Нина показала па дом номер десять, где находится сейчас гостиница «Центральная». Здесь в девятнадцатом году жил Есенин.

Нина сказала, что в бывшем дворце московского генерал-губернатора, ныне здании Моссовета, бывал не раз

Гоголь, а спустя три четверти века по беломраморной лестнице бывшего губернаторского дома поднимался американский писатель Джон Рид, как раз в то время, когда отряд красnogвардейцев уходил на задание.

А на месте Центрального телеграфа в начале девятнадцатого века находился Благородный университетский пансион, куда бабушка привезла учиться маленького Мишу Лермонтова.

В тот вечер казалось, что Нина Пчелкина готова рассказывать обо всем этом без конца, а Миша Шубенков слушать и удивляться тому, с каким рвением студентка первого курса пединститута изучает эти памятные литературные места и как она, должно быть, любит эти свои исследования.

— Это ведь только улица Горького — литературная магистраль столицы, — говорила Нина, — а вся литературная Москва! Какое это богатство!

Когда друзья возвращались от Красной площади вверх по улице Горького, на Пушкинской площади Нина вспомнила о Доме Герцена. Он был виден в начале Тверского бульвара. Тот самый особняк, где в 1812 году во время Отечественной войны в семье дворянина Яковлева родился Александр Герцен. Позже он описал этот дом в «Былом и думах». После революции здесь бывали и выступали многие знаменитые писатели, поэты: Горький, Маяковский, Есенин. Тут же находились литературные объединения ВАПП, ЛОКАФ, «Кузница».

И конечно же, Нина Пчелкина не могла предположить в тот далекий праздничный и счастливый вечер, что пройдет пять лет, и судьба приведет ее в этот самый Дом Герцена, приведет в тяжелую для Родины годину как бойца истребительного батальона. А Михаила Шубенкова и его товарищей — слушателей академии, а впоследствии молодых офицеров война разметет по разным фронтам и дорогам, которые начнутся тут же, вблизи столицы, в великой подмосковной битве...

...Полежав в кровати с полчаса — такой длительный отдых Петр мог позволить себе лишь в командировке, он вскочил одним рывком, чтобы сделать зарядку. Как обычно, мысли об отце приносили то сложное чувство, которое и не определишь одним словом. И грусть, и духовное очищение, и то доброе возбуждение, которое побуждало к действиям, активности.

В Москве при своей всегдашней занятости Петр мало думал об отце и даже о маме, которая жила с ним в одном городе, но в своей квартире. К стыду своему, он виделся с нею не часто, все больше ограничиваясь телефонными звонками.

Этот укор он сделал себе сейчас с полной искренностью.

— Что ты там бормочешь? — спросил проснувшийся Лазарев.

— Так. Обычная утренняя «молитва» — что взять, чего не забыть. Паспорт есть, партбилет на месте, деньги, командировка. — Петр ушел от ответа.

— Молитва так молитва, только я думаю, что нас признают на комбинате и без командировочных предписаний. Имя строителя Шубенкова и здесь тоже не звук пустой!

Лазарев поднялся. Как и Петр, он поприседал пару раз, с хрустом разминая суставы и разгоняя кровь в своем еще крепком и сильном теле.

ГЛАВА 14

Мальчишка капризничал с вечера. Чего только не делала Надежда по совету подружек, с которыми связывалась по телефону, клала на живот грелку, давала сыну анальгин, ношпу, а Славик все хныкал:

— Мама, болит, мама, болит!

Ночь была беспокойной. Каринцев просыпался раза четыре и страдал, слыша стоны пятилетнего сынишки. И все же засыпал, погружаясь, как ему казалось, в мутную, зыбкую полудрему, в которой чередовались неприятные видения. Странное это было состояние — не то сна, не то бодрствования, на самом же деле он забывался довольно глубоким сном и, как уверяла жена, основательно храпел.

Рано утром, когда надо было вставать и ехать на стройку, успокоение в доме не наступило. Славик стонал еще больше, и Каринцев, не выдержав, сказал жене:

— Вези в больницу. Что-то с мальчишкой нехорошо. Невозможно смотреть, как он мучается.

— А куда?

— Надо вызвать «скорую». А они уж сами увезут куда надо.

— Куда надо или куда попало? Попадет ли в хорошую больницу?

Надежда заломила руки, глаза ее покраснели, от слез вспухли и казались крупнее, чем обычно.

— А что я могу... Будем надеяться, что попадет в хорошую. С тяжелым сердцем еду на работу,— глубоко вздохнул Каринцев. Он видел по лицу жены, что она хотела бы отправить мальчика вместе с мужем, для этого Владимир должен был задержаться, а именно сегодня он никак не мог этого сделать. И это надо было объяснить жене, не обижая ее.

— Вот так всегда, тут беда в доме, а на стройке переходим на второй этаж, придет начальство, то-се, подменить меня некем, и я должен быть на разводе.

— Ну ладно, хоть позвони сейчас в Скорую помощь. А на стройке находишься где-нибудь поблизости от телефона. Я ведь звонить буду из больницы.

— Конечно. Только будь спокойнее, прошу тебя.— Каринцев поцеловал жену в лоб, поцеловал в обе щеки Славику и выбежал из квартиры с ноющим сердцем.

Развод, как говорили на стройке, а иными словами сдача и прием вахты после ночной смены, происходил в семь тридцать. Зимой и осенью этот ранний утренний час ничем не отличался от ночи. Все так же горели прожектора и лампы, и в их мерцании серый бетон перекрытий отливал густой чернотой.

Другое дело — летом. В семь уже светло, солнце часа два как над горизонтом, и если небо чистое, то и плиты, панели и перекрытия густо рябят веселыми движущимися солнечными бликами, и кажется, будто этот утренний свет ложится всюду чистым, радующим глаз сиянием с легкой примесью яичного, желтоватого цвета.

Каринцев был родом из Сибири. Сам он говорил нередко: «Папа и мама наградили меня хорошим здоровьем». Каринцев надеялся на свое здоровье, и оно его не подводило, легко выдерживая все перегрузки — и недосыпания, и интенсивную работу. Поэтому, ощущая свою надежную физическую форму, Каринцев рассчитывал в бригадах держаться долго.

Про себя он не раз думал так: «Вот если я перестану испытывать перед работой чувство веселящей бодрости — то, что можно называть «мышечной радостью», тогда можно начинать думать о конце бригадирской деятельности. Но не раньше. Никак не раньше!»

«Развод» звучало как слово военное и придавало обычной рабочей пересменке значение некой приподнятости. На стройке, каждое утро провожая ночную и встречая утреннюю смену, бригадиры тоже «разводили посты», только это были рабочие места монтажников и бетонщиков, крановщиков и штукатуров.

Процедура развода обычно приятно возбуждала Каринцева как своего рода духовная зарядка, как мобилизующая увертюра к музыке всего рабочего дня. Однако ж сегодня Каринцев вступил на рабочую площадку без обычной радости. Мысли о заболевшем сынишке не давали ему покоя, мешали сосредоточиться на делах. Каринцев нервничал, и это, должно быть, было заметно.

На корпусе первый этаж был уже окончательно завершен. Сейчас бригада сделала все приготовления для второго этажа. И сама мысль об этом, о том, что все-таки первый этаж нового дома они сделали, принесла Каринцеву какое-то облегчение.

Неожиданно он увидел около корпуса Копытку и Боровского.

«Значит, они поднялись тоже в пять утра, чтобы поспеть к разводу,— подумал он.— Затевается что-то серьезное».

— Что у вас такое лицо? — спросил Боровский у Каринцева, когда рабочие из ночной и утренней смены собрались в кружок прямо на плитах перекрытия, иными словами, на будущем полу второго этажа.

— Сейчас начинаем развод, извините за задержку,— сказал Каринцев и взглянул на часы.— Опоздали на три минуты. Ну а лицо? Что лицо? Я себя, признаться, не вижу.— Он повернулся к Боровскому.— Вообще-то, мальчишка у меня заболел, Павел Ильич, вот какое дело. Наверно, уже жена привезла его в больницу. Ну и понимаете, душа не на месте!

— Конечно, конечно! А сможете ли вы сегодня работать? — сочувственно спросил Боровский.

Каринцев не ответил, только пожал плечами, что могло выражать: «Не знаю, посмотрим, работать надо!»

Что такое развод, если представить его в лицах? Звеньевой ночной смены Чохов коротко доложил, что сделано за ночь, чего не хватало, каков запас деталей. Бетонщик Худяков, заменявший заболевшего Родиона Яковлевича Богатко, звеньевого и партгруппорга бригады, выслушав замечания бригадира по работе ночной смены,

как говорится, мотал себе на ус. Потом он давал свои заявки на материалы. На это и наставления бригадира уходило минут пять — десять. Время дорого, и ритм работы проверен, налажен. Каждый знает свое место и обязанности.

Но на этот раз развод затянулся. Ведь не зря же Копытко и Боровский, явно не страдающие бессонницей, приехали в Чертаново в такую рань. «Значит, им есть что сказать бригаде», — подумал Каринцев. И не ошибся.

Едва Каринцев закончил развод, как заговорил Копытко.

— Товарищи монтажники, — начал он на торжественной ноте, которая мало соответствовала мрачному выражению его лица, а еще меньше смыслу того, о чем он говорил. — Мы приехали сюда так рано, чтобы захватить две смены и сэкономить ваше время — не приглашать же всю бригаду в управление после работы. Однако, как вы понимаете, мы приехали не по пустяковому делу. Плохо, товарищи, и тревожно! Очень тревожно. Первый этаж мы монтировали восемнадцать дней!

Копытко передохнул, словно бы ему трудно было продолжать — так огорчало и удручало его положение на стройке.

«Актер!» — зло подумал Каринцев.

— Это еще ничего — восемнадцать, могли бы и больше! — крикнул Худяков. — Новое дело, первый блин всегда комом.

— Мы не блины печем, товарищи, мы монтируем корпуса на основе современной техники. А вы мне не мешайте, — вдруг цыкнул главный на Худякова. — Вы лучше подсчитайте в уме: шестнадцать этажей по восемнадцать дней. Это больше чем полгода на один корпус. Да кто же это нам позволит?! В таком темпе мы кирпичные дома строили лет тридцать тому назад. А сейчас это нонсенс!

— Кого? — переспросил Чохов.

— Не кого, а что! Нонсенс — в переводе бессмыслица, глупость, нелепость.

— Тем не менее факт, — сказал Каринцев.

— Но нетерпимый. Прямо скажем, аварийное положение у вас, бригадир. ЧП, как говорят в армии. А я не вижу у вас тревоги, законного чувства ответственности.

— Оно в работе, — снова не удержался Каринцев. — А как его еще выражать?

— Не знаю, не знаю! Вот я и Павел Ильич,— Копытко кивнул в сторону Боровского,— он как главный экономист комбината тоже хотел бы знать, как вы думаете работать дальше?

Копытко замолчал, вытер платком лоб, и пастушила затяжная пауза. Вопрос главного инженера был обращен ко всей бригаде. Но Копытко при этом сердито смотрел только на одного Каринцева, именно от него ожидая ответа. Каринцев заметил, что Павел Ильич, хотя и отмалчивается пока, но и он выжидательно поглядывает на бригадира.

А Каринцев тянул и тянул с ответом. Подняв голову, он посмотрел сначала на небо, словно хотел что-то прочесть там, в бездонной голубизне, оттененной лишь кое-где разводящими перистых облаков. Потом бросил взгляд на башенный кран, где около кабины машиниста висел плакат: «Сегодня работать лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня!» Успел, скосив глаза, увидеть подъехавший из центра панелевоз и шофера, который уже кричал такелажнику, чтобы тот быстро разгружал панели. У шофера свой график, а такелажник находится на разводе.

Потом Каринцев вспомнил о совещании в кабинете Шубенкова, на котором присутствовал и начальник комбината. Там сам Каринцев остро поставил вопрос о недостатках проекта, о заводском браке, о трудностях, которые испытывала бригада. И тогда им помогли Шубенков, архитектор Тамара Анатольевна, заводские товарищи. Однако сложности монтажа первенца еще остались, и это естественно.

Каринцев растягивал паузу. Он все еще разглядывал знакомую картину стройки с тем, чтобы успокоиться, побороть в себе раздражение от напыщенной речи Копытко. Он думал сейчас о жене, о сынишке, которые небось уже маются в больнице. И снова с раздражением — о Копытко. Ведь был же главинж в курсе всех их трудностей. Не раз уже они заводили об этом разговор. На вопрос Копытко он, Каринцев, мог бы сейчас ответить не менее сердитыми вопросами и претензиями к главному инженеру.

И вместе с тем Каринцев понимал, что мало толку в такой перепалке на глазах у бригады, что дела настоящего не решишь сейчас взаимными упреками и претензиями. К тому же был еще уверен, чувствовал сердцем, что

Копытко приехал на площадку не из желания выслушать справедливые или несправедливые замечания бригадира. А лишь за тем, чтобы, как говорится, «нажать покрепче на бригаду» и сигнализировать потом комбинатскому начальству, что он-де, Копытко, предупредил, заострил вопрос.

— Ну что же ты, бригадир, замечтался об отпуске, что ли? — нетерпеливо прервал паузу Копытко. — Мы ждем ответа.

— На втором этаже корпуса бригада срок споловинит, — кратко и резко, словно команду, бросил Каринцев.

Это прозвучало неожиданно. Для Копытко, во всяком случае. Но не только для него. Двое монтажников переглянулись между собою. Их недоуменные взгляды поймал Каринцев. Да, он не успел обговорить этого решения со всеми, но ведущие монтажники, звеньевые знали о нем. Каринцев прикинул, подсчитал сам дома и, опираясь на свой опыт, на рабочую интуицию, сейчас был уверен, что срок этот они выдержат.

Что же касается Копытко, то он открыл рот в ошеломлении и, задумавшись, забыл его закрыть.

— Значит, девять дней? Лихо! А за счет чего, позвольте узнать?

В голосе главного инженера звучало явное недоверие к этому заявлению бригадира... Но будь оно даже искрепним, все равно здесь, на строительной площадке, Копытко должен был постараться его скрыть. Ведь рабочие привыкли уважать бригадира и верить ему.

— Вас удивляет, Константин Касьяныч, за счет чего? Секретов тут никаких нет. Набираем навыки, приспособливаемся. Привыкаем. Вот так раскачкою, раскачкою и доходим до ума. Вот и вся тайна. Шестнадцатизатяжку слепим как надо. Мы это уже и на первом этаже почувствовали. Верно, ребята?

Каринцев с надеждой посмотрел на монтажников. Он ждал, что его поддержат, прежде всего звеньевые.

— Есть движение, мы это чувствуем, — тут же сказал Чохов, зачем-то сняв и снова надев каску.

— Конечно, осваиваем. Трудно будет, но сделаем. Погвардейски. Бригадир правильно говорит, — вставил Худяков.

— Ну вот вам мнение бригады! — Каринцев взмахнул рукой, как бы охватывая всех стоящих на площадке и одновременно подводя итог сказанному.

— Запишем, запишем как ваше торжественное обещание, товарищ Каринцев. Сегодня же доложу на комбинате.

«Тебе только доложить! — зло подумал Каринцев. — Информатор!»

— Ускорение на втором этаже будет, — повторил Каринцев.

И был доволен, что ограничился этим. Чтобы искренне говорить человеку правду в лицо, надо по меньшей мере уважать его или рассчитывать на то, что правда эта пойдет, будет понята.

Удовлетворенный итогами совещания, Копытко тут же уехал. Боровский же отправился в прорабскую со своими схемами и графиками хронометража рабочих операций на экспериментальном корпусе. Когда Каринцев через некоторое время вошел в прорабскую, он спросил у Боровского, звонила ли жена.

— Нет, не слышал, — ответил тот.

— Вы крикните мне на корпус, пожалуйста, когда она объявится, — попросил Каринцев.

Надежда позвонила часа через два. Голос у нее дрожал, и Каринцеву тотчас передалось ее волнение, пронзило как током, вызывая нервную дрожь.

— Что там? — крикнул он.

— Снимают анализы. Подозревают воспаление почек. А Славик аж почернел.

— Воспаление почек! У такого малыша? Да не может быть!

Каринцев до боли в ладони сжал телефонную трубку.

— Володя, надо что-нибудь делать! Потеряем малыша. Поезжай в управление. Слышишь?

— Зачем?

Каринцев чувствовал, что жена вне себя. Его же самого охватило оцепенение.

— Пусть звонят в больницу, главврачу, что-то надо делать! Что-то делать! — повторяла Надежда. — Спасать мальчика!

— Да-да, ты права. — К Каринцеву возвращалась энергия. — Сейчас же еду на комбинат, потом к тебе, в больницу, не уходи никуда.

— Что ты, я жду, — ответила Надежда, и Каринцеву показалось, что она плачет.

— Плохо там? — спросил Боровский, догадываясь о происходящем по выражению лица Каринцева. — Не могу ли чем помочь? Моя машина здесь стоит.

— Мне надо в управление. Можно доехать? — спросил Каринцев.

— Конечно. Мне тоже пора возвращаться. Поехали сейчас, — тут же предложил Боровский. И они почти побежали к машине.

Дорогою в управленческой «Волге» Каринцев молчал, придавленный свалившимся на него несчастьем. Боровский, понимая его состояние, не решался начинать разговор. Одни люди легче переносят беду в общении с людьми, другие, наоборот, ищут облегчения в отчуждении.

«Если Каринцев молчит, значит, так ему легче», — решил Боровский.

Доехав до здания комбината, они вдвоем прошли в кабинет Ярцева. Того, к сожалению, не оказалось на месте, уехал в Главмосстрой.

— Ладно, сами справимся, — сказал Боровский.

Он тут же позвонил в больницу. В иное время и по иному поводу Каринцев все сделал бы сам, но сейчас он предоставил действовать Боровскому.

Мальчика поместили в хорошую палату, им уже занялись, обещали даже собрать консилиум.

— Ну вот, кое-что сделали, — положив трубку, сказал Боровский. — Теперь можно вам ехать в больницу.

— Большое вам, Павел Ильич, спасибо. Вы поддержали меня в такую тяжелую минуту! Я очень это чувствую, — благодарно вздохнул Каринцев.

— Пустяки. Когда случается горе, всегда надо иметь рядом кого-то, кто перельет часть своей воли в душу страждущую, а потому и ослабевшую. Хорошая дружба, Владимир, — продолжал Боровский, — это тоже нечто вроде службы переливания крови. Знаете что, я тоже с вами съезжу. Взялся помочь, так уж до конца.

— В больницу?

— Не возражаете?

— Как я могу! Благодарен и никогда не забуду. Нет слов! — Каринцев развел руками.

— И не надо, какие тут слова, когда нужны действия. Боровский произносил это, уже двинувшись к двери ярцевского кабинета, увлекая за собой и Каринцева.

— Не будем терять времени, — сказал он.

Больница, куда на «скорой» привезли Славика, находилась сравнительно недалеко от комбината. Здание в одном из новых кварталов Мневников было новое и совре-

менное, в котором много стали, алюминия и стекла, а следовательно, света и простора.

Впечатлял богатый интерьер холла, лепная мозаика, на стенах картины — все это под стать хорошей гостинице. На первом этаже за стеклянной дверью находилось поликлиническое отделение. Сосредоточенные и невеселые лица, а также обилие белых халатов напоминало о том, что это все-таки отнюдь не гостиница. За фойе, примкнувшим к конференц-залу для врачей, разгуливали в плотных темно-зеленых пижамах больные. Они поднимались на лифте в палаты. Посетителей же пропускали только в определенные часы.

У конторки дежурной сестры, поскольку час был неприемный, сидела Надежда и, заметив Каринцева, бросилась к нему.

— Приехал, слава богу!

Надежда скользнула взглядом по Боровскому, она его не знала.

— Наш главный экономист Павел Ильич, — представил Каринцев. — Это он, Надя, помогает нам.

— Спасибо вам огромное. — Надежда двумя руками пожала его ладонь. — Славика уже оперировали, — сообщила она.

— Как! Почему?

У Каринцева перехватило дыхание. Он потащил жену к свободной скамейке. Обычно без особой усталости выстаивающий смену на ногах, бегая по этажам, сейчас Каринцев почувствовал такую ватную слабость в коленях, что захотел сесть.

— Понимаешь, не почки у него больные, а аппендицит. Консилиум решил срочно оперировать. А вскрыли животик и увидели: аппендицит-то, как это, прободной, в общем, с гноем, который разлился.

— Ай-ай! — застонал Каринцев.

— Говорят, что вовремя захватили, еще немного, и потеряли бы Славика.

Надежда заплакала. Пружина того нервного напряжения, которое, наверно, поддерживало ее, пока она ждала мужа, сейчас ослабла, все накопившееся в душе требовало разрядки, и она наступила мгновенно и произвольно. Теперь слезы обильно потекли по щекам, и, начав уже плакать, Надежда не могла сразу остановиться.

— Вы же сами говорили — захватили вовремя. Уверяю вас, все обойдется, — успокаивал ее Боровский.

— Подожди, Надя, ну что ты, в самом деле. Сейчас придет врач, выясним все. Славик, он крепкий мальчик. Выдюжит.

Каринцев говорил сейчас все, что приходило в голову, не вдумываясь в смысл слов, лишь бы они были успокаивающими, лишь бы подавали Наде и ему самому надежду на выздоровление Славика.

— «Выдюжит», — сквозь слезы повторила за ним Надя. — Что Славик, мужик какой-то здоровенный? Он же маленький!

Врача пришлось ждать более часа. Каринцев нервничал, сидя на жестком диване в холле или шагая по кафельному полу вдоль барьера раздевалки, журнального киоска, стоящего у ряда стульев, за которые сейчас пускали только больных или врачей.

Боровский не хотел уходить, хотя Каринцев несколько раз заводил разговор об этом.

— Ну вам-то зачем, Павел Ильич! Право! Мне даже неудобно.

— Глупости! — наконец оборвал его Боровский. — Дела подождут. Я сам хочу узнать, как и что! На врача посмотреть. Это тоже важно.

Доктор спустился к ним, подошел легким пружинящим шагом, попросил извинить за задержку — вызвали в палату к больному, которому стало плохо.

— Причина уважительная. — Он развел руками. — А вашего мальчика из операционной увезли в другую палату. Реанимационную.

Надежда громко ахнула и не могла больше выговорить ни слова.

— Как в реанимационную? — спросил Боровский. — Что вы говорите?

Врач, его звали Александр Семенович, был худощав, темноволос, подвижен. Едва он подошел к Каринцевым, как его окликнуло сразу несколько человек, должно быть ожидавших его в вестибюле. Врач кивал налево, направо, кому-то помахал рукой — он был необходим многим, удовольствие, которое приносило ему это сознание, соседствовало на его лице с выражением крайней занятости.

— Одну минуточку, — говорил он одним.

— Подождите десять минут, освобожусь, — обещал другим.

— Я к вам спущусь через полчаса, — заявлял третьим.

Каринцеву показалось, что Александр Семенович и около них стоит как на иголках, порываясь куда-то отбежать, с кем-то поговорить. И хотя здесь проступала явная популярность Александра Семеновича среди больных, на Каринцева это производило неприятное впечатление.

«Что он так вертится?» — подумал он, но, естественно, сдержался и ничего не сказал. За него спросил Боровский:

— Чем порадуете, доктор? — И с тревогой взгляделся в лицо, стараясь угадать ответ.

Однако и глаза, и лицо, и фигура Александра Семеновича не выражали сейчас ничего, кроме привычного, видно, ко всякому горю и бедам профессионального спокойствия.

— Ну что, дорогие родители, — начал он тоном, который, казалось, обещал нечто хорошее. — Я сделал все от меня зависящее. Операция прошла хорошо. Но случай запущенный, и мальчик вряд ли выживет.

Каринцеву показалось, что он ослышался. Поразил почему-то в первое мгновение не сам смысл ужасного известия, а спокойствие, с каким говорил врач, и то, что вообще он решился сказать такое родителям ребенка.

В долгой паузе, когда Каринцев боялся даже повернуть голову в сторону жены, увидеть ее глаза, лицо, в этой разрывающей сердце паузе вдруг прозвучал голос Боровского, который первым вышел из оцепенения:

— Но ведь можно что-то сделать. Если надо лекарство достать, пожалуйста. Скажите!

— Да нет, все в больнице есть, все делается, что нужно. Надо ждать, только ждать. Но нам, а не вам! А вам тут, поверьте, делать сейчас нечего. Зачем дежурить в вестибюле? Бесполезно. Позвоните дежурной сестре чашиков в десять вечера. Или лучше даже завтра утром.

Протянув Каринцеву руку для прощания, Александр Семенович хотел уже отойти.

— Нет, постойте! — остановил его Каринцев. — Как же так? Это невозможно. Вот так сказали и отошли. А мы?

Каринцев бормотал что-то не совсем связное, он не мог собраться с мыслями и вдруг спросил то, что, наверно, и спрашивать не стоило, ибо уже не решало главного и не могло его изменить:

— Как же, Александр Семенович, вы нам такое сказали! Каково нам это выслушать — отцу, матери!

Но врач не смутился.

— А что делать, дорогой, что делать! Я всегда говорю правду и самим больным, и родственникам. Это мой принцип. Но будем все-таки надеяться на лучшее. Всего хорошего.

Александр Семенович быстро отошел в сторонку, где его нетерпеливо ожидала какая-то женщина. Каринцев подхватил под руку плачущую жену, и вместе с Боровским они прошли через стеклянные двери вестибюля больницы. Говорить было трудно. Постояли, помолчали несколько минут.

Боровский предложил отвезти супругов на своей машине к дому или на комбинат. Но Каринцев отрицательно покачал головой. Нет, они посидят еще здесь, в больнице, или на скамейке в садике около нее, просто так посидят около Славика, который лежит где-то там, на верхних этажах, в реанимационной палате. Да, вот просто так посидят, идти домой они сейчас не могут.

Каринцеву потом запомнился этот хмурый полдень, тяжелое от туч небо над Москвой-рекой, в ста метрах высокий берег реки, а внизу под обрывом крохотный коробок пристани для лодок и катеров, вдали бетонный квадратный зев шлюза и серая, как срез на свинце, гладь воды, которая, казалось, остро врезалась в берег...

ГЛАВА 15

На третий день пребывания в Калининграде, после утреннего посещения строительных площадок и выступления на партийно-хозяйственном активе комбината, Петр поехал в центр города. Его давно интересовали военно-исторические памятники Калининграда. Тем более что мемориал, который он намеревался теперь посетить, по характеру своему и значению в городе мог считаться едва ли не самым необыкновенным.

Назывался он официально Музеем штурма Кенигсберга, а среди калининградцев часто именовался предметнее, проще и с оттенком даже некого пренебрежения — «блиндаж Ляша». В первый свой приезд Петр не добрался до этого музея. И не потому, что не слышал о нем. Просто был очень занят. Чтобы попасть в «блиндаж Ляша», надо было спуститься по лестнице под землю — она напоминала вход в метро, но, естественно, меньших размеров и

куда более скромный. Когда тут шли бои и вокруг громоздились развалины, вход в блиндаж штаба командующего кенигсбергским гарнизоном был тщательно замаскирован и охранялся автоматчиками.

Сейчас же на месте руин встали новые кварталы. Строения закрыли собою вход в музей, который, не будь около него указателей, не так легко было бы и отыскать.

В блиндаж Петр попал не сразу. Пришлось посидеть на скамейке в скверике. В музей запускали небольшими группами. Ведь там, хотя и горел свет, все же было довольно мрачно, как и во всяком подвале. Штабные комнатки — маленькие, с низким потолком. А в бетонном коридоре люди чувствовали себя, как в траншее: двум-трем посетителям уже трудно было разминуться, не задев друг друга.

Вот тут-то 7 апреля сорок пятого года зарылся глубоко в землю командный пункт немцев. Отсюда шли приказы для стотридцатитысячного гарнизона, который размещался в самом городе, в его фортах и укреплениях внешнего оборонительного пояса, носивших такие пышные названия, как «Герцог Кольштейн», «Королева Луиза», «Король Фридрих-Вильгельм Второй», «Дер Врангель» и все в таком духе.

Семьсот лет стоял Кенигсберг как символ агрессивного прусского милитаризма и все семьсот лет из поколения в поколение совершенствовал свою оборону. Можно ли было предположить, что город и крепость, казавшаяся нацистам неприступной, падут за четыре дня боев?!

Когда Петр зашел в бывший кабинет генерала Ляша, он прочитал признание на допросе в штабе маршала Василевского, которое сделал пятидесятидвухлетний генерал от инфантерии. Он сказал: «Солдаты и офицеры крепости в первые дни держались стойко, но русские превосходили силами и брали верх. Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя из укрытий на улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали куда идти, совершенно теряя ориентировку: так разрушенный, пылающий город изменил свой вид. Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, падет так быстро. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию. Под Кенигсбергом мы потеряли всю стотысячную армию».

Рядом висел снимок с подписью: «Командир 16-го гвардейского корпуса генерал-майор С. С. Гурьев допра-

шивает генерала Ляша, командующего кенигсбергским гарнизоном».

— Так вот он какой, этот самый Ляш! — не без удивления вслух произнес Петр.

В окружении офицеров гвардейского корпуса стоял невысокий генерал с холеной физиономией, на которой выделялись длинноватый утиный нос и тусклые, словно бы засыпающие глаза под козырьком фуражки с высокой тульей.

Привлекал внимание его чистенький мундир с темным сукном воротника, как будто бы только что от портного. Этот почти парадный вид генерала, потерявшего за четыре дня боев свою армию (из ста тридцати тысяч в плен сдались девяносто три), никак не гармонировал с боевой обстановкой, вообще был трудно объясним. Не надел же генерал новенький мундир, готовясь к сдаче в плен? И странно было бы предположить, что во время этой скоротечной операции Ляш ни разу не вылезал на улицу из своего блиндажа.

«Видимо, тот еще вояка!» — подумал Петр.

В бывшем кабинете Ляша к Петру подошел сотрудник музея и, спросив, не нужны ли какие пояснения, представился:

— Майор в отставке Петрикин Александр Степанович.

— Спасибо. Я тут и сам понемногу разбираюсь, но знающий, опытный человек в этом деле всегда полезен, — сказал Петр.

— Знающий — это одно, но я участник штурма Кенигсберга, многих ветеранов помню, кое-чему и сам был свидетель.

— Совсем хорошо. А я вот строитель из Москвы, — в свою очередь представился Петр. — Фамилия Шубенков. Сын того самого Шубенкова, именем которого здесь назван поселок.

Майор Петрикин выше поднял голову, словно увидел что-то очень интересное за плечами молодого Шубенкова. Лицо его осветилось улыбкой.

— Сын героя, — сказал он, — в музее дорогой гость!

И еще раз, хотя они уже здоровались, протянул Петру свою ладонь.

Теперь уже Петр заинтересованно взгляделся в ветерана штурма Кенигсберга. Много ли таких осталось ныне на земле! Майор был еще крепок осанкой, коренаст,

казался вырубленным из одного куска. Крупная седая голова и руки рабочего человека. Он производил впечатление человека, наделенного немалой физической силой. Улыбка просветляла лицо и казалась доброй.

— А вы экскурсовод? — поинтересовался Петр.

— Больше на общественных началах. Вообще-то на пенсии и занимаюсь историей Восточно-Прусской операции. В сорок пятом был парторгом артиллерийской батареи.

— Значит, для этой операции человек свой.

— Да, энтузиаст. Переписываюсь со многими ветеранами. Даже с маршалом Василевским, — добавил майор не без гордости. — Честно говоря, сам писать не могу, нет таланта, но для других много собираю материалов. И что обидно, маловато все-таки пишут о штурме Кенигсберга. Военные мемуары, конечно, есть.

— А почему мало пишут? — заинтересовался Петр.

— Точно не знаю. Но мне кажется, что, как это говорится, нет хозяина на Восточно-Прусскую операцию. Черняховский погиб. Василевский болен. Баграмян — он больше был связан с Прибалтийским фронтом. Да, видно, и писателей настоящих и будущих не оказалось при штурме Кенигсберга.

— Еще напишут, — ободряюще вставил Петр. — Вы мне о Ляше, Александр Степанович, расскажите, пожалуйста, поскольку сейчас находимся в бывшем его блиндаже. — Петр улыбнулся.

— Типпельскирха читали? Был такой нацистский генерал. Написал историю второй мировой войны.

— Слышал, но книги, к сожалению, не имею.

— Тогда я вам сейчас цитатку зачитаю, — сказал майор, — у меня есть. Интересно ведь посмотреть на это дело, как говорится, с той стороны.

Он вытащил карточку с цитатой, которую, должно, не раз пускал в дело, когда водил по музею экскурсии. На карточке, заполненной машинописными строчками в один интервал, значилось следующее:

«...Вагнер — фюрер Кенигсберга — объявил по радио: «Отныне мы бешеные. Будем драться с фанатическим бешенством. Наш девиз — национальное бешенство».

И вот 7 и 8 апреля завязались кровопролитные бои на улицах уже горевшего во многих местах города. Просьбу коменданта крепости разрешить гарнизону прорываться из города на запад Гитлер отклонил... Вскоре расчленен-

ный на отдельные изолированные группы гарнизон лишился централизованного управления. В то время как на некоторых участках гитлеровцы были охвачены безысходным отчаянием или апатией, другие группы бились с фанатической яростью и наказывали смертью любое ослабление воли к сопротивлению. Так продолжалось в течение двух ужасных суток.

В ночь с 9 на 10 апреля комендант крепости генерал Ляш решил положить конец этому аду и начать переговоры с русскими. 12 апреля была принята капитуляция, которую комендант крепости подписал в штабе Василевского, преемника погибшего Черняховского. Здесь же русские предложили Ляшу обратиться к командующему 4-й армией генералу Мюллеру с призывом о капитуляции. Гитлер заочно приговорил Ляша к смертной казни, а его семью подверг репрессиям. Генералу Мюллеру пришлось разделить ответственность за быстрое падение Кенигсберга и лишиться своего поста...

— Любопытно,— протянул Петр.— А где же был тогда гауляйтер Восточной Пруссии Кох? Я читал о нем.

— Он убежал из Кенигсберга еще в январе. Правда, время от времени прилетал сюда, как пишет Типпельскирх, чтобы обеспечить себе алиби. Он потом и Гитлера уверял,— продолжал майор Петрикин,— что капитуляция Кенигсберга произошла только потому, что он, Кох, здесь временно отсутствовал. В конце апреля Кох окончательно сбежал в Швецию на ледоколе, который подготовил для себя еще в декабре. Крысы бегут с корабля, когда он тонет.

— В данном случае — на корабле,— поправил Петр.

В сопровождении майора Петрикина он обошел и другие комнаты и отсеки подземелья. В одном задержались. Это была комната начальника штаба гарнизона генерала Зюскинда. Кроме штабных карт, лежащих на столе и наклеенных на стенах, представляющих, должно быть, особый интерес для военных специалистов, внимание Петра обратила на себя пожелтевшая от времени бумага — «Обязательство», которое подписывали все солдаты гарнизона. Оно гласило: «Я обязуюсь отсюда не отступать. Мне известно, что если я отойду без приказа, то буду расстрелян за трусость, а моя семья будет лишена государственной поддержки...»

Майор Петрикин заметил, что эсэсовцы каждый день расстреливали дезертиров у здания Северного вокзала, а

потом подвешивали их за ноги и не разрешали вынимать из петли по нескольку дней. Длинные списки казненных публиковались в газете «Кенигсбергцайтунг», командиры взводов обязаны были их читать перед строем от начала до конца.

— А сколько тут наших людей полегло, под стенами Кенигсберга! — сказал майор Петрикин. — Сколькими молодыми жизнями мы заплатили за этот штурм! И ваш отец, товарищ Шубенков, тут тоже лег в землю...

Когда после осмотра музея они вышли на свежий воздух, майор Петрикин предложил Петру посидеть с ним на скамейке, покурить.

— Теперь у меня к вам, товарищ Шубенков, вопрос, — сказал майор после того, как они минуты три помолчали.

— Я слушаю. — Петр поднял глаза на майора.

— Что вы знаете о подвиге вашего отца?

— Как что! Отец здесь воевал, командовал танковым батальоном.

Петр был сейчас удивлен не столько самим вопросом майора Петрикина, сколько прозвучавшим в нем сомнением в том, что он, Петр, хорошо знаком с подвигом своего отца.

— А вот такие стихи поэта Рублева знаете? — И майор громко прочел:

Вы слышали, что труп мой найден в танке,
Не верьте слухам — это ерунда.
Ваш командир стоит на правом фланге.
За смерть в бою он лишь повышен в ранге,
Из генералов выйдя в города.

Это генералу Черняховскому посвящено, но все полностью может быть отнесено к Шубенкову.

— А что, тело отца было найдено в танке?

— Нет. Но тут дело-то в том, какой это был бой! Атака началась на рассвете. А перед этим Шубенков сумел в темноте подвести свои танки вплотную к вражеской обороне и ударил по противнику. Маневр этот ему удался, и гитлеровцы потеряли пятнадцать противотанковых орудий, один артсамоход, двести человек живой силы. Я дословно цитирую из документов, — пояснил майор.

— Это чувствуется, — кивнул Петр.

— Слушайте дальше. Впереди предстоял еще более тяжелый бой. От попадания снаряда танк вашего отца

загорелся. Майор Шубенков видел перед собой вражескую противотанковую батарею, продолжал вести огонь. Но вот башня танка, в котором он находился, наполнилась дымом, из моторного отделения прорывались языки пламени, но командир продолжал руководить боем. До последней возможности Шубенков находился в горящем танке, продолжая сам вести огонь по батарее противника. Он был ранен, обожжен. Истекая кровью, выполз из танка, упал в грязь, перевернулся несколько раз, чтобы потушить тлевшую одежду. А затем под обстрелом перешел в другой танк своего же батальона.

— Раненый? — думая, что он ослышался, переспросил Петр.

— Вот именно, что раненый, — подтвердил майор. — И танкисты его батальона вновь слышали в своих подшлемных наушниках голос Шубенкова. Тут с ним связался командир полка. Спросил, хватит ли сил.

«Крепись, — сказал комполка. — Помни, ты коммунист, Михаил Васильевич. Высылаю тебе поддержку, действуй решительно, сейчас все зависит от тебя...»

Майор Петрикин, видно, хорошо помнил документы и сейчас бегло шел по тексту. Речь его обрела ту трафаретность и деловую лаконичность политдонесения, которые в иных условиях могли бы произвести на Петра неприятное впечатление. Но сейчас он всего этого не замечал. Майор же Петрикин продолжал свой рассказ так, словно на память читал страницу какой-то книги.

— Вырвавшись вперед, танки батальона Шубенкова выполнили свою трудную задачу, но дорогой ценою. По танкам открыли прицельный огонь тяжелые самоходные орудия врага. Их снаряд пробил башню командирского Т-34, в который пересел гвардии майор Шубенков. Но, оставляя за собою шлейф дыма, танк шел вперед. Из его пушки то и дело вырывались языки пламени — значит, Шубенков был жив и продолжал сражаться. Через несколько мгновений он снова в дымящейся одежде прыгнул на землю и тут же упал, сраженный осколками разорвавшегося рядом снаряда. Так он погиб, — закончил майор Петрикин.

Помолчали.

— А когда точно именем моего отца был назван поселок? — после паузы спросил Петр.

— Точно я вам сейчас не скажу, но через какое-то время после штурма Кенигсберга, когда все эти «дорфы»

и «орты» пачали переименовывать. Тогда появились города и поселки: Черняховск, Гурьевск, Гусев, Мамонов, Ладунский, Нестеров, поселок Александра Космодемьянского, колхоз имени Елены Ковальчук — это все генералы, офицеры, солдаты нашей армии. Скажите, товарищ Шубенков, — вдруг спросил майор, — а вы не знаете, кто еще был в танковом экипаже вместе с вашим отцом?

— Нет. — Петр пожал плечами.

— Надо бы еще раз посмотреть документы. Немногое сохранилось, — посетовал Петрикин. — Переписка фронтов, фонды армий, корпусов хранятся в Подольском архиве. Я там работал однажды. Целый архивный городок. Но даже и там, скажем, дивизионных материалов уже меньше. А в нашем случае нужны даже не полковые, а батальонные. Выручают главным образом сами ветераны. Одним словом, надо уточнить, кто был в первом танке, кто во втором. Что-то мне кажется, что во втором танке командир батальона сам действовал и за башенного стрелка. Командовать подразделением и одновременно стрелять — это трудно, — сказал майор.

Петр пожал плечами:

— Не знаю, наверно.

— Выясним. А в общем-то, мне повезло, — признался он. — Очень повезло, что я вас встретил. Наверно, нам нельзя терять друг друга из вида. Хотите, я дам вам свой адрес?

— Обязательно. Вам куда писать? В музей или домой? — Петр вытащил ручку.

— Нет, лучше домой. Обещаю раскопать все документы, опрошу людей. Кое-кто осел в Калининграде из бывших танкистов. В общем, рад знакомству и сделаю все, что в моих силах, — пообещал майор Петрикин, прощаясь.

ГЛАВА 16

Борискин получил указание перебазироваться из восточного района довольно неожиданным образом. Еще перед поездкой в Калининград бригада сдала свою последнюю здесь девятиэтажку, заполнив, таким образом, от края и до края белую пограничную шеренгу зданий, выстроившихся за двести метров от Сосновского парка.

— Будешь теперь монтировать шестнадцатитажный дом, — сказал Борискину Петр как раз в тот момент, ког-

да они самолетом вернулись в Москву и выходили на площадь в Шереметьеве, чтобы сесть в машины. Шубенков в свою управленческую «Волгу», Лазарев, ему было по пути с Борискиным, в «Волгу» комбинатскую.

— Что же вы мне только сейчас сообщаете? — удивился Борискин. — Могли бы и в Калининграде сказать.

— Зачем. Там ты должен был думать о другом — передавать опыт, — сказал Петр. — А сейчас поездка позади, самое время настроиться на новую задачу.

— Куда же теперь тащить поток? — Борискин спросил явно без воодушевления в голосе.

Хотя все эти передвижения неизбежны для строителей, радости бригадирам они не доставляют. Люди привыкают к одному месту, как бы там ни сложилась работа.

— В Ивановское.

— Елки-палки! Опять тащить все хозяйство! — взмахнул рукою Борискин.

— Не пешком же. Тебя машины возят. Не хнычь! — одернул Петр. — Ты же у нас орел на монтаже. Будут, конечно, трудности, — пообещал Петр, — да разве нам привыкать? И потом ты не первый. Каринцев уже делает такой корпус. Так что пойдешь по его лыжне.

— Лыжня лыжнею, а палки свои надо иметь, — буркнул Борискин.

— Вот это правильно. И не только палки, но и лыжи свои, своими ногами двигать. Да ладно тебе, не бойсь, кругом свои.

Петр, уже садясь в машину, ободряюще помахал рукою Борискину. Он еще что-то крикнул ему, но их разделяло закрытое окно, и что именно, Борискин не разобрал.

По дороге из аэропорта Лазарев, слышавший этот разговор, посоветовал явно озабоченному Борискину для начала повидаться с бригадиром Каринцевым и расспросить его о том, как он монтирует свой первенец-шестнадцатэтажку. Опыт у Каринцева, конечно, уже есть, и Лазарев выразил надежду, что товарищ и коллега по управлению не откажет Борискину.

— Тут ложные самолюбие и спесь надо отбрасывать во имя дела, — сказал Аркадий Николаевич. — И если один уже прошел какой-то отрезок пути, что-то нащупал, зачем же другому повторять ошибки, все искать снова? Неразумно!

Борискин слушал, казалось бы, внимательно, но отмалчивался. Тогда Лазарев решил, что известием своим Шубенков сильно озадачил бригадира, и вот теперь тому надо все это еще переварить в своем сознании, как-то перенастроить себя. За молчанием Борискина чувствовалось еще и какое-то сопротивление — тому ли, что надо осваивать шестнадцатизатяжку, тому ли, что обстоятельства толкают его к Каринцеву, или же и первому и второму, вместе взятым. Кто знает? Во всяком случае, Лазарев сейчас не торопил Борискина с ответом.

— А в Калининграде было интересно, правда, Аркадий Николаевич? — видно желая перейти к другой теме, спросил Борискин. — Я лично рад, что поехал. И город понравился, и порт особенно. Оттуда куда хочешь можно попасть, верно?

— Да, порт большой и современный по устройству. А какие у вас впечатления от Калининградского ДСК? — поинтересовался Лазарев.

— Ну что сказать? — задумался Борискин. — Ребята работают, в общем, грамотно, только до нас им еще далеко шагать. Темпы пока слабоваты. Как мы вкалываем, это еще поискать надо.

— Ну, не хвастайся, Коля, хвастовство людей раздражает, даже если человек имеет на него право. А калининградцам, коллегам нашим, надо помочь подтянуться. За тем и ездили.

— Это точно, — согласился Борискин.

В Калининграде Борискина вместе со всей делегацией, а иногда и одного возили по разным стройкам, по заводам комбината. Город, как и все теперь крупные города, прирастал не отдельными зданиями и не новыми улицами, а целыми микрорайонами. И расширялся, раздвигал свои каменные плечи тоже, как это типично ныне, за счет окраин. Там есть свободные площади, а значит, нет нужды в сносе старых строений. Следовательно, строительство дешевле, а строителям больше простора. Только надо следить, чтобы не очень растягивались коммуникации, а то бывает и так, что экономию на сносе старого поглощает дороговизна непомерно растянутых по периметру, а то и слишком отдаленных от центра новых микрорайонов.

Все эти проблемы были знакомы Борискину по Москве. Дома работали тоже ведь главным образом на окраинах. А какой сейчас толковый бригадир живет, уткнув-

ишь только в свои бригадные дела? Нет таких. Сама жизнь заставляет смотреть шире, в масштабе всего города.

Поэтому Борискин, знакомясь с Калининградским комбинатом, с удовлетворением отмечал про себя, что работа здесь идет в принципе такая же, хорошо знакомая, те же главные устои технологии: предварительная комплектация деталей, почасовой график доставки их на стройку. Только вот московских темпов монтажа здесь еще не достигли. И этаж корпуса монтировали не за два или три дня, а за четыре-пять.

Естественно, что Борискина спрашивали в Калининграде, как же он со своей бригадой добивается такой интенсивности труда, не теряя при этом в качестве. Он охотно рассказывал, а иногда, что было куда убедительнее, и сам показывал, надев спецовку, монтажный пояс и рукавицы.

И когда он выходил на рабочую точку или же где-нибудь в прорабке брал лист бумаги и вычерчивал свои схемы монтажных захваток, то получалось, что особых-то секретов мастерства у бригады нет, хотя опыт и подсказывал им в свое время некоторые приспособления и технологические новинки. Их нетрудно было бы применить и на других стройках.

Борискин так и говорил калининградским товарищам:

— Надо прежде всего захотеть, ребята! Крепко захотеть. Надо так поворачиваться, чтобы каждую минуту взвешивать и ценить, а когда привыкнешь к такому ритму, то уже работать тише, медленнее самому скучно станет.

Он подарил коллегам свои схемы, ничего не утаил и почувствовал, что это доставило ему удовлетворение.

И еще Борискину запомнилось, как они вместе с Лазаревым и с Петром Шубенковым съездили в поселок Шубенково посмотреть на памятник герою-танкисту. Борискин слышал об этом памятнике давно. Петр рассказывал о Калининграде еще после первого своего приезда сюда, рассказывал всей бригаде.

— Эх, такого батю мне тоже бы иметь! Сила! — сказал Борискин Петру, когда они втроем осмотрели поселок, клуб и постояли в сквере около монумента.

— А твой-то родитель сейчас где? — спросил Петр у Борискина.

— В колхозе работает, тракторист, тянет еще, силенки есть!

— Живой, значит. И я бы, Коля, хотел иметь живого, а не бронзового,— вздохнул Петр.

Через пару дней после приезда из Калининграда, уже перебазировав свою бригаду к новому месту монтажа, Борискин вечером позвонил Каринцеву домой и сказал, что просит свидания для важного разговора.

— Соскучился, что ли, Коля, или что неприятное приключилось? — с живым интересом и сочувствием в голосе спросил Каринцев.

— Ничего не приключилось. Вот приехали в Ивановское, и тут шестнадцатэтажку надо лепить. В первый раз, значит. Мне Лазарев сказал, позвони, мол, Володе. Может, подскажешь что?

Борискин произносил это не обычной своей скороговоркой, а непривычно для себя и для других, медленно и запинаясь, словно язык его вдруг отяжелел и с трудом ворочался во рту.

— Чего ты мямлишь? Болен, что ли? — удивился Каринцев.

— Нет. Здоров я. Думаю, может, ты не схочешь?

— «Не схочешь», — повторил Каринцев. — На свидание к тебе прийти, что ли?

— Ну да.

— А все-таки ты, Борискин, лопух порядочный. Надо в людях разбираться. Сколько лет работаешь рядом и не знаешь меня.

— Ладно, не ругайся, я по-хорошему. — Борискин смутился.

— Так и я по-товарищески, — ответил Каринцев.

Потом Борискин замолчал и только сопел в трубку, а Каринцев ждал и, не выдержав, спросил:

— Ты что, кемаришь, что ли, около трубки? Или уж задумался очень глубоко?

— Да нет, я так... жду ответа.

— Ответ такой: давай с тобой встретимся завтра в парткоме.

— Почему в парткоме? — удивился Борискин.

— На стройку днем ты не приедешь, сам работаешь в это время. Да там и поговорить-то не дадут. После работы я в больницу еду, к сыну, а в семь заседание парткома. После заседания и поговорим. Приезжай примерно к девяти.

— Что с твоим пацаном?

— Да вот несчастье было, чуть его не потеряли. Но сейчас кризис миновал, поправляется.

— А я не знал. Так, может, того, Володя, не стоит, раз такое дело. Мне ведь не до зарезу. Перебыюсь как-нибудь сам. Право слово! — Борискин готов был уже отказаться от своей просьбы и от встречи.

— Стоит, стоит! Дело того стоит, прежде всего. А мы с тобою мужики, для нас это все-таки главное в жизни. И зачем тебе мучиться над тем, что меня мучило раньше? Я бы и бригадиру из другого комбината помог, а мы с тобою как-никак единокровные, одно зная над головой — нашего управления. В общем, я жду, — твердо заявил Каринцев...

Партком занимал в здании комбината три комнаты на втором этаже, наискосок от кабинета Ярцева, рядом с главной диспетчерской. В средней в окружении телефонов сидела технический секретарь за машинкой с большой кареткой, справа располагалась комната заместителей, слева — секретаря. Она напоминала средних размеров конференц-зал.

Здесь, в кабинете Лазарева, рабочий стол которого находился у дальней стены, и проходили заседания партийного комитета.

Когда около восьми часов Борискин приехал на комбинат, в парткоме шел прием в партию, и, ожидая вызова, в коридоре стояли группой взволнованные молодые рабочие, несколько инженеров из комбината, строительных управлений и с заводов.

Походив немного по коридору, Борискин все же решил показаться Каринцеву и для этого заглянул в дверь парткома. Каринцев сделал ему знак рукою, дескать, вижу, но сейчас выйти не могу, надо подождать. Потом он все же выбрался из-за стола, вышел в комнату технического секретаря, извинился, но тут же попенял Борискину, что тот приехал раньше назначенного времени.

— Пошли в комнату заместителей, там сейчас пусто, — предложил он.

— Как в больнице? — первым делом поинтересовался Борискин, когда они устроились за таким же Т-образным столом, что и в кабинете Лазарева, только поменьше размером.

— Сейчас уже хорошо, ожил мальчишка. Такой маленький, а сколько перенес! Я смотреть на него не мог, сердце разрывалось. Вместо сына лег бы под нож, только бы глаз его страдающих не видеть. У тебя-то детей нет еще, ты не понимаешь, наверно?

— Напрасно так думаешь, очень даже понимаю. Я отзывчивый и детей люблю,— сказал Борискин.— Сочувствую.

— Это хорошо. Я тебе тоже сочувствую, и доказательство вот.

Каринцев похлопал рукой по синей папке, которую он, видно, захватил со стройки, поехал с нею в больницу, привез на партком.

— Чертежи,— догадался Борискин.

— Они. И тут еще мои записки, как и что мы делали, когда мучились с первым этажом. А мучились мы крепко. Особенно с наружными панелями. Никак не стыковались. Заводская недоработка или конструкторская. Какую плиту сверху ни положи, а она оказывается выше зуба наружной, вертикально стоящей. И такие зазоры получались между плитами — страшно смотреть! Теперь заводы перестроились, и тебе легче будет. Вот еще пилоны выравнивать — тоже штука. Тут пока сам сноровки не наберешься, ничего не поможет. В общем, бери папку. Изучай. Если какие вопросы, звони вечером домой.— Каринцев пододвинул свою папку Борискину.

— Я, честно говоря, думал, ты на словах да на пальцах, а тут фундаментально, даже чертежи приволок.— Борискин не скрывал удивления.

— А как же иначе.

— Мужик извилистый такое не сделает, а только прямой.

— А ты думал! Как штык прямой. Такой характер. Вообще, считаю, помогать так помогать! На полную катушку. Другой, заметь, лучше свои часы ручные отдаст, чем опытом поделится. А по-моему, чем больше отдаешь людям, тем больше тебе остается.

— Как так? — не понял Борискин.

— В том смысле, что кто любит дарить, тому и жизнь подарит что-нибудь хорошее. Соревнование настоящее, оно, Коля, вроде бы на человеческой щедрости замешено. Не для скупых оно или, как ты говоришь, извилистых. А если без щедрости, то это и не соревнование, а так...—

Каринцев задумался, ища слово, — соперничество, что ли. А это уж другое, — заключил он.

— Ну, может, и так, — сказал Борискин. — Сейчас у нас времени нет о соревновании говорить. Вообще-то, мы давно с тобою бежим наперегонки, то ты на полномздри вперед вырвешься, то я. Это я шучу. Одним словом, возвращайся на партком, а я с папкой домой, обмозгуем в бригаде твои заметки. А что у вас там, на парткоме? — все же поинтересовался Борискин.

— Повестка большая, вопросы качества, разное. Может, зайдешь, посидишь?

— Так я не член парткома.

— Коммунист же. Качество — это для нас вопрос всегда актуальный. Представитель от ГАСКа будет выступать. Много нареканий на заводы, лепят еще брачок.

— Это правильно, но все же домой пойду, ты извини. Жену не предупредил, небось подумает, что я в «стекляшке» засел с ребятами. А за папку еще раз спасибо, не от меня одного, от всей бригады.

ГЛАВА 17

Катя давно уже просила Петра, чтобы он показал ей стройку.

— Приходи ко мне в управление в субботу. Ты свободна, а я там вожусь с бумагами, — предложил Петр.

— Ну и возись, нарушай закон о труде. Куда только профсоюз смотрит! Суббота — выходной. Между прочим, — Катя погрозила Петру указательным пальцем, — ты и когда бригадиром был, все никак не мог показать мне место, где работаешь.

— А что там интересного? Вон рядом с нами дом возводят — приходи смотри, все то же самое: кран, детали на земле, монтаж.

— Не верю, что все одинаковое. А кабинетами я сыта, — заявила Катя, — сама бумажный работник. Я хочу подышать воздухом большого строительства.

— Тогда тебе надо ехать в Сибирь, на Енисей, на Обь или в Нурек на Памир, там гигантские гидроэлектростанции. А у нас что — микрорайоны. В одном месте корпус поднимаем, в другом.

— Ты мне мозги-то не запудривай. Москва — тоже великая стройка.

— Ну хорошо,— сдался Петр, которому, честно говоря, не очень-то хотелось организовывать этот экскурсионный вояж собственной жены по двум причинам. Во-первых, ее появление на стройке надо как-то объяснять и работягам и начальству, которое всегда по тем или иным делам там крутится. А во-вторых, он сердцем предчувствовал недобрые разговоры и выяснение отношений, которые Катя почему-то любила заводить на улице во время прогулок или в машине.— Когда ты сможешь?

— В пятницу, во второй половине дня. Кстати, мне нужно попасть на АЗЛК. Подбросишь на машине?

— Хорошо. Заеду за тобою домой. И мы прокатимся по кольцевой дороге. Посмотрим Вешняки, Ивановское, восточный район. Твой муженек там поработал основательно. А потом я тебя подвезу к заводу. Не возражаешь?

— Пусть будет хоть так,— согласилась Катя.

В следующую пятницу Петр, как и обещал, заехал за женой, и они покатали через центр, по Солянке и Ульяновской, к заставе Ильича. Конец неблизкий, ехали они около часа и главным образом молча. Порою Петру казалось, что Катя порывается начать какой-то острый разговор, но не решается. Мешал, наверно, шофер Валерик. Как Катя порою ни раздражалась легко и реактивно, а все же была, как говорится, управляема и понимала, что семейные дела не для посторонних ушей. И вдруг, видимо все же не удержавшись, Катя резко спросила:

— Скажи, Петр, честно глядя мне в глаза, у тебя есть кто-то?

— С чего ты взяла!

Петр глазами показал на спину Валерика, который молча сидел за рулем, казалось бы совершенно равнодушный к тому, о чем говорят его пассажиры. Но Петр не сомневался, что Валерик все слышит и запоминает, хотя бы потому, что питает симпатию к начальнику управления.

— С чего взяла? Ты знаешь, у женщин на такие вещи чутье, как у собак. Есть, милый мой, неуловимые приметы. Ты явно охладел ко мне. Я это чувствую и сердцем и кожей,— сказала Катя, все так же сердито глядя на Петра.

Когда она злилась вот так, с трудом сдерживая себя, зеленоватые ее глаза темнели, зрачки сгущались. Человек редко хорошеет в гневе, Катя не составляла исключений.

Лицо ее становилось жестким, и, как у мужчины, заметно напрягались скулы.

— Отложим этот разговор, нашла время и место!

Петр снова показал глазами на спину Валерика и для большей убедительности еще и кивнул головой в его сторону.

— Хочешь отложить разговор вместо того, чтобы тут же клятвенно заверить, что совесть твоя чиста перед женою. Это тоже верная примета твоей вины, если хочешь знать.

— Все ищешь каких-то дурацких косвенных доказательств. Я повторяю, поговорим потом — спокойно, откровенно. — Петр уже начинал терять терпение, жался, что взял Катю с собою и его дурные предчувствия начинают оправдываться.

— Ну хорошо, запомним! — Катя вдруг резко толкнула Петра в бок, одновременно отодвигаясь от него в угол сиденья машины.

— Успокойся, или я высажу тебя на шоссе, ты мой характер знаешь! — шепотом, сквозь стиснутые зубы произнес Петр. И может быть, потому, что он произнес это тем напряженным шепотом, который выразительнее крика, или оттого, что Петр даже побледнел при этом, а Катя помнила о решительности Петра в подобных ситуациях, она замолчала.

Однако настроение у Петра было испорчено. От того радостного состояния, с каким он еще несколько минут назад разглядывал новые жилые массивы, сейчас не осталось уже и следа. Ни о какой экскурсии на стройку теперь уж, разумеется, и речи не было. Они свернули на Волгоградский проспект, подъехали к АЗЛК. Там Катя вылезла из машины, не скрывая дурного настроения, заявила, что дальше не поедет, и бросила Петру краткое и сердитое «пока». С Валериком же попрощалась вежливо.

— До вечера, — сдержанно произнес Петр и захлопнул дверцу. — Давай, Валерик, к Борискину, — сказал он шоферу. — Не забыл дорогу?

— Шутите, Петр Михайлович. — Валерик повернул голову. — Мы ведь сюда ездим через день и почитай не первый год.

— И то верно, друг, — живо откликнулся Петр.

Кольцевая автомобильная дорога — детище послевоенных лет. Петр помнил эту автостраду еще свободной от

густых потоков машин. Автомобилей было немного, и они шли здесь на больших скоростях, даже само ГАИ предписывало своими знаками скорость — не менее 70 километров в час.

Сейчас же здесь всюду торчали указатели с черною цифрой «60», обозначающей такой же скоростной режим, как и в центре города, да и интенсивность движения мало чем уступала Садовому кольцу или Ленинскому проспекту.

Сама Москва тоже вплотную подошла к кольцевой дороге. Новые районы тянутся здесь почти без перерывов, образуя новый высотный силуэт многоэтажными белыми или зеленоватыми корпусами.

Зрелище это хотя и привычное Петру, но почему-то здесь, на кольцевой, всегда впечатляющее с какой-то особенной силой. Отчего это происходило? Может быть, от того, что в разные годы Петр сам здесь работал, и трудно было даже подсчитать, сколько домов он смонтировал.

Ивановское Петр тоже знал хорошо и давно. Именно здесь он ставил самый первый типовой дом, ставил на пустом месте, точнее, на месте окраинной деревушки, которая, разделив участь многих подмосковных селений, исчезла с лица земли, чтобы возродиться в камне и бетоне, в ином своем существовании, а именно, в виде новой красивой части столицы.

Однако было это место малопривлекательным в ту памятную осень, когда шубенковская бригада первой пришла на пустырь, еще не оборудованный коммуникациями, не обустроенный ни линиями электропроводки, ни подсобками, ни столовыми, которые и вообще-то появляются на строительном полигоне нового жилого массива позже всего.

Тогда стояли слякотные, дождливые дни. Кругом грязь, болото, хороших дорог нет, а та одна грунтовая, что была, размокла.

«Вот тогда бы,— подумал Петр,— привезти сюда Катю». И вспомнил, что тогда, несмотря на все трудности, он с бригадой выдержал темп: три дня — этаж, и свой, шубенковский, бойцовский характер. Не раскис от тяжелой обстановки, не запросил снижения плана, ссылаясь на объективные причины, не кинулся бомбить начальство жалобами. А жаловаться было на что.

Нет, Петр работал в те месяцы, стиснув зубы, не в буквальном, конечно, смысле. Наоборот, старался больше

улыбаться и поддерживать у людей хорошее настроение. Работал и вытянул в намеченные сроки первый корпус, потом рядом поставил второй, третий, подоспели другие бригады, строительные потоки. Район, как говорят строители, пошел, раздаваясь вширь и в высоту.

Тогда с Петром был и Коля Борискин звеньевым, и начальник потока Хайтин, и старший прораб Дубяга. Прошло несколько лет. Сейчас Ивановское почти все застроилось. Борискин уже как бригадир, поколесив за это время по всей Москве, снова вернулся в Ивановское — достраивать здесь последний участок и поднять в небо два новых шестнадцатипятиэтажных корпуса.

Машина остановилась вблизи самой площадки. И слева и справа простирался еще и пустырь, — шестнадцатипятиэтажки стояли как бы поодаль от уже выстроенных и частично заселенных кварталов.

Ветер сильными порывами колебал стрелы башенного крана, гнал по разрытой земле клубы пыли и строительного мусора.

Петр вспомнил, что прошедшей ночью ветер достигал ураганной силы.

Он проснулся часа в три ночи. Почти никогда в это время не вставал, а тут словно бы кто толкнул его в бок. Вышел на балкон. Ветер гнул ветви и шумел, свистел среди деревьев зоопарка так, что казалось, бушует сильный ливень. Петр подумал: «Каково-то сейчас в ночной смене на строительных площадках! Там-то этому урагану ость где разгуляться на просторе!»

Однако с вечера в управление со строек никто не звонил, молчал телефон и ночью, следовательно, в бригадах все шло нормально. Случись что, успокаивал себя Петр, немедленно бы позвонили домой, подняли бы с постели. На этот счет бригадиры и старшие прорабы потоков не очень-то церемонились с начальством. Петр это хорошо помнил по той поре, когда сам был бригадиром...

Когда на монтаже дома дела идут хорошо, стройка кажется безлюдной. Все на своих рабочих местах: монтажники укрыты за панелями наружных стен, крановщик сидит в своей кабине, как скворец в скворечнике, он вознесен высоко, и с земли его не видно. Один лишь такелажник находится вблизи подкрановых путей, около которых вырастают обычно штабеля деталей. Но если рабочий в эту минуту не цепляет крюки тросов за стальные ушки панелей, то не видно и такелажника, укрывшегося от

взоров за теми же грудями лестничных маршей или санитарных кабин.

А монтаж тем временем идет, и кажется, без участия людей. Это обычно удивляет гостей, экскурсантов.

Петра у прорабской встретил Борискин, и вдвоем они двинулись к корпусу. Однако подходы к нему оказались загроможденными плитами, через канаву был переброшен шаткий мостик, и пешеходная дорожка вела через подкрановые пути, что запрещалось инструкцией по технике безопасности. Петр тут же попенял на это Борискину.

— Ты что, мальчик на стройке? Вчера начал? Знаешь ведь, что так не положено.

— Да тесно тут, Петр Михайлович, мы напрямик бегаем для экономии времени. В обход путей далеко.

— Ты это мне брось — далеко. Правила пишутся для того, чтобы их выполняли. Я буду требовать неукоснительного соблюдения техники безопасности. Это тоже входит в понятие «качество работы». Ты осознал замечание?

Борискин кивнул. Они как раз переходили через подкрановые пути, и Петр, выговаривая Борискину, сам поленился сделать крюк метров в пятьдесят.

— Ну, так как же ночью? — повторил он свой вопрос, когда они начали подниматься по лестничным маршам. — Какой силы был ветер? У нас в городе гудело здорово!

— Шесть баллов, — сообщил Борискин.

— Не работали?

— Почему же? Работали нормально. Как раз подвезли детали, сразу подошло четыре панелевоза. Чего же стоять?

— Инструкция запрещает работать при таком ветре, — почти крикнул Петр в спину Борискину, который как хозяин шел несколько впереди, и в эту минуту, словно бы уклоняясь от нового выговора, ускорил свои шаги по лестнице.

— Не убегай, сукин сын! — беззлобно выругался Петр. — Опять действуешь не по правилам, ведь рискованно при таком ветре вести монтаж.

— Ничего, все в порядке, — бросил Борискин издали, уже выскакивая на ровную площадку третьего этажа, — мы привычные. Главное, что смена ночная сработала без задержек, в темпе.

На бетонной плоскости третьего этажа шла обычная работа. Только опытный взор мог бы заметить некоторую заторможенность в той привычной для монтажников ди-

намике движений, которая вырабатывается с годами и всегда радовала Петра на стройке привычных девятиэтажек.

Сейчас же на монтаже шестнадцатизэтажного корпуса чувствовалась непреодоленная еще неуверенность в обращении с деталями, хотя Борискин и пытался это скрыть от начальника управления. Петр заметил еще и мешковатость в манипуляциях со струбдинами. Старые, с девятиэтажки, оказались коротковатыми, новых для себя Борискин еще не изготовил. Слишком тщательно, опять же от неуверенности, шла выверка геометрии пилонов, и затягивалось изготовление новой пасты, заменившей обычный раствор.

Пасту эту надо было размешивать с белым песком, а затем состав укладывать под плиты перекрытия, особенно тщательно выдерживая горизонт, то есть точность по горизонтали и вертикали. Одним словом, работы по освоению нового дома было еще многовато.

К Петру подошел начальник потока Хайтин. Спросил:

— Какие новости, Петр Михайлович?

— Да ничего особенного. Наша обычная текучка. Лучшая новость, Яша, это когда новостей нет. Так спокойнее,— сказал Петр и почему-то подумал о Кате, вспомнил разговор в машине.— Просто я соскучился и приехал. «Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Слышал?

— Нет,— ответил Хайтин.

— Пушкин. Надо знать. А вы, между прочим, ребята, по мне не соскучились еще?

— А как же,— восторженно Хайтин.— Настоящей любви, Петр Михайлович, без взаимности не бывает. А мы особенно любим, когда начальство в малую меру пожурит, а в большую поможет. К сожалению, даже новой пасты не всегда хватает,— пожаловался он.— А с утра наружных панелей недовоз. В столовую на автобусе надо ездить, да еще в другой конец Ивановского, не могли к нам ее подкинуть поближе. А ведь полчаса экономии много значат. И так мы тут пыхтим всю.

— Пыхтите, говоришь? Это понятно,— заметил Петр.— Непонятно другое, чего это ты, Яшенька, жалуешься. Новое внедрять всегда трудно. Но ведь эти муки внедрения в нашу с тобой зарплату входят. Ты инженер, а значит — мыслитель. Старое же лепить, по привычке,

словно с завязанными глазами,— это и Коля Борискин может не хуже нас с тобою, хотя и не отягощен, как говорится, высшим образованием... А вообще-то он молодец,— продолжал после паузы Петр.— К Каринцеву поехал подкрепиться насчет опыта. Иной такое за стыд почитает, а он прямо сказал: добыл раньше нас крупницы опыта — поделись. Ну как, помогли вам советы Каринцева?

— Конечно,— кивнул Хайтин.— Особенно его графики разбивки по монтажным захваткам.

— А плиты наружные как он укоротил,— сказал Петр.— И вас, своих товарищей, от лишних мук избавил.

— Не он добился, а женщина-архитектор и вы, Петр Михайлович,— заметил Хайтин.

— Это не важно, Яша. Бригадир Каринцев вопрос поставил — это уже немало! А мог бы и промолчать. Подумаешь, дескать, большие зазоры между плитами, а кто за них в ответе? Не рабочий же? Проектировщики, архитекторы, мы с тобою, грешные, наконец. Ставить такие вопросы — значит болеть не только за свое дело, а шире, больше, это значит иметь хозяйское чувство, а в нем большая сила для общества. Согласен?

— С одной оговоркой, Петр Михайлович.

— Какой? — заинтересовался Петр.

— Если бы нам дали эту самую первую шестнадцатэтажку монтировать, мы так же кулаками постучались бы на завод: меняйте деталь. И тогда не пришлось бы вам Каринцева сильно хвалить.

— Ну, это само собой: вы — моя бригада, единокровная, из одного корня все росли.— Петр похлопал Хайтина по плечу. Петр был скуповат на такого рода ласку, а если уж вырывалось, то в момент самого дружеского и душевного расположения.

Прошло с полчаса. Петр вместе с Хайтиным спустился вниз и из прорабской будки позвонил в главную диспетчерскую комбината. Снова поднялся на третий этаж и, подозвав к себе Борискина, неожиданно спросил у него:

— Скажи мне, Коля, одно — когда работаешь, ты о новоселах думаешь хоть немного? О тех, кто завтра въедет в эти квартиры, будет здесь жить, трудиться, любить, рожать детей, надеяться на лучшее, страдать от невзгод, от болезней?

И Коля Борискин, насупившийся вначале, быть может от того, что в этом пространно выраженном вопросе почу-

дился ему какой-то упрек за качество моптажа, подумал и, пошевелив пальцами свою лохматую шевелюру, ответил фразой своей или где-то вычитанной, точный смысл которой и неожиданный вывод даже удивили Петра. Сказал же он так:

— Думаем обязательно, Петр Михайлович. Тут такая штука: если перестанет екать сердце, когда дом заселяется, значит, парень, уходи со стройки — толку не будет.

ГЛАВА 18

Объяснение с Катей, которого Петр пытался избежать в машине, в конце концов непременно должно было состояться. Петр это понимал. Прошло несколько дней, и Катя назначила ему свидание на улице, как в дни их молодости. Сказала, что надо поговорить, и так, чтобы не мешать Мишке смотреть телевизор. Петр, хоть и со стесненным сердцем, но согласился.

Хорошее место для прогулок вблизи дома выбрать было не так уж легко. Зоопарк отпадал — звери отвлекали бы внимание, на Грузинской тесновато и многолюдно, Краснопресненский сквер — небольшой. Лучшим местом представлялся Ленинградский проспект, где от вокзала тянутся длинной зеленой цепочкой пышнокронные бульвары с двумя асфальтированными дорожками и скамейками вдоль них.

К вечеру летом, чем темнее становилось небо, тем гуще заполнялись скамейки влюбленными парочками.

Петр любил эти бульвары. Любил гулять по ним. К сожалению, в зрелые годы много гулять нам мешает и наша занятость, и респектабельное существование, собственные или казенные машины. А жаль!

Свидание так свидание. Петр подъехал с работы к Белорусскому вокзалу и отпустил машину. Увидел Катю, и они пошли пешком мимо обильно остекленного здания проходной Второго часового завода, мимо зданий в основном еще довоенных и первых послевоенных лет, темно-серого цвета, позднего конструктивизма, и желтых — с башенками, балконами и лепными украшениями по фасаду, со всеми приметами так называемого архитектурного излишества, которое критиковалось у нас в эпоху пятидесятых — шестидесятых годов.

Петр поглядывал на эти многосекционные корпуса не без профессионального любопытства. Он же первым и нарушил тягостное молчание.

— Катя, ты мне говорила тогда в машине о какой-то женщине, с которой я, как ты полагаешь, встречаюсь. Откуда у тебя такие странные предположения?

Катя остановилась и искося, мельком взглянула на Петра, раскрыла сумочку. Она вытащила губную помаду, пудреницу, подкрасила губы, облизнула их, оценивающе и вместе с тем сердито посмотрела на себя в маленькое зеркальце и только после этого произнесла с коротким вздохом:

— Брось, Петр! Мы взрослые люди, и я привыкла видеть в тебе сильного мужчину, откровенного и прямого в мыслях и поступках. Не унижай мелкой ложью ни себя, ни меня. Откуда я узнала, не имеет значения. Для тебя важно то, что я знаю и о твоих встречах с этой, как ее, Ириной Сергеевной. Но встречи тоже бывают разные, деловые, товарищеские...

— Вот именно,— тут же подхватил Петр как бы брошенную ему возможность изобразить свидания с Ириной Сергеевной как деловые. Хотя неожиданная и прямо бьющая в душу откровенность жены и произвела на Петра впечатление, к признанию своей вины перед нею он еще не был внутренне готов.

— Ты же знаешь об этой проблеме Сосновского парка. Охранная зона, которую мы там оставили. Благородное дело защиты природы. В общем, приходилось ездить к директрисе, я взял ее сторону, помог...

— Не сучи ножками, Шубенков, тебе это не идет,— оборвала его Катя.— Насчет охранной зоны мне все известно, вся деловая сторона, хотя не все товарищи одобряют твои действия. Но это не мое дело. Ты мне скажи прямо и честно: что у тебя с этой женщиной? Вот только это.

— «Вот только это»,— невольно повторил Петр в растерянности, которую, кажется, уловила Катя, потому что недобро усмехнулась.— Только это, как ты говоришь, и есть самое трудное.

— Вот как!

Петр почувствовал, что Катя вся напряглась.

— Слушаю тебя, Шубенков,— сказала она.

— Пошутил я,— выдохнул Петр.— Ну, пошутил в ответ на твое официальное «Шубенков»! Не хватает еще —

товарищ Шубенков! Станный какой-то у нас разговор, похож на допрос с пристрастием. Мне надо объяснить тебе ситуацию, собраться как-то.

— Соберись, я жду,— ледяным тоном произнесла Катя.

Они тем временем прошли бульвар от Второго часового завода до улицы «Правды», перешли через дорогу на другую аллею, которая тянулась к гостинице «Советская»; старые москвичи помнили: в этом особняке помещался до революции знаменитый загородный ресторан «Яр».

Уже показалась справа узорчатая ограда и фасонные металлические решетки стадиона «Динамо», а Петр все еще собирался с мыслями.

Сказать жене всю правду о его взаимоотношениях с Ириной Сергеевной он сейчас не мог. И не потому, что боялся гнева жены, скорой на решения и даже на руку. И не оттого, что хотел скрыть свои встречи с Ириной Сергеевной, следуя обыкновению многих мужчин подобные интрижки не считать за большой грех, раз остается в неприкосновенности семейный очаг. Существенно было и первое и второе. И все же самым главным было для него сейчас то, что он не мог сказать со всею мерой ясности, определенности и ответственности: каковы же их отношения, какова их глубина и прочность?

Любит ли он по-настоящему Ирину Сергеевну, и любит ли она его?

Раз возник этот вопрос сам по себе, значит, ответ на него, твердый и неколебимый, еще не определился, не созрел. А раз так, то крайне опасна здесь торопливость, она может привести к непоправимым ошибкам, к семейной драме, которая сделает несчастными и Петра, и Катю, и Ирину Сергеевну.

И конечно же отразится на сыне, которого Петр очень любил.

То, что Петр это понимал, вовсе не облегчало его состояния. Петр хотел сохранить сейчас перед Катей свое лицо, не утонув в болоте лжи, которое легко засасывает, едва ступишь на зыбкую почву уверток и неискренности. И вместе с тем, оставаясь правдивым, не капитулировать тотчас перед угрозами Кати и сохранить ту свободу действий, которую Петр сам избрал для себя и намерен был защищать.

Петр охотно думал бы над этой задачей еще полчаса, час, два часа, но терпению Катиному пришел конец:

— Подготовил, наконец, свою защитительную речь? Или обвинительную в адрес жены? Ну, Шубенков, как же быстро ты испортился на новой должности. Появились интеллигентская нерешительность, рефлексивность. Когда был рабочим, ты такие узлы рубил, как топором. Раз — и все. Есть вина или нет? Честно признайся. Не тяни резину.

— Не просто это, Катя, — вздохнул Петр.

— Вот-вот, не просто. Когда вы, мужики, начинаете шкодить на стороне, все у вас получается «не просто». В семье, дескать, худо, не понимают душевных запросов, жена, конечно, стерва, эгоистка, думает только о себе. Жена в таких случаях всегда виновата. Или не доросла интеллектуально до мужа, или переросла его, тоже плохо.

— Речь, оказывается, ты подготовила, а не я, — сказал Петр с досадой. — Просила объяснить, а слово вставить трудно.

— Нет, почему же, послушаем ваш правдивый голос. Только вижу, что-то трудно начать нашему молодцу. Так, может быть, наводящие поставить вопросы? Так легче покажется?

И хотя все, что говорила сейчас Катя в раздражении, по тону уже походило на издевательство, Петр неожиданно для себя согласился.

— Давай, спрашивай. — Он махнул рукою.

— Тебе интересно встречаться с этой женщиной? — почему-то шепотом спросила Катя.

— Интересно, — не раздумывая ответил Петр, и от того, что он в этом признался сразу и так решительно, ему стало даже легче на душе.

— А что именно, позволь узнать? Какие качества? Что в ней особенного?

Катя злилась. Это было давно знакомое Петру состояние жены, когда в ней все закипало внутри, давление гнева, как в паровом котле, нарастало с каждой минутой, но пока лишь пробулькивало из-под заслонок пузырьками коротких вспышек или несдержанных реплик.

— Обычная женщина, — Петр старался говорить спокойно и тем успокоить Катю, — человек интересный, содержательный, я был с нею связан по работе, сложились деловые отношения. А если я в Сосновский парк приез-

жал, то только затем, чтобы решить вопрос о перебазировке бригады Борискина.

— Слышали, слышали. Борискина ты оставь в покое. Довольно! — прикрикнула Катя, и Петр подумал, что котел ее гнева вот-вот перегреется и с шумом взорвется. — Ты мне ответь на второй вопрос: любишь ее?

— Зачем же ты так, у нас просто знакомство, успокойся, прошу тебя, — продолжал оправдываться Петр, чувствуя себя при этом прескверно еще и оттого, что всему, что он говорил сейчас, недоставало искренности и убежденности, а это невозможно скрыть или замаскировать.

— Значит, еще не решил. Ну что ж, и на этом спасибо, муженек. А все-таки ты мне скажи, чем твоя знакомая так содержательна, как ты изволил выразиться. Чем она содержательнее меня?

— Тебя?.. — механически повторил Петр, успев в этой малоприятной для себя ситуации удивиться тому, что из всех поневоле сдержанных характеристик, которые он дал Ирине Сергеевне, Катю более всего задело слово «содержательная».

— Да-да, меня, твоего лучшего друга, с которым ты прожил уже немало лет. При мне ты вырос из простого работяги в знаменитого бригадира, теперь вот стал начальником управления, уважаемым в коллективе человеком. Как видно, не помешала тебе моя малая содержательность.

— Успокойся, — еще раз попытался урезонить жену Петр. — Гнев — плохой советчик в таких делах.

— Гнев — советчик не такой уж плохой, потому что зовет к действиям. А вот ты — плохой муж, товарищ плохой. Да я высшее образование раньше тебя получила, — вдруг вспомнила Катя, — сколько тебе помогала, тянула вверх.

— Конечно-конечно. Только вот разговор у нас получается какой-то базарный. Трудно на таком уровне выяснять отношения.

— Ах, тебе еще и уровень подавай! Ну, Шубенков, вижу, ты предатель!

Катя уже вовсе перестала сдерживать себя, а это был дурной признак, все могло кончиться самой настоящей истерикой — здесь же, на бульваре, при людях.

— Какой же я предатель, Катя?

— Да, предал нашу любовь, меня, наверно, унижал перед этой самой... бабой!

Катя заплакала. Она шла и по-детски хмыкала и хлюпала носом, на нее удивленно оглядывались прохожие, и Петр не знал куда себя девать. Худшие предположения оправдывались.

Бульвар прерывался в этом месте широко раздавшимся проспектом, в который вливалась асфальтовая река Беговой улицы. Петр взял притихшую после взрыва гнева Катю за руку, и они молча перешли к динамовскому парку, взяли еще правее и вышли на территорию самого стадиона.

В тот вечер футбольного матча не было, а следовательно, и потока людей, машин, продавцов мороженого. У ограды, примыкавшей к южной трибуне, почти не встречались прохожие. Здесь некому было удивляться Катиным слезам, и Петр вздохнул облегченно. Да и сама она вскоре вытерла слезы платком, подмазала губы и попудрилась.

— Слушай, Петр! Вот последнее мое слово, больше к этому разговору мы с тобою возвращаться не будем,— заявила Катя, и Петр, научившийся за годы их совместной жизни отделять бурные, эмоциональные вспышки жены, не оставлявшие глубокого следа, от того, что она продумывала всерьез, почувствовал, что это как раз второй случай.— Слушай и запоминай. Ты обязан сейчас же выбрать и разобраться. В семье должно быть чисто. Никакого адюльтера, никакой твоей содержательной внешне или внутренне Ирины Сергеевны я не потерплю. Решись уходить — уходи. Только скажи прямо, честно. И на выхлоп!

— Куда? — не понял Петр.

— Тебя из семьи — на выхлоп. Сейчас мне не нужно никаких твоих объяснений, я привыкла тебя уважать, Петр, повторяю это, и не лишай меня такого удовольствия. Не так уж много их в жизни. Ничего не говори, только кивни, что понял и обдумываешь сказанное.

И Петр кивнул с удивившим его самого чувством внезапного душевного облегчения.

Теперь они снова шагали молча, погруженные в свои мысли. У «Динамо» они сели на троллейбус и доехали до Центрального аэровокзала, без каких-либо определенных целей, а лишь затем, чтобы потолкаться немного в этом всегда многолюдном, оживленном месте. Хотя аэровокзал,

похожий на огромный ледово-алюминиевый кристалл, и не отправлял в небо самолеты, все же здесь ощущалась атмосфера дальних странствий, привычная Петру и всегда его волнующая.

И в самом деле, он ведь немало поездил по свету, особенно в те годы, когда работал бригадиром, когда его охотно включали в состав различных делегаций. Ездил он не только затем, чтобы, как говорится, «мир посмотреть и себя показать», но и часто с прямой практической задачей — приобрести опыт или же, наоборот, подарить его, расширить свой профессиональный кругозор.

Петр обычно привозил из таких поездок альбомы с фотографиями. Альбомы эти хранились в семье. Катя, сама несколько раз по командировкам своего института выезжавшая за рубеж, к фотографиям мужа добавляла свои. Иногда вечерами они втроем рассматривали фотографии. Петр давно заметил, что в альбомах этих заложен зримый след пережитого, перечувствованного, пусть и каждым в отдельности, но за срок совместной жизни, когда делилось все пополам — и радость и горе.

Накопление маленьких семейных реликвий как бы увеличивало прочность семейного очага, а он с годами все основательнее укоренялся в фундаменте общей памяти и общего отсчета пройденного супругами пути.

Петр подумал сейчас об этом с острым чувством сожаления. Давненько они с Катей не садились за альбомы после ужина, а теперь уж о таком совместном рассматривании фотографий, видимо, надо будет забыть надолго. Мгновенная реактивность Катиного гнева, как ни странно, соседствовала с весьма длительным периодом постепенного остывания и успокоения. Вспыльчивые люди обычно бывают и отходчивыми. Катя составляла исключение.

Войдя в громадный вестибюль первого этажа вокзала и послушав немного жестяные голоса диспетчеров, объявлявших через гулкие динамики время регистрации билетов, багажа и выхода на посадку в автобусы, Петр и Катя поднялись на второй этаж и, не сговариваясь, направились к стеклянным дверям ресторана. Надо было хоть рюмкой водки снять накопившееся напряжение, как-то разрядиться после тяжелого, измотавшего их обоих разговора.

В ресторане было много людей. Пару свободных кожаных кресел с вертящимися сиденьями они нашли в сосед-

нем баре. Кресла оказались высокими, на них пришлось взбираться в прямом смысле слова. По примеру соседей, Петр и Катя укрепили свои локти на полированной полуовальной глади стойки бара. Выпили по два коктейля «Маяк». Это была жгучая смесь из водки, синего цвета ликера и ядреного яичного желтка, который полагалось заглотнуть сразу.

Затем они взяли такси и за всю обратную дорогу так и не сказали друг другу больше ни слова.

ГЛАВА 19

Говорят, что понедельник — день тяжелый. Петр не был суеверен и старался не поддаваться тирании всяких примет и предзнаменований. «Я загадала, — говорила Катя, — тебе в этот день не надо делать того и того-то!» Петр же частенько поступал как раз наоборот.

И все же наступающий рабочий понедельник Петр встречал с чувством легкой озабоченности, с ожиданием каких-либо неприятностей, срывов, неудач, которые, по многолетним наблюдениям, даже в день, дарящий много хорошего, хоть под самый конец, а все же случались.

Катя даже говорила, что у нее настроение начинает портиться уже в конце воскресенья, в преддверии рабочего понедельника, но этого Петр уже не понимал. Такое чувство могла породить лишь нелюбовь к своей профессии. Он же дело свое очень любил, сколько бы неприятностей оно ни приносило в любой день недели или в тот же злосчастный понедельник.

После ссоры с женой два дня в доме стояла всепоглощающая и потому тревожная тишина, как на море после бури, которая опять может вернуться. В один из этих дней Петр работал, это была суббота, а в воскресенье уехал в дом отдыха «Солнечное» сосредоточиться над статьей для столичной газеты. Статья предназначалась для раздела «Вечерние беседы о жизни».

Это были размышления ученых, писателей, учителей, рабочих о жизни и труде, о творчестве, активной нравственной позиции, и Петр, хотя и сам переживал сейчас своего рода семейный кризис, статью все же написал. Он рассказал в ней о монтажниках бригад Каринцева и Борискина, о том, как они учатся у жизни и у книг беречь профессиональную честь строителей, как дорожат своей

нравственной ответственностью за гордое имя строителя Москвы.

Одним словом, с женою Петр в эти два дня почти не виделся, однако на работу в понедельник он поехал в невеселом настроении. На душе было горько после крутого объяснения с Катей в пятницу.

Рабочее утро началось с визита главного инженера, удивившего Петра тем, что по своей инициативе Копытко не любил попадаться на глаза начальнику управления и появлялся в кабинете только по вызову Шубенкова. Уже одно это само по себе говорило о том, что отношения между двумя первыми лицами в управлении не из лучших.

— Доброе утро,— произнес Копытко, входя без стука и доклада. Это были прерогативы главинжа по должности, и он ими неукоснительно пользовался.

— Пламенный привет! — откликнулся Петр, вопросительно глядя на Копытко, который, словно бы сложившись пополам, присел на кресло рядом со столом Шубенкова.

— Два вопроса,— пояснил Копытко цель прихода.

— Спасибо, что не десять. Впрочем, когда и поговорить нам по душам, спокойно, как не в семь утра. В доме пусто, никто не рвется в кабинет.

Петр взглянул на часы. Было десять минут восьмого. Копытко обычно появлялся к восьми, а сейчас пришел пораньше, видно для важного разговора.

— Вот именно,— согласился Копытко.

Юмор или иронию он обычно отметал. Мысли его всегда были суровы и прямолинейны.

— Я насчет привязок наших бригад к новым участкам. Был в плановом отделе комбината. Опять грозятся перебросить наши потоки в Свиблово и в Измайлово, аж за Пятнадцатую Парковую. Через всю Москву. Какие концы! Нет, чтобы дать участки рядом, удобно для нас.

— Золотые слова, Константин Касьянович, золотые. Только сие распределение участков от нас с вами не зависит,— это планирует не комбинат. Главмосстрой,— заметил Петр со скучающим лицом, ибо малоинтересно выслушивать умозаключения Копытко вроде того, что Волга впадает в Каспийское море.

— В Свиблово я ездил посмотреть участок и скажу прямо — разочаровался,— уныло продолжал Копытко. — «Нулей» готовых еще нет. Фундаментчики будут нас

держат за руки и за ноги. «Привязки» для нас — это сейчас проблема номер один, — возвысил он голос. — Нет «нулей», и будь ты хоть семи пядей во лбу, а простые неизбежны.

— Вы предложить что-либо хотите? — спросил Петр, ибо то, что говорил ему сейчас Копытко, знал в управлении каждый монтажник.

— Поговорите с Ярцевым.

— Клянчить участки поближе и получше? Урвать у другого управления? — удивился Петр.

— Ну и что? Вы молодой начальник, вам должны помогать. Пока еще ходите в новых и молодых, самое время попросить. Разыграть свой козырь. Потом, со временем, отношение к вам изменится, и уж не давать, а с вас требовать больше начнут.

— Возможно, возможно. Козыри свои, наверно, надо уметь разыгрывать. А все же к Ярцеву я с этим не пойду, — решительно мотнул головой Петр.

— Почему же такое упрямство?

— Не умею просить для себя привилегий, не умею да и не считаю нужным. Вот и простой ответ.

— Странно, не для себя же, для людей, для управления. Ну не к Ярцеву, так к Лазареву в партком, там вроде у вас больше понимания, — упорствовал Копытко.

Вот тогда-то Петр, оторвав глаза от бумаг, сердито взглянул на своего главного инженера и подумал: «Что он, действительно не понимает или заранее уверен, что я не пойду на комбинат клянчить участки, и решил показать свое служебное рвение, а заодно и подразнить меня?».

— К Лазареву я не пойду тем более, — после затянувшейся паузы заметил Петр. — Не пойду хотя бы потому, что Лазарева я уважаю и мне не хочется в его глазах выглядеть человеком, который хочет выскочить вперед за счет своих товарищей.

— Чепуха все это! — Копытко раздраженно махнул рукою. — Все просят, не всем дают — это другой вопрос. Ничего тут нет унижительного, все нормально, все стараются использовать свои возможности. А ваша позиция, Петр Михайлович, это, простите меня, донкихотство какое-то. Самому в петлю лезть!..

— Ясно. Какой у вас второй вопрос? — оборвал Петр.

— Второй? — ошеломленно переспросил Копытко.

— Да, второй, второй.

Копытко осекся и вздохнул.

Петру и самому вдруг стало стыдно за свое раздражение, которое он не считал нужным скрывать. Это-то раздражение, видимо, а не сами аргументы более всего и задело Копытку.

«Обиделся,— подумал Петр,— да, конечно, обиделся, дескать, пришел посоветоваться по-хорошему, по-доброму, а наскочил на грубость. Да, я мог быть помягче, сдержаннее. Но черт побери! Как мне не повезло, что я работаю с главным инженером и мы не находим с ним ни общего языка, ни понимания!»

— Вы меня простите, Константин Касьянович,— извиняясь произнес Петр.— Но, по-моему, мы исчерпали уже свои доводы, стоит ли продолжать?

— Может быть, и не стоит, Петр Михайлович,— заметил Копытку.— У меня ведь тоже есть нервы. Только поймите, я хочу помочь и управлению, и вам как молодому администратору. Вы сейчас держите экзамен. Большой экзамен. Не дай бог сорваться.

— Ну вот, вы опять меня втягиваете в спор, и мы теряем время. Упрямый вы человек, Константин Касьянович. Как кремьень! — сказал Петр.— Нет такой производственной ситуации, которая могла бы заставить нас с вами искать выход за счет потери собственного достоинства. Честь свою надо беречь смолоду и всегда.

— Красивые слова, и только! — хмыкнул Копытку.

— Если красивые, то потому, что верные. Кстати, знаете анекдот насчет обмена мнениями? — И, не ожидая ответа Копытку, Петр, настраиваясь на более веселый лад, продолжал: — Это когда подчиненный приходит к начальнику со своим мнением, а уходит с мнением своего начальника. Давайте действовать по этому анекдоту. Итак, какой же второй вопрос? — снова вспомнил Петр.

— Третий квартал заканчивается. Надо итоги подводить,— начал Копытку.— К нам уже уполномоченных прислали из комбината.

— Кого? — поинтересовался Петр.

— Один из отдела кадров, другой с нормативно-исследовательской станции, еще один из отдела организации труда и соревнования.

— Толкачи?

— Они.

— О черт! — выругался Петр.— Не можем никак отвыкнуть от этой погоняйло-аварийной системы. Крепка дурная традиция.

— Се ля ви! — развел руками Копытко. — Такова жизнь.

Петр же подумал, что еще с бригадирских времен ему известно это бурно нарастающее к концу каждого квартала и особенно года авральное напряжение, когда руководство комбината начинает интенсивно сдавать дома в счет плана, а для того чтобы обеспечить эту сдачу, распределяет работников аппарата строительных управлений и комбината по объектам, чтобы выбивать детали с заводов и подгонять монтажников.

Приносила ли пользу такая практика? На комбинате считали, что приносила. Петр же в своей бригаде, бывало, хотя и вынужден был принимать у себя всех этих толкачей, однако относился к ним с неприязнью, как к людям, которые без дела толкутся на строительной площадке, оторваны от своей работы и мешают работать другим.

Но тогда он был только лишь бригадиром. Теперь другое дело. Начальник управления обладал широким кругом прав в своем хозяйстве.

— Толкачей, или как их, бишь, там — уполномоченных, на наши объекты не пускать, — заявил Петр тоном приказа.

— Как? — поразился Копытко, должно быть не веря своим ушам. — Есть же приказ, подписанный Ярцевым!

— Знаю, и все равно никому они не нужны. У нас ритмичное производство, живем и дышим по синхронным графикам, а все эти погонялы, они просто противны самому духу, существу нашей работы.

Петр встал из-за стола, прошелся по кабинету.

— Существует приказ, подписанный Ярцевым, — повторил Копытко испуганно, если не сказать благоговейно, акцентируя на слове «приказ».

— А у нас есть приказ повышать эффективность и качество, — возразил Петр. — Это приказ самой жизни. И нет такого графика, где были бы обозначены толкачи. А следовательно, они незаконны.

Копытко потянулся к стакану воды, облизнул губы. Он выглядел растерянным. Петру показалось, что главный инженер хотел еще раз повторить свое заклинание насчет приказа, но все же воздержался.

— Я этого не понимаю, — заявил Копытко, — и вообще, привык выполнять приказы сверху. Я думаю, что вам придется объясниться с самим Юрием Матвеевичем. Что касается меня, то я умываю руки.

— Сядьте, Константин Касьянович, — сказал Петр, потому что Копытко вскочил в возбуждении, — и запомните, что толкачей вы уберете со всех строительных площадок, но, конечно, вежливо. И сегодня же поедете к Борискину и Каринцеву. Это задание. А к Ярцеву я попаду на прием, как только смогу. У меня все. — И Петровым снял трубку селектора, обозначив тем конец разговора.

Копытко это понял. Раскрасневшийся, он выскочил из кабинета Шубенкова, забыв попрощаться.

«Ну вот, тяжелый понедельник оправдывается, день начался со ссоры», — со вздохом подумал Петр.

Это была не первая его стычка с главинжем и, наверно, не последняя. Не всякое выяснение отношений радует, если даже оно неизбежно. Плохо и то, что Петр стал как бы привыкать к этим стычкам, к своему постоянному раздражению на слова, поступки, даже на мысли Копытко.

«Привык работать по старинке, — думал Петр о нем. — Авралы, толкачи, выклянчивание лучших участков, тупое следование приказам и распоряжениям. Оттуда-де, сверху, виднее, а наше дело маленькое — выполнять указания».

Исполнительность как неперемнное качество делового человека Петр ценил высоко. Сам был пунктуально исполнителен, обязателен даже в мелочах. Обещал — делал. Давал слово — это как закон. Но кто сказал, что исполнительный работник не должен быть мыслящим, критически оценивающим и свои и чужие решения? Выполняй, но и обдумывай, и если видишь, что творится глупость, головотяпство, что дело ведется неправильно, — имей смелость возразить.

«Беда-то Копытко, — продолжал думать Петр, — даже не столько в том, что ему не хватает инициативы, умения трезво осмыслить производственную ситуацию, а в том, что эту свою шаблонную, привычную практику он отстаивает с упорством, достойным лучшего применения. Борьбу за шаблон Копытко считает своей доблестью. А это уже активная позиция, с которой мириться невозможно, никак нельзя, иначе шаблон задавит все, что не укладывается в его рамки».

Дойдя до этой мысли, Петр взял со стола карандаш и начал чертить круги на бумаге, что делал всегда, чтобы сосредоточиться. Мысль была важной, коренной, крепко

завязанной с каждодневной практикой Петра как начальника управления. Она глубоко задевала сейчас еще и потому, что вела к выводу о несовместимости его, Шубенкова, и Копытко в сфере деловой и нравственной.

«Несовместимость — вещь мучительная. С Копытко, видимо, надо расставаться».

Петр подумал об этом уже в первый месяц их совместной работы. Последующие события и время только укрепляли эту мысль. Сегодняшний разговор добавил новые аргументы. Их надо выложить в оправдание решения. Но кому? Ярцеву?

Тут Петр вздохнул и бросил карандаш на стол. Ярцев не даст снять с должности Копытко. В этом Петр был почти уверен. Не знал еще точно почему, но чувствовал сердцем, кожей, как любила говорить Катя. Да, с Ярцевым обсуждать этот вопрос будет трудно. И если Петру решиться, то подготовившись основательно и непременно заручившись авторитетной поддержкой. Иначе начальник комбината или уйдет в сторону от решения под разными предложениями: нет, мол, людей, кого в замену, или скажет: «Учите, направляйте, воспитывайте».

Петр сейчас пытался проиграть в уме возможный разговор с Ярцевым. Нет, рановато, Ярцев не так-то прост. Трудно заранее просчитать все варианты, все логические ходы, все «за» и «против» в этом воображаемом разговоре. Несомненным оставалось только одно — надо искать поддержку. И не только в связи с Копытко, но и по существу возникших сегодня проблем. Кому звонить? Видимо, Лазареву.

Принятое решение всегда несет в себе значительную дозу облегчения в любой сложной ситуации. Определенность благотворна. Человек чувствует себя уже заряженным на четкую программу действий.

Петр понимал, что сам по себе звонок к Лазареву в этой ситуации уже начало действий. Ибо Аркадий Николаевич сразу же поймет, против кого направлено острие этого спора. И не Копытко здесь главная фигура. Магнитная стрелка возникших в строительном управлении разногласий между начальником и его главным инженером смотрит в сторону Ярцева.

Лазарев был на месте, когда Петр позвонил ему по прямому телефону, минуя секретаршу. Сообщил, что принял решение отказаться от толкачей, круто поспорил с Копытко и хочет идти к начальнику комбината.

— А при чем тут партком? — спросил Лазарев. — Вопрос вроде чисто административный.

— Да нет, еще и кадровый. Трудно мне работать с Копытко. Есть проблема несовместимости. Прошу меня понять. Мы тянем в разные стороны. Все время стычки. — Петр внутренне напрягся в ожидании ответа.

Лазарев, видимо, думал. Пауза затянулась. Петр взял в руки карандаш, опять начал чертить круги на бумаге.

— Ты не с Украины, Петр Михайлович? — неожиданно спросил Лазарев.

— Москвич, а что?

— А то, что в таких случаях хохлы говорят: «Це дило треба разжуваты». Не торопись, — продолжал Аркадий Николаевич. — Есть одно хорошее правило — всегда оставлять себе лишний день для размышлений. Насчет Копытко ты к Ярцеву не ходи. Он сам тебя вызовет, раз нарушен его приказ. А пока — думай.

— Насчет чего? — не понял Петр.

— Как быстрее освоить шестнадцатизатжки всеми потоками управления. Вот это, в конечном счете, и будет все решать.

— Это мне ясно, но хотелось бы услышать ваше мнение. Вы знаете, как я ценю его. — Петр был слегка задет и огорчен тем, что Лазарев сразу не выразил ему своей поддержки.

— Спасибо. А насчет мнения, так я же тебе порекомендовал лишний день для размышлений, оставь такую возможность и мне. Подумаю — позвоню. Как дела на площадках? — поинтересовался Лазарев.

— Там нормально, — вяловато и с явным разочарованием произнес Петр.

— Ну и в добрый час! — пожелал Аркадий Николаевич и повесил трубку.

ГЛАВА 20

Прошло два дня после разговора с Копытко и Лазаревым, на стройки управления уже не пускали толкачей, а вместе с тем ровным счетом ничего не происходило. Помалкивал и Копытко. Не возражали сами уполномоченные. И что самое непонятное — Шубенкова не вызывал к себе начальник комбината.

Зато в следующую пятницу, во второй половине дня позвонила секретарша Ярцева. Она всегда высказывала свое расположение к Шубенкову, которого знала еще с бригадирских времен. И сейчас она с явным удовольствием сообщила, что Юрий Матвеевич приглашает Петра Михайловича с женой в субботу к нему на дачу.

И первое, что удивило Петра, было то, что Ярцев не сделал приглашения сам, а поручил секретарю, у которой неудобно было спрашивать, по какому поводу встреча и кто будет еще. Подразумевалось, видимо, что Шубенков и сам это знает от хозяина дачи.

В короткой паузе, когда Петр сказал секретарю: «Минуточку», якобы отвлеченный другим телефонным звонком, он взвесил значение этого приглашения, не принять которое означало бы проявить невежливость и неблагодарность, ничем не оправданные. И хотя ехать к Ярцеву на дачу Петру вовсе не хотелось, он, поколебавшись, все же ответил согласием.

В субботу казенную машину Петр вызвать не мог. На такси было дороговато. Поэтому пришлось поехать электричкой, а от станции пройти пешком километра три. Дорога шла лесом. Нагретый солнцем, напоенный запахами еще свежих, не выгоревших трав, сосновый бор благоухал ароматами лета.

Петр шагал по лесной дороге с удовольствием человека, вдруг вспомнившего о том, что необходимо совершать ежедневные прогулки длиною не меньше десяти километров. Это Петру недавно посоветовали японские гости. Делегация строителей и бизнесменов, побывав в Москве, посетила комбинат, заводы и строительное управление Шубенкова.

Кате тоже нравилась прогулка. Но еще в большей степени то, что их пригласил к себе Ярцев. Катя выше, чем муж, оценивала сам факт оказанного им Ярцевым внимания, она не хотела портить себе сегодня настроения и не говорила больше об Ирине Сергеевне. Естественно, в свою очередь Петр был ей за это благодарен.

Дачу Ярцева они нашли без затруднений. Это был просторный финский дом с пристройками, сооруженными позже Юрием Матвеевичем, причем объем новых строений превышал, видимо, основную жилую площадь. В том, что это именно так, Петр убедился позже, когда осмотрел вместе с хозяином спальные комнаты, новую кухню,

гостиную на первом и большую застекленную веранду на втором этаже.

Возможности для такого обустройства дачи у Ярцева были, естественно, большие, чем у его соседей по кооперативному поселку. Удивляло другое — почти ребяческая гордость и удовольствие, с которым руководитель крупнейшего предприятия, соорудившего в Москве множество жилых домов, показывал коллегам эти свои личные терраски и гостиные.

К даче примыкал небольшой участок, часть которого ушла под гараж. Жена Ярцева Светлана Августовна сама водила машину. Юрий Матвеевич, имея права, за руль садился редко, полагая, что он уже «выработал» свой шоферский ресурс: реакция не та, и зрение, и нервы.

Ожидая увидеть здесь грядки с клубникой или кусты малины, Петр, не любивший дачи вообще, а уж тем более иронически относившийся к так называемым окультуренным участкам, где каждый метр используется под посадку овощей и фруктов, был даже несколько удивлен тем, что Ярцев своим подсобным хозяйством не занимался, участок у него был «дикий», если не сказать запущенный.

Вот среди этих лохматых кустов жасмина, под сенью березок, лип и небольших медноствольных сосен на шезлонгах, скамейках, в гамаках сидели или прогуливались по участку гости Ярцева: Аркадий Николаевич Лазарев с женой, Копытко, тоже с супругой, и несколько знакомых Петру пар — соседи по дачному поселку.

Петр более всего был рад увидеть Лазарева и познакомиться с его женой. Моложе мужа лет на восемь — десять, статная, полная русская женщина, немало пережившая всякого за долгую жизнь с мужем, она, видно, в полную меру сохранила жизненную энергию.

— Людмила Петровна, — назвала она себя, протягивая Петру руку с улыбкой человека, который доброе, уважительное отношение супруга к кому-либо считает обязательным и для себя. — Очень рада. Познакомьте меня с вашей очаровательной женой.

Петр обратил внимание на коротко подстриженные волосы Людмилы Петровны. Они были выкрашены в тот седовато-серебристый цвет, который, как будто бы даже подчеркивая возраст, вместе с тем придавал лицу свежесть и обаяние.

— По какому поводу сбор? — спросил Петр у Лазарева. — У хозяина я не осмелился узнать.

— Кажется, какой-то семейный праздник, возможно, день рождения жены. Но это скрывается, чтобы не обременять поисками подарков.

— Ах вот как! — протянул Петр. — К чему такая щепетильность. Раз уж приехали на дачу, то и за подарками дело не стало бы.

— Я думаю, день рождения жены — только повод. Юрий Матвеевич любит время от времени собирать у себя на даче людей, с которыми работает, — высказал предположение Лазарев. — Природа сближает, можно и поговорить спокойно, откровенно. Всякому начальнику необходим микроклимат понимания и уважения среди своих ближайших помощников и коллег.

— Вот это, наверно, то самое, истинный повод для встречи, — заметил Петр.

— И правильный. То есть я хочу сказать — полезный, — добавил Лазарев. — Так что, Петр Михайлович, будь готов к тому, что где-нибудь в уголке этого сада Ярцев, как это говорится, «вызовет тебя на зеленый ковер травы» по поводу толкачей и еще чего-либо.

— Неужели захочет в такой день вести деловые разговоры? — усомнился Петр.

— Захочет, — подтвердил Лазарев. — Юрий Матвеевич о деле, вернее о деловых интересах, помнит всегда — это черта людей не столько целеустремленных, сколько упрямых. Если уж привяжется к какой-либо мысли, то вынимать ее из него трудно.

— Вряд ли это комплимент Ярцеву. — Петр пожал плечами.

— И все же не надо недооценивать его как противника. Ни в коем случае. Слушай, давай-ка отойдем в сторонку, — предложил Лазарев, — чтобы не надоедать женщинам нашими деловыми разговорами.

— Пожалуй, — сказал Петр.

— Все у тебя хорошо? — спросил Аркадий Николаевич.

— А что именно?

Они шагали по песчаной дорожке в глубине участка.

— В семье?

— Нормально, — ответил Петр. Правда, голос у него слегка напрягся, потому что он соврал. Но Аркадий Николаевич, кажется, не заметил этого.

— Сынишка как?

— А что ему, растет. Скоро меня догонит. Акселерат.

— Сейчас они все такие. А я вот своим похвастаться не могу,— с неожиданной откровенностью, более того, с прорвавшейся болью в голосе признался Аркадий Николаевич.

— Что с ним? Он ведь у вас взрослый.— Петр повернул голову к Лазареву.

— Взрослый по годам, но не по уму. Парень без царя в голове. Закончил институт в Москве, поехал на завод в Челябинск. Все нормально — поставили мастером. А он начал пить. Даже в вытрезвителе побывал, в коллективе на дурном счету. Сейчас вот завод бросает, завербовался куда-то на Север.

— Ну пусть проветрится,— сказал Петр.

— А мотив? Написал мне: «Батя! Пить я, видимо, не умею, как надо. На Севере научат. Обьеду-ка я все северные мысы и носы, пока молод». Что это — серьезный человек?

Петр усмехнулся:

— Перебесится парень. Молодая кровь играет.

— Я в его годы комиссарил в полку. Кровь тоже играла. Только мы ее за Родину проливали. Вот так! Ну, извини за внезапную откровенность. Так, накатило что-то. У каждого, брат, свои проблемы,— почему-то сказал Аркадий Николаевич, глядя на Петра.

Помолчали немного.

— А вообще-то пора нам двигаться к столу,— спохватился Лазарев,— смотри, вон хозяйка уже бьет в гонг. Пошли.

И они направились к столу, который был накрыт на застекленной террасе.

Аркадий Николаевич оказался прав. Деловой разговор у Петра и Ярцева состоялся, но не сразу, а ближе к вечеру. А сначала был обед — обильный и вкусный, это казалось удивительным по дачным условиям, когда нелегко привозить продукты и еще хлопотнее готовить.

Обслуживая застолье, хозяйка находилась все время в движении, ей помогала хроменькая старушка, то ли домработница, то ли домоправительница, а гости, естественно, все время уговаривали Светлану Августовну посидеть за столом.

Что касается общей застольной беседы, хотя и подогретой водочкой (она была настояна по какому-то особому рецепту хозяина на травах и на лимонных корках), общий разговор все же завязывался с трудом, как и обычно

в компаниях, где собираются незнакомые люди. Ну а те, что и были знакомы, скажем Петр и Копытко, явно не испытывали желания общаться.

Может быть, поэтому преувеличенное внимание гостей привлекала смонтированная на террасе магнитофонная система со стереофоническим звуком. Она была приобретена хозяином в Штатах, как сказал Ярцев, во время одной из командировок в США в составе делегации строителей. Мелодия шла под сурдинку, так, чтобы не мешать застольному разговору. У Юрия Матвеевича был большой набор шлягеров и пластинки нескольких эмигрантов из России, исполнявших песни, популярные у нас до революции, а также в довоенные двадцатые, тридцатые годы.

Гости блаженно подремывали в удобных креслах, внимая голосам певцов с тем несмываемым, прочно въевшимся в интонацию нерусским акцентом, который не могли заслонить ни форсирование звука, ни эмоциональный пакал, ни всякое иное старание придать этим песням истинно русский, национальный колорит.

Потом Ярцев показал Петру и Лазареву свой кабинет на даче — уютный, с прекрасным письменным столом, большим цветным телевизором, книжным шкафом, где преобладала литература техническая и шахматная. Юрий Матвеевич имел какой-то шахматный разряд.

Отдельно стояли книжные полки для собраний сочинений. Петр оглядел их. Здесь было почти все, что выходило в последние годы по подписке — русские и зарубежные классики. Ряды аккуратно выровненных томов, поблескивающих корешками, наводили на мысль, что в интерьере кабинета эти полки играют свою определенную, но преимуществу декоративную роль.

Петр обратил внимание еще и на то, что у Ярцева в его личной библиотеке почти не было видно книг современных авторов и о современности.

— Есть на городской квартире, — ответил Ярцев, — немного, это верно. А зачем читать о современной жизни, если мы ее сами хорошо знаем и, можно сказать, творим? Я вот слышу — нужна, дескать, дистанция времени, чтобы это самое сегодняшнее, бурное, переменчивое время хорошо осмыслить. «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Чьи это строки?

— Есенина, — вспомнил Петр.

— Ну вот видишь, мудрые слова. Да и когда нам с

тобою читать? Дел неупрочено. Так, чтобы быть в курсе, просматриваю кое-какую беллетристику, желательно поострее. Люблю фельетоны.

— Так нельзя, — возразил Петр. — Современная литература — она дышит проблемами нашего дня, потому и интересна, что сегодняшнее, горяченькое, то, что с пылу и с жару берет. А через дистанцию времени нашу бурную эпоху уже дети и внуки будут осмысливать.

Ярцев усмехнулся, похлопал Петра по плечу.

— Видна наша с вами разница в возрасте, Петр Михайлович. Вам еще времени своего не жалко, готовы всякую духовную пищу заглатывать. А я уж, извини, питаюсь с разбором. Желудок уже не тот, не все переваривает. Придерживаюсь того правила, что и лечиться надо только у хороших врачей, и писателей читать только самых лучших, классиков.

— В чем-то это резон, — заметил Петр, — относительно врачей — особенно.

Ему не хотелось более развивать эту тему, такое же желание Петр уловил в глазах и Ярцева. Люди воспитанные знают меру в споре. Высказали разные точки зрения, и ладно. Не давить же до упора! Тем более что вкусы литературные, музыкальные потому и называются вкусами, что они разные.

После чая с вареньем, конфетами, тортами, после того, как под чай выпили еще немного коньяку «для полировки»; как выразился Ярцев, всей компанией отправились погулять по поселку. С первой группой, куда ближе к Ярцеву притиснулась и Катя, шел Петр, во второй шагала Копытко с женою, какой то непривычно благостно-задумчивый. Он держался поодаль от Петра, хотя и взирал на него спокойно, и несколько раз улыбнулся Кате.

Поселок «Созидатель», в котором жил Ярцев, принадлежал кооперативу строителей еще с довоенных времен, когда вокруг Москвы находилось еще немало удобных для дачного строительства неосвоенных живописных мест, щедро раздаваемых различным организациям и ведомствам.

Но со временем ведомственный характер этих поселений утрачивался, что, собственно, происходит в любом кооперативе. Строителей становилось все меньше, и все больше принятых, так сказать, со стороны, и главным образом людей состоятельных, ибо, как известно, с годами цена на дачи все возрастает.

Об этом как раз и зашел разговор, когда гости прогуливались по асфальтированным дорожкам, которыми были опоясаны участки, и интересовались, кому принадлежат те или иные дачи. Юрий Матвеевич сказал, что он несколько лет возглавлял правление дачного кооператива, был его председателем и в этом качестве не раз брал грех на душу, уступая давлению людей, не имевших никакого отношения к строителям, но зато располагавших средствами, и способствовал тому, что кооператив продавал им дачи.

С годами размыв, как выразился Юрий Матвеевич, кооператива приобрел такие размеры, что человека, и поныне активно работающего на производстве, на дачной улице, подобно той, на которой жил Ярцев, уже и найти-то было трудно. Давние застройщики, еще довоенной чеканки градостроители, в большинстве своем уже отошли от активной деятельности. Вдовы, составляющие уже едва ли не половину населения поселка, повыходили замуж или отдали дачи наследникам. В общем, подлинными и наиболее постоянными обитателями поселка стали маленькие дети и люди, ушедшие на отдых. И если бы изменить название кооператива «Созидатель» на, скажем, «Пенсионер», — это больше бы соответствовало действительности.

— А что же вы хотите, — рассуждал Юрий Матвеевич, — в городе, где уже двадцать пять процентов составляют пенсионеры, иначе и не может быть. Пока человек здоров и максимально активен, разве он думает о сохранении здоровья? Мы бережем не здоровье, а лишь то, что осталось от него, и то лишь получив отставку и мандат на старость.

— Старости нет, если есть любовь к жизни, — изрекла Катя. — Вот вы, Юрий Матвеевич, прекрасно сохранились. Седой, статный, вальяжный. Есть мужчины, которые к старости хорошеют. Вы именно такой.

Катя шагала в ногу с Ярцевым, активно поддерживая разговор. Ее комплименты были так густо присыпаны лестью, что Петра даже пробирал легкий озноб, однако одернуть жену при всех он все же не решался.

Катя явно старалась понравиться Ярцеву, может быть в пику мужу: о его сложных отношениях с начальником комбината она знала. Или же просто по своему обыкновению быстро входить в контакты с нужными людьми и

завязывать полезные отношения. Во всяком случае, она более других внимала пояснениям Юрия Матвеевича.

Ярцев называл имена то известной исполнительницы народных песен, то полковника-отставника, который сегодня был его гостем, то популярного композитора. Он вроде бы и сам усмехнулся тому, что в этом перечислении мелькали всё имена известных, и знаменитости эти были вовсе не из того круга работников строительной индустрии, к которому принадлежал сам Ярцев.

— Нас, строителей, слишком много,— сказал Юрий Матвеевич.— Кто станет запоминать строителей жилых домов и кварталов? Хотя вот Петю Шубенкова одно время очень привечала наша пресса, когда бригадирствовал, а сейчас журналисты любят Володю Каринцева.

— Эта известность другого рода,— впервые вмешался в разговор Петр.

Без особого любопытства он поглядывал на дачи, и не только потому, что для него они были слишком дорогим удовольствием.

«И не привлекают, и не по Сеньке шапка»,— подумал Петр.

— Какого же другого? — заинтересовался его репликой Ярцев.

— Из того цемента, которым скрепляют нашу известность, такой дачи не выстроишь.

— Маловато цемента?

— Цемента хватает, труда тоже, все дело в расценках.— Тут Петр сам улыбнулся, ему понравилось это сравнение.

— Не надо приbedняться. У нас на комбинате люди зарабатывают хорошо. И дальше будет лучше. Я вам скажу так,— оживился Ярцев,— дачу большую или маленькую, как и свою автомашину, надо прежде всего захотеть. Желание, страстное желание! Вот бензин, на котором работает мотор любого накопительства средств. Между прочим, дачи и машины имеют не самые состоятельные, а те, кто очень этого хотят. Примеров очень много, даже в нашем поселке.

— Возможно, возможно,— вяловато согласился Петр.

Почему именно тогда по какой-то ассоциации, как бы отталкиваясь от дачной темы, Ярцев счел нужным повернуть разговор на деловые рельсы? Этого Петр не уловил. По инициативе Юрия Матвеевича они свернули в сторону, к лесу, поотстали от группы, которая теперь уже во

главе со Светланой Августовной продолжала ознакомительную прогулку по поселку.

— Послушай, Петр Михайлович, — обратился Ярцев, — хочу с тобою поговорить откровенно, не как начальник с подчиненным, а просто, по-товарищески. Я старше, из другого поколения, но ведь это же неверно, когда говорят, что понимать по-настоящему друг друга могут только однокашники да однополчане. У нас есть общее дело и одна ответственность. А это такая штука, которая уравнивает возраст. И тут уж не важно, что тебе, скажем, эту ответственность нести на плечах еще лет тридцать, а мне уж немного осталось. Верно?

Петр подумал в эту минуту о Лазареве, вспомнил, какую пользу и удовольствие он получает от разговоров с ним, совершенно забывая о разнице лет. И кивнул утвердительно.

— Так вот, с чего бы начать, — улыбнулся Ярцев. — Начинают обычно с приятного. Я разрешил вашему управлению обходиться без уполномоченных. В порядке исключения, заметьте, рискуя вызвать недовольство или, вернее, недоумение начальников других строительных управлений комбината.

Петр промолчал. Ему неясен был еще ход мыслей, а точнее намерений Ярцева, а благодарить тут же начальника комбината за то, что он освободил своих сотрудников от мельтешения на строительных площадках, Петр тоже не видел оснований.

Однако Ярцев продолжал, не изменив благожелательного тона:

— Я разрешил убрать уполномоченных вовсе не потому, что считаю их работу ненужной. Мы всегда раскрепляли уполномоченных в конце квартала и года, ибо в эти недели напряжение у нас особенное. Такие словечки, как «аврал», «штурм», стали у нас вроде ругательных, но я хотел бы увидеть такую стройку, где бы не штурмовали или, если хочешь другой термин, где бы не шуровали в конце года. Может быть, вы их видели, такие идеальные стройки, Петр Михайлович?

— Нет, я не видел. И все же. Эти уполномоченные, толкачи разные тоже не находка, — отозвался Петр, — мешают, отвлекают.

— А психологический эффект? Вы его учитываете? Уполномоченные одним своим присутствием повышают состояние внутренней мобилизованности, ответствен-

ности. Люди чувствуют это, подтягиваются. Нет-нет — не пустяк. В планировании волевое начало себя не оправдало — согласен, но в непосредственном труде, в труде физическом — это серьезный стимулятор. И к тому же уполномоченные — глаза и уши руководства. Вовремя просигнализируют.

— Так ведь и я умею пользоваться телефоном, — возразил Петр. — Врать вам не стану. Я коммунист. Надо же нам научиться доверять друг другу.

— Я доверяю, милый мой, но пойми: несколько глаз лучше, объективнее оценивают положение на стройке, — как бы смягчая свою мысль, заметил Юрий Матвеевич. — Поймите меня правильно.

— А вы меня поймите, — твердо сказал Петр. — Штурмовые методы — признак не силы нашей, а, скорее, слабости, которая только умеет прикидываться силою. Куда больше стимулирует работу порядок: четкий ритм, согласованность.

— Петр Михайлович, случаем, передовые не пишешь? Как это у вас все гладко, кругло выходит!

Ярцев, видимо, все же слегка разозлился. Это было заметно даже по тому, что, обращаясь к Петру, он говорил ему то «вы», то срывался на якобы дружеское и откровенное «ты».

Петр это почувствовал даже не столько по интонации, сколько по тому, как резко сорвал Юрий Матвеевич на ходу высокий стебелек полевого цветка и сунул его себе в зубы.

— Политграмоту мне читать не надо. Вижу — говорить ты научился дай бог! Еще бы! Сколько вас на трибуну выпускали в свое время, когда поднимали как бригадира. В общем, так, — резюмировал Ярцев, — давай кончать с этим вопросом! Уполномоченных у тебя снимаю только потому, что верю — вытянешь квартальный план.

Петр кивнул, как бы принимая предложение.

— Не вытянешь, значит, спросим за все сразу, а за самодеятельность — вдвойне.

Петр снова кивнул, соглашаясь.

— Теперь второе. Хотя вы и молодой начальник, но, конечно, знаете такую нашу практику — мы форсированно сдаем корпуса в конце квартала. Ну и иногда, как это говорится, уже отрапортовав, не уложившись в сроки, задним числом дотягиваем кое-что. Нового я ничего не сообщаю, дело известное. — Ярцев почему-то слегка по-

кривился: то ли стебелек оказался горьким, то ли Юрий Матвеевич почувствовал горечь самой мысли, которую он сейчас, видно, безо всякого удовольствия излагал Шубенкову. Излагал, должно быть, потому, что хотел с Петром о чем-то договориться.

Поняв, куда клонит Ярцев, Петр помрачнел.

— Я уступил в одном, проявите и вы разумное понимание в другом,— сказал Ярцев примирительно,— иначе у нас ничего не получится, дорогой мой. Не будет ни плана, ни премий — ни управлению, ни комбинату. Сколько вы сдали в прошлом квартале?

— Семьдесят восемь тысяч квадратных метров.

— А в третьем надо сдать?

— Сто пятнадцать тысяч.

— Ну вот видите, как необходимо поднажать, да еще без моих боевых уполномоченных,— усмехнулся Ярцев.— Так что мобилизуйте все возможное.

— Сдать — записать. А когда люди в эти дома передут — это уже нас не касается? — вырвалось у Петра.

— Это уже не наша с тобою забота. Каждый должен делать свое дело. Отрапортуешь — и в порядке.

— Вот именно — отрапортуешь,— мрачно повторил Петр и надолго замолчал.

Он не ответил тогда Ярцеву согласием, но его, собственно, и не требовалось. Подобная практика существовала давно. Но ведь Петр и не возразил определенно, и именно это Ярцев мог посчитать за знак согласия, пусть молчаливого.

Правда, Петр помнил, как он многозначительно вздохнул. Но синхронно с ним вздохнул и Ярцев. Что ж! Это вроде бы даже объединяло их в сознании общих забот. Умные-де люди понимают необходимость иных диктуемых пользой дела маленьких подтасовок, на которые на комбинате, мол, давно уже привыкли закрывать глаза.

— Хотел я, Петр Михайлович, еще о Копытко поговорить. Несправедливы вы к нему, наверно, по молодости, по горячности. Знаете, как говорят: будешь искать друзей, помощников без недостатков — останешься вовсе без друзей.

Петр хотел было что-то возразить, но Ярцев остановил его:

— Нет-нет, отложим этот разговор. И так многовато я навалил на вас для субботнего дня. Если бы Светлана Августовна узнала, чем я тебя здесь мучаю, она бы устро-

ила мне головонойку. Сегодня отдых. Я вижу, жены наши оглядываются, ищут нас.

Ярцев быстро пошел вперед. Петру ничего не оставалось, как только последовать за ним.

Теперь, шагая по лесной тропинке, Петр думал о том, что Лазарев во многом оказался прав. Не прост Ярцев, не прост! Тот самый важный предполагаемый разговор действительно состоялся. Но кому он принес удовлетворение? Скорее, Ярцеву. Размягченный первой уступкой начальника комбината по вопросу о толкачах-уполномоченных, Петр явно раскис и не нашел в себе силы кинуться в атаку, когда речь зашла о Копытко. Да, ослаб, отступил. Горько было это сознавать.

Неприятный осадок на душе не проходил у Петра до конца вечера. И он был рад, когда часам к восьми в сгущающихся сумерках гости начали разъезжаться, и Петра вместе с Катей, очень довольной проведенным днем, захватил в город отставник-полковник, сосед Ярцева по даче.

ГЛАВА 21

Через несколько дней после встречи на даче, когда Ярцеву показалось, что он взял в руки Шубенкова и если не во всем убедил его, что не так уж и важно, но зато вполне подчинил строптивного начальника управления своей воле, раздался в кабинете начальника комбината звонок из райкома, и Ярцева попросили зайти к первому секретарю.

С Ярцевым говорил помощник, и Юрий Матвеевич, естественно, поинтересовался причиною вызова.

— Этого я не знаю. Но на всякий случай захватите материалы по комбинату,— посоветовал помощник.— Илья Васильевич, как вы знаете, уделяет большое внимание вашему предприятию.

— Ну а так чтобы поконкретнее, понацеленнее, не можете? — с закрадывающимся чувством тревоги спросил Ярцев, которого, как и всякого хозяйственника, заранее не мотивированный вызов в райком приводил к мысли о каких-то своих упущениях.

— Нет, конкретнее не могу. Ну что вам волноваться, Юрий Матвеевич, никаких грозowych туч на светлом горизонте развития вашего комбината как будто бы незамет-

но.— Помощник имел пристрастие к красивым выражениям.

— И на том спасибо, дорогой,— поблагодарил Ярцев,— а то ведь нам волнений и своих, комбинатских, хватает по завязку.

Шестиэтажное, из красного кирпича здание райкома высилось ярким кубообразным монолитом на оживленном перекрестке улиц, ведущих к Москве-реке и вдоль нее. Из кабинетов секретарей на пятом этаже хорошо просматривались окраины рабочего района. Жилые кварталы чередовались с заводскими корпусами, иные трудно было даже заметить, так плотно они окружены массивами жилых домов, так органично вписывались в урбанистические интерьеры микрорайонов.

Предприятия здесь были не очень крупные, но почти все с интересными революционными и производственными биографиями. Их почтенный возраст только подчеркивал молодость комбината, не имеющего еще давних традиций. Надо ли удивляться, что в райкоме постоянно следили за делами на комбинате, с готовностью всегда и помочь, и выслушать, и предостеречь от ошибок, одним словом, оказывать внимание.

Так, успокаивая себя, рассуждал Ярцев, поднимаясь на лифте к «секретарскому отсеку», как говорили здесь, а затем зайдя в приемную Ильи Васильевича. Он сам вышел в приемную, когда о приходе Ярцева секретарь доложил по селектору, и, пропуская впереди себя, пригласил Юрия Матвеевича в свой кабинет.

Инженер по образованию и тоже строитель, Илья Васильевич до избрания его первым секретарем долгое время был членом бюро районного комитета, представляя там большую организацию своего министерства. И как бывший секретарь парткома министерства, которое сооружало промышленные предприятия по всей стране, и как инженер Илья Васильевич, естественно, с особым пристрастием относился к делам строительным, которые старался постоянно держать в поле своего зрения.

То, что с ним разговаривает коллега, Ярцев ощущал постоянно по тому уровню деловой компетентности, которая чувствовалась во всем, что спрашивал, чем интересовался и что советовал секретарь райкома.

Илья Васильевич был высок ростом, еще по-молодому строен, легок на шаг. Не относись это определение по преимуществу к женщинам, Ярцев сказал бы, что Илья

Васильевич выглядел даже изящным. Но при всем при том, внешне всегда спокойный и мягкий в обращении, Илья Васильевич внушал при встречах товарищам из комбината чувство трепетной настороженности, исходившей из сознания того, что секретарь райкома на все смотрел как специалист, многое видел, понимал, сам был откровенен, когда речь заходила о деле, и требовал такой же откровенности от других.

И сейчас, усадив Ярцева в кресло, сам Илья Васильевич сел лицом к окну, сквозь которое виднелась вдали набережная Москвы-реки, бетонный парапет и срез воды, а вдоль реки поднимающиеся в небо металлические каркасы высотных зданий. Дома эти возводили предприятия того самого министерства, где раньше работал Илья Васильевич. Ярцев это знал. Однажды Илья Васильевич даже признался ему откровенно, что сильно тоскует по монтажу.

Ярцев, помнится, предложил ему тогда любую должность у себя на комбинате, включая и собственное кресло. И сейчас, проследив за взглядом Ильи Васильевича, Ярцев напомнил секретарю райкома этот шуточный разговор, рассчитывая хотя бы одним этим смягчить начало их беседы.

— А вы-то что же, сами-то, не устали, не тяжело ли вам? — тоже с улыбкой спросил Илья Васильевич, и хотя все продолжало выглядеть шутовым обменом репликами, разговор сразу и неожиданно приобрел неприятный и даже тревожный для Ярцева оттенок.

— Нет, не тяжело, Илья Васильевич, у нас все движется вроде бы нормально, а что? — спросил он. И вот это-то «а что?» и выдавало озабоченность Ярцева, ибо, когда в райкоме спрашивают хозяйственного руководителя, не тяжело ли ему, он вправе задуматься над тем, что же стоит за таким вопросом. А стоять за этим может разное. Озабоченность положением дел, желание помочь руководителю или же, бывает и так, складывается мнение, что руководителю так тяжело, что и помочь уже затруднительно.

— Не люблю я этого бескровного, казенного словечка «нормально», — заметил Илья Васильевич. — Нормы бывают разные. Нормально плохо или нормально хорошо?

— Удовлетворительно, — уточнил Ярцев.

— Опять же кого удовлетворяет? Вас, меня или, скажем, Шубенкова? Да, кстати, как он осваивает науку управления?

— Что сказать? Опыта еще, естественно, маловато, но крутится динамично, мотается по объектам, хватка есть. План выбивает. Правда, жестковат, по слухам. Некоторые жалуются на него. Хотят даже уходить,— заметил Ярцев.

Илья Васильевич поморщился.

— Экие у вас все механические характеристики человека. «Крутится», «хватка». А мы в райкоме знаем Петра Шубенкова еще и как интересно думающего человека. Личность. Вы не находите?

— Все мы личности,— ушел от прямого ответа Ярцев.— Бывший бригадир на своем рабочем месте безусловно был хорош. А на новой должности — новые требования. И так ведь бывает, Илья Васильевич, на одном месте — личность, а подняли повыше — уже околичность.— Ярцев улыбнулся, как бы прося извинить его за такой каламбур.

— Не знаю, не знаю, у меня мнение о Шубенкове, я бы сказал, более одухотворенное,— заметил Илья Васильевич, не приняв шутки Ярцева.— Человеческую личность определяет масштаб деяний и их направление. Сумма деяний у Шубенкова, как вы знаете, солидная. Бригадир был славный, а теперь на хозяйственном посту не только, как вы говорите, «мотается по объектам», но и поступки совершает любопытные. Вот история с Сосновским парком.

— Именно,— подхватил Ярцев, уловив, как ему показалось, интонацию осуждения в голосе секретаря райкома.— Шубенков пошел на поводу у какой-то бабенки. Да и что-то у него с нею есть. Какие-то личные отношения, хотя точно не знаю, признаться. Одним словом, потерял голову и перестал считать государственную копейку. Едва план квартала не завалил.

— Так завалил или нет?

— Выполнил.

— Значит, выполнил,— повторил Илья Васильевич.— И думает о красоте нашего города, о людях.

— Каждому надо заниматься своим делом,— сухо вато заметил Ярцев, поняв, что он неверно истолковал интонацию Ильи Васильевича.

— Я слышал, что Шубенков не ладит со своим главным инженером. Не тот ли хочет уходить? — поинтересовался Илья Васильевич.

— Он, — подтвердил Ярцев, — опытный работник, исполнительный. Какая вожжа Шубенкову под хвост попала — не пойму. Дурит, по-моему.

— Дурит? — удивился секретарь райкома.

— Болтает о нравственной несовместимости. Модные словечки. А дело обстоит проще: тот, у кого больше опыта, житейской трезвости, пытается вразумить склонного к авантюрам и зазнайству, а это, естественно, не нравится. — Ярцев говорил раздраженно, и, хотя сам чувствовал это, уже не мог исправить неверный тон. — Что, в самом деле, происходит? Какая-то временная размолвка начальника управления со своим главным инженером. Ну разве это вопрос для секретаря райкома? Бессовестные люди, которые занимают вас такими пустяками.

— Да как сказать! — протянул Илья Васильевич. — Когда я сам был начальником монтажного управления, то очень переживал такие размолвки. Это нам с вами такое может показаться незначительным, а ведь Шубенков видит Копытку каждый день, общается с ним по времени наверняка больше, чем со своей женой. И на этой самой несовместимости изнашивает свою нервную систему.

Ярцев неопределенно пожал плечами. Становилось явственно ощутимо, что хотя он и не спорит напрямую с Ильей Васильевичем, но мысли их и оценки не совпадают. А это само по себе было неприятно и начинало тревожить Ярцева.

— За износ нервной системы нам, между прочим, деньги платят. Не на этом, так на чем-то другом все равно ее износишь. Зато дома наши стоят и, надеюсь, долго не износятся. — Ярцев вновь попытался пошутить, ибо все еще не мог предположить всерьез, что только ради выяснения отношений Шубенкова и Копытку его, начальника комбината, пригласил к себе первый секретарь райкома.

Быть может, Илья Васильевич почувствовал это или же ответы Ярцева в какой-то мере удовлетворили его, но он заговорил теперь о другом, о бригадном подряде Николая Злобина, внедрение которого в строительных организациях района шло нелегко, встречая сопротивление.

— Как вы думаете, почему это происходит? — спросил он у Ярцева.

— Думаю вот что,— ответил Ярцев охотно.— У себя на комбинате, по сути дела, мы уже давно подошли к этой хозрасчетной идее. С некоторыми поправками на наши условия. Злобин долгое время работал с кирпичом, а у нас — крупные панели. А вообще-то говоря, там, где есть повышенная ответственность за конечный результат труда, а в этом нравственная основа злобинского метода, там всегда найдутся люди, которые попытаются от этой повышенной ответственности уклониться. По себе знаю,— усмехнулся Ярцев.

— Это вы психологически верно оцениваете свое и иных людей поведение,— как бы подхватил шутку Илья Васильевич.

Однако Ярцев почувствовал в пей и нечто иное. В улыбку была обернута и жестковатая колючка иронии. Ярцев неприятно поежился.

— Кое-кого можно ведь и понять,— заметил он осторожно,— люди боятся брать на себя бригадный подряд оттого, что много еще помех в планировании и в комплектации деталей, в подготовке участков, фундаментов, коммуникационных линий. А все это не только что от бригадира, от начальника управления, даже от меня не зависит. Однако ж за упущения приходится так или иначе расплачиваться всем нам, в том числе и рабочим. Нет плана — нет и премии.

— И рабочие будут правы,— перебил Ярцева Илья Васильевич,— если потребуют от нас, руководителей, чтобы этих самых упущений не было. Чтобы их старания, их труд по бригадному подряду были бы нами обеспечены организационно, точно спланированы. Во всем этом надо разобраться. Все хорошенько обмозговать со всех сторон. Вот чтобы подвинуть наши строительные организации на метод Злобина, райком и намерен провести у вас на комбинате общерайонный семинар по бригадному подряду.

Только теперь Ярцев понял, зачем его вызвал Илья Васильевич. И как только обнаружилась эта деловая причина, то и рассосалось подспудное недоумение, которое не оставляло Ярцева все это время. Так уж устроен человек, что его более всего гнетет неопределенность.

— Ах, семинар! — с облегчением протянул Ярцев.— Ну что ж, не впервой!

— Не галочное это мероприятие. Будь так, не было бы нужды нам с вами встречаться в этом кабинете.—

Илья Васильевичу, видно, не очень понравилось то, как начальник комбината отреагировал на идею проведения семинара. — То, что не впервой, естественно. Но нам, в райкоме, хотелось бы, чтобы именно впервые и очень серьезному мы бы поговорили на этом совещании о коренных вопросах вашей производственной жизни. У вас идет освоение новой серии домов. Отсюда и общая перспектива дальнейшей технической политики. И животрепещущая проблема качества. Бригадный подряд — это ведь не только организационная форма, но и проявление качественно нового отношения к труду, черты новой психологии современного рабочего человека, а следовательно, уже и прямая политика. Так, Юрий Матвеевич? — спросил секретарь райкома.

— Согласен, — кивнул Ярцев.

— А иначе чего бы нам с вами вести разговор здесь у нас, в партийном доме?

— Понимаю.

Ярцев мысленно зафиксировал еще одну свою промашку. Определенно сегодня ему не везло. Он то и дело не попадал в цвет, не мог нащупать ход мыслей собеседника. А это и самому Ярцеву казалось странным. При его-то опыте.

— Кого бы вы порекомендовали докладчиком? — спросил Илья Васильевич.

— Главинжа Копытко, у него все материалы. Эрудированный специалист. Я вообще считаю, что бригадным подрядом у нас на комбинате должны заниматься не технические работники, а первые руководящие лица. — Ярцев по глазам Ильи Васильевича понял, что на этот раз он угадал и по мысли, и по тону.

— Верно. Но все же, может быть, поищем человека, который эту проблему изучает не сверху, а снизу, с самого близкого расстояния и, как говорится... своими боками.

Ярцев еще не понимал, куда гнет секретарь райкома.

— Вот, к примеру, бригадир Каринцев. Этот человек себе руки намозолил на освоении шестнадцатизатяжки. Так что есть о чем сказать как основному докладчику. Ну а в подкрепление его рабочего опыта, — развивал свое предложение Илья Васильевич, — для широкого его осмысления, я бы второе слово предоставил главному экономисту Боровскому. Вот такой расклад.

— Ну что ж. Можно и так, — согласился Ярцев. — Хо-

тя кроме прославленного Каринцева, которого так старательно выдвигает не менее известный товарищ Шубенков, есть у нас, Илья Васильевич, и немало других хороших бригадиров. Я всегда был противником этого, знаете ли, фаворитства в соревновании, когда лучи всех прожекторов нацелены на одну фигуру. Портим этим людей.

— Это уж крайняя точка зрения, — возразил Илья Васильевич, — да и вряд ли объективная. Мы с вами выдвигаем не чьих-либо фаворитов, а рабочих, бригадиров, заслуживших общественное признание своим желанием и умением идти впереди, проявлять ценную инициативу. Такой, думается, и Каринцев. Так что, если не возражаете, послушаем его молодой голос. А если надо за что-то покритиковать того же Каринцева или Шубенкова, то кто же может помешать это сделать начальнику комбината?

Ярцев слегка усмехнулся и промолчал. Илья Васильевич мог с натяжкой посчитать это за знак согласия.

— У меня все, если нет ко мне вопросов, закончим на этом, — сказал Илья Васильевич, прощаясь. — Семинар проведем недели через две-три. Чтобы подготовиться не торопясь. Желаю успеха!

Ярцев вышел из кабинета секретаря райкома с лицом мрачновато-озабоченным. Родилась тревога, для которой, однако, по здравом размышлении не было серьезных оснований.

«А что, собственно, произошло? — спрашивал себя Ярцев. — Поговорили спокойно, выяснили точки зрения, которые не во всем совпали. А почему они обязательно должны во всем совпадать? Конечно, были заметны в беседе и нотки неудовольствия, критические замечания Ильи Васильевича. Но ведь в райком редко вызывают только за тем, чтобы пожать руку в знак благодарности. Разговор взыскательный — дело обычное. Получим указания — исправим недостатки.

Просто я старею, — решил Ярцев, — и стал чувствителен к тем страхам, которых раньше не испытывал. А страхи — это не от ума, они — от нервов, биологические. Вот с ними-то и надо бороться».

Ярцев даже постоял минут пять в вестибюле райкома, успокаиваясь. Оглядел не торопясь стенд книжного киоска и, чувствуя, как к нему возвращается ровное и бодрое состояние духа, отправился к себе на комбинат.

Катя уехала в командировку на неделю, Мишку взяла к себе погостить бабушка, и Петр вдруг ощутил себя, как мальчишка, полностью свободным и раскованным. Когда в пятницу он позвонил Ирине и пригласил ее с собою в загородную поездку, голос Петра звучал весело.

Решили съездить сначала в Зеленоград, там в субботу работала одна из бригад управления, а оттуда махнуть в сравнительно недалекие блоковские места вблизи города Солнечногорска. Ирина на поездку согласилась с радостью.

В Измайлово заезжать Петру было далековато, договорились встретиться у метро «Аэропорт». Здесь управленческая черная «Волга», ведомая неизменным Валериком, подхватила Ирину, и они помчались по Ленинградскому проспекту, а затем по одноименному шоссе, оставляя слева и справа строения современного северо-запада Москвы.

Чтобы попасть в Зеленоград, надо проехать мимо Речного вокзала, Химок — Ховрина, непрерывно расширяющихся районов, которые хотя и уступают широкоизвестному Юго-Западу, но тоже входят в ранг тех массовых новостроек, которые должны украсить Москву сегодняшнего и завтрашнего дня.

За кольцевой дорогой «Волга» миновала город Химки, Куркино, Юрлово, оставив справа международный аэропорт Шереметьево. Далее широкая дорога сузилась с четырех до двух полос, поток машин здесь был большой, ехать приходилось почти все время в колонне, обгон был затруднен, и это злило Валерика.

Ирина смотрела по сторонам. Места были живописные, и она призналась, что, к сожалению, слишком уж окопалась у себя в парке, редко бывает в других знаменитых подмосковных окрестностях, которые достойны всякого внимания и уважения.

— Да, это недоработочка, Ирина Сергеевна, — улыбнулся Петр. — Уж кому-кому, а вам все в Подмосковье надо знать и видеть.

Подъехали к Зеленограду, свернув влево с Ленинградского шоссе. Это тридцатый жилой район Москвы, хотя и находящийся далеко за кольцевой дорогой. Район молодой, три десятка лет назад здесь были лес и поляны. Сейчас же Зеленоград всех без исключения знакомящихся с ним впервые поражал общей гармонией архитектурной

планировки. Красивыми домами, зданиями промышленных предприятий, магазинов, кинотеатров.

Здесь не было и в помине унылого однообразия, ибо все здания, как и везде типовые, все же казались разными, отличаясь хотя бы цветом. Преобладал зеленый — цвет жизни. Он очень удачно гармонировал с окружающей средой, хорошо вписывался в цветовую гамму широких площадей с обилием цветов и зелени. Даже стандартные и кажущиеся ныне уже примитивными пятиэтажки и те здесь выглядели лучше обычного, их оживляли панели цвета морской волны. Район украшала планировка, задуманная так, что всюду было много света и радующего глаз простора.

— Умеем же мы строить, когда хотим, — заявил Петр. — Я лично считаю Зеленоград одним из самых красивых маленьких городков в нашей стране, наряду, скажем, с Академгородком в Новосибирске.

— Не городок, район столицы, — поправила Ирина.

— Да, конечно, и, как видишь, живет полнокровной жизнью, здесь есть все, что необходимо. В общем, это прообраз больших районов Москвы ближайшего будущего.

— Здесь очень хорошо, — согласилась Ирина.

Они проехали центр Зеленограда, свернули к окраине, где возвышались новые корпуса, главным образом типовые девятиэтажки, тут же находился строительный участок прославленного новатора Николая Анатольевича Злобина.

Петр остановил машину около новостройки, спросил у рабочего, где сам.

— Путешествует с семьей. Маршрут — шесть стран, — ответил тот.

— Вы из злобинской бригады? — спросил Петр.

— Злобинец, коренной. А у вас какое дело к нам? — поинтересовался рабочий.

— Мои ребята рядом трудятся. Вон там. — Петр показал в сторону от дороги, где стояли напротив два корпуса, поднимая свои этажи в небо. — Анатоличу пламенный привет от соседей, — продолжал Петр. — На вас постоянно держим равнение. А бригадир-то ваш большой деятель, вот уж действительно государственный человек. Поклон ему от Петра Шубенкова, он меня знает.

— Спасибо, передам обязательно, — заверил рабочий.

Потом «Волга» подъехала к домам, которые возводило

управление Шубенкова. Петр попросил Ирину подождать минут двадцать, ему надо было побеседовать с бригадиром.

— Хорошо, только мне в машине скучно сидеть одной. Я за вами похожу молча. Мешать не буду,— заявила Ирина.— Пусть думают, что я из архнадзора или вообще какое-либо начальство.

— Ну тогда действительно только молча. Молчание в определенных дозах — многозначительно.

Ирина надула губы: — Не делай, пожалуйста, из меня дуру. Может быть, умных вопросов не смогу задать, но и глупых тоже задавать не буду.

Теперь Ирина вышагивала вслед за Петром от одного крана к другому и молчала, как показалось Петру, погруженная в свои мысли. Только в одном месте ее, как видно, заинтересовал разговор Шубенкова с худощавым парнем лет двадцати пяти, который из-за своей щуплости выглядел еще моложе. Впечатление угловатости почему-то усиливала густая шевелюра, которая, наверно, больше бы гармонировала с мощным атлетическим торсом.

— Здравствуй, Вася-Василек! — приветствовал его Петр.— Как твои успехи?

— Осваиваю смежные специальности,— ответил парень с улыбкой.

— А именно? — заинтересовался Петр.

— Крановщик ушел обедать, я поработал за него.

— А умеешь?

— Научился, когда был мастером.

— Не одобряю,— вдруг изрек Петр, удивив не только Ирину, но и самого Васю-Василька.

— Почему же, Петр Михайлович? — спросил бригадир.

— Сейчас объясню. Ты не забыл, конечно, того бригадира, что был до тебя? — спросил Петр и оглянулся на Ирину, как бы приглашая ее со вниманием отнестись к тому, что он сейчас скажет.— Так вот, твой предшественник, как только его назначили бригадиром, натянул на руки рукавицы и взялся за крюки. Что ж, казалось, все выглядит превосходно. Бригадир, он же и монтажник, и такелажник — совмещение профессий. А вышло-то все, в конце концов, плохо. Ибо дело бригадира организовывать работу. Каждый должен заниматься прежде всего своим делом. А он бригадой не управлял, от решения техни-

ческих вопросов уклонялся. Бригаду развалил, и пришлось снять.

— Да, я знаю.— Вася-Василек испытующе взглянул на Ирину. Он не знал, кто она, и это, видно, слегка беспокоило бригадира.— Я ведь только на полчаса сел за рычаги,— сказал он, оправдываясь.

— Да не в этом дело, тут принцип. Ты пойми, по должности ты вроде бы руководитель небольшой, а по существу — решающая фигура на стройке. Поверь тут моему опыту,— сказал Петр,— я много лет протрубил в бригадирах.

— Хорошо, Петр Михайлович,— кивнул Вася-Василек,— я это обдумаю.

— Обязательно обдумай. Любая должность — это, собственно, то, что мы в нее вкладываем. Понял? А откуда многое проистекает,— закончил Петр.

Ирина вернулась к машине, а он походил еще по площадке, посмотрел, что считал нужным, дал какие-то указания, а когда подошел к «Волге», Ирина сказала, что ей поправился разговор с Васей-Васильком.

— Чем же?

— Установкой на укрупнение личности.

— Стараюсь.— Петр усмехнулся.— И в отношении себя, и в отношении других.

— А что, Вася-Василек раньше был мастером? — спросила Ирина.

— Да. Я его уговорил взять бригаду. И знаешь как? Спросил: «Ты кого-нибудь из производителей работ знаешь в соседних управлениях?» Он говорит: «Нет, никого». — «А бригадира Каринцева?» — «Об этом,— говорит,— слышал». — «Вот видишь,— я ему говорю,— ты никого из строителей-начальников не знаешь на комбинате, а о бригадире слышал. Почему? Потому, что бригадир — фигура. Одним словом, хочешь быть бригадиром?» И он согласился. Понимаешь, Ирина, престижность положения — это серьезный фактор не только для пожилых серьезных людей. Для молодого парня это тоже не последнее дело.

— Для вас, мужиков, наверно, так. А женщины больше думают о чувствах, которые в эти престижные категории не укладываются. Любовь, привязанность к человеку, готовность все сделать для его блага — в чем тут престижность? Не знаю. Если только в глубине чувства. Но это не каждому дано понять.

Петр почувствовал в тоне Ирины уже не впервые пробивающиеся нотки душевного беспокойства, недовольства чем-то. Скорее всего, характером их отношений, неясной и туманной перспективой.

— Зачем ты так говоришь? — ответил Петр не слишком уверенно. Он не нашел сейчас в себе желания возражать. Тревога время от времени возникала и у него. Суровое предупреждение Кати вспомнилось ему в ту минуту со всей отчетливостью.

Ирина, тоже задумавшись, надолго замолчала. Машина, выехав из Зеленограда, пошла в сторону Солнечногорска. Когда миновали этот небольшой городок, на его окраине вновь повернули направо.

— Вот начинаются блоковские места, — произнесла Ирина, словно очнувшись после какого-то забытья, повеселела и оживилась. — «Нет, еще леса, поляны, И проселки и шоссе. Наша русская дорога, наши русские туманы, Наши шелесты в овсе», — продекламировала она.

Петр внимательно слушал.

— Да, вот они, эти места, — продолжала Ирина. — «И всей весенней красотой сияет русская земля!» Хорошо здесь. Ты чувствуешь это обаяние зеленых далей и березовых перелесков, тихих речек, роц, полян?

Петр с удивлением посмотрел на Ирину:

— Ну, ты прямо как поэт!

— Да нет, это случайно, — смутилась Ирина, — легкое опьянение кислородом. Как это говорят — накатило. Сейчас пройдет. Ты знаешь, несколько лет назад я приезжала на поэтический праздник сюда, в Шахматово, к Александру Блоку...

Петр незаметно увлекся рассказом Ирины и тоже с интересом поглядывал по сторонам, на мелькавшие и слева и справа зеленые поляны, луга и рощицы, по которым гулял когда-то поэт, а теперь сюда собираются тысячи поклонников его таланта.

Ирина рассказывала, что Блок приезжал в Шахматово ежегодно в течение тридцати шести лет, прожив на свете немногим больше.

Когда «Волга», не останавливаясь, миновала по левую сторону от шоссе белостенное здание средней школы, носящей имя Александра Блока, Ирина сказала:

— Смотри, там, в глубине, бронзовый памятник поэту.

— Вижу, вижу, — откликнулся Петр.

А Ирина вспомнила...

Когда в один из блоковских дней поэзии она вместе с другими участниками праздника вышла около этой школы из автобуса и направилась к памятнику, внимание ее привлек невысокого роста человек, который шел по асфальтированной дорожке, прихрамывая, с палкой в руке, в бело-синей полотняной шапочке, какие носят дети. Было в нем что-то такое, что выделяло его в толпе, полетному яркой, пестрой, многоцветной. «Что же,— спросила она тогда себя.— Возраст?» Но он был здесь не единственным среди пожилых людей. Может быть, порывистость, с какой он двигался по дорожке, энергия, которая, казалось, kloкотала в подсушенном годами, но еще крепком и вовсе не старческом теле? Выделялись небольшие белые усики на темном от загара лице. Ирина обратила внимание на ободок белого пуха волос на крутом затылке.

Человек этот первым подошел к памятнику и неожиданно... перекрестился. Потом медленно обошел памятник вокруг и воскликнул: «Хорош!» После длинной паузы добавил: «Хорош, особенно сбоку».

После того как к подножию памятника были возложены цветы, он, сдернув с головы курортную шапочку с темным козырьком, крикнул в затихшую толпу:

— Товарищи! Пока в Шахматове собирается большая аудитория, я здесь, у школы имени поэта, где нас еще не так много, хочу сказать, что это первый памятник поэту, это первый бронзовый Александр Блок.

— Кто это выступает? — тихо спросила Ирина у стоящей рядом женщины.

— Разве вы не знаете? Павел Григорьевич Антокольский, — ответила та.

Ирине стало неловко, что она не сразу узнала поэта, чьи фотографии не раз видела в его книгах, читала его стихи и статьи о Блоке.

— Антокольский — председатель комиссии по увековечению памяти поэта, — добавила женщина.

— Да-да, теперь я узнала, спасибо, — сказала Ирина, слушая Антокольского. А он горячо говорил о поэтическом наследии Блока, о том, что к поэту теперь пришло всемирное признание, и речь Павла Григорьевича, страстная, на огромном внутреннем напряжении, проникнутая глубокой любовью к Блоку, не могла оставить равнодушными никого из слушателей.

Ирина, помнится, подумала тогда о том, что по форме речь напоминала нечто среднее между гимном и молитвой в честь таланта и величия Блока. Все это казалось ей необычным, незаурядным событием, которое надолго ей запомнится. Так и случилось.

Потом, час спустя, тот же Павел Григорьевич Антокольский открыл митинг на месте бывшей усадьбы Шахматова, на большой поляне в лесу, которая от края и до края была заполнена людьми. Собралось здесь тысяч пять, не меньше. Около огромного белого валуна стояла трибуна-платформа с укрепленными на ней микрофонами. На платформе только два стула, на них по очереди присаживались готовящиеся к выступлению ораторы. Остальные же разместились рядом с платформой: кто стоял на солнце, кто сидел на траве, кто пристроился около лестницы, ведущей на эту импровизированную сцену.

Ирине запомнились выступления Ираклия Андроникова, Константина Симонова, Сергея Васильева, который передал собравшимся привет от Есенинского комитета. И все же более всего она смотрела на Антокольского.

Он так же горячо, как и перед памятником, говорил с платформы в Шахматове и при этом по-мальчишески сердился, когда кто-либо в дальних рядах у опушки леса нарушал тишину или же перебегал с места на место. А стоящий рядом Симонов все успокаивал его: «Не надо, Павел, не стоит волноваться, Павел».

Организатор этого поэтического торжества, Антокольский был, безусловно, его душой. Он видел и знал живого Блока. Он был близок к нему, как к деятелю русской культуры. Ирина подумала, что эту встречу в Шахматове Антокольский воспринимает и как свой личный праздник. Он приближался тогда к своему восьмидесятилетнему рубежу. Энергия и воодушевление, которые, наверно, утраивали его физические силы, удивляли Ирину. Только однажды Антокольский сошел с платформы, устав от напряжения, от палящего зноя и полежал немного, прикинув лицом к земле...

Пока Ирина говорила обо всем этом Петру, их «Волга» въехала в село Тараканово и остановилась неподалеку от полуразрушенной церкви, где когда-то венчались Александр Блок и Любовь Менделеева. В помещении бывшей сельской школы разместилась теперь фото-выставка, посвященная поэту, организованная Государственным литературным музеем.

Ирина и Петр осмотрели выставку, а потом погуляли вокруг школы и церкви, прошли лесом километра четыре к самому Шахматову, к той самой большой поляне и белому валуну, вокруг которого в первое воскресенье августа каждого года и закипал веселый и торжественный праздник поэзии.

Окрестности Шахматова, Тараканова, Боблова понравились Петру. Он чувствовал себя здесь радостно-возбужденным. Не так-то часто выпадали у него такие свободные деньки, когда можно было безо всяких строительных забот погулять по лесу, слушая рассказы о знаменитом поэте, узнавая много интересного.

Они основательно проголодались, когда вернулись к машине. Хорошо, что предусмотрительный Валерик захватил в целлофановом мешочке крутые яйца, помидоры и огурцы, немного копченой колбасы и в термосе успевший остыть чай. Нашлись и две бутылки пива. Решили закусить прямо в машине, расстелив салфетку на заднем сиденье.

— Сейчас мы славно подрубаем,— сказал Петр.— На свежем воздухе, честное слово, это большое удовольствие. И все словно бы вкуснее вдвойне.

— «Подрубаем», как это перевести, допустим, на английский язык? — спросила Ирина.

— Не переводится. Строительный термин,— ухмыльнулся Петр.

— От слова «рубить», что ли?

— Возможно. А помните студенческое: «Рубай компот, он жирный». Как это перевести?

Ирина рассмеялась.

— О боже, как только мы не засоряем наш прекрасный и могучий русский язык!

Поели они с удовольствием, и, как обычно, когда усталость соседствует с сытостью, да еще на свежем воздухе, захотелось отдохнуть, понежиться на солнышке, совершенно расслабиться. Валерик вытащил из багажника две брезентовые подстилки и разложил одну для Петра и Ирины, вторую, в сторонке, для себя, чтобы, как он выразился, «ему не мешали покемарить секунд шестьсот».

— Спасибо тебе, Петр.— Ирина дотронулась до его руки.— Путешествия, даже такие небольшие, удлиняют нашу жизнь. Сколько мы тут пробыли, в Шахматове,— каких-нибудь три часа. А ведь кажется, что прошел длинный, очень насыщенный и счастливый день. Я бы вообще

измеряла наше существование на земле только количеством счастливых дней... Ну а что дальше? — вдруг спросила Ирина.

— Не понял, — насторожился Петр.

— Вот съездили в гости к Блоку, к Маяковскому можно съездить в Пушкино, на Акулову гору по Ярославской дороге. Помнишь: «В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето»?

— Помню, — сказал Петр, — ну и что?

— А то, что возникает вопрос: куда катятся наши с тобою дни? Над этим не хочется ли тебе задуматься иногда? — Ирина посмотрела в эту минуту в сторону шахматовского леса. Петр проследил за ее взглядом. Ничего примечательного не увидел. Может быть, Ирина просто не хотела, чтобы Петр заметил сейчас, как слегка увлажнились и погрустнели ее глаза?

— А что тебя беспокоит, все идет вроде бы хорошо? — сказал он, но не слишком уверенно. Вопрос Ирины смутил Петра.

— Вот именно, «вроде», — резковато заметила Ирина. — Вот это самое «вроде», милый мой, меня и не радует.

— От добра добра не ищут.

— Иногда ищут.

— Ну, не говори глупостей, не порть поездку.

Петру хотелось бы сейчас как-то замять этот разговор, уйти в сторону от острой темы, которая грозила разрушить установившееся радостное настроение.

— Глупый человек — это тот, кто говорит глупости. Умный глупости делает. Вот как мы с тобою, — сказала Ирина. — Ты не хочешь портить себе настроение. Согласна. Грешно каким-либо занудством портить такую прогулку. И действительно, хватит об этом. Для решающего объяснения мы, как видно, еще не созрели...

Обратная дорога почему-то всегда кажется короче. Быстро миновали и Солнечногорск, и Зеленоград, и Химки. В молчании тоже есть свое удовольствие. Петр подремывал в машине и мысленно похвалил себя за сдержанность. Ведь за рулем сидел Валерик. Сегодня с шофером отличные отношения, а что будет завтра — кто знает? На чужой роток не накинешь платок.

Петр хотел было довести Ирину до Измайлова, но она воспротивилась.

— Пожалейте бензин, хотя он и казенный. Я прекрасно доберусь на метро. Летом там всегда прохладно. Да и Валерик, наверно, устал.

И хотя Валерик заявил, что он в полном порядке и времени у него вагон, Ирина все же настояла на своем и простилась с Петром там же, где «Волга» подхватила ее, у метро «Аэропорт».

— Я позвоню,— сказал Петр.

— Есть анекдот! Девушка спрашивает у молодого человека: «Милый, мы поженимся?» «Созвонимся»,— ответил молодой человек.

И, опередив пытавшегося что-то ответить Петра, озорно подмигнув Валерику, Ирина резко захлопнула за собою дверцу машины и побежала к метро, крикнув уже на ходу:

— Спасибо, ребятки, желаю хорошего субботнего вечера!

Петр приехал домой с ощущением приятной физической усталости. Вошел в квартиру, где непривычно царил полная тишина, сел в глубокое кресло, включил телевизор. На стене прямо перед ним висела большая фотография. Петр и Катя снялись в день их свадьбы в фотоателье у Никитских ворот. Сидели рядом, прижавшись друг к другу. Катя всегда говорила, что они тут похожи на детей, которые по очереди кусают одно яблоко. Свет от торшера падал на эту фотографию ярким пучком, лица у молодых супругов сияли счастьем и уверенностью в том, что счастье это прочно и долго-временно.

Петр вздохнул и подумал о Мишке, о том, какую травму он может нанести сыну, если уйдет к Ирине. Мишка рос пареньком живым, смышленным, был привязан к отцу и матери, и Петр очень любил его.

Он всегда хотел, чтобы у него родился сын. Приятно было сознавать, что растет наследник, растет человечек, который сможет понять и оценить отца. Так оно и случилось. Когда Мишка подрос, стал ходить в школу, а по вечерам вместе со взрослыми смотреть телевизор, на экране которого иногда видел и папу, мальчик по-детски, но, видно, прочно и глубоко проникся уважением к работе отца, к его известности строителя.

Катя иногда говорила знакомым: «Мы смонтировали дом, мы получили премию». Мишка тоже повторял эту

формулу: «Мы выполнили план, правда, папка?» И Петр, довольный, улыбался: «Ну как же иначе, сынок, иначе быть не могло».

Однажды шла телевизионная передача о бригаде, и Петр крикнул с экрана во время монтажа дома: «А ну-ка, пошевеливайтесь, мальчики!» А Мишка, сидевший рядом с отцом на своем маленьком стульчике, вдруг захихикал.

«Ты мальчиком назвал дядю Васю. А у него Петька, мой товарищ, тоже мальчик».

«Так это так только говорится, по-товарищески,— улыбнувшись, пытался объяснить Петр,— потому что мы, взрослые, все-таки бывшие мальчики».

Как Мишка воспринял бы его уход из дому? Смог бы Петр ему что-либо объяснить? Думать про все это было сейчас тяжело.

Он выключил телевизор. Шел эстрадный концерт, громкая, резкая музыка раздражала. Петр выпил чаю и решил лечь спать пораньше. В воскресенье можно было отоспаться за всю неделю, сон снимал многие проблемы, недаром говорят, что утро вечера мудренее.

Он прилег сначала на диван с надеждой почитать утренние газеты, которые сегодня не успел просмотреть, но быстро задремал и проспал минут двадцать. Когда проснулся, то перебрался на кровать, но, как это бывало с ним не раз, даже короткий отдых быстро освежил его, взбодрил, и вновь нахлынули мысли о Мишке, о Кате.

Он где-то прочитал, что всякое супружество можно было бы сравнить с маленькой лодкой, в которой двое плывут по бурному морю. Тут оба должны сидеть тихо, не делать резких движений, а то лодка опрокинется. А вот он, Петр, сейчас резко наклонил лодку, это чувствуют и Ирина и Катя, вот только Мишка находится пока в счастливом неведении.

И хотя ни к какому определенному выводу Петр сейчас не пришел да и не хотел сегодня окончательно решить что-либо, он все же ощутил в душе еще и не само решение, а как бы предчувствие его, предчувствие той важной мысли, что ему, Петру, семейную лодку нельзя опрокидывать окончательно, что надо еще раз все взвесить и продумать, внимательно всмотреться в себя и оце-

нить свои чувства, чтобы не сделать сгоряча непоправимой ошибки.

Он все же заснул быстро и крепко, как засыпал всегда, вдосталь натрудившись за длинный рабочий день.

ГЛАВА 23

Начальник комбината приказал проследить за тем, чтобы на заводе укоротили наружные панели. К удивлению и Каринцева и Шубенкова, Тамара Анатольевна быстро выдала чертежи, на заводе изготовили новую форму, и все это заняло только одиннадцать дней.

А за эти десять дней бригада Каринцева прошла вверх на новых два этажа первенца-шестнадцатизатжки, получив ускорение за счет уже накопившихся опыта и сноровки.

Даже Копытко был удивлен, что Каринцев сдержал слово и второй этаж смонтировал за шесть суток, а третий — за пять. А как только начали подвозить новые, укороченные панели, которые стыковались теперь быстро и легко, Каринцев и вовсе воспрянул духом.

В четверг, проведя пересменку после обеда и убедившись в том, что работа идет нормально и в хорошем темпе, Каринцев поехал в управление. Шубенков оказался на месте.

— Привет, Михалыч! — произнес Каринцев, входя в кабинет без предварительного доклада Вероники, пользуясь правом, которое Шубенков дал ему лично, сказав: «Приходи, звони, когда надо, в любое время, ты сейчас у нас на переднем крае, тебе все внимание».

— Здравствуй, отец-командир, с чем пожаловал? — Шубенков поднял голову от бумаг, и тон его говорил о том, что начальник управления находился, как обычно, «в замоте», но не очень сердит и готов даже пошутить.

— Зарплату внизу дают, еще кое-какие дела, — пояснил Каринцев.

— Что, тугриков нынче маловато?

— Кого? — не понял Каринцев.

— Тугрики — так деньги называются в Монголии. Не бывал там? — спросил Шубенков.

Каринцев отрицательно покачал головой.

— Еще съездишь, ты у нас сейчас человек на виду.

— Ну что ж, я ездить люблю, для расширения кругозора, — сказал Каринцев. — Пошлете — поеду.

— Ладно. Ну, а сейчас-то с чем пожаловал, не для расширения кругозора, надеюсь? — повторил вопрос Шубенков.

— Есть одна идея у меня. Предмет для размышлений. Изложить? — Каринцев присел уже было на стул вблизи Шубенкова.

— Не рассказывайся, друг. Извини, но убегаю. Опять совещание на комбинате. Знаешь что? Давай в мою машину. Подброшу до Маяковской, — предложил Петр, а когда они спустились к машине, он сел не рядом с шофером, как обычно, а сзади, с Каринцевым. Когда тронулись, Петр сказал:

— Давай, Володя, формулируй!

— Я кратко скажу. На одиннадцатом этаже мы думаем пойти по четырехдневному графику, а на четырнадцатом хотим попробовать график — три дня. Время еще есть, и управление может подготовиться. Поэтому и заведу разговор заранее.

Было душновато в машине, и Шубенков открыл боковое стекло. Ветерок быстро высушил пот на лбу, пахло запахами раскаленного асфальта, выхлопных газов, масла, бензина. По Садовой шел поток машин в четыре ряда в одну сторону и в другую.

— Дать тебе темп в три дня — этаж, это значит по сравнению с теперешним вдвое увеличить подвоз деталей нового дома. А где они, эти детали? Заводы еле-еле тянут производство панелей на ритм шесть дней — этаж. Ты это знаешь? — начал Шубенков.

— Знаю. — Каринцев хотел еще что-то сказать, но Шубенков не дал.

— Дальше. Ты заказываешь себе такой укороченный график и, допустим, действительно вытягиваешь его. Мы тебя приветствуем и одновременно вынуждены дополнительные детали забрать у кого? У Борискина, который начал монтировать свой корпус. Или у Жени Капустина — тот тоже на днях начнет монтаж третьей шестнадцатиэтажки. При нашей системе планирования, когда все точно рассчитано, развешено по сводному графику длястроек и заводов, больше-то взять неоткуда! Только ты не горячись! — Шубенков жестом руки остановил Каринцева, готового возразить.

— Не горячусь, — сравнительно спокойно ответил Каринцев, — только спросить хочу, а как же в свое время

бригадир Петр Михайлович Шубенков сам поступал в таких случаях?

— Я? — переспросил Петр.

— Вы, вы, именно!

Петр усмехнулся. Ответил не сразу, а вначале еще шире открыл окошко в машине, подышал свежим воздухом, подумал. Потом сказал:

— Вот так же, как и ты сейчас. Выдвигал предложение и брал начальника управления за горло — дай детали. И боролся.

— С кем? — спросил Каринцев.

— Со всеми, кто мешал, не поддерживал.

— Вот то-то! — обрадованно заявил Каринцев.

— Но подожди, подожди, не горячись. Я тогда был кто? Бригадир. А сейчас начальник управления. Две большие разницы, как говорят в Одессе.

— Должность другая и сознание другое. Так, что ли?

— А ты что думал? Вот смотри на меня. На твоих глазах перевернулся на сто восемьдесят градусов. Чудеса, да?

— Да, чудно, — сказал Каринцев. — Все же я не верю, что это говорит Петр Шубенков, который сам первый всегда выступал за сокращение сроков монтажа. Ведь дело-то хорошее, — упорно продолжал настаивать на своем Каринцев и даже тронул ладонью плечо Шубенкова. — Если наш поток даст такой темп, то за год смонтируем сверх плана полтора дома. Если все управление, то десять зданий. Если же весь-весь комбинат, то ого!..

— Ладно, ладно, я сам считать умею, грамотный, — перебил Петр. — И все же ты мне не ответил, где взять сверхплановые детали да еще в середине квартала?

— Но раньше-то где-то брали? Находили выход из положения?

— Находили, а какой ценой? Эх, друг Володя, не все тут и от нас зависит. Такое решение надо спланировать на комбинате, получить на это добро. Вот сегодня мы завод заставили укоротить панели, завтра потребуем этих панелей в два раза больше. А готовы ли они к этому — вот вопрос.

— Это все понятно. — Голос у Каринцева все же упал, настроение, видно, тоже.

Шубенков посмотрел на приближающееся слева здание гостиницы «Пекин», похожее на громадный кусок каменного торта, на розоватое, со светло-серой колоннадой

прямоугольное здание Концертного зала имени Чайковского, на памятник Маяковскому, возвышающийся в центре площади, ставшей теперь вдвое шире, и неожиданно подумал, что для Каринцева самым большим, наверно, представляется упрек в том, что он может забрать детали у других бригад и тем самым ударить по их производительности, по заработкам ребят.

То, что это именно так, Шубенков знал по себе. То же всегда мучило и его, когда в свое время он предлагал ускоренный график монтажа. Чего-чего, а наносить удар своим товарищам никто из бригадиров, из монтажников, конечно же, не хотел.

— Так что же будем делать, Петр Михайлович? — не отставал Каринцев.

— Что делать, спрашиваешь? Ты внес предложение — и в ангелах! А мне опять идти к начальству, беспокоить Ярцева, Лазарева. Доказывать, просить. Еще у Коли Борискина неплохо бы узнать мнение. Тоже, я тебе скажу, по многим позициям заинтересованное лицо.

Каринцев вылез из машины около метро.

— Привет супруге! — махнул он рукою Петру и попытался улыбнуться. Однако улыбка его, как солнышко сквозь тучу, словно бы с трудом пробилась через хмурую озабоченность и, должно быть, подавленное настроение бригадира. Петр, зная Каринцева, сейчас не сомневался в том, что Владимир испытывает сложную сумятицу чувств, в которой и ему самому не так-то просто разобраться.

Наверно, он был удовлетворен тем, что расшевелил начальника управления и всерьез «поддел» его своей идеей скоростного графика на первой шестнадцатизатяжке. Но вместе с тем Каринцев, опытный строитель, понимал, какие встают здесь трудности и перед бригадой, и перед начальником управления. Быть может, в душе он и сочувствовал Шубенкову, которому своей инициативой подбавил немало мороки.

Петр же в свою очередь, провожая глазами фигуру Каринцева, который нырнул в поток людей, устремляющихся к метро, подумал о том, что обыденная производственная жизнь, по сути дела, вся соткана из противоречий, больших или малых, разрешаемых сразу или не сразу, но всегда только трудом, борьбой, поисками новых, не проторенных еще дорожек и в технологии дела, и в его организации.

Вскоре, приехав на комбинат, Петр встретил в коридоре около кабинета Ярцева Павла Ильича Боровского.

— Если у вас есть минут десять свободных, прошу зайти ко мне. Есть разговор о Каринцеве. — Боровский тронул Петра за плечо, жест был мягким и уважительно-дружеским.

— О Володьке? — удивился Петр. — Что ж, иду.

Когда Боровский был начальником нормативно-исследовательской станции, он сидел в маленьком, похожем на пенал кабинете на первом этаже комбинатского здания. Но как только Боровского утвердили главным экономистом, ему тут же стали ремонтировать кабинет на втором этаже, «наверху», как говорили на комбинате.

— Вы теперь, Павел Ильич, как монтажник: с этажа на этаж — все выше! — пошутил Петр.

— Да нет, дорогой. Тут уж мой потолок, вот-вот стану пенсионером, — ответил Боровский.

Угловой просторный кабинет главного экономиста выходил двумя окнами на внутренний двор предприятия, вплотную примыкавшего к комбинату, а третьим, торцовым, в переулок, где курчавился зеленью небольшой скверик с клубом строителей в центре.

Когда они уселись друг против друга в удобных кожаных креслах, Петр вопросительно взглянул на Боровского.

— У меня разговор был с Каринцевым, — начал Боровский. — Я ему прямо сказал. Человек вы хороший, мною уважаемый. Но если хотите расти и быть постоянно в порядке, то надо уменьшить количество людей в бригаде.

— А он что? — спросил Петр.

— Я чувствую, что он внутренне сопротивляется этому.

— Возможно, Павел Ильич, возможно. Он ведь ритм монтажа увеличивает, запросил у меня на новом доме график: три дня — этаж. Разговор был минут двадцать назад, — сообщил Петр. — Так что теперь, как говорят, это уже моя проблема. А точнее, наша с вами, Павел Ильич. Где взять дополнительные детали?

— И все-таки положение такое, не будет Каринцев сокращать людей в бригаде, значит, съест ту добавку, тот выигрыш в производительности, который дает увеличение ритма. Делать надо ему и то и другое.

— Это Володька и сам понимает прекрасно. А как вы думаете, почему все же он не хочет отдавать людей?

Спросив это, Петр посмотрел на заводской двор, где сновали автокары и проплывали тяжелые панелевозы, нагруженные белыми кубами санкабин, похожие издали на громадные куски рафинада.

— Какой-то расчет есть у него. Возможно, и ошибочный. Или же просто страховка. Да, я думаю, элементарная перестраховка. Живой ведь человек. Боится не вытянуть такой ритм с сокращенной бригадой.

Неожиданно Петр спросил у Боровского:

— А вы бы, Павел Ильич, не боялись?

Боровский недоуменно пожал плечами. Он вытащил синюю пачку сигарет «Космос» с изображением красной пятиконечной звезды и белого силуэта устремившейся в полет ракеты.

— Хотите откровенно? Да, тоже бы боялся. Но я экономист, не бригадир, не правофланговый, как говорится.

— Вот то-то! А я, Павел Ильич, недавний и бригадир и правофланговый. Состояние Володьки чувствую сердцем. Ведь только раз сорвись на чем-либо — и все прошлые заслуги как корова языком слижет.

— И все же, все же! Существуют экономические законы социализма. От них никуда не денешься, вы уж извините меня за эти сентенции. Хочешь не хочешь, а людей из бригад понемногу убирать надо. Иначе не выполним запланированного темпа роста производительности. Я подсчитал: лет через восемнадцать мы вообще без людей в бригадах останемся. Будут действовать одни механизмы. Нажимай кнопки, и все!

— Кнопки, кнопки! Не очень-то радует эта перспектива, — пробурчал Петр. — Мне вот без людей скучно, без коллектива непривычно. От одного железа вокруг душу будет холодить. Брр!

— Это сейчас так кажется, — возразил Боровский. — А через два десятка лет производственная психология изменится. И по ручному труду тосковать не будете.

— Не знаю. Вот вы зря улыбаетесь. — Петр поднялся из кресла, развел в стороны плечи. — Мышечный труд в разумных дозах, он свою радость приносит. И избавление от многих современных болячек. Но не об этом речь. Вы правы, Каринцева надо убедить. Передовики тоже могут в чем-то ошибаться. И те, что идут за ними следом. Как мой лохматый Колька.

— Это Борискин, что ли? — догадался Боровский.

— Он, бедолага. Разрешите, с вашего телефона попробую его поймать на стройке.

Борискина разыскали быстро — он сам оказался в будке прораба, звонил по радиотелефону в диспетчерскую.

— Коля, — сказал ему Петр, — доложи обстановку.

— Вчера ж были, — удивился Борискин, — я докладывал.

— Ну и что! Сутки прошли, а это немало. Пол-этажа слепил?

— Пол-этажа! Да у меня тут куда ни тыркнешься, всюду заклинивает. Петр Михайлович, так ведь я же только начал!

— Каринцев тоже только начал, а уже по-другому рвортует. Каринцев у нас орел! Ты знаешь, что он мне сегодня предложил? Догадайся.

Петр чувствовал, что начал немного заводить и поддразнивать Борискина, однако, взяв этот тон, он по давней привычке продолжал мягко иронизировать над своим бригадиром.

— Не знаю, Петр Михайлович, что сосед там химичит, откуда мне знать?

— Не химичит, а человек предлагает вскоре перейти на ритм: три дня — этаж, начиная с одиннадцатого этажа своего корпуса. Вот такая вырисовывается картина, дорогой товарищ, — сказал Петр.

Борискин на другом конце провода почему-то вздохнул и тихо переспросил:

— Сколько, сколько?

— Три дня, три дня, — четко повторил Петр. — Начиная с одиннадцатого этажа. Понял?

Борискин снова замолчал, и пауза тянулась долго. Петр же не торопился ее прерывать. Он понимал: идея брошена, ее надо обдумать, взвесить не спеша. И скажи ему сейчас Борискин, что, мол, он не готов к ответу, что ему нужно время для обдумывания, Петр тут же похвалил бы его за разумную неторопливость и неторопливую рассудительность.

Однако Борискин молчал. И не потому, наверно, что думал, а оттого, видно, что сдерживал закипавшее возмущение и злился на Каринцева. На это тоже требовались силы. И еще, быть может, он искал слово, которое могло бы

выразить переполюнявившие его чувства. И тоже не мог его найти.

— Прохиндей он рыжий! — вдруг вырвалось у Борискина. — Баламут! Ни в жисть ему сейчас не вытянуть такого ритма. Голову даю на отсечение!

— Голову! — удивился Петр. — Нет, ты голову побереги. Бригадиру тоже думать надо. И чего так раскипятился, держись в рамках. — Петр пытался остудить возбужденного Борискина.

— Говорю, что думаю, — немного сбавил топ Борискин.

— Раздражение — плохой советчик в таких делах, — заметил Петр. — Запомни это. Злишь не злишь, а положение вырисовывается такое: Каринцев себе заказывает трехдневный ритм, а если Борискин к нему не подтягивается, что из этого следует? А то, что часть деталей у тебя, вернее за твой счет, можно забрать для Каринцева. С твоего, конечно, согласия. Усекаешь? Вот тебе и предмет для размышлений. Когда созреет решение, позвони. Все понял?

— Все! — крикнул Борискин.

— Не кричи, я слышу хорошо. А раз все понял, то хорошо.

Борискин что-то буркнул в ответ. Кажется, еще раз запустил этого своего «прохиндея». Тут и связь прервалась, кстати или некстати.

— Ну как ваш воспитанник? — почему-то с улыбкой спросил Боровский, когда Петр положил трубку на рычаг.

— Злится, чертенок, на Каринцева. Ну как же, не даст спокойно жить ни себе, ни ему. Будоражит своими инициативами. А это, как известно, любви не прибавляет. И еще, по-моему, ревнует.

— К вам?

— Ко мне, к успехам Каринцева и его бригады. Все люди человеки, и ревнуем, и завидуем, все есть. Только надо с этим уметь справляться. Так мне думается. А в общем, — Петр слегка вздохнул, — этого моего воспитанника, Борискина Колю, надо еще воспитывать и воспитывать.

Помолчали немного.

— Как же насчет дополнительных деталей с завода для Каринцева? — Петр переходил на другую тему.

— Что сказать? — Боровский повел плечами. — Заводы работают на пределе своих возможностей. Надо

ставить вопрос перед руководством комбината. Отыщем резервы. Во всяком случае, будем искать и надеяться.

— Ну что ж, пусть так.

Петр поднялся из кресла:

— Вы знаете, Павел Ильич, хорошая это формула: «Искать и надеяться». Спросите, почему хорошая? А потому, что еще с юности я усвоил крепко: уверенность в победе порою приносит и поражение. А вот надежда и работа, работа и надежда — ведут к успеху!

ГЛАВА 24

Петр приехал в Ивановское, когда Каринцев, уже закопчив свой дом-первенец, начал монтаж второго, приехал к Борискину, как обычно не предупредив ни самого бригадира, ни Хайтина. Предупреди — и начнут готовиться: что-то расчищать, что-то зачищать, одним словом, наводить глянец, а это людей отрывает от основного дела. К тому же Петру, который в бытность свою бригадиром делал то же самое, как он сам выражался, «глаза не запылишь».

Строительная площадка была уже пропахана во все стороны канавами для траншей и коммуникаций. Из-под земли и там и сям выпирали, как громадные бетонные челюсти, серые пластинки фундаментов. Монтировалось несколько девятиэтажек, и еще издали выделялся у кромки леса шестнадцатэтажный серо-голубой корпус. Внешне казалось, что дом выстроен, но Петр знал, как много еще недоделок внутри корпуса и особенно на площадке вокруг него. Траншеи не засыпаны, линии водопровода не доведены до квартир, не заасфальтированы дороги — все это нуждалось еще в дополнительном обустройстве.

И хотя всем этим должны были заниматься не сами монтажники, а другие организации, Петра это волновало в той же мере, как это будет заботить и жильцов. И какое им дело до того, какая организация за это отвечает?

В самом корпусе оставалось еще полно штукатурных, отделочных, сантехнических, столярных работ.

А ведь именно относительно этого дома ему позвонили рано утром из кабинета, из планового отдела, с напоминанием о том, что корпус идет в план заканчивающегося квартала.

— Поеду, посмотрю сам,— сказал Петр плановичке.

— Посмотрите, но помните, что есть указание Юрия Матвеевича. Корпус сдать во что бы то ни стало. Иначе горим с планом и вы и мы.

— Ну, я-то жароустойчив, горю на работе каждый день. И ничего,— мрачновато пошутил Петр. Однако ж и звонок, и ссылка на категорическое указание Ярцева — все это злило Петра.

На площадке перед домом, как обычно, его встречали Хайтин и Борискин.

— Ну, боевой начальник потока, готов сдавать корпус? — спросил Петр у Хайтина, пожав руку на ходу, не останавливаясь, отчего и Хайтин и Борискин вынуждены были тут же подстроиться к его размашистому шагу.

— Мы, как пионеры, всегда готовы! Часикам к двум подъедет комиссия, три человека.

— Понятно,— кивнул Петр.— А к шести ты заказал столик на шесть персон: трое принимающих, трое сдающих — ты, Борискин, Дубяга. Я видел этот кабак по дороге сюда.— Петр остановился, чтобы выслушать признание Хайтина.

— Как водится, Петр Михайлович. Только не на шесть, на семь человек.

У Хайтина его взлохмаченные рыжеватые брови поползли на лоб. Они всегда ползли у него, как гусеницы, когда Хайтин чему-либо удивлялся. Сейчас удивился ироническому тону начальника управления. Дело ведь обычное. После сдачи корпусов комиссии принято было угощать. Нет, Хайтин определенно не понимал иронии Шубенкова.

— Кто же седьмой? — поинтересовался Петр.

— На вас рассчитывали. Председатель комиссии ска- зал: «Хорошо бы сам приехал».

Петр усмехнулся:

— Ну хорошо, вот сам приехал и спрашивает тебя, Яшенька, электричество в корпусе есть?

— Нет.

— Вода?

— Нет еще.

— Недоделок внутри корпуса много? Сколько времени падо на доделку после сдачи дома?

— Недельки две уйдет.

— А когда жильцы въедут? — спросил Петр.

— А этого пикто не знает. Может быть, даже через два-три месяца,— вмешался Борискин.— И так бывает. Вот в Ясенева гнали мы девятиэтажку. Давай-давай, ребята! Сдали досрочно. А корпус этот еще полгода просто-ля незаселенным. Того не было, сего. Вот такие пирожки!

— Но мы зато отрапортовали в срок,— бросил реплику Петр.

— Точно, Петр Михайлович! — с улыбкой подтвердил Борискин, хотя трудно было понять, чему именно он сейчас улыбается. Скорее всего, просто от обычного хорошего настроения.

— Странная это штука, право слово. Жильцам что нужно? Дом готовый, а не рукава от пиджака. Не наши планы, графики, премии. А что получается — дом стоит, а, по сути дела, дома-то еще нет. Сколько уже говорили об этом! — Петр раздраженно махнул рукой.— Кончится когда-нибудь эта практика или нет?!

— Трудно сказать,— протянул Хайтин.— Планчик-то, он пятаки всем поджаривает.

— Дodelывать потом педелями то, что уже числится готовым.— Петру трудно было успокоиться.— А пока просить у комиссии: «Принимайте, принимайте, дорогие товарищи, а что чуток недоделали, так доделаем вскорости, не сомневайтесь». На поверку же это и не «чуток» вовсе.

— А что делать? — Хайтин передернул плечами.— Не мы первые, как говорится, не мы последние в этом деле. Не нами заведено, не на нас закончится.

— Вот то-то и плохо,— возразил Петр.— А надо бы поломать такую практику. Кто-то должен разорвать эту цепочку нашей порочной уступчивости.

И Петр представил себе, как через несколько часов к этому корпусу в Ивановском придет комиссия под председательством инженера из ГАСКа, а с ним кто-то от райисполкома, от пожарной охраны, от санэпидстанции. Главный здесь, конечно, гасковец, его слово самое авторитетное. Члены комиссии посмотрят первые этажи, а наверх, на последние, могут и не подняться. Лифты ведь еще не работают. О целом же можно и должно судить по части его, если, конечно, существует доверие к добросовестности строителей, а такое доверие должно существовать.

«Недоработочка, конечно, есть»,— скажет гасковец.

«А когда ее не бывает? — ответит Хайтин. — Доведем, товарищи, все будет в ажуре».

И тут появляется из портфеля гасковца акт о приемке. С примечаниями, с оговорками: то и то, так-то и так-то. Строителям вменяется в ближайшее время сделать то и то. Место для оценки дома — пока открытая строка. «Пятерка», «четверка», «тройка» — это выставляется через недельку, когда устранят недоделки. И начинаются уговоры, просьбы, усовещивания, которые ведет начальник потока или же сам начальник управления, а члены комиссии, как водится, поколебавшись, все же уступают напору строителей, и акт подписывается сегодняшним числом. И корпус сдан. И корпус принят.

Петра уже давно удивляла как психологический феномен эта взаимная готовность закрыть глаза на очевидное, обойти то, что предписывается инструкциями, всеми признается и почти никогда не выполняется.

То, что строителей берет за горло железная необходимость, это можно понять. Его величество План! Но члены приемочной комиссии? Что оказывает на них такое влияние? Какими флюидами этого психологического напора облучаются они настолько, что подписывают сплошь и рядом эти акты, совершая, по сути дела, своего рода приписки.

Но скажи им об этом — и члены комиссии удивятся. В чем фиктивность, какие приписки? Что вы, товарищи! Помилуйте!

Хочешь разобраться в споре, в конфликтной ситуации, попробуй порассуждать за партнера. «Что из того, — скажет тот же гасковец, — что корпус, записанный как готовый в понедельник, реально станет готовым в субботу или через неделю, десять, пятнадцать дней?! Что мепяется по сути дела? Кому и чему нанесен ущерб? Ну допустим, тот или иной строительный поток, управление, комбинат в целом какое-то время в новом квартале или году доделывает, подчищает долги за квартал предыдущий. Однако ж подчищает. А то, что сдвигается график у строителей, так то уже дело самих строителей».

«Да, это дело самих строителей, — думал Петр. — И дело серьезное. Ибо сдвиг графика — это нарушение ритма научно обоснованного, выверенного, нарушение, которое многократно повторяется и все нарастает в последующих кварталах, если вспомнить, что и план вырастает в объемах из года в год. И самое, быть может, важное, это

моральный ущерб. Люди старались поскорей смонтировать дом, а он долго стоит незаселенный. Строители отработовали — корпус сдан, а потом еще месяц бригада не вылезает из этажей. И в общем, как ни крути, а тут какое-то очковтирательство. Но кому, зачем?»

«Кому повем печаль свою», — не раз думал Петр. Кому, собственно, он должен жаловаться? Членам приемочной комиссии? Скажи им такое, и они искренно удивятся. Как, недовольны строители?! Те самые, которые умоляют принять в срок корпус с недоделками, ибо горит план. Кто же такой враг самому себе?

Им, членам комиссии, кажется, что, совершая это вроде бы малое попустительство, они в большой мере выручают своих друзей — строителей, выручают потому, что они, члены комиссии, люди отзывчивые, не педанты, понимают производственные интересы и трудности монтажников.

Вот и разберись в этой ситуации и найди правильное решение, да еще так, чтобы не напороть глупостей!

На какое-то мгновение толкнулась в сознании мысль: «А быть может, и не надо искать никаких решений. Как это говорит Хайтин: «Не нами заведено, не на нас и закончится». Пусть идет так, как шло до сих пор. Все же есть какая-то разумность в том, с чем молчаливо мирятся многие умные головы».

Соблазн отказаться от борьбы, от лишних забот. Есть в нем приятно размягчающая слабость освобождения от тяжелого груза внутреннего принуждения. Кому не известны эти спасительные и старые как мир доводы, призывающие к осторожности, которые всегда приходят на ум в подобных ситуациях: «Почему именно я? Что мне, больше всех надо? Без меня решат этот спор». Катя сказала бы: «Прислушайся, Петр, это срабатывает инстинкт самосохранения».

Петр, шагая сейчас по строительной площадке, почему-то вспомнил об отце. Может быть, в связи с мыслью об инстинкте самосохранения? Присущий всему живому, в какой мере он давал о себе знать, когда отец садился в свой танк, шел в бой? Героизм, которого требует война, и стремление уцелеть, остаться живым — не исключают ли они друг друга? Людям с сильно развитым чувством самосохранения вообще, наверно, нечего делать на фронте!

Петр не раз думал о том, что же толкает его коллегу-производственника на трибуну, когда надо оспорить об-

щеприпятое мнение, возразить начальству. У разных людей разные причины. Но главное здесь не инстинкт самодушества. Нет! А прежде всего преданность делу, которому служишь. Эта преданность и вызывает к жизни еще один властный инстинкт, инстинкт государственной ответственности за свой труд.

Петр чувствовал его в себе постоянно. Инстинкт этот нередко лишал покоя, усложнял жизнь. Но избавиться от него Петр не мог.

Он вспомнил сейчас, как Ярцев на своей даче исподволь подводил его к этому щекотливому вопросу о сдаче домов. Петр тогда не возразил решительно и твердо, не нашел в себе для этого сил. А Юрий Матвеевич словно бы предчувствовал сегодняшнюю реакцию Шубенкова, его возможный «бунт».

«Ну, если он это предвидел, то, значит, предчувствие его не обмануло,— подумал Петр.— Взбунтоваться надо, сказать свое «нет», иначе я перестану уважать себя!»

— Вот что, ребята,— сказал Петр, прервав молчание.— Не знаю, как вы, а я сегодня этот корпус сдавать не буду.

— Как так? — раскрыл от удивления рот Борискин.

— Вызываю огонь на себя. Поеду к Ярцеву. Быть мне битым, это уж точно,— выдохнул Петр.

— Ну ты даешь, Петр Михайлович!

Хайтин был поражен не менее своего бригадира.

— План горит, премии,— заметил Борискин.

— Коля, неужели из-за трех-четырех красненьких мы поступим своей совестью? Когда-то, кому-то надо положить этому конец?

Петр выжидательно посмотрел на бригадира. Борискин, покашляв, словно что-то попало ему в горло, кивнул, но как-то неопределенно, премии все же ему, видно, было жалко.

— А банкет? — вспомнил Хайтин.— Кто оплатит?

В таких случаях платил обычно начальник управления как наиболее состоятельный и самый заинтересованный в сдаче корпусов.

— Платит тот, кто заказывает музыку,— изрек Петр и, понимая некоторую комичность ситуации, озорно подмигнул Хайтину.

Но на комбинат к Ярцеву Петру ехать не пришлось. Казалось, сработала телепатия. Словно бы Юрий Матве-

евич сам почувствовал, что ему надо появиться в Ивановском. И вот по изрытой ямами и колдобинами дороге, переваливаясь, как утица, подкатила черная «Волга» начальника комбината, которую знали все бригады по номеру.

Оставив машину метров за пятьдесят до корпуса, Ярцев шагал к Шубенкову, показав взмахом руки, что он его заметил.

— Сам прикатил! — ахнул Коля Борискин.

— Смотрите, вот фокус! Только подумали о нем, и вот уже к нам едет ревизор! — пошутил Петр, однако сразу почувствовавший, как все напряглось у него в груди в ожидании крутого разговора.

«Ну вот и хорошо,— тут же подумал он,— вот и объяснимся, пока я не остыл, не перегорел. Удачнее и трудно сыскать случай. Тут все наглядно: недостроенный корпус, площадка и главное сами виновники недоделок, уважаемые товарищи Хайтин и Борискин.

— Петр Михайлович, меня не втягивайте, я в данном случае мелкая сошка. «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат» — есть такая поговорка.— Хайтин извиняюще развел руками.— Так что, с вашего разрешения, отойду в сторонку.

— Отойди, отойди, Яшенька, раз тебе так спокойнее. Может быть, еще какую-нибудь поговорку вспомнишь. Как-никак высшее образование получил мой бывший бетонщик.

— При чем тут это! Каждый вопрос обсуждается на своем уровне, а здесь не мой уровень.— Хайтин слегка надул губы.

— На уровень не ссылайся, Яшенька, просто ты у пас...— Петр искал определение,— комиссар собственной безопасности!

— Как? Как? Не понял! — переспросил Хайтин и резко покраснел.

А Петр уже больше не смотрел на начальника потока, потому что начальник комбината подошел к нему, издали протягивая руку.

— Вот, Петр Михайлович, одна забота, видать, притянула нас сюда. И это хорошо, что одна. Больше понимания. Планчик вытянешь? — тут же спросил Ярцев, но с интонацией не вопроса, а утверждения, что иначе и быть не может.

— Так не в планчик новоселам хочется въезжать, а в готовый дом, Юрий Матвеевич. А корпус сыроват, площадки вокруг него не готовы. Сдать нельзя.

У Ярцева появилось такое выражение лица, словно бы он внезапно наткнулся на протянутую поперек дороги проволоку. Однако он ответил не сразу, а покосился сначала на Борискина, который и сам почувствовал, что он тут лишний, сказал «здравствуйте» и быстро пошел в сторону корпуса.

— Мы ведь, кажется, договорились у меня на даче,— начал Юрий Матвеевич.— Я объяснял ситуацию. Можно, Петр Михайлович, и просто приказать, но это не метод. Я люблю, чтобы мои подчиненные понимали необходимость тех или иных решений.

— Понимать — это еще не значит принимать и одобрять. Акт на сдачу дома я не подпишу,— твердо произнес Петр.

— Так. Вот это подарок! — Коротко вздохнув, Ярцев посмотрел при этом почему-то не в лицо Петру, а сначала оглянулся. Нет ли кого вблизи? Никого не было. Хайтин и Борискин вернулись на корпус. Сама же реакция начальника комбината, явно не хотевшего, чтобы этот разговор с Петром кем-либо был услышан, показалась странной. И необычностью своею настораживала.

— Я обдумал эту ситуацию,— счел нужным добавить Петр.— Я вас понимаю, Юрий Матвеевич, но поймите и меня. Тогда, на даче, я был просто ошеломлен, не собрался с мыслями. А сейчас нравственное чувство протестует.

— Шубенков! — твердо произнес Ярцев.— Вот ты говорил о нравственном чувстве. «Красиво излагаешь», как сказала бы моя жена. Так разреши, дорогой мой, поведать тебе одну историйку, может быть, ты о ней и не слышал. Нашему комбинату года три назад хотели дать новый завод железобетонных изделий. И сразу же вписали на него в годовой план новых три тысячи квадратных метров жилья. Потом завод давать передумали, а цифра в плане осталась. Ты скажешь — курьез!

Петр ничего не сказал. Он только вспомнил, что слышал об этом казусе еще в те годы, когда далековато стоял от сферы планирования.

— И я и Боровский дошли тогда, как говорится, до самых верхов,— продолжал Ярцев,— до Госплана республики. И что же? Нашли какое-то перевыполнение по другим строительным организациям, кое-что наскребли и мы

у себя на комбинате, в общем, покрыли эту цифру, но с плана ее не сняли.

— К чему это? — спросил Петр.

— А к тому, что цифра в государственном плане — серьезная вещь. И связанная с миллионами таких же обязательных цифр. Дисциплинирующее начало. Сегодня вот ты, — Ярцев положил руку на плечо Петра, — не выполнишь в срок план, потому что помешало нравственное чувство, завтра оно помешает другому, третьему. Что получится? Ничего хорошего. Плановое хозяйство дисциплиной порождено, дисциплиной и цементируется.

— Если даже в ее цемент мы намешаем песок очко-вирательства? — дерзко спросил Петр.

Но Ярцев не обиделся.

— Мелочи, — он махнул рукой, — формалистика. Ты же знаешь, и там, наверху, знают: доделаем чуть раньше, чуть позже. Важно, чтобы в душе жил другой нравственный закон: План надо выполнять в срок и любыми средствами. Вот так нас всегда учили.

— Но можно ли призывом к дисциплине покрывать нашу же недобросовестность? Как-то не стыкуется.

Говоря это, Петр интуитивно отступил на шаг от Ярцева, а тот, наоборот, сделал шаг вперед, и они двинулись, пошли, продолжая этот важный разговор уже по дороге к корпусу.

— Слушай, Петя, брось ты эту свою глубокую философию на мелких местах. Давай без демагогии. Какая же недобросовестность? Вон посмотри, — Ярцев показал рукою в сторону корпуса, — как твои люди работают — на совесть. А сегодня, между прочим, суббота. Они вкалывают, и мы с тобою на строительной площадке, а могли быть на рыбалке в «Солнечном». Ты понимаешь, есть обстоятельства. Об-сто-я-тель-ства! — по слогам и со значением повторил Ярцев.

Петр на этот раз промолчал. Вспомнились слова Лазарева, говорившего, что Ярцев умеет спорить, манипулировать аргументами и по обстоятельствам черное может выдать за белое, и наоборот. И так как Петр все еще утрюмо молчал, Ярцев добавил:

— А я, видать, приехал вовремя, уберег тебя от одной очевидной глупости. Отсюда поеду в Вешняки. Тебе туда не нужно?

Петр отрицательно покачал головой...

...Едва по грунтовой дороге мимо шестнадцатизэтажного корпуса проплыла черная «Волга», как из подъезда дома, словно бы он ждал там этого момента, выскочил Хайтин.

— Отбыли благополучно? — Хайтин кивнул в сторону сносимого ветром к лесу облачка пыли.

— Как видишь, — усмехнулся Петр.

— И какое будет резюме?

— Резюме? — поморщившись, повторил Петр. — Вот я его получил сейчас. Ярцев приказал корпус сдавать.

— Ну вот так, ясенько! — с явным облегчением вздохнул Хайтин. — Разум и суровая необходимость победили благородные чувства.

— Иди ты знаешь куда? — не сдержался Петр. — То же мне Спиноза! Я отступаю временно. И может быть, в последний раз, — почти крикнул Петр.

И, сердито бросив начальнику потока: «Бывай, Яша, до скорой», Петр быстро зашагал к своей машине.

ГЛАВА 25

Письмо это пришло на домашний адрес Шубенковых. Утром, торопясь на работу, Петр прихватил его с собою. Обычно в начале дня он в своем кабинете разбирался со всею почтой, личной и деловой. Это было удобно хотя бы потому, что под рукою находился селектор, обеспечивающий результативность прочтения бумаг в отданных тут же распоряжениях и приказах.

Обратный адрес города Калининграда сначала удивил Петра. Так же, как и фамилия Петрикин. Но потом вспомнилось: музей в центре города, майор-отставник, увлеченный историей Кенигсбергской операции, душевный, взволновавший Петра разговор об отце, о его подвиге и гибели.

Вспомнилось, что майор обещал что-то выяснить, какие-то подробности, и написать Петру. А что именно, Петр и забыл. Голова-то забита множеством цифр, фамилий, неотступными заботами каждого рабочего дня. И все же — стыдно.

Раскрыв письмо, он обнаружил в нем несколько печатных страничек и представил себе пишущую машинку майора и то, как он дома отстукивает на ней письма своим корреспондентам, главным образом ветеранам войны.

Стучит, окруженный папками с архивными документами, стучит и правит синим карандашом, снова стучит и правит, но уже в третий или четвертый раз перепечатывать ленится. Большой начальник дал бы обязательно перестучать машинистке, а для майора это уже дороговато.

Петр сказал Веронике через селектор:

— Полчаса ко мне никого и не соединяйте по телефону.

Хотелось прочитать это письмо в тишине и сосредоточенности.

«Дорогой сын Героя! — так начинал письмо майор Петрикин. — Не знаю, как Вы, а я не забыл своего обещания порыться в архивах боев под Кенигсбергом относительно танкового батальона майора Шубенкова, который вел бои под городом Фридрихсорт. И вот докладываю: кое-какие интересные подробности, которые, конечно, ускользнули от музейных работников и будут вам интересны, я установил. Это первое.

Второе заключается в том, что я немного еще занимаюсь новой наукой, которая называется «Психология военного коллектива», или просто военная психология. Она, конечно, тесно связана с проблемами социальной психологии вообще. Я на войне был политработником, бойцом идеологического фронта. Однако наряду с идеологией реально существует и другая сторона общественного сознания — массовая психология.

В службе военной, дорогой сын Героя — вы ведь тоже служили в армии, — как в мирное время, так и на войне, есть явления, которые нельзя ни понять, ни объяснить без знания и учета общественной психологии. Почему, например, из двух одинаковых по численности воинских подразделений, одинаково вооруженных и подготовленных, находящихся в равных условиях, одно мужественно сражается до конца и одерживает победу, а другое не выдерживает подобного напряжения, сдает позиции?»

«Издали заходит майор, — подумал Петр, — издали, но любопытно».

«Так вот, я на досуге почитываю разные умные книжки на эту тему, просто для расширения кругозора, и стал замечать, что теперь по-другому смотрю на то, что сам пережил или чему был свидетель. Как-то все глубже осмысливаешь и понимаешь душу нашего советского человека на войне.

Так что простите, Петр Михайлович, если я кое-где и вставляю эти мысли, они не мне принадлежат, по помогают выразить то, что хочется выразить, а главное, объяснить сыну, каким настоящим и по-настоящему советским человеком был его отец.

Авторитет не положен вместе с должностью, как полагают некоторые, его надо заработать. Авторитет является неотъемлемым элементом общения людей, всякой разумной организации. Истинный авторитет обладает силою нравственного внушения. Вот такой авторитет и был в батальоне у вашего отца Михаила Шубенкова...

Петр пододвинул к себе блокнот и ручку. Письмо майора Петрикина привлекало к себе с первых же строк, потому что вновь напоминало об отце. Да и мысли, которые начал излагать майор, казались интересными не только применительно к психологии военного коллектива, но и того же строительного управления, которым руководил Петр Шубенков. Должно быть, майор Петрикин учитывал и это.

«...Почему я пишу об авторитете? Потому, что долг каждого руководителя развивать в своих подчиненных мужество, являющееся чудесным свойством человеческой природы. Чудесным это свойство приходится называть потому, что его стремится подавить масса самых различных страхов. Задумайтесь, Петр Михайлович, над этой проблемой, и вы поймете, что страх может восторжествовать над солдатом, а мужество покинуть его, если у солдата будут плохие руководители.

Ваш отец был хорошим командиром, умевшим возбудить в людях мужество личным примером и в бою, и в дни перед боями, когда он, как говорят теперь, «жил одной жизнью с солдатами». На фронте же, командуя танковым батальоном, иначе нельзя, как и нельзя общаться с воинами, не раскрывая при этом себя как человека. На фронте черты характера и наклонности командира — все это на виду.

Мне удалось отыскать сослуживца Михаила Шубенкова, — сообщал далее майор Петрикин. — Это гвардии подполковник Устименко, который был непосредственным начальником Шубенкова, командовал танковым полком. Устименко Павел Иванович хорошо помнит эти бои в Восточной Пруссии...

«Ты смотри, какой молодец майор Петрикин!» — подумал Петр.

Теперь в письме следовала запись воспоминаний Устименко с его слов:

«...Впервые со старшим лейтенантом Шубенковым я встретился в отделе кадров штаба фронта, когда его и меня назначили в гвардейскую танковую часть. Это был молодой, очень энергичный и жизнерадостный человек.

В первых же боях при прорыве вражеской обороны в Восточной Пруссии, в январских боях сорок пятого, Шубенков отличился как волевой командир. Только в одном бою, ворвавшись со своими танками в один из укрепленных фольварков Берзбрюкен, он уничтожил танком шесть зенитных орудий, свыше семидесяти гитлеровцев. За этот бой Шубенков был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Смелость хороша разумная, а не безрассудная, даже на войне,— писал Устименко.— Я как-то заметил, что командирский люк на танке Шубенкова всегда был немного приоткрыт. Во время боя нет-нет да и покажется танкошлем над люком. Кругом рвутся снаряды, осколки барабанят по броне, а командир батальона выглядывает из люка. И чем горячее бой, тем чаще мелькает над люком племофон командира. «Зачем он это делает?» — думал я.

Разгадка была в том, что у тогдашних танков смотровые приборы не были совершенными. А комбату надо все успеть заметить, не упускать из поля зрения ни один из своих танков. Конечно, он рисковал жизнью, но ради того, чтобы уберечь в бою своих танкистов. И не случайно именно в батальоне Шубенкова потери оказывались меньше, чем в других подразделениях, хотя батальон выполнял особо трудные задачи.

Тогда наше январское наступление продолжалось. Танки уходили в глубину Восточной Пруссии. В начале февраля батальон получил задачу овладеть городом Кройцбургом. Противник в этом районе имел сильно укрепленные рубежи обороны, до предела насыщенные огневыми средствами. Переправившись через реку Штродик, мы оказались оторванными от наступающей нашей группировки. Пришлось самостоятельно отвоевывать плацдарм для дальнейшего наступления, вести бой на пятачке. Холмистая местность, покрытая рощами, облегчала противнику оборону.

И вот батальон Шубенкова шаг за шагом в боях продвигался вперед. Метр за метром танкисты расширяли плацдарм. На третий день батальон, вырвавшись из этого

пятачка, выскочил к окраине города Кройцбурга, уничтожив два самоходных орудия, двенадцать полевых пушек, много солдат и офицеров.

Сам Шубенков был в этом бою ранен в левую руку, но из боя не вышел, часть нё оставил и сам на танке шел в боевых порядках. За это был награжден вторым орденом Отечественной войны — I степени.

В апреле наш полк получил задачу выйти на побережье залива Фришес-Хафф. Наступила весенняя распутица. Земля, пропитанная тающим снегом, не выдерживала тяжести танков. Танки вязли повсеместно, на гусеницы наворачивалась грязь громадным черным и вязким комом. Машины, как говорится, садились на свое стальное брюхо, гусеницы пробуксовывали вместе с налипшей грязью.

Распутица выгоняла танки на шоссейные дороги, а это, в свою очередь, затрудняло маневр, сковывало танковые подразделения, которые вели бой за каждый фольварк, за каждое здание, подготовленное немцами к обороне.

И вот в этих условиях впереди шел батальон Шубенкова, командир с удивительной точностью определял систему обороны противника, находил в ней уязвимые места. Батальон подошел к мощному узлу сопротивления Фридрихсорт. Перед наступающими подымалась сплошная огненная стена, созданная артиллерией и минометами. С ходу танки не смогли продвинуться вперед. Перед Шубенковым была поставлена задача: на рассвете прорваться через эту полосу огня.

И вот наступила ночь, темная, дождливая...

Здесь Петр остановился. Далее в письме шло описание подробностей последнего боя отца, уже частично известных по рассказам того же майора Петрикина в калининградском музее.

Ночь темная, дождливая. Последняя ночь Михаила Шубенкова перед смертью. Это глубоко волновало Петра.

О чем думал отец в эту ночь, когда накоротке собрал танкистов и рассказал, как надо действовать, чтобы успешно выполнить поставленную задачу?

Командир полка вспоминал:

«Главное — дерзость, внезапность, — сказал тогда Шубенков. — Прорвем оборону, выйдем в тыл противнику — значит, облегчим выполнение задачи всем частям, сохраним жизнь нашим боевым товарищам».

Говорил ли отец именно так, выступая перед танкистами? Наверно, говорил что-то близкое к этому. Хотя Петр чувствовал в этих словах Устименко налет слишком общего, расхожего изложения мысли. Но можно ли было винить в этом подполковника? Подобный стандарт изложения часто бывал порожден именно типичностью многих боевых ситуаций и лаконичностью языка военных донесений.

И еще Петр подумал о том, что, произнося перед боем свою краткую речь, отец наверняка вспомнил о маме, о нем. Сжалось ли при этом его сердце? Да, наверняка и сжималось и тосковало в томительном стеснении под гнетом недобрых предчувствий.

А страх? Петр где-то читал, что человек всегда стоит перед необходимостью преодоления страхов. Он страшится нужды, боли, в наиболее впечатлительные детские годы его учат бояться темноты, огня, болезни, автомобилей, острых предметов, огнестрельного оружия, слепых, бородатых и хромых, учат бояться собак, львов, тигров, медведей. В молодости он боится среднего возраста, в среднем возрасте — старости, и все время, а на войне особенно — смерти.

«Боялся ли отец смерти? Ну конечно, боялся, все боится,— подумал Петр.— И если что помогало отцу не думать об этих страхах, так это была его занятость. Такая насыщенность действиями каждую минуту, когда думать о чем-либо ином, кроме твоих обязанностей, просто невозможно».

Подполковник же Устименко далее так рассказывал о развернувшихся событиях:

«Экипажи заняли свои места в танках, приготовились к бою. Майор Шубенков передал по радио команду: «Вперед!» Машины плавно тронулись с места. Начался бой. Командирский танк Шубенкова на максимальной скорости сновал по полю в разных направлениях, то выдвигался впереди атакующих, увлекая за собою весь батальон, то продвигался от танка к танку, указывая цели.

Наконец батальон прорвался к окраинам Фридрихсорта, смяв оборону противника, уничтожив много противотанковых и самоходных орудий.

Танки двигались вперед. И вдруг в машину командира батальона один за другим попало два тяжелых снаряда...»

Петр немного передохнул. Заломило в виске, должно быть от волнения. Но все же тянуло читать дальше письмо

майора Петрикина, который уже от себя далее сообщал следующее:

«О подробностях этого боя я Вам, Петр Михайлович, уже немного рассказывал во время нашей встречи в Калининграде. Однако вынужден повторить еще самым кратким образом. Итак, когда два снаряда попали в командирский танк и Шубенков, раненный, обожженный, потушил на себе огонь, он остановил другой танк из своего батальона. Как только приоткрылся башенный люк, Шубенков ухватился за скобу и одним махом очутился в башне.

То, что случилось дальше, Вы знаете,— продолжал майор Петрикин,— попадание снаряда и во второй танк. Шубенков вновь горит в машине, которая, однако, успела уничтожить немало техники и солдат противника. Шубенков спрыгивает из танка на землю, чтобы снова сбить с себя огонь. И в эту минуту погибает, пораженный осколками снаряда, разорвавшегося рядом...»

Петр встал из-за стола, прошелся по кабинету, открыл широко окно на улицу. В комнату ворвался гул перекрестка, многоголосый, слоистый — с урчанием и рокотом моторов, истеричным повизгиванием тормозов, с резкими гудками и более частой резкой трелью милицейского свистка.

Этот привычный шум, обычно мало замечаемый, сейчас как-то странно ассоциировался с воображаемым Петром ревом танковых моторов на той самой лесной лужайке, где отец перешел в другой танк, чтобы продолжать бой.

Петр, взволнованный, вернулся к столу. Взял в руки листы письма. Захотелось его дочитать до конца. Что же пишет еще этот майор, действительно не поленившийся на розыски архивов.

«Дорогой друг, я заканчиваю свое сообщение,— писал майор,— и закончить хочу еще одной мыслью, простите меня за это, мыслью, взятой мною из тех же умных книжек по психологии воинского коллектива, которые я почитаваю на досуге.

Дело в том, что сейчас психологи пришли к выводу: обычный человек использует только десять процентов своих физических и умственных способностей. Разница между той силой, которую он использует, и той, которая действительно имеется в его распоряжении,— это и есть

разница между тем, что он есть, и тем, кем он может быть.

Будьте здоровы, Петр Михайлович, желаю Вам высоко нести по жизни честь фамилии Шубенковых. И помните в своей работе строителя, что хорошим руководителем, как утверждают психологи, можно считать того, кто способен уговорить или вдохновить своих подчиненных отдавать больше, чем десять процентов своих физических и умственных способностей, и плохим — того, кто получает от подчиненных меньше десяти процентов.

Желаю удачи и всегда ждем Вас в Калининграде, как дорогого и желанного гостя!»

Петр еще подержал с минуту перед глазами эти несколько листов плотной бумаги, так, словно бы за ровными машинописными строками можно было увидеть и эту лужайку в лесу, два танка и на холодной земле обожженного танкиста Михаила Шубенкова.

Размышления Петра прервал голос Вероники из селектора. Она просила ее извинить. Звонил начальник комбината.

— Соединить? — почему-то шепотом спросила она.

— Вы сказали, что я в управлении? — спросил Петр. Именно в эту минуту ему менее всего хотелось разговаривать с Ярцевым.

— Сказала.

— Соединяйте, я освободился, — распорядился Петр и тут же услышал через микрофон селектора знакомую хрипотцу в повелительном баске, который был явно окрашен довольными интонациями — свидетельство того, что Ярцев с утра еще пребывает в недурном настроении.

— Здравствуй, Шубенков, поздравляю с планом за квартал. Шестнадцатизэтажку в Ивановском комиссия приняла. Молодцы! Мне звонил Хайтин. А ты в курсе?

— Да.

— Ну вот видишь... — Ярцев слегка покашлял. — Все хорошо, что хорошо кончается. И зря ты там куксился. Комиссия вроде бы даже склоняется к «четверке».

— Ох уж эта комиссия! — вырвалось у Петра.

— Не понял? — жестче переспросил Ярцев.

— Юрий Матвеевич! Ну не пора ли нам выработать строго научную методологию определения качества? И отбросить ту вкусовую отсебятину, которая еще процветает. Ну какая же «четверка» за этот дом?! — сказал Петр. — Там пока еще «тройка» с минусом. И вообще, на

какие критерии комиссия опирается? Все ведь приблизительно, на глазок.

— А тебе-то что за нужда? — Ярцев удивился и, должно быть, искренно. — Ставят «четверку», и радуйся. Что у вас, своих забот мало? Зачем вам возиться еще с этими ребятами из комиссии? — И добавил: — Это же епархия институтов, а их, слава богу, хватает.

Петр промолчал. И снова подумал о том, как ему трудно сейчас разговаривать с Ярцевым.

— Ну что ты, дорогой друг, все мечешься! Это признак, прости меня, твоей деловой незрелости, — продолжал уже совсем холодно Ярцев. — Имей в виду, всякая инициатива наказуема. Ты предложишь какое-нибудь новшество, тебя же заставят его проводить в жизнь. И еще кто-то сказал, что энтузиазм заразителен как корь. Так что и тут надо быть разумным... Загляни-ка ко мне к вечеру, тут накопились вопросы, — уже по-деловому, исчерпав, видно, желание наставлять Петра, закончил Ярцев.

— Хорошо, — произнес Петр, одновременно резко опуская трубку на рычаг селектора.

ГЛАВА 26

Семинар по бригадному подряду должен был проходить в помещении клуба завода ЖБИ, того самого завода, который вплотную примыкал к зданию комбината. В самом управлении не нашлось бы такого емкого и удобного зала, вмещающего хозяев, многих гостей, и не только строителей, и не только из одного района.

Вполне резонно решили организаторы семинара, что побывать на нем полезно и представителям науки, проектировщикам и заводчанам, соседям строителей, поскольку хозяйственный расчет — явление универсальное для всей индустрии, а хозяйское отношение к труду, лежащее в основе этого движения, отвечает самой коренной сути социалистической организации производства.

Петр приехал на завод к одиннадцати, сердясь на то, что заседания, семинары такого рода принято почему-то назначать с утра, ломая рабочий день. Ведь можно бы и после работы собраться, экономя дорогое время.

Он въехал на своей «Волге» в заводские ворота и попросил Валерика медленно прокатить по основной улице.

Петр любил эту внутривзаводскую дорогу, обсаженную липами, кленами, березками и цветочными клумбами. Ласкало глаз именно то, что зелень здесь соединялась с тщательно поддерживаемой чистотой, а геометрия планировки заводских корпусов с интенсивным движением транспорта, главным образом автокаров, подъемных кранов и панелевозов.

К центральной улице примыкали боковые, в одну из них свернула «Волга», и Петр с удовольствием взглянул сейчас на два новеньких цеховых корпуса. Он знал, что внутри там царствует хорошо продуманная автоматика: чисто, просторно, технологически гармонично. В одном из холлов цеха, а это именно были холлы, ибо внутренний интерьер цехового вестибюля напоминал театральный — стоял даже рояль. Это для того, чтобы в обеденный перерыв кто-либо из работников цеха мог помузицировать.

Красивые корпуса не так давно заменили памятные Петру старые, дымные, закопченные помещения, двор в ямах и рытвинах, грязь, кучи песка, гипса, цемента — типичную картину для старых заводов железобетонных изделий.

Заглавную роль в этой столь решительной реконструкции, и особенно в эстетизации производства, сыграл бывший директор этого завода, человек недюжинной энергии и бурной инициативы.

Петр хорошо его знал, собственно как и все на комбинате. Частенько обращался к нему, сидели рядом на всякого рода совещаниях. Яркий человек всегда притягивает к себе не только внимание, но порою и молнии начальственного гнева. Особенность стиля бывшего директора заключалась в том, что он умел ходить как бы по острию ножа, предпринимая смелые штурмы реконструкции за счет собственных сил завода и мобилизации внутренних резервов. И при этом нередко преступал границы финансовой дисциплины. Для пользы дела и нередко в моральный ущерб себе.

Он имел столько же выговоров, сколько и благодарностей, едва не попал под суд за самовольную остановку цеха для переналадки оборудования, но, когда это все кончилось победой и большим экономическим эффектом, — получил орден. Последнее, однако, не помешало его скорому снятию с поста за финансовую недисциплинированность, и его заменили человеком более расчетливым и уравновешенным.

И бывший директор как-то сразу померк и затих на должности заместителя начальника отдела комплектации того же комбината. Петр и теперь с ним изредка встречался, относясь к нему сочувственно.

Известно ведь, что директор, строящий завод или же крупно его реконструирующий, редко остается для эксплуатации. Так нелегко и тернист этот путь.

Теперь Петр, да, наверно, и не он один, встречаясь на комбинате с бывшим директором завода, размышлял невольно о том, что с ним случилось. И старался извлечь из его истории полезные уроки. Видимо, они были в том, что любая инициатива должна вписываться в государственные законы, а смелость не переходить в авантюризм. И в любом случае нельзя терять чувства реального.

Петр и сейчас, проезжая мимо новых корпусов завода, вновь подумал об этом и мысленно сказал себе:

«Смотри, Петр, и мотай себе на ус! Умный человек ведь не тот, кто никогда не делает ошибок, а тот, кто умеет извлекать уроки из своих и чужих промахов».

Петр вошел в зал заводского клуба. Здесь было уже шумно, собирались участники семинара. В воздухе витало то оживленное возбуждение, которое особенно заметно почему-то по утрам, когда у людей полно еще неизрасходованной энергии.

Как обычно на собраниях, в зале превалировали женщины. Петр давно заметил это. Сотрудницы аппарата, комбинатских служб, представительницы проектных организаций, архнадзора, они разместились на рядах стульев — кто с приготовленным блокнотом, кто с заложенной закладкой книгой, чтобы дочитать украдкой, кто с намерением скоротать время, если доклады будут скучными, разговором шепотом с соседкою.

Некоторые из них охотно ходили на совещания и семинары просто потому, что это была законная причина не работать. Ведь над ними не висел ни план, ни график, ни принудительный ритм монтажа и сдачи домов.

Однако сегодня, может быть потому, что на этот раз вопрос на семинаре стоял очень важный, затрагивающий интересы рабочих, их было в зале больше чем обычно. Всюду пестрели спецовки, кое-кто собирался прямо отсюда отправиться на вторую смену. Присутствовали и многие бригадиры, начальники потоков и прорабы. Их, низовых организаторов производства, бригадный подряд казался самым непосредственным образом.

Петр заметил издали в рядах и лохматую голову Борискина. Кивнул ему. Борискин ответил белозубой улыбкой, в которой угадывалось столько же веселого добродушия, сколько и лихой беззаботности исполнительного работника, который уверен, что начальство не оставит его заботами, а он выполнит все, о чем его попросят.

«Пришел, чертушка! — с нежностью подумал о нем Петр. — На трибуну вряд ли полезет, хотя есть о чем рассказать. Это не Каринцев, тот умеет плотно вложить мысль в крепкие слова. Да, не оратор, но ведь работает не хуже Каринцева. Руки прекрасные, в руках — сила, одаренность».

Потом Петр заметил Ярцева, Илью Васильевича, Каринцева, Боровского. Почему-то не было видно Лазарева. Петру сказали, что секретарь парткома заболел, поднялось артериальное давление. Однако ж он успел много сделать для подготовки семинара.

«Жаль, что его не будет, — подумал Петр. — Вот кто умеет вдохнуть в ход любого обсуждения живую искру принципиальности. Да и подогреть всех неостывающим своим темпераментом».

Один за другим руководители семинара проходили в комнату, которая находилась рядом со сценой. Там собирались члены президиума. Туда надо было идти и Петру.

Семинар открыл кратким вступительным словом Ярцев. Он поблагодарил райком партии и лично Илью Васильевича за предоставленную возможность собраться, обменяться опытом по важному вопросу внедрения хозяйственного расчета в низовых коллективах.

— Дело это еще нередко тормозится разного рода недостатками в материально-техническом снабжении, недостаточной инженерной подготовкой производства и другими неполадками, — сказал Ярцев.

В общем, получалось, главная вина — на стороне. И, как показалось Петру, Ярцев «гнал мяч подальше от своих ворот»!

Илья Васильевич слегка поморщился и что-то черкнул в своем блокноте.

Потом начальник комбината предоставил первое слово Владимиру Лаврентьевичу Каринцеву, с тем чтобы, как он сказал, «наш вполне заслуженный строитель республики поделился бы своим опытом».

Каринцев действительно недавно получил звание заслуженного строителя РСФСР. Обычно звание присужда-

лось строителям с большим стажем, опытом и заслугами, а если его получали люди сравнительно молодые, такие как Каринцев или Шубенков, то это выглядело как исключение, а точнее сказать, как признание исключительных заслуг в строительстве.

Шубенков сидел рядом с Ярцевым. Юрий Матвеевич несколько раз поворачивал к нему голову, доброжелательно улыбаясь. Все это, казалось, должно было принести удовлетворение, но Шубенков, наоборот, нахмурился. Явная и грубоватая лесть Ярцева, комплименты Илье Васильевичу и бригадиру Каринцеву плохо вязались с деловым тоном семинара, к тому же удивляли именно в устах Ярцева, с его обычно жесткой и суховатой манерой речи.

Петр интуитивно почувствовал во всем этом некий симптом слабости, нетвердость внутренней позиции, которая если уж появляется у человека, то всегда обнаружит себя — в неточных ли словах, в неверном ли тоне.

Каринцев же, взошедший на трибуну, стоявшую справа от стола президиума, держался, наоборот, очень уверенно, рассказывал толково, без бумажки, внешне нимало не заботясь о внимании к себе аудитории. И Петр подумал, что оратор, если он говорит дело и говорит серьезно, может быть уверен — слушать его будут.

Оставив на долю Боровского историю внедрения на комбинате бригадного подряда, Каринцев начал говорить о своем непосредственном опыте, о том, как дается его бригаде этот метод. Петр заметил, с каким вниманием и интересом посматривает на Каринцева Илья Васильевич. Тишина воцарилась и в зале.

— У нас, товарищи,— сказал Каринцев (некоторые его мысли Петр заносил в свой блокнот),— за последние два года производительность труда выросла на семьдесят один процент. Это очень много. И здесь свою большую роль сыграл бригадный подряд. Мы получаем задание на сооружение корпуса, начиная с первого колышка. Если сдаем корпус, как записано в подряде, то есть день в день, то получаем пятнадцать процентов надбавки к заработку. Если дом сдан при этом еще и на «хорошо» — то приплюсуйте сюда еще двадцать пять процентов надбавки за качество от общей суммы договора.

Сообщал ли Каринцев что-то новое аудитории? Строителям — вряд ли. А люди из проектных организаций могли и не знать всех этих коэффициентов. Однако, как подумал Петр, важнее самих цифр — был ход мыслей брига-

дира, то, к чему он клонил, уровень его проникновения в нравственный механизм хозяйственного расчета по методу Злобина.

— Домик наш — шестнадцатизэтажный, — продолжал Каринцев, — бригаде стоит примерно двенадцать с половиной тысяч рублей. Не сделать на «хорошо» — значит из этой суммы потерять для бригады тысячи три. Кому же этого хочется? И ребята, конечно, стараются на совесть. Вы простите, что я так откровенно. Материальный интерес — это материальный интерес. Людей надо заинтересовать.

— Владимир Лаврентьевич, — мягко остановил Каринцева Ярцев. — Говоришь ты хорошо, но не очень ли увлекаешься меркантильными соображениями? У нас есть и другие приводные ремни энтузиазма.

— Все правильно, но экономика — это же основа, — не смутившись, тут же ответил Каринцев. — Экономика задевает интересы человеческой жизни, не только мои, ваши, товарища Шубенкова, а миллионов людей. А раз так, то это тоже важная политика. Я так думаю, простите, Юрий Матвеевич.

— Вы продолжайте, продолжайте, — посчитал нужным вмешаться Илья Васильевич, — спокойно, свободно развивайте свою мысль.

Но на Каринцева реплика начальника комбината и не произвела особенного впечатления. Это заметил Петр, наверно и другие. Каринцев не изменил своей уверенной, напористой интонации. Он говорил о балльной системе оценок по качеству, которую надо научно усовершенствовать.

— На нашем первенце-шестнадцатизэтажке было, товарищи, двадцать девять ошибок по качеству. И в самом проекте, в нашей работе бригады, и потом в оценках. Я собрал бригаду, сказал: «Так нельзя, друзья!» Мы обсудили все досконально. И многое поправили по нашей рабочей инициативе.

В зале раздались аплодисменты. Хлопали, конечно, не тому, что бригадир созвал своих товарищей еще на одно собрание, а тому, что бригада проявила творческую инициативу. Тому, что с небрежной и некачественной работой совместить свой труд бригадир Каринцев не может и не хочет.

— Товарищи! — произнес Каринцев, ободренный и, как показалось Петру, даже вдохновленный этой реак-

цией зала. — Мы все на комбинате работаем в ритме точного графика и потока, и поэтому злобинский метод в наших условиях получает свою, так сказать, физиономию. Вот примеры. Первый. По совету нашего экономиста, товарища Боровского, мы решили на три человека сократить число рабочих в бригаде. Это улучшит наши показатели. И второй. Обычно бригады соревнуются за экономию материалов. А у нас отдел комплектации все отпускает тютельница в тютельку. Экономить не на чем. А вот сохранять материалы необходимо. Сохранение деталей — вот направление нашего соревнования за экономию. Тут дело не просто в аккуратности рабочего. А в том, чтобы он всегда беспокоился за народную копейку. А это хорошее беспокойство. Оно должно быть цементом схвачено с настоящей дисциплиной. Во всем и всегда, товарищи. Наше поточное производство особенно требует дисциплины. И точности. В этом корень всего дела! Это то, что касается рабочих, — не торопясь, раздумчиво развивал свою мысль Каринцев. — Но такая же дисциплина должна быть и у руководителей. Такая же ответственность. Потому что в бригадном подряде большая роль падает на подготовку документации и самое главное — организацию снабжения.

Я хочу подчеркнуть, — возвысил он голос, — не только технические работники должны у нас заниматься бригадным подрядом, а и первые руководящие лица на комбинате. А ведь это, товарищи, не всегда так бывает. Отсюда и срывы, особенно со снабжением. Я вот спрашиваю себя, почему иные обходят бригадный подряд стороною, как кот горячую кашу? Потому что подписать подряд легко, а если нет обеспечения, то бумага эта становится дырявой, и через эту дырку улетает и зарплата, и премия, и честь рабочая. Так что приветствовать бригадный подряд надо не только на словах, но и на деле, создавать условия, как говорится в афишах: «Сегодня и ежедневно!» — подытожил Каринцев.

По залу пронесся одобрителный смешок.

— Правильно, — бросил реплику Илья Васильевич.

Ярцев, который не мог не почувствовать, что, не называя фамилий, бригадир все же целит критической стрелой в руководство комбината и в него лично, тоже одобрительно кивнул. Однако через минуту, наклонившись к Шубенкову, тихо сказал:

— Твой кадр! Ловко язык подвешен. И формулировки все обкатанные, не с твоей ли помощью, Петр Михайлович?

— Нет, он человек, мыслящий самостоятельно. Просто, Юрий Матвеевич, мы иногда не замечаем, как рядом с нами вырастают люди. А потом удивляемся. Вырос мой Каринцев.

— Вот именно, что все-таки твой, и это очень заметно,— буркнул в ответ Ярцев.

А Каринцев тем временем продолжал свою речь и тянул уже к концу, приводя ряд цифр и расчетов. И вот что еще было заметно Петру, Каринцев называл эту цифирь не просто ради парадной отчетности, а все время старался как бы вышелушить из-под этих фактов новую суть тех человеческих взаимоотношений, которую создает бригадный подряд. И Петр уже не удивился, когда он сформулировал свою мысль так:

— Я бы сказал,— произнес он с душевным подъемом, чувствуя успех своего выступления,— что в нашей бригаде благодаря возрастающей коллективной ответственности теперь получится как бы другой нравственный микроклимат. А это важная штука, товарищи, потому что в этом климате мы живем и работаем.

«Да, вырос, вырос!» — снова одобрительно подумал о Каринцеве Петр. Он взглянул на Илью Васильевича, какова его реакция на речь бригадира. Но секретарь райкома в этот момент, наклонив и голову и плечи к столу, что-то быстро записывал в блокноте.

Петр вовсе не питал к Каринцеву каких-то особых чувств. Случались между ними стычки и размолвки. Чего не бывает в работе? И все же Петр сейчас искренне поразился за Каринцева. Прежде всего, как за своего единомышленника.

Выступление Боровского Петр поначалу слушал не так внимательно. Павел Ильич был давним другом, всегда старался поддержать Шубенкова. Петр это чувствовал. Как и то, что Боровский, помогая Ярцеву в экономических расчетах, нередко и спорил с ним, ибо был смелее, прогрессивнее и по-человечески отзывчивее. Бригадный подряд он также поддерживал всячески. И в том, что на комбинате за него взялись ныне все без исключения строительные потоки, была и его, Боровского, заслуга. Собственно, с этого он и начал свое выступление. Не с выпя-

чивания своих заслуг, конечно, а с того факта, что хозрасчет приняли все бригады.

— Мы на комбинате, товарищи, готовим к сдаче ежедневно сто пять — сто десять квартир. Одновременно в монтаже у нас восемнадцать корпусов. Ведь если прикинуть, то лет этак за десять комбинат построил город областного значения, — сказал Боровский.

— Вот как! — не удержал восторженного возгласа кто-то из рабочих в зале.

— Мы все радуемся такому размаху, — продолжал Боровский, — но тут надо помнить, что масштабы нашей работы требуют такого же масштаба ответственности. За темпы, за качество, за бригадный подряд. И не во всем тут у нас полный порядок, к сожалению...

Боровский говорил деловито, оттого и кратко. Если бы Петра кто-либо попросил в нескольких словах изложить сущность выступления главного экономиста, отбрасывая расчеты, детали и конкретные примеры, то он бы свел эту речь к двум-трем мыслям-выводам. И важнейший, пожалуй, заключался в том, что этот договор между бригадами и администрацией стал мощной и емкой формой пробуждения энергии, сил и изобретательности рабочих людей. Это была та форма новых взаимоотношений внутри рабочего коллектива, которая в высокой степени пробуждала чувство взаимной ответственности всех участников стройки.

Однако вместе с положительными сторонами этого «пообъектного хозрасчета», как выразился оратор, жизнь проявила и слабые. Главный недостаток, по мнению Боровского, состоял в том, что пока еще этой формой хозяйственного расчета не были охвачены все строители. Бригады маляров, рабочие по настилке полов, линейный инженерно-технический персонал. Сюда же Боровский относил и то, что, думая только о своевременном вводе домов, строители не уделяют внимания одновременной подготовке задела на будущее, для перехода на другой участок. А это приводит затем к потере рабочего времени.

И еще одну мысль главного экономиста Петр записал в свой блокнот и отчеркнул красным фломастером, такой она показалась ему интересной.

— Давно, давно пора нам, товарищи, крупно заинтересовать в бригадном подряде инженерно-управленческий аппарат наших монтажных управлений и комбината. Честно говоря, я ожидал, что с таким предложением вы-

ступит кто-либо из рабочих. Ну, скажем, интересно говоривший передо мной товарищ Каринцев. Он-то наверняка необходимость в этом чувствует. Но поскольку он не сказал, упустил, возможно, разрешите вопрос поставить мне.

Каринцев поднялся со своего места.

— Я присоединяюсь! От всей души голосую «за»! А то ведь что получается, товарищи, на самом деле. Мы в бригадах за наш труд, за выполнение бригадного подряда получаем премии, ордена, почет. А те, кто обеспечивает нам успешную работу, наши же управленцы, техники, инженеры,— ничего. Несправедливо это или же хуже того — неразумно.

— Ну, что ж, спасибо за поддержку, Владимир Лаврентьевич,— живо откликнулся Боровский.— Ваша реплика позволяет мне уступить вам авторство на эту мысль. Будем считать, что она ваша. И дальше уж вы сами продвигайте ее. Надеюсь, что так и будет.

Реплика Каринцева и активность его позиции несомненно обрадовали главного экономиста.

— Вспомните, друзья, что по договорам администрация управления должна создавать строителям все условия для выполнения принятых бригадой обязательств. А вместе с тем предусматриваются и штрафные санкции — за плохое качество, использование сверхлимитных материалов, задержку сдачи дома под заселение, нарушение правил техники безопасности, нерациональное использование машин, механизмов. Ну и так далее. Так не разумнее ли будет,— возвысил голос Боровский,— эту ответственность строителям разделить с инженерно-управленческим аппаратом? Но разделить и материальное вознаграждение, и честь, и славу за успехи. Мне кажется,— закончил Боровский,— это помогло бы нашему общему делу.

— Правильно! — громко произнес Петр, слегка приподнявшись за столом, чтобы лучше увидеть Боровского.— Очень своевременные мысли!

ГЛАВА 27

После перерыва совершенно неожиданно для Петра, да, наверно, и не для него одного, первым в прениях слово попросил Николай Борискин.

Петр, сидя в президиуме, усмехнулся про себя, ибо несколько минут назад, гуляя по заводскому двору, он

как раз подумал о своем воспитаннике. Вспомнил о нем в связи с недавним эпизодом в Ивановском со сдачей комиссии нового дома.

Борискин вел тогда себя не лучшим образом. Быстренько вслед за Хайтиным «отвалил в сторону», дескать, «пусть паны дерутся», а его дело маленькое, что прикажут, то и сделает.

Петр тогда же хотел ему выговорить за такое невместительство. Надо уметь отстаивать интересы бригады, если ты их правильно понимаешь. Замечание Петр забыл сделать, но подумал сейчас о том, правильно ли понимает Борискин интересы бригады? И это был первый вопрос.

Своевременная сдача дома всегда выгодна бригаде, если даже он и недоделан, и восстать против этой личной выгоды может только совесть, гражданское чувство и бойцовские качества характера. А наблюдаются ли они у милого Коляши? Это был второй вопрос, который Петр мысленно задавал себе.

Честно говоря, он склонен был на оба ответить отрицательно. Однако, как видно, ошибся. Борискин на трибуне заговорил именно об этой ивановской истории. Но не сразу.

— Мы в нашей шубенковской бригаде... — начал он и заставил Петра недовольно поморщиться, ибо он не любил, когда так называли его бывшую бригаду. Никто ведь ей не присваивал его фамилии. Тут Коляша явно перебирал. — Мы у себя, — повторил Борискин, — тоже ввели бригадный подряд. А это серьезная штука, товарищи! Хозрасчет — я так понимаю — это порядок прежде всего. Большой порядок во всем. А что получается иногда? Бригада пришла работать с большим желанием, а ей говорят — стоп. Вот свежий факт...

Борискин передохнул после длинной фразы и начал рассказывать про этот самый факт. А дело было в том, что в Ивановском бригада начала монтаж нового корпуса. Поднялись уже на третий этаж. И только тогда смежники приехали сооружать трассу для телефонного кабеля, как раз рядом с домом. Стали рыть траншеи, засыпать их песком, на песок укладывать кабель с проводами, потом зарывать траншеи. И пока они это делали, к корпусу не могли подъехать ни кран, ни машины, некуда было складировать детали. Монтаж, естественно, остановился.

— Нас связали этим кабелем по рукам, по ногам. Обмотали — не шелохнешься! — так выразился Борискин и

даже руками взмахнул на трибуне, когда спрашивал у зала: кто же виноват?

Упрек бригадира, совершенно справедливый, имел только один адрес — производственно-плановый отдел комбината. Там согласовывают действия смежников и субподрядчиков. Ярцев это понимал, понимал и Шубенков, почувствовав на себе педовольно-укоризненный взгляд Юрия Матвеевича. В нем можно было прочесть не только упрек, но и подозрение, что и это выступление своего бригадира, так сказать, организовал сам Шубенков.

Петр в ответ просто пожал плечами. Он не собирался извиняться за Борискина. Тот говорит то, что хочет и считает нужным. Вообще-то, Петр и сам испытывал недоумение. Он не ожидал, что после истории со сдачей дома бригадир вспомнит сейчас этот эпизод. Борискин же далее сказал следующее:

— Дело такое, и Петр Михайлович может подтвердить, — он кивнул в сторону Петра, — что если корпус мы сдаем, скажем, без озеленения, то с управления снимают премию. Правильно или нет? — спросил Борискин, глядя в зал, но можно было понять, что этот вопрос он адресует и самому себе. — Кому правильно, кому нет, — сам ответил Борискин. — Если озеленители не сработали, а это другая контора, то при чем тут рабочие? Теперь пойдем дальше, — продолжал бригадир. — Пример такой: дом смонтирован и стоит гниет. Почему? Не подведены коммуникации. И месяц, и другой стоит. Бывает так? Да, бывает! Значит, кто-то нас держит за руку. И крепко. Горим мы на этом деле, как говорится, без вины виноватые.

Борискин шумно вздохнул на трибуне. В зале сочувственно молчали. Такая тишина всегда знак внимания.

— Теперь еще. Такие есть факты, когда бригаду заставляют сдавать дом с недоделками. Или же после конца квартала или года мы продолжаем на корпусе возиться, а его оформляют задним числом. Прошедшим. Чтоб с планом получилось все кругло. Есть такая практика? — громко спросил аудиторию Борискин.

— Есть! — ответило ему сразу несколько голосов.

Председательствующий Ярцев, которому этот диалог бригадира со своими единомышленниками вряд ли мог понравиться, громко постучал карандашом о графин с водой.

— Товарищи, государству, жителям нужен хороший дом, а не, простите, пиджак без рукавов. Вот Юрий Матвеевич к нам приезжал в Ивановское.— Борискин не побоялся не только взгляд бросить, но и всем телом повернулся к Ярцеву, привлекая его в свидетели.— Спор там вышел: корпус сдавать или не сдавать с недоделками. И что же? Сдали, опять же, пиджак без рукавов. С планом все в порядке, Юрий Матвеевич, а вот душа-то после этого не на месте.

Передохнув, Борискин заканчивал так:

— Я понимаю, товарищи, вопрос непростой. Но решать надо. А вообще-то, мы за бригадный подряд. Каждый рабочий может проверить любую цифру в договоре; и как он сработал, и что получил. А отсюда — чувствует себя хозяином...

После Борискина выступило еще несколько человек. От заводов, от других строительных организаций. Один бригадир пожаловался на то, что порою, когда у него дело с бригадным подрядом проваливается, администрация даже прекращает финансирование, и людей переводят на другие объекты.

Потом парторг одного из трестов посетовал на текущесть кадров. Рабочие, попавшие на стройку по оргнабору, поработают два-три года и уходят.

— А почему? — спросил он.— Все ведь вроде бы у нас, как и у других. Но вот тут правильно говорили — нет хорошего нравственного микроклимата. Вот если бы появился такой микроклимат,— продолжал парторг,— то и бригадный подряд пошел бы, и это людей притянуло бы, как магнитом...

Вскоре был объявлен второй перерыв. После него весь семинар по протоколу должен был отправиться в Ивановское, на строительные площадки к Каринцеву и Борискину. Так уж было заведено на комбинате, что половину всего времени, запланированного на такие семинары, принято было посвящать показу самих строительных процессов, организации труда.

ГЛАВА 28

Архивы собирают люди, рассчитывающие на долголетие. Иначе какой смысл этим заниматься? Сама же ставка на дальнюю жизненную перспективу в какой-то мере

формирует и характер человека, определяет многие поступки.

Понимая это, Ярцев свое собирательство продлевал год от года, от десятилетия к десятилетию не только, конечно, потому, что думал о том времени, когда ему интересно будет читать дневниковые записи, просматривать вырезки из газет и журналов, фотографии, одним словом, все эти наглядные свидетельства отшумевших лет. Нет, Ярцеву все это нравилось еще и просто как процесс. Нравилось фиксировать пережитое, пережитое, перечувствованное, утверждая в ворохе событий и фактов свое мироощущение, свои оценки и взгляды.

Не увлекающийся ни охотой, ни рыбалкой, ни туризмом, ни автоспортом, спокойно относящийся к футболу и хоккею, Ярцев считал это свое хобби увлечением скромным и вполне доступным.

Разбирать архив Ярцев принимался обычно поздно вечером. Когда отголосит телевизор и, насытившись до предела мощной дозой развлечений, его домочадцы начинают укладываться спать, Ярцев садился за свои тетради, зная, что никто ему не помешает.

Ночные часы приносят усталость. И вместе с тем у людей определенного склада повышают тонус душевной энергии, влекущей ночью к осмыслению пережитого, к желанию раздумчиво заглянуть в прошлое и примериться к будущему.

Правда, такое переключение памяти на дальние отсеки ее запасников тоже признак не столь уж радующий. Значит, подходит старость. Люди, уверенные в своем здоровье и в будущем, смотрят главным образом вперед.

«Но что поделаешь! — думал Ярцев. — Годы никто не может остановить. И главное утешение старости, быть может, именно в этой ее для всех неукоснительной неизбежности. Кто-то сказал: «Старость не так уж плоха, к сожалению, она тоже заканчивается».

Это письмо попало Ярцеву в старой папке, относящейся ко времени окончания войны. Лежало оно среди пожелтевших вырезок из фронтовых газет, выцветших любительских фотографий той поры вместе с письмами жены, которые Ярцев тоже собирал и порою не без интереса перечитывал. Ярцев раскрыл одно из них.

Светлана писала, адресуя письмо в Восточную Пруссию. Тогда танковый полк, где служил Ярцев, вел бои южнее Кенигсберга, в районе хейльсбергского укрепления

ного района гитлеровцев. Помнится, стояла оттепель, снегопады сменялись дождями, в землянках было неуютно, промозгло, дороги испортились, и не только людям — танкам продвигаться по ним было тяжело.

Жена сообщала о своем московском житье-бытье. Она работала инженером-экономистом в главке по распределению черных металлов. Получала служебную карточку, но к ней талоны на обед, которые именовались сокращенно УДП — усиленное дополнительное питание.

Жена писала, что питается она не так, должно быть, как танкисты на фронте, однако ж и не голодает, одним словом, жить можно.

«Милый ты мой герой войны, сержант-заряжающий, пиши мне каждый день, а если не можешь каждый, то через день, ибо когда от тебя долго нет писем, у меня начинает останавливаться сердце».

Ярцев всегда с улыбкой перечитывал такие строчки в письмах жены.

«Останавливается сердце»! Молодое сердце Светланы билось тогда хорошо и надежно. Но в войну все чувства были острее, драматичнее. И если жена говорила, что сердце у нее останавливается, он, Ярцев, на фронте воспринимал эту метафору как реальность.

В этом же письме жена сообщала о тех общих знакомых, которые погибли на фронтах. Она получила известие и о смерти первого своего мужа, с которым, прожив немного, разошлась перед самой войной.

«Я получила ужасное известие о том, что Павел погиб где-то в Прибалтике, возможно, это близко от тех мест, где ты воюешь. Милый мой, родной Юрочка, заклинаю тебя, оставайся хоть ты живой!»

Тогда это заклинание, прочитанное Ярцевым в землянке, удивило его, может быть потому и запомнилось надолго. Удивило этим вырвавшимся восклицанием «хоть ты!», этим криком потрясенной войной женской души.

Светлана хотя и разошлась с бывшим мужем, однако ж оставалась ему близким человеком. Ярцев это понимал. И все же это «хоть ты!» он бы охотно сменил на «дорогой, единственный, неповторимый», и признаться, тогда, во фронтовом лесу, это место в письме оставило в душе Ярцева неприятный осадок.

Сейчас все это уже читалось с улыбкой, с мудрым снисхождением человека, взирающего на свое прошлое, в

том числе и на былые переживания уже из другой жизни и эпохи.

Да, и вот это письмо! Письмо Михаила Шубенкова к жене Нине, написанное в начале апреля, того самого апреля, когда майор Шубенков погиб в бою.

Почему оно оказалось у Ярцева, как это могло случиться?

Объяснение было простое: ведь они же воевали тогда вместе, в одном танковом батальоне, майор Шубенков — командиром, он, сержант Ярцев, заряжающим в составе экипажа «тридцатьчетверки».

Кажется, комбат написал это письмо в ночь перед последним своим боем. Он отдал письмо Ярцеву, которого знал еще по Москве и относился к нему с симпатией. Отдал на всякий случай, чтобы тот, если что-либо случится с Шубенковым, отправил бы письмо на полевую почту. Мог бы и сам, да некогда было. У комбата перед боем больше забот, чем у сержанта.

Что же было потом? Потом был бой, в котором погиб комбат. Ярцев, вспоминая, вздохнул и задумался. Если бы его спросили сейчас, когда миновало столько лет, хорошо ли он помнит войну, те два года начиная с сорок третьего, когда его зачислили сначала в запасной полк, там определили в полковую школу и выпустили на фронт сержантом, заряжающим танка, он ответил бы, что помнит многое, но не все. День за днем он вряд ли мог бы восстановить в четкой последовательности. Память выборочно сохранила лишь отдельные эпизоды, встречи, картины боев.

На войне, как и в мирной жизни, бывают дни мало чем примечательные, рядовые будни фронта. Но случаются и такие, что врезаются в память сердца на всю жизнь, всегда зримо встают перед мысленным взором, так, словно бы все это случилось только вчера.

Кенигсбергские бои, и особенно то сражение, в котором погиб майор Шубенков, Ярцев даже если бы и хотел этого, не смог бы забыть никогда. И не только потому, что и для него, Ярцева, это был последний бой. Когда он вышел из госпиталя, война уже закончилась. Этот бой так врезался в память сержанта Ярцева главным образом потому, что там, вблизи немецкого городишка Фридрихсорта, на одной лесной поляне случилось то, что трудно назвать событием, серьезным происшествием или даже боевым эпизодом. Однако то, что случилось, оказалось очень

важным для Ярцева, быть может, спасло ему жизнь. Ярцев всегда помнил об этом.

Так что же это было? Да так, пожалуй, просто минутная сценка, короткий разговор, в котором, собственно, жест значил больше, чем слово. Да, сценка без свидетелей, ибо в ней участвовали два человека, один из них — сам Ярцев, второй — Михаил Шубенков, но он погиб.

А произошло вот что: когда слегка обожженный в своем танке Ярцев выскочил из машины и потушил на себе комбинезон, он увидел, как па этой поляне остановился еще один танк, командирский. Машина была подбита. Из нее вылез комбат Шубенков, сбил огонь со своей одежды, остановил третий танк, выехавший на поляну, и, как только там приоткрылся башенный люк, залез на броню.

Ярцев видел, как Шубенков заглянул в люк, и, должно быть, он заметил, что в экипаже не хватает одного номера, видимо заряжающего. Потом Ярцев узнал, что заряжающий был эвакуирован в санроту еще в начале боя. Шубенков заметил Ярцева, лежащего на траве, и сделал ему ясный знак рукою, приглашая подойти к танку.

Комбат Шубенков что-то крикнул Ярцеву. Но что именно, Ярцев не расслышал. Он лежал на траве физически разбитый и не столько страдая от ожогов (в горячке боя боль чувствуешь не сразу), сколько до предела взвинченный тем нервным потрясением, которое он только сейчас пережил и только начинал постепенно освобождаться от него.

Он чувствовал, что обожжен не слишком опасно, однако и вполне достаточно для того, чтобы отправиться в санроту, а оттуда, скорее всего, в госпиталь. «Теперь уж, наверно, до конца, с фронтом — все», — подумал Ярцев. Именно в то мгновение, когда в его сердце сначала робко, а потом все сильнее и сильнее начал разгораться огонек надежды, что он, Ярцев, живым и здоровым выберется из войны, майор Шубенков и помахал ему рукою, приглашая залезть в танк и продолжить бой.

Решали секунды. Даже доли секунды. Идти к танку или остаться лежать на земле? Когда нет времени на раздумье, что же определяет поступок человека на войне? Инстинкт? Первая эмоциональная вспышка? Порыв подняться в бой, взявший верх над защитной реакцией страха? Или упорное чувство самосохранения? Но как бы все это ни называть, здесь нет случайностей. Пусть тебе

отпущен самый малый срок для размышлений, решение, которое ты принял, окажется запрограммированным годами жизни, воспитанием, силой характера, чистотой твоих убеждений. Только так!

Ярцев это понял потом, после войны, спустя многие годы. В то же решающее его жизнь мгновение просто сильно защемило в сердце и какая-то внезапно разлившаяся по телу слабость прочно приковала его к земле. Он дернулся телом, но остался лежать на траве. Дернулся еще раз — и снова замер.

Комбат ждал тоже какие-то доли минуты. Ярцев лежал и только раз отрицательно покачал головой. Жест этот комбат мог истолковать в том смысле, что он, Ярцев, ранен или сильно обгорел и рассчитывает сейчас на помощь врачей.

Ярцев хорошо запомнил, что майор Шубенков больше не настаивал, он не приказал Ярцеву подняться. Да разве и мог он издали определить степень обожженности или контузии сержанта, оценить возможности продолжать бой?

Комбат и помедлил-то у люка какую-то секунду, поправил свой шлем и, быстро оглянувшись на Ярцева в последний раз, как-то неопределенно взмахнул рукой, что при желании можно было истолковать и как разрешение танкисту оставаться на земле, Ярцеву почудилась в этом жесте еще и уверенность, что он — майор Шубенков — все сможет сделать сам...

Когда Ярцев через несколько дней, эвакуированный в санроту, оттуда в медсанбат, а потом и в полевой госпиталь, лежал перевязанный на топчане в землянке, когда он узнал о гибели Шубенкова, ему все казалось, что он там, на поляне, испытал порыв подняться и идти к танку, но вовремя его разумно преодолел и правильно сделал, ибо был обожжен и контужен. «А если бы я и влез в танк, то вряд ли смог хорошо стрелять», — решил тогда Ярцев.

Нет, он не испытывал никаких угрызений совести. «Хорошо, пусть бы я пошел в бой еще раз, — думал Ярцев, — разве оттого, что находился я в танке, вражеский снаряд не ударил бы в машину комбата и второй не настиг бы уже лежавшего на земле? Ничего я изменить не мог, кроме того что мог погибнуть сам. Храбрость — это не безрассудство; разумность, говорят, и есть лучшая часть мужества».

Мысли о гибели комбата Шубенкова тревожили Ярцев в первые два-три дня, а потом они постепенно отодвинулись в сторону, вытесненные, как и обычно на войне, другими впечатлениями да и страданиями от ожогов. перевязки руки, спины и правого плеча были мучительны.

Ярцев забыл тогда и про письмо комбата. До писем ли своих или чужих было ему тогда! Прошел месяц. И сам этот бой, и все, что было связано с ним, быстро откатилось в даль памяти. Время на войне как бы удваивается и уплотняется, потому что война — это высокая концентрация самой жизни. Ведь даже по официальному порядку прохождения военной службы день, проведенный на фронте, считался за два.

Через три месяца, вспомнив об этом письме, Ярцев выяснил, что фронтовой этот треугольник не пропал, как он подумал вначале, а просто затерялся в его полевой планшетке. Письмо это Ярцев обнаружил уже в Москве. Вот тут бы и отправить его. Но снова незадача: вдова Михаила Шубенкова сменила адрес, а заняться розысками нового Ярцев, честно говоря, тогда просто поленился, захваченный суматохой возвращения, новых дел и забот и пьянящим ликованием от сознания того, что он здоров, молод, отвоевался с честью и сейчас вернулся к мирному труду для долгого и, казалось тогда, бесконечного праздника жизни.

Потом письмо снова затерялось и нашлось спустя много лет. Но отдавать его вдове Шубенкова тогда Ярцев уже считал неудобным.

Ярцев внимательно прочитал сейчас письмо Михаила Шубенкова, скрепленное на фронте хлебным мякишем, давно рассохшимся, написанное химическим карандашом в ту самую ночь, в ту памятную ночь, когда, уже зная о предстоящем бое, танкисты пытались крепко заснуть, чтобы свежо себя почувствовать к утру. Но должно быть, не всем это удавалось.

«Дорогая моя женушка Нина,— писал Шубенков,— сообщаю, что жив и здоров, причем нахожусь на старом месте, то есть в Пруссии, где добиваем окруженную группировку противника. В общем, фрицы стали не те, что были осенью в сорок первом и в сорок втором году. Они нередко сдаются в плен группами, как у нас говорят, «охотно бегут в плен», бывает, что и открыто труса празднуют. Но все же они еще дерутся, понуждаемые же-

сточайшей дисциплиной. В общем, убить они еще могут, если, конечно, это им позволить.

Кстати говоря, милая женушка, я давно хотел тебе объяснить, как я, военный инженер, попал в танкисты. В сорок первом, под Москвою, я служил в саперной роте, которая была придана танковому корпусу. В то время танков у нас было меньше, чем сейчас, а потери в машинах большие, так что танкистов хватало, а многие даже воевали не по своей специальности. Но затем положение изменилось, наш тыл заработал на полную мощность, танковые полки и бригады начали укомплектовываться боевой техникой по нормам военного времени, одним словом, стали полнокровными боевыми единицами. Ну, естественно, и понадобились новые кадры опытных танкистов.

Скажу тебе честно, я сам напросился на краткосрочные курсы переподготовки боевых офицеров. Захотелось овладеть еще одной военной специальностью. До тех пор я только минировал и разминировал минные поля, делал в них проходы для наших танков. Появилось желание самому непосредственно бить врага, самому сесть в боевую машину.

Конечно, начальству такое желание объяснить было трудно. В армии важны все специальности, каждый винтик должен надежно работать в военной машине. И всякое начальство бережет свои выученные и прошедшие обкатку войной кадры, так что несколько моих рапортов возвращались с резолюцией: «Отказать». Но упорство человека, который на фронте стремится стать ближе к огню, вызывает в конце концов уважение. А может быть, начальству надоел упрямый инженер, который непременно хочет стать танкистом. Одним словом, четвертый мой рапорт получил наконец положительную резолюцию, и осенью сорок третьего я поехал на курсы в ближний фронтовой тыл, который за полгода стал глубоким — наши войска уходили все дальше на запад.

Закончил курсы и получил назначение в танковую бригаду, правда, с некоторым понижением в должности, то есть начал со взвода, но это меня несколько не смутило. Так, женушка, началась моя вторая военная биография на войне — танковая.

Пока добрались до Восточной Пруссии, побывал я в медсанбате с легким ранением в голову, пуля была на излете, задела лишь мягкие ткани теменной области чере-

па. А второй раз попал в полевой госпиталь с ранением в правую руку. Хотели меня отправить подальше на Восток, но я заупрямился, не хотел отрываться от своей части, мою просьбу уважили, оклемался я в прифронтовой полосе.

А когда я вернулся в свой полк, подразделения здесь были уже все укомплектованы. В штабе мне сказали, что я прислан на должность командира батальона, но пришлось какое-то время околачиваться в резерве.

Нина, моя милая! Ты же знаешь мой характер. Не могу ждать, сидеть в тени и холодке, когда идет бой. И когда мне сказали в штабе: отдохайте, мол, после госпиталя, набирайтесь сил, надо будет — пошлем вас в батальон, но не сейчас, а в ходе наступления, я ответил: «Нет, так не пойдет, товарищи! Батальона нет, посылайте ротным, роты нет — взводным, посылайте хоть командиром танка!»

Сразу в штабе мне ничего не ответили, а утром следующего дня я узнал, что приболел один из командиров роты. И тут же, чтобы долго не искали, сам побежал в штаб полка.

«Ну что ж, — говорят мне там, — повезло тебе, Шубенков, место освободилось. Правда, не батальоном, а ротой придется пока покомандовать».

«Спасибо, — отвечаю. — Я бы все равно пошел в бой. Заряжающим орудия, а пошел бы!»

Вот так, Ниночка, получилось. Я припаял роту, а через две недельки, как ранили нашего комбата, и батальон. В этой должности и нахожусь сейчас.

Воюем горячо, жестко, должно быть потому, что войва уже у самого горла и надо ее заканчивать. А для нас этот самый желанный конец еще запрятан в фортах и бастионах крепости Кенигсберг. Ибо левее нас, на Одере, наши уже стоят в шестидесяти километрах от Берлина.

И я думаю, что ты, мой дружок, не осудишь за то, что не захотел в эти дни отсидеться в офицерском резерве, презрел и здравый смысл, и инстинкт самосохранения, как бы ты сказала, и вот снова сел в танк. А какой он, между прочим, здравый смысл на войне? Как бы ты это сформулировала? Я-то думаю, что смысл всего, что мы делаем на войне — это победа.

Целую тебя, люблю и всегда помню.

Твой Михаил.

Таково было это письмо, пахнувшее на Ярцева ощущениями, тревогами и мыслями тех далеких лет. Ныне в сознании подавляющего большинства взрослого населения страны война — уже история, и участников ее с каждым годом остается все меньше.

«И наверно, — подумал Ярцев, — письмо это похоже на многие другие письма Шубенкова, написанные им раньше и в той или иной степени выражавшие характер гвардии майора. Ибо что бы ни писал человек с фронта, как бы ни были малы эти весточки во фронтовых треугольниках, там всегда проступит то главное, что определяет поступки человека на войне. Те самые поступки, которые надо совершать ежедневно, даже ежеминутно. Ведь и вся-то война состоит из решений и действий, действий и новых решений».

Вспомнились строчки из стихотворения Михаила Львова:

Полковник, помните, по трактам
Тогда и нас водил сквозь смерть
Такой же танковый характер —
Или прорваться, иль сгореть.

«Вот Михаил Шубенков и прорвался сквозь бетонные заслоны крепости Кенигсберг, и сгорел при этом в бою почти в буквальном смысле слова», — подумалось Ярцеву. И впервые за много лет он ощутил сожаление и душевную неловкость оттого, что затерявшееся письмо, последнее письмо комбата, он так и не передал его вдове.

Он, Ярцев, никогда и не считал себя подлинным героем войны. Активным участником — да. Героем, пожалуй, нет. «У каждого была своя, отпущенная ему судьбою мера участия, свой посильный вклад в дело Победы, — думал Ярцев и не раз спрашивал себя: — А где на войне проходит эта грань между выполнением долга и тем, что именуется подвигом? Выполняй то, что тебе положено по уставу и приказу, и совесть твоя чиста. Война сама героична по природе. Ведь каждый человек идет на нее с готовностью умереть. Разве этого мало!»

Вот так он и жил на войне, выполняя все, что положено, и приказы ему тогда комбат Шубенков на поляне вблизи Фридрихсорта снова сесть в танк, он бы поднялся и пошел к машине.

Так думал Ярцев. Но какие бы он и раньше и сейчас ни выдвигал доводы в оправдание разумности и необходи-

мости своего тогдашнего поступка, чего-то не хватало ему для душевного комфорта, для внутренней убежденности в своей правоте. Пусть все давно быльем поросло, пусть все это принадлежит сейчас лишь памяти, а все же, должно быть, для наших поступков на войне нет срока давности. И всякий раз, вспоминая злосчастный эпизод, Ярцев помимо своей воли чувствовал, как словно бы острая и тонкая заноза входит в его сердце.

Чтение шубенковского письма вновь сейчас разбередило эту ранку.

«В чем же дело,— думал Ярцев,— неужели с годами мне теперь все видится по-иному? И меньше мера внутреннего самооправдания, и жестче мера нравственной взыскательности. Да, как видно, с годами, с опытом жизни возрастает наша требовательность к себе, как и острая потребность самоуважения.

Стоит ли мне отсылать это письмо Нине Шубенковой? — спросил себя Ярцев.— То, что я делаю это с опозданием в тридцать лет, может быть, я и смог бы как-то объяснить. Но смогу ли я спокойно, не тревожа своего сердца, рассказать ей о гибели мужа? Смогу ли умолчать, утаить подлинность того, что произошло на этой лесной опушке?

Да и нужен ли такой визит,— продолжал рассуждать он,— теперь, когда обострились мои служебные отношения с Петром Шубенковым? Ведь Нина Семеновна может истолковать его превратно, как попытку использовать старое знакомство и через нее, мать, повлиять на строптивого сына». Он, Ярцев, знал по опыту своей уже долгой жизни, что не стоит без большой нужды ворошить прошлое, что прерванные на годы отношения друзей трудно восстановить и склеить, люди меняются и если встречаются вновь, то уже иными. Тридцать лет — большой срок!

«Нет, мне ничего не даст это свидание,— решил Ярцев.— Не стоит беречь затаенную рану. И отношений с Шубенковым это не улучшит».

Конечно, Ярцеву хотелось бы, чтоб все его подчиненные, в том числе и Петр Шубенков, с высокой степенью понимания и уважения относились бы к нему и тем решениям, которые принимает начальник комбината. Однако Ярцев всегда выбирал только такие средства, ведущие к этой цели, которые бы не уронили его достоинства, авто-

ритета и не нарушили бы то душевное спокойствие, которым с годами он все больше дорожил.

Поэтому, помедлив с пером в руке, он решительно зачеркнул уже занесенную было в календарь запись о визите к Нине Семеновне Шубенковой. Вопрос был решен. Ярцев почти никогда не изменял привычке строго придерживаться принятых решений.

ГЛАВА 29

Ирина позвонила в управление рано утром и попросила Петра в течение дня подъехать в Сосновский парк. Ранний звонок настораживал, и Петр с дрогнувшим сердцем спросил, не случилось ли чего.

— Просто надо поговорить.

Голос у Ирины звучал напряженно.

— Что-нибудь срочное? — снова спросил Петр.

— Ах, в этой жизни ничего не стоит ни откладывать, ни делать слишком долго. Просто такое настроение — поговорить хочется, — сказала Ирина, и Петр снова почувствовал ее упорное желание казаться абсолютно спокойной.

Петр пообещал приехать.

Потом позвонила мама. Петр был у нее вчера вечером, поехал, чтобы показать письмо майора Петрикина. Он видел, как мать разволновалась, дважды перечитала письмо и попросила оставить его у нее.

— Конечно, мама. Присоедини письмо к тем, что у тебя хранятся.

— Вот видишь, и через тридцать лет война нет-нет да и напомнит о себе. — Трудно было определить, чего более звучало в ее голосе — радости или печали?

Нина Семеновна Шубенкова вот уже несколько лет жила в новом девятиэтажном доме, в однокомнатной квартире. Петру нравился ее большой стол, заваленный папками рукописей и стопками книг. Торшеры около дивана освещали на стене несколько хороших копий Левитана, Кустодиева и Альбрехта Дюрера.

Он смотрел на мать, когда она, сменив очки, читала письмо, смотрел с нежностью и грустью. Она выглядела неплохо. Возраст — понятие относительное не только для целеустремленных и динамичных мужчин. Для женщин тоже.

«И пусть время уже наложило свою печать,— подумал Петр,— пусть появились у мамы морщинки на руках, пусть чуть привяло лицо, но она выглядит веселой и доброй, у нее с утра глаза горят живым интересом ко всему, голос наполненный, энергичный». Петру, во всяком случае, мама казалась моложе своих лет.

Она была увлечена своей работой. Увлеченность всегда молодит. После войны Нина Шубенкова долго преподавала в школе литературу. Но вот уже десять лет, как она перешла на редакторскую работу в издательство, сама писала небольшие обзоры, рецензии. Петру она как-то сказала:

— А я, сынок, по-прежнему люблю литературу, особенно русскую, а это такая любовь, которая надолго. И потом, когда у женщины скудеет ее личная жизнь, вырастает желание погружаться в мир вымышленных страстей. Или получать радость и удовлетворение от путешествий. Ты вот много ездил, разве не замечал, что добрую половину любой туристской группы составляют бабушки?

— Замечал,— улыбнулся Петр.

Вчера, прочтя письмо, мама ответила на вопрос Петра, как она себя чувствует.

— Старость, конечно, не радость, но мне грех жаловаться. Ты не слышал, как однажды, выступая по телевидению, актер Жаров сказал: «Мы живем, как курьерские поезда, пока мчимся — существуем, останавливаемся — умираем»?

— Не надо так мрачно,— сказал Петр.

— Все нормально, сын, все нормально. Я, естественно, двигаюсь не с теми скоростями, с какими мчишься по жизни ты.

— С такими тебе и не надо,— заметил Петр.

— Верно, каждому надо любить и ценить свой возраст,— сказала мама. Она спросила, все ли у Петра в порядке дома. Он кивнул утвердительно, хотя и не очень уверенно. Хорошо, что мама не заметила этого. Врать Петр не умел и не любил. От матери ему было особенно трудно скрывать свои неприятности. Обычно она улавливала их интуитивно, словно бы обладала каким-то особенным радаром материнской чуткости.

Сейчас она звонила в управление с тем, чтобы еще раз поблагодарить за письмо майора Петрикина. Спросила, как Катя, Мишка, хотя вчера они говорили об этом.

— Ты извини меня, я все еще под впечатлением письма. Узнаю отца. Так он и воевал, таким был. Это все точно. Когда в человеке есть сила и мужество, они не испаряются, как эфир. Твой отец был из тех, к кому бесстрашие приходит не сразу, но живет прочно, долго, до конца. И вырастает из любви к жизни, Родине и близким. Наверно, это по справедливости и зовется героизмом.

— Я тоже так думаю,— сказал Петр.

— Еще раз извини и будь здоров,— попрощалась мама...

Едва он опустил трубку, как в кабинет быстро вошел Лазарев.

— Аркадий Николаевич! Кого вижу! С выздоровлением!

Петр вскочил из-за стола и бросился обнимать Лазарева. Радость Петра была столь же естественной, как и этот порыв.

— Спасибо. Спасибо! Как видишь, Петя, старик оклемался и на этот раз. Попробуем поработать еще. Врачи говорят, что нам столько лет, сколько нашим сосудам. А моим уж, наверно, под восемьдесят.

— Ну почему же? — не понял Петр.

— Износились, браток! Маяковский, помнишь, писал об амортизации сердца и души. О сосудах не упоминал. Был, по сути дела, еще очень молод. Ладно, с этим завязали. Я к тебе по дорожке, от дома — в райком. Хочу до заседания бюро райкома поговорить с Ильей Васильевичем. О делах наших, о твоей принципиальной стычке с Ярцевым.

— Неужто докатилось до больницы?

— Люди-то ко мне ходили. А на комбинате даже у начальника стены становятся иногда стеклянными. Видно — и, хуже того, еще и слышно.— Лазарев усмехнулся.— Вот что, Петя, в двух словах. Я на твоей стороне. Позиция твоя — правильная, хотя и удержаться на ней не просто. Надо, чтобы ноги вросли в фундамент. Тем более что назревают события, которые твою принципиальность могут поставить под новую нагрузку.

— О чем речь? — заинтересовался Петр.

— Ты ведь у нас любитель новые дома осваивать? Так вот, будешь иметь эту возможность. Комбинату, кажется, дают две новые серии. Дом в двадцать семь этажей. И шестнадцатизэтажку, но не башню, как сейчас, а так называемый протяженный дом. Модернизированный,

более комфортабельный. С прицелом на олимпийский стиль. С расчетом на всемирную Олимпиаду. Дом в двух вариантах — обыкновенный, жилой, и приспособленный под гостиницу.

— Ин-те-ресно! — протянул Петр.

— Это тебе интересно. А вот Ярцев едва услышал о такой перспективе, так сразу стал работать на отбой. Дескать, комбинат только-только освоил одну серию домов. Надо же дать и дух перевести. Хотя бы эту серию довести до ума. Он говорит, что на нас, мол, свет клином не сошелся, есть в городе и другие комбинаты.

— Да, это на него похоже, — сказал Петр.

— А еще знаешь как, — вспомнил Аркадий Николаевич, — мы, мол, не штрафная рота, чтобы все время первыми кидаться на провололочные заграждения!

— Даже так? — удивленно пожал плечами Петр.

— Насчет штрафной это он лично мне, без свидетелей, доверительно. В инстанциях разных он гудит, но без крайностей, полемических преувеличений. Человек опытный. Но все же явно хочет перебросить мячик в другие ворота.

— Пасовать Юрий Матвеевич умеет, — усмехнулся Петр.

Сравнение с футболом ему самому понравилось.

— Ярцев видит в этом своего рода тактику руководящей работы, — заметил Петр.

Однако сейчас его больше занимали те новости, которые принес секретарь парткома. Работа предстояла, несомненно, масштабная, в той же мере увлекательная и, пожалуй, в еще большей мере — сложная. Но при мысли о ней Петр не ощущал в себе уныния, его не пугал груз предстоящих забот. Наоборот. Он чувствовал бодрящий импульс энергии, легкий и приятный озноб возбуждения. Заметил ли это состояние Лазарев или нет, но на Петра он посмотрел весело и с внимательным прищуром.

— Что вы так смотрите? — удивился Петр.

— Вопрос возник: не заразил ли Ярцев своего подчиненного этой самой тактикой уловок и боязнью инициативы?

— И как решили?

— Нет, не мог. Не в коня, как говорится, корм.

— Да, у нас несовместимость, — подтвердил Петр.

— И это хорошо, — живо подхватил Лазарев. — Я этому рад. Юрий Матвеевич, полагаю, устал немного. Устал

я, как говорят у нас, не очень-то тянет. А раз так, то и ищет этому своему состоянию какие-то оправдательные подпорки. Люди ведь стремятся оправдать любой поступок, подвести под него теоретическую базу с тем, чтобы закамуфлировать свои слабости и, наоборот, выпятить достоинства.

— Ну не знаю, не знаю,— нахмурясь, заметил Петр.— Если Юрий Матвеевич и устал, то зачем скрывать свое истинное отношение к делу?.. Требования все нарастают, а Ярцеву это не нравится. А вообще-то, он еще мужик крепкий. Такие сами не уходят, позиций своих добровольно не сдают.

— Ты так полагаешь? — Лазарев задумался, почесывая указательным пальцем переносицу.

О чем он думал сейчас? О деловых качествах Ярцева или Петра Шубенкова? О новых сериях домов? О своем здоровье, которого должно хватить на все эти возрастающие темпы работы градостроителей? Ведь Аркадий Николаевич был ровесником Ярцева.

— В общем, я тебя поздравляю,— неожиданно произнес Лазарев.

— С чем же? — спросил Петр.

— С новыми делами, планами. Потянем, брат, Москву вверх. Двадцатисемьэтажки. Это ж красиво. А олимпийские дома! Тоже прекрасно. С этим определенно можно поздравить.— И, подумав, Лазарев добавил: — Если нас, мужиков, и стоит с чем-то поздравить по-настоящему, так это с большим и интересным делом, которое нам по плечу, по стати. Ведь мы работаем не только за тем, чтобы жить, а живем, чтобы с радостью и удовольствием работать.

— Верно. А какие еще приятные или неприятные новости? — спросил Петр.

— Жизнь, как всегда, бьет ключом. И все по голове,— пошутил Лазарев.

Он торопился. Его ждали в райкоме. Уже направляясь к двери, он сказал, что рад был повидать Петра, что его боевой дух ему нравится, что он желает сегодня товарищу Шубенкову счастливого рабочего дня.

— Это уж как сложится,— ответил Петр и при этом слегка вздохнул. Он вспомнил о звонке Ирины, ощутив при этом необъяснимую тревогу в сердце.

Во второй половине дня Петру удалось вырваться в Сосновский парк. Он не был здесь месяца три и был удив-

ден тем, что многое начало круто меняться к лучшему. Решение ГлавАПУ и Моссовета отстоять для парка эти двести метров лесного участка, как это нередко бывает в таких случаях, послужило началом обновления Сосновского парка, своего рода толчком к тому, чтобы развернулись дальнейшие работы по охране, совершенствованию и реконструкции паркового ансамбля.

Перемены встретили Петра сразу на автомобильной стоянке, которой раньше вообще не существовало. А сейчас расчерченный прямоугольниками асфальт, как раз напротив озера, уже принял на себя с десятков автобусов и множество легковых машин. Тут же левее рабочие ставили красивую металлическую ограду, она охватывала теперь всю немалую территорию парка, что, даже если прикинуть на глаз, должно было стоить администрации немалых денег. «Богатеют», — подумал Петр.

Слева от стоянки уже высились новые ворота, каменный домик для сторожей и кассиров. Теперь же за вход в парк и его музеи надо было платить. Едва Петр вступил на огороженную территорию заповедника, как заметил, что почти все павильоны были окружены строительными лесами. Там шли реставрационные работы, восстанавливались поврежденные скульптуры, расчищались аллеи, пруды, каналы.

И хотя сейчас, в начале ноября, всюду уже веяло холодное дыхание поздней осени, парк еще казался по-прежнему красивым, поэтичным. При резких порывах ветра облетали листья. Кружились в воздухе веером и медленно опускались на землю. Обнажились ветви деревьев. Лишь кое-где еще держались на ветках два-три наиболее крепких листика, казавшиеся сиротинками. Эти листочки только подчеркивали наготу деревьев.

Петр шагал по дорожкам, под ногами хрустели желтоватые коврики из опавших листьев, и ему казалось, что эти коврики посыпаны сахаром. Посетителей было немного. То там, то здесь на скамейках гнездились парочки. Или в обнимку молодые люди гуляли по аллеям вдоль беломраморных рядов скульптур. Всюду царила тишина, и дышалось легко и свободно.

«Как жаль, — подумалось Петру, — что еще не так много москвичей бывает в Сосновском парке, далековато все же от центра. Не все еще молодые да и немолодые люди знают, какое это вдохновенное место среди неброской, а сейчас еще и по-осеннему особо печальной

природы, среди всегда прекрасных ландшафтов нашей среднерусской полосы».

Ирину Петр нашел в кабинете. Едва он заглянул в дверь, как она, словно только и ожидавшая этого, тут же поднялась из-за стола. Петр молча проследовал за Ириною.

Как обычно, они прошлись сначала по центральной аллее. Ирина все не начинала разговора. Петр же ждал объяснения этому внезапному вызову, а тем временем тоже молча разглядывал скульптуры богов и героев Древней Греции. На постаментах Петр заметил новые таблички с кратким описанием подвигов античных героев. Вспомнил, что однажды на вопрос Петра о значении древнегреческих мифов Ирина в ответ прочла ему коротенькую лекцию о том, как их образы вошли в культурный обиход народов. Как родились всемирно известные крылатые слова, такие, как, скажем, яблоко раздора, ахиллесова пята, муки Тантала, сизифов труд, нить Ариадны, прокрустово ложе, золотое руно...

Более того, Ирина тогда порекомендовала Петру книги по искусству, и вдвоем они пошли в Музей изобразительных искусств на Волхонке. Здесь, на последнем этаже, под высоким стеклянным куполом, Петр, к стыду своему, впервые увидел зал античной скульптуры.

Сейчас, желая сказать приятное Ирине, он заметил, что в парке теперь чище, привлекательнее, многое обновляется, и вообще стало понятнее, зачем нужен этот парк и в чем его ценность.

— Да, мы работаем, — кратко откликнулась Ирина. Потом, после паузы, добавила: — Знаешь, сюда приезжали товарищи из Моссовета. Осмотрели все. Им понравилось. И на реставрацию, на ремонт отпустили нам шесть миллионов. Вот так!

Ирина произнесла это не без гордости. Такой уж это был характер — в каком бы настроении Ирина ни находилась, если речь заходила о Сосновском парке, в голосе ее появлялась твердость.

— Что можно сказать? Молодцы! Москва вас не забудет!

Петр произнес это полушутя-полусерьезно. Собеседница его при желании могла выбрать первое или второе.

— Не знаю, как насчет Москвы, а вот Петру Шубенкову меня придется забыть...

Они как раз сворачивали с главной аллеи на одну из боковых. Здесь покров листьев, устилавших дорожку, был еще толще и даже слегка пружинил под ногами. Лес, лишившийся кроны, словно бы поредел; стало видно далеко-далеко в глубину массива. А там, вдали, незаметная отсюда летом, сейчас холодно блестела синева большого водного канала.

Петр потом не раз со стеснением в груди вспоминал этот разговор, удивлялся тому, что он вообще мог что-то увидеть, заметить подробности пейзажа после того ошеломления, которое накатило на него вслед за словами Ирины.

Признаться честно, он не был готов к этому объяснению. Не был, должно быть, оттого, что в последнее время с Ириной виделся редко, сказать точнее, все реже из-за занятости обоих. Его успокаивало то, что никаких ссор между ними не возникало. Но будь Петр более умудрен в эмоциональной грамоте, будь он более зорек, именно это и должно было его насторожить. Ведь там, где чувства свежи, полны сил и энергии, там и немислима эта успокоительная охлажденность отношений. Тогда даже ссоры лишь подобны ветру, все более разжигающему огонь любви.

А сейчас, на боковой аллее, Петр спросил, не очень-то веря в серьезность слов Ирины:

— Как это забыть? Ты шутишь, наверно?

— Нисколько. Женщины такими вещами вообще не шутят. Для нас это слишком серьезно.

— Тогда объясни, что же случилось?

Петр начал хмуриться.

— Ничего, мой милый, ничего, кроме того важного обстоятельства, что я, взвесив все и подумав...

— А может быть, и не надо так уж трезво,— перебил Ирину Петр,— это все-таки любовь?!

Он пытался как-то шуткой разбавить разговор, переведя его в план того объяснения, которое может начаться и ссорою и слезами, но заканчивается примирением и поцелуями.

— Я сейчас в том состоянии, когда юмор не воспринимаю начисто,— отрезала Ирина.— Да, я все взвесила, если хочешь знать, потому, что мне не двадцать и даже не тридцать. Пора серьезно взглянуть на свою судьбу.

— Что же плохого угрожает твоей женской судьбе? — спросил Петр, чувствуя, что он говорит что-то не то, не

может найти верный тон. А вместе с тем он, конечно, уже понимал, о чем думает Ирина.

— Мне лично угрожает собственное неуважение к себе,— возвышая голос, ответила Ирина.— Да, да, неуважение. А оно связано с ясностью и цельностью, чистотой отношений, а не той половинчатостью, неопределенностью, которая есть у нас.— Ты, наверно, думаешь, что я хочу замуж? — Брови-гусеницы Ирины плотно сошлись к переносице. Петр знал: Ирина нервничала.— Ошибаешься,— продолжала она,— хотя замужества, наверно, желает всякая молодая и нравственно здоровая женщина. Но и роль твоей любовницы мне не с руки. Не по мне,— быстро поправилась Ирина.— Делить тебя с кем-либо не хочу.

В том, что сейчас говорила Ирина, звучало явное противоречие. Петр даже в том своем взволнованном состоянии смог это уловить. Замужества не хочет, но не хочет и просто связи. Что же тогда?

И Петр мысленно спрашивал себя: «Разве не знала она о существовании Кати?» Хотелось спросить об этом Ирину. Прямо. Петр уже готов был это сделать. Но все же удержался. И потом был рад этому. Всегда лучше сдержать первый порыв, он часто бывает ошибочным. Позднее Петр понял, что же остановило его. Это было уважение к Ирине и то, что он дорожил ею. Только это. Ибо так легко в минуту обоюдной вспышки неосторожным словом поранить душу.

— Давай спокойно разберемся,— сказал Петр после длинной паузы.— Может быть, я чего-то не понимаю. Тогда объясни, докажи свою правоту. Я готов слушать.

— Послушай, Шубенков,— твердо произнесла Ирина, и Петра неприятно кольнуло это обращение к нему по фамилии.— Послушай, Петр Шубенков,— повторила она, тем самым еще более усугубив интонацию отчуждения.— И попытайся это понять. Я хочу остаться человеком, достойным уважения,— вновь вернулась Ирина к своей мысли.— И о тебе остаться лучшего мнения. Неужели ты не видишь, что затянувшаяся на годы связь в конце концов сделает несчастными всех: тебя, меня, и Катю, и твоего Мишку. Она будет постепенно разрушать тебя, Петр, как личность и лишит уверенности в поступках, лишит спокойствия и цельности мироощущения. Тебе, как деятельному человеку, особенно нужен крепкий семейный тыл, а если его нет, то уже труднее ходить в атаки.

— Обо мне думаешь? — произнес Петр, заметив, что Ирина, волнуясь, с трудом перевела дыхание.

— О тебе.

— Хочешь прекратить наши встречи, заботясь о моем благе?

— Тебе это представляется странным. Тебе в это трудно поверить. Значит, ты и не был достоин моего к тебе отношения, моего чувства. А жаль, жаль!

Ирина даже ускорила шаг, почти побежала. Петр шел за нею по аллее, разбрасывая носками ботинок кучки слезавшихся листьев. Взметнувшись в воздух, они медленно опадали, косо паря к земле.

Петр почувствовал правоту в рассуждениях Ирины. Неумолимую правоту. Ведь он и сам уже с болью думал об этом в тот вечер, когда они вернулись в Москву после поездки в Зеленоград, Солнечногорск, блоковские места. Думал, но не смог прийти к окончательному выводу. Была в рассуждениях Ирины и разумность, и одновременно жесткость этой, наверно справедливой, логики. Вспомнилась фраза, где-то вычитанная: «В любви легко быть жестоким, достаточно не любить».

Но ведь Ирина любила его. Любила, в этом Петр не сомневался. Вот поэтому-то ее решение так сильно и больно отозвалось сейчас в нем.

— Ну ладно, хватит нам на первый раз! — вместе с глубоким вздохом вырвалось у Ирины. — А то я уже начинаю чувствовать свое сердце. Если бы можно было все сразу выразить в одном слове, хотя бы из желания самосохранения, а не разматывать вот так, мучительно терзая себя. Но увы! Нет такого слова.

— Да ты успокойся, пожалуйста, — как-то невпопад и глуховато произнес Петр.

— Теперь мне легче. Главное, высказать то, что мучает. Пойдем-ка, Петенька, выпьем для бодрости по... чашке кофе! Вон там.

Ирина показала рукою в сторону небольшого кафе, и они свернули к павильончику с терраскою, нависшей над самым берегом одного из озер.

В кафе было малоллюдно, тихо. Ветер порывами гнал по воде мелкую рябь. С востока нанесло на парк чернильную тучу, и пролился дождик, покрыв воду пузырьками,

словно гусиной кожей. Озеро будто озябло. Так же холодно и знобко было на душе у Петра.

Ирина оказалась права. Главное было сказано, а о том, что из этого проистекало, об этом говорить уже не хотелось да и не было сил.

— Поезжай домой, Петя, мне пора в контору, да и у тебя наверно, как обычно, дел навалом. Потом, через какое-то время, может быть когда полегчает на сердце, мы еще поговорим, хотя и тогда мне будет нелегко. Поезжай, прошу, и, как говорится, не поминай лихом.

На глазах Ирины блеснули слезы. Но она не стала доставать платка. Просто повернулась к озеру, чтобы ветер, дующий от воды, сам высушил их.

...Петр и не заметил, как он дошел до машины. Сел рядом с Валериком и уехал.

И только где-то на середине пути к центру города Петра, погруженного в мысли об Ирине и томительно-угнетенное состояние, осторожно тронул локтем Валерик. Он сообщил, что начальника управления поймал по селектору главный инженер Копытко и просит снять трубку. И Петру с неохотой, вопреки желанию, пришлось все-таки включиться в длинный и нудный разговор с Копытко о недовозе деталей на строительную площадку бригады Борискина...

ГЛАВА 30

Петр, по обыкновению, проснулся рано. Сказывалась давняя привычка. словно бы тугая пружина, не ослабевая, по-прежнему выталкивала Петра из кровати в шесть утра. Летом и ранней осенью это совпадало с рассветом, а сейчас, в середине ноября, солнце всходило уже после восьми. Так что Петр и выезжал из дому и приезжал затемно.

Теперь он не слышал через закрытые окна развлекающих и приятно будоражащих его шумов из зоопарка. Да там и стало тише. Сумрачных дней было больше, чем солнечных, частенько на сад опускался туман, и, сгущаясь в кронах деревьев, он походил на грязные клочья ваты, а сами клены, липы и елочки словно бы разбухали, становясь толще и массивнее.

Ноябрь с его уменьшающимся световым днем и с ожиданием еще более короткого солнцестояния в декабре на-

водил иногда на Катю тоску, и она поддавалась дурному настроению.

— А ты не лежи, раздумывая, в кровати, а сразу вставай. Когда тосковать некогда, нет и тоски,— советовал Петр.

Сам же он, если и думал о коротком зимнем дне, то только в той связи, что снегопады и морозы мешают монтажу, слякоть хватает за скаты панелевозы, осенью и зимой увеличивается расход электроэнергии, за которую тоже надо платить.

Вчера с этими счетами и пачкой закрытых за месяц процентов к Петру в кабинет зашел Копытко. Но по его кривовато-неопределенной и словно бы все время скользящей улыбке Петр почувствовал, что есть у главинжа новость, которая висит у него на кончике языка.

— Что у вас еще, Константин Касьянович? — спросил тогда Петр.— Есть новостешки в заглазнике?

— Да, есть! — с некоторым даже вызовом ответил Копытко.

— Что же именно?

— Юрий Матвеевич от нас уходит.— После паузы Копытко добавил: — Довели!

Петра удивило, что об этой новости он узнает позже Копытко, и от своего главного инженера, а не от руководства комбината.

— А вы откуда знаете? — спросил он.

— Ярцев мне сам сказал,— пояснил Копытко.— Скоро будет и приказ.

— Почему же вам первому? — любопытствовал Петр.

— А потому, что он предложил перейти вместе с ним в управление служебными домами одного министерства. Там, правда, сейчас нет строительства... Их забота — поддержание домов, косметический и капитальный ремонт... Ставки хорошие. Так что, Петр Михайлович, скорее всего — расстанемся.

Петр выжидающе помолчал. Копытко, видно, был доволен и этим приглашением Ярцева, и тем, что может бросить Петру в лицо заявление об уходе.

— «Была без радости любовь, разлука будет без печали», — произнес Копытко.

— Точное замечание. А по строительству скучать не

будете? — осведомился Петр. — По живому, горячему нашему делу?

— Нет, не буду. На стройках я накрутился вот, — Копытко провел ребром ладони по горлу, — по самую завязку! Кто это на семинаре говорил про микроклимат? Каринцев? Так вот мне в вашем микроклимате, товарищ Шубенков, холодновато.

— Ну что ж, погрейтесь на этом вашем тихом, спокойном месте, с хорошим окладом. У меня возражений против вашего ухода нет, — сказал Петр.

— И на том спасибо, — поклонился Копытко.

Он покраснел от волнения. Петр, заметив капли пота на его лбу, подумал: «Аж вспотел от злости. Расставание наше надо почитать за обоюдное благо. Сработаться мы не могли!»

Петр утром вспомнил об этом разговоре, принимая горячий душ. С некоторых пор он пристрастился к нему. Правда, немного уставал, но зато потом ощущал прилив сил и бодрость. Иногда чередовал горячую струю с холодной, как делал в Карловых Варах, проходя такую процедуру закаливания и успокоения нервов.

Катя еще спала. Петр решил подождать с полчаса. Хотелось рассказать ей о Ярцеве и о Копытко. Она ведь ничего еще не знала. Вчера Петр вернулся поздно, жена уже легла.

Когда она проснулась, в глазах ее мелькнул тревожный огонек удивления — муж, уже одетый, почему-то сидел в кресле около ее кровати.

— Что случилось? — крикнула она.

— Да ничего, просто ждал, когда проснешься. Есть новость.

— Плохая?

— Ни плохая, ни хорошая, так... примечательная.

— Не таяни! — поторопила Катя.

— Ярцев уходит из комбината управляющим домами министерства и берет с собою Копытко.

— Причина?

— Видимо, по собственному желанию, а на самом деле, причина истинная в том, что им недовольны: противится непрерывному обновлению, новым ритмам, новым требованиям.

— Официально же, как пишут в газетах: «Освободить

в связи с переходом на другую работу», так? — спросила Катя.

— Наверно.

— Это хорошо.— Катя, вставая, набросила на плечи халат.— Ярцев тебя не любил. Прочно и надолго. Есть, милый мой, длительная инерция делания человеку и добра и зла. Он бы тебя больше никуда не выдвигал.

— Ах, ты с этой точки зрения! — усмехнулся Петр.

— А с какой же еще? Ты хоть и плохой, но муж мне, и уж ближе, во всяком случае, чем Ярцев.

Сказав это, Катя пригрозила Петру крепко сжатым маленьким кулачком и тут же отправилась в ванную.

А Петр-то хотел обсудить с женою эту важную для себя новость, осмыслить ее и поговорить неторопливо. Ведь это был хороший повод к их сближению, а именно этого и настойчиво искал Петр в последние дни. О недавней своей размолвке с Ириной он не мог рассказать жене. Да вряд ли Катя стала бы его слушать. Он помнил их разговор на бульваре Ленинградского проспекта. Не слов ждала Катя, не объяснений, а поступков, доказывающих, что он, Петр, принял определенное решение и будет его стойко держаться.

— Катя,— позвал Петр,— ты надолго в ванной?

Все же ему хотелось непременно поговорить, ведь он ждал целых полчаса.

— Не жди. Овадий не будет. На глубокое сочувствие не рассчитывай тоже,— заявила она.— Я приняла к сведению твое сообщение. И все!

— И нет желания послушать меня? — не верил Петр.

— Пока нет. Мнение мое ты знаешь. И до свидания. Что у тебя на сегодня нет дел, что ли? — крикнула Катя из-за стеклянной двери.

В коридоре, надевая пальто, Петр подумал: «Худой мир все же лучше ссоры. Обкатается — образумится!»

В этой ситуации Петр должен был признать: Катя хоть и в соответствии со своим характером, но все же вела себя не худшим образом. Семейная жизнь требует компромиссов. Иной раз женская мудрость заключается в умении простить то, что можно простить, над чем можно и нужно подняться.

Когда Петр у своего подъезда сел в машину рядом с

Валериком и коротко бросил: «Давай в МНИИТЭП», он все еще продолжал думать о Кате и Ирине.

После встречи в Сосновском парке и разговора, оставившего в его душе столь тягостное чувство своей вины за то, что так получилось, Петр больше не звонил Ирине. А если бы и позвонил, что мог он ей сказать?

«Она права,— с болью в душе думал Петр.— И ее поступок можно только уважать. Не каждая пойдет на такое. Это могла сделать только сильная женщина, решившая преподнести урок нравственности и мне и себе. Да и поделом мне. В любви всякая половинчатость, неопределенность безнравственна, а она рано или поздно наказывается. За все в этой жизни надо платить».

— За все, за все! — повторил он неожиданно вслух.

Удивленный Валерик переспросил:

— Куда, куда ехать?

— Все туда же, в институт, Валерик, все туда же,— подтвердил Петр.— Там сидят добрые дяди, которые дают нам с тобою работу. Не будь их проектов, что мы с тобою строили бы? А?

— Да нашлось бы, Петр Михайлович. В этом самом «Тепе».— Валерик лихо сократил название института,— там, я думаю, тоже есть товарищи из комитета по утапыванию мостовой.

Петр рассмеялся.

— Нет, там народ в основном деловой. Я сейчас рад тому, что еду к ним.

Правда, Петр не сказал Валерику, что рад-то он главным образом потому, что надеется отвлечься, слушая архитекторов, от своих мыслей о разрыве с Ириной и об отношениях с женой.

Московский научно-исследовательский институт типового проектирования занимал два этажа большого дома в самом центре. Из окон были видны всегда шумная и многолюдная Петровка, Большой театр, проспект Маркса, Кремль и Красная площадь.

Петр не знал, как на это реагировали архитекторы, должно быть привыкли. А вот Петра самого этот удивительный обзор из окон с охватом центра столицы, прекрасного и дорогого нашему сердцу места, эта величественная панорама всегда настраивала на мысли о тех крупномасштабных проблемах реконструкции, генераль-

ной перестройки Москвы, которыми был занят институт, проектируя типовые дома.

Когда Петр, извинившись за небольшое опоздание, вошел в конференц-зал, директор уже начал свой доклад. Это был человек среднего роста, с крупной седоватой головой, округлыми и мягкими чертами загорелого лица. Есть люди с эманацией интеллигентности. Она в улыбке, жестах, даже в тембре голоса, в манере излагать свои мысли без дидактизма и навязчивости, без нажима и указующего перста, а в расчете на убеждающую и всепреодолевающую логику. Таков был и этот профессор архитектуры. Звали его Лев Михайлович.

Став начальником управления, Петр уже несколько раз встречался с ним. Приходилось согласовывать небольшие изменения в проекте шестнадцатизэтажки, которые по ходу монтажа вносили его мастера и рабочие.

Петр, с удобством устроившись в мягком кресле, оглядел знакомые стены конференц-зала. Не прибавилось ли новых картин, рисунков, проектов типовых домов, которые в разные годы предлагал и ныне намечал на будущее институт? Изображенные то фасадно, то в плане, то в перспективе девяти-, двенадцати-, шестнадцати-, двадцати- и двадцатисемизэтажные здания, вытянутые линейно, или изогнутые полуподковою, или в ряду прямоугольных башен различной конструкции поднимались на рисунках в небо Москвы.

Собственно, на этих стенах было представлено рельефно настоящее и ближайшее будущее столицы, развитие типового домостроения, массового, дешевого и самого необходимого в современном градостроительстве. Петр вспомнил, как однажды он приехал к Льву Михайловичу пожаловаться на некоторые сложности, возникающие при монтаже новых деталей шестнадцатизэтажного корпуса.

— Дорогой мой,— сказал ему тогда Лев Михайлович,— поймите, никто не простит нам упрощения, голого, сугубого утилитаризма. Особенно потомки. Заботясь об эстетической стороне, мы не должны упускать из виду требования техники, но и, следуя за прогрессом техники, не забывать искусства. Сочетание высокой индустриальности, легкости монтажа и яркой архитектурной выразительности — вот наша задача.

Собственно, эту же мысль в различных вариантах Лев

Михайлович и развивал сейчас перед аудиторией из архитекторов, заводских работников и начальников строительных управлений. Идея, которую сейчас разрабатывал институт, называлась «Компоновка элементов домов по открытой системе типизации».

Длинноватое это название заключало в себе смысл не только понятный всем присутствующим, но и известный по собственной практике. Строители в Москве вот уже несколько лет работали по системе так называемого каталога. Каталог — это набор деталей домов, изготавливаемых на заводах. До сих пор каждый завод изготовлял полный набор деталей для домов; открытая система типизации предусматривала компоновку зданий из деталей разных заводов Москвы.

Петру были очевидны выгоды такой системы. Меньше типодеталей на заводе — выше их качество, легче наладить конвейер. Система выражала прогрессивную тягу к специализации, а эта тенденция вела к эффективности и качеству работы.

Правда, сделать пока это все еще было нелегко, да и Лев Михайлович подтвердил — слабовата еще на комбинатах и в строительных трестах комплектовочная база, надо четче наладить организацию снабжения.

Петр слушал Льва Михайловича и, как это уже бывало с ним не раз, как бы под аккомпанемент басовитого журчания речи, думал не только о системе компоновки элементов зданий, но и о том, что волновало и занимало его куда больше. О том, к чему никакой строитель не мог оставаться безразличным. Он думал о будущем Москвы.

Каковы они, эти контуры города будущего? Давно уже Петр начал подбирать в особую папку статьи из периодики, книги, касавшиеся сложных и многоплановых проблем развития современного города. Читал и перечитывал эти статьи. Размышлял. Проблемы эти были поистине неоднозначные, противоречивые и при всем том захватывающие воображение.

Расти ли Москве непрерывно вверх? Или этому должны быть положены определенные пределы? Невольно возникал вопрос о биологических и психологических барьерах. Может ли человек жить под облаками? Не появится ли у него чувство страха, неуверенности, если дом вытянется, скажем, на километр в небо, как предлагают некоторые архитекторы. Ведь в условиях нашего климата до-

ма километровой высоты нереальны уже и потому, что из верхних окон полгода не будет видно земли из-за туманов и облаков.

Но вместе с тем современные большие города год от года становятся все более протяженными, все больше занимают земли, все дальше растягиваются коммуникации, и поэтому возникает насущная задача «собрать город». А реальное решение этой задачи в компактности, в стремлении к тому, что на языке архитекторов называлось вертикальным городом.

Давно уже задумываются архитекторы и над тем, как далеко должно зайти наше преклонение перед прямой линией. Преклонение это плодит много однообразных вертикальных и горизонтальных коробок.

Великое множество вопросов, больших и малых, вокруг которых давно уже идут споры. Ибо формула города будущего еще не найдена. В градостроительстве мы только еще подходим к порогу научно-технической революции. Так не раз говорил Лев Михайлович.

Вот и сегодня, слушая его, Петр подумал, что наряду с проблемами перспективными стоят на повестке дня и такие, что непосредственно связаны с нынешней, сущою практикой строительно-монтажных управлений.

Ну, скажем, естественность перехода от крупнопанельного строительства к объемно-блочному. Так, чтобы дома собирались из готовых однотипных жилых ячеек-квартир.

Петр помнил, как в Москве этим начали было заниматься, но затем отступили, дело почему-то не пошло. Петр тогда был бригадиром, в детали этого эксперимента не вникал.

А теперь вот подумывал: почему бы не вернуться к таким промышленным опытам, когда здание наращивается непрерывно за счет быстрого суммирования ячеек квартир, при этом бесчисленные комбинации стандартных элементов создают индивидуальные, не похожие одна на другую формы?

Москва менялась на глазах, во всяком случае, на глазах Петра Шубенкова, принимавшего в этих переменах самое деятельное участие.

Лев Михайлович сказал как-то о Москве: «Наш живой город!» И Петр подумал: «Живой город — прекрасная формула. И не только архитектурная».

Да, Москва — город живой мысли и бьющей через край энергии, силы, город, где звучит музыка новых архитектурных форм и явственно просматривается в градостроении гармония социальной заботы о человеке. Живой, теплый, обаятельный и гостеприимный, год от года становящийся все краше, город, являющий миру коммунистическую новь сегодняшнего и завтрашнего дня. Строить такой город — большое счастье.

Выйдя из дверей проектного института, Петр заехал на часок в управление — подписать неотложные бумаги, а потом направился в Ивановское, на площадку бригады Борискина. И решил туда поехать не потому, что была в этом какая-то особая нужда. Текущие вопросы, которые надо решать, конечно, всегда найдутся. А пожалуй, более всего оттого, что с утра чувствовал себя не в своей тарелке, все еще испытывая томительное беспокойство, которое мешало сосредоточиться и отдаться работе в полную силу.

— Поеду к Кольке лохматому, возьму в руки лом, лопату, разомнусь немного, что ты думаешь об этом? — спросил Петр у Валерика, приглашая его, по обыкновению, завязать развлекающий их обоих разговор в машине.

— Разминка — это хорошо. Вы меня простите, Петр Михайлович, не то, чтобы замечание, а просто, если разрешите, в порядке совета...

— Не тяни, давай в порядке совета, — поторопил Валерика Петр.

— Что получается! Столько лет вы трудились физически, нагружали свои мускулы, и вдруг — все разом оборвать. Заседания, заседания! Это надо, извините, тяжелые камни иметь в одном месте, чтобы столько сидеть не вставая. Вредно для организма. И спортом не занимаетесь.

— Какой там спорт! — махнул рукою Петр. — Если забеги, то только по лестничным маршам на девятый или шестнадцатый этаж. Лыжи забросил. Коньки забыл. Помнишь, когда лезвия норвежек лед режут, они скрипят, словно бритва на ремне?

— Точно, — кивнул Валерик.

— Да, начал себя запускать физически, — вздохнул с немалым огорчением Петр.

— Поправить надо положение. — Валерик бросил на

своего начальника сочувственно-уважительный взгляд. — Вы хозяин — барин. Все в ваших руках.

— Ну, какой я барин! Всегда был трудяга, на любой должности. Ты же меня знаешь! И потом нами больше руководит беспокойство за дело, чем за свое здоровье. — Петр доверительно, слегка наклонился к Валерику, но все же не в такой мере, чтобы мешать ему крутить баранку. — Все мы вкалываем без оглядки, пока не прозвучит первый звоночек — артериальное давление, или там сердце сбой дало. Ты прав, очень прав, Валерик. Нельзя терять физическую форму. А где взять время?

— Найдите, тут только захотеть, найти время можно, — поддержал Валерик.

Петр давно заметил, что его Валерик всегда охотно включался в эти откровенные размышления вслух, которые порою затевал Петр в машине, когда оставался вдвоем с шофером. У них давно наметилось единомыслие касательно труда, долга, ответственности. Ведь Валерик, возя Петра по стройкам, многое видел, наблюдал. Сближало их и чувство единого корня — рабочего. Так рождался в салоне «Волги» располагающий к самокритике микроклимат духовного общения, согреваемый не только автомобильной печкою, но и обоюдной симпатией.

— Значит, так и сделаю, тряхну сегодня стариной, поработаю на монтаже, — сказал Валерику Петр, когда «Волга» подкатила к строительным вагончикам бригады Бोरискина.

Когда Петр вошел в прорабскую будку, здесь у стола с радиотелефоном сидела лишь диспетчер потока Зиночка, и, поздоровавшись, Петр спросил, где его рабочая спецовка.

— На своем месте — кто же ее возьмет? — улыбнулась Зиночка не без легкого кокетства, и, должно быть, не потому, что хотела понравиться Шубенкову, он ведь знал ее давно и относился по-отцовски, а скорее просто машинально, как всегда улыбалась мужчинам, которых уважала.

— Значит, висит, ждет хозяина, — с удовольствием заметил Петр.

— А вы не располнели для нее? — Зиночка бросила веселый взгляд на фигуру Петра, которая в последнее время действительно раздалась, и, как это бывает особенно заметно у стройных и худощавых людей, наметилось

брюшко. Петр подумал, что во времена бригадирства, хотя он того или нет, а каждый лишний грамм сгоняла физическая работа.

— Ничего, роба выдержит. Нажмем, втиснемся. Я ведь, Зиночка, еще не тяжеловес Алексеев,— подмигнул Петр, проходя к шкафам вагончика, где рабочие хранили свои спецовки. Там оставил свою и Петр. Оставил так, на всякий случай. Ведь, честно говоря, в успехе новой работы у Петра тогда уверенности не было.

И еще, как бы по инерции сегодняшних переживаний думая о Ярцеве, Петр вспомнил, как однажды начальник комбината бросил ему упрек в том, что, дескать, он, Ярцев, сделал Шубенкова человеком, а он, Шубенков, вместо благодарности только мешает ему спокойно работать. Вот тогда Петр и вспомнил впервые про свою спецовку и о том, что она висит на гвозде в прорабской. Да, он, конечно, в том разговоре излишне погорячился, но по существу был прав, трижды прав.

И сейчас он подумал еще и о том, что где-где, а на стройке никакая протекция не может заменить труда каждодневного, истового, честного и что деловое горение и есть в конечном счете самая главная движущая сила, поднимающая рабочего человека.

Когда Петр в рабочей спецовке появился на последнем, шестнадцатом этаже нового корпуса, монтажное звено было занято обычной работой. Петр издали увидел Борискина, тихо подошел к нему и хлопнул рукавицей по плечу. В этом жесте было что-то мальчишеское, шутливое, от нарастающего хорошего настроения.

Николай резко обернулся. Но, узнав Петра, сказал совершенно спокойно: «Я здесь, Петр Михайлович», так, словно бы видел начальника управления с полчаса назад и вот они встретились снова.

Рассчитывающий на удивление Борискина, Петр, признаться, был даже слегка разочарован. Его спецовка не произвела большого впечатления на ребят, занятых монтажом. Они были увлечены своим делом, которое оставляет мало времени для сторонних наблюдений. «Или же,— подумал Петр,— просто не успели отвыкнуть от того, как еще недавно выглядел их бывший бригадир в такой же, как у всех них, рабочей одежде... Полгода,— думал

Петр, — много это или мало? Для меня — много. Ибо это была переломная пора, а потому и большой срок. Он кажется с год, а то и больше. Перемены и новые впечатления так же, как и путешествия, как бы продляют нашу жизнь. А для них, для моих ребят, эти полгода в привычном труде пробежали, наверно, быстро).

— Здорово, молодцы! — крикнул Петр. — Укажите, где надо подсобить. Давай, бригадир, ставь на точку. Хочу поработать с вами целую смену.

— Хорошее дело, Петр Михайлович, — откликнулся Борискин. — Это нам радость. Как это говорят: «Были бы руки, а молотило найдется!» У нас на площадке без дела не заржавеешь. Бетонщик заболел, становитесь на его место. Не забыли еще специальность?

— Не забыл, Колюша, не забыл, — весело откликнулся Петр.

Он ощущал на плечах приятную и знакомую тяжесть брезентовой робы. Ушли в сторону думы о жене и Ярцеве. От свежего ветерка наверху шестнадцатизащитной башни, проникавшего даже через куртку и свитер, слегка прохватывало ознобом. Предчувствие той физической радости, которую сейчас даст Петру работа, охватило его.

Он проработал с удовольствием два часа, не замечая времени. Подступили ранние в ноябре сумерки. Четыре часа дня, а на стройке уже вспыхнули огни прожекторов. Загорелись лампочки и на этажах. Корпус озарился красноватым светом, колеблющимся вместе с порывом ветра.

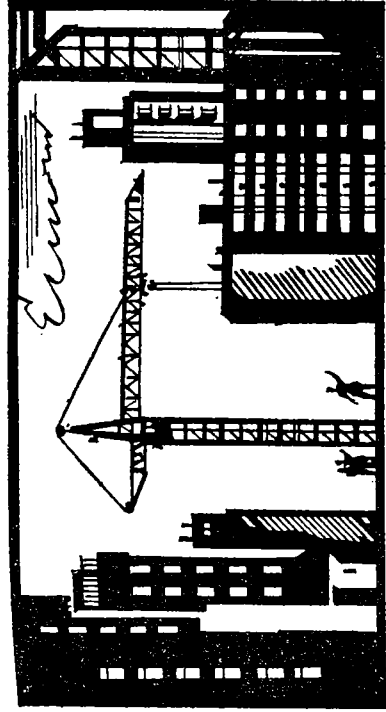
Еще во времена своего бригадирства, бывая на стройке в ночное время, Петр всегда ощущал в эти часы прибавку нагрузки, особенно нервной. Ночь есть ночь. Она требует большего внимания и большей собранности. И в душные летние ночи, и в холодные зимние все же хочется спать, как бы ты ни работал, а особенно если в минуту отдыха присядешь в каком-нибудь тихом закутке на площадке или зайдешь во всегда натопленный вагончик пролабской.

Но зато ночью и воздух свежее, и тише вокруг, и поэтичнее. В картине ночной стройки есть нечто особенное и притягательное: белые руки прожекторов блуждают по площадке, а вслед за ними скользят по бетонным плитам полосы света и тени, сигнально мерцает лампочка на самом верху подъемного крана, он движется, прочерчивая

красные линии на черном бархате неба, и порою кажется, что это не фонарь крана, а опознавательные огни самолета, медленно кружащего над районом стройки.

А с высоты шестнадцатэтажных башен, с площадки последнего этажа, на краю которого работал сейчас Петр, далеко-далеко, во всю глубину ночного пространства была хорошо видна Москва. Вблизи и вдали колыхалось море огней, и среди них бесчисленное количество прожекторов на стройках и красных звездочек на шпилях башенных кранов. Это и ночью жила и дышала, не утихая, великая стройка в великом городе...

1978—1980



ОЧЕРКИ





ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ

Июль семьдесят третьего в Москве, как и полагается «макушке лета», был солнечным и теплым, с выпадающими изредка короткими, но обильными и шумными дождями. Это было особенно приятно по контрасту с удушающей жарой семьдесят второго года, с невероятной сухостью, бедственными лесными пожарами и дымным смогом-туманом, который в июле и в августе обволакивал воздух даже в центре города. Москвичи остро помнили эти грозные причуды природы и опасались их повторения.

В один из дней комфортабельный лайнер ТУ-154, регулярно курсирующий по воздушной трассе Москва — Челябинск, поднялся в воздух с большим опозданием из-за непогоды на Южном Урале. Самолет приземлился в Челябинске в глубокие сумерки, и все пассажиры чувствовали себя утомленными и долгим ожиданием в аэропорту, и двухчасовым полетом.

А тут еще неожиданная для москвичей холодная погода: резкий ветер, знобящий, как поздней осенью, дождик. Но вот к трапу самолета подошли встречающие. Бурные приветствия, душевное тепло, улыбки, объятия — все это встряхнуло прилетевших и в конечном счете оказалось сильнее хмурого ненастья.

Встречей на аэродроме и началась программа «Недели советской литературы в Челябинской области», для

участия в которой на Южный Урал прилетели писатели из Москвы и Ленинграда, Иванова, Ярославля, Дагестана, из других областей и республик. Я был участником этой недели. И таким образом, после пятилетнего перерыва с добрыми предчувствиями и ожиданием интересных впечатлений вновь вступил на челябинскую землю.

Как член делегации я был обязан следовать разработанному протоколу обширной и весьма динамичной программы поездок и выступлений. Но меня больше всего тянуло к проходной Челябинского трубопрокатного завода, к моим героям, к старым друзьям. Я испытывал вину оттого, что очередная разлука с заводом затянулась на долгое время.

Пять лет! Срок солидный не только для человеческой жизни, но — и для страны. Пятилетка! Кто не знает, как много перемен и свершений знаменуют собою пятилетние планы в любой области, на каждом заводе, в том числе на Челябинском трубопрокатном, с которым я связан вот уже двадцать лет. Все эти годы я следил за судьбами моих героев, завод стал мне близок и дорог, и думается, что и я в какой-то мере стал близок моим заводским друзьям.

Я подчеркиваю эти два слова — близок и дорог! Ибо давно уже сделал для себя немаловажное открытие: с годами моя привязанность к заводчанам растет. Переставая быть просто наблюдателем, я сам стал чувствовать себя участником событий, человеком, горячо и кровно во всем заинтересованным.

Еще на аэродроме я думал о предстоящей встрече с заводом и с другими гигантами металлургии Южного Урала. Встречи с коллективами разных заводов сулили благодатную возможность разносторонних сравнений, сопоставлений и выявления важных примет типического в их жизни.

Ведь всегда полезно взглянуть на завод и его дела как бы со стороны и в более масштабной перспективе, охватывая при этом мысленным взором всю металлургию Южного Урала, или — как любят говорить в Челябинске про свою область — «самый большой металлургический цех страны».

Говорят, что театр начинается с вешалки, а завод — с главной проходной. Но для тех писателей, которые впервые очутились в Челябинске, Трубопрокатный начался с

заводского профилактория «Изумруд», куда привезли нас с аэродрома как в гостиницу.

Мы ехали в микроавтобусе по хорошо знакомой мне дороге — от аэропорта, минуя окраины Тракторного завода, через центр города к дальнему парку, за которым в сосновом бору и находился «Изумруд».

Как всегда, в первые минуты встречи с городом, я испытывал волнение, к тому же для своих товарищей я был как бы гидом по знаменитому заводу, — а в Челябинске почти все заводы знаменитые, — новостройкам, театрам, площадям.

В центре Челябинска я не заметил значительных перемен. Исторически сложившиеся центры больших и средних городов меняются не так быстро. Здесь пять лет — небольшой срок.

Но перемены на Трубопрокатном предстали передо мною в первый же вечер весьма наглядно — в виде четырехэтажного здания «Изумруд», сделавшего бы честь любому курортному ансамблю.

Ныне многие предприятия строят такие отличные дома отдыха и санатории для своих коллективов. Строят и в дачных местах, и на юге, в курортных зонах. И как частенько говорят на предприятиях — «строим для себя», а это означает, с особым старанием, рвением, с той щедростью и заботой о людях, которые соответствуют и масштабам предприятия, и его традициям.

Увидев «Изумруд», я отчетливо почувствовал «руку» директора завода Осадчего, его размах и хозяйственную хватку, стремление «воткнуть всем перо», сделать лучше, чем у кого бы то ни было.

Здание профилактория воздвигнуто на вершине холма. Фасадом обращено к озеру с извилистой линией берега. Перед домом большой цветник. Вечером, когда мы подъехали к «Изумруду», клумбы были подсвечены яркими лампами с земли и снопом прожекторных лучей с балкона. Это был словно яркий костер из цветов, пылающих завораживающим взор пламенем.

Цветы были и внутри профилактория, в зимнем саду, занимающем часть третьего этажа. А в саду журчали фонтаны, зеленели карликовые пальмы, в клетках сидели нахохлившиеся ярко-желтые попугаи.

Столовая профилактория была отделана художественной чеканкой из красной меди. Оригинальные лампы и светильники создавали особый уют.

О вкусах можно спорить. Я не уверен, что так уж необходимы заводскому профилакторию попугаи в клетках и постоянное журчание падающей воды в зимнем саду. Излишества нередко свидетельствуют об изъянах художественного вкуса. Но несомненно, что «Изумруд» производит впечатление не только на трубопрокатчиков, которые любят здесь бывать, но и на людей, повидавших немало всякого рода гостиниц и отелей.

Обилие цветов — не случайность, не просто пристрастие директора. Для Осадчего цветы — это символ прекрасного, средство эстетического воздействия на людей. Я знал, если в беседе с гостями завода Яков Павлович «сядет» на эту тему, то он разовьет ее во множестве вариантов: «Цветы и автоматы», «Цветы и нравственный микроклимат в цехах», «Цветы и... в конечном счете — производительность труда»!

На следующее утро была назначена встреча на Трубопрокатном. Когда, немного опоздав к началу беседы Осадчего с писателями, я зашел в его кабинет, Яков Павлович говорил именно о... цветах, описывал устройство большой заводской оранжереи, которую и сам определил как цветочный цех завода.

Я пристроился в конце длинного стола, как раз напротив Осадчего, и хорошо его видел. Говорил он обычно спокойно и негромко, но, как всегда, его внимательно слушали. Казалось, он смотрел на свои руки, слегка наклонив крупную голову с обнажившимися залысинами и словно бы для прочности перенеся упор на локти, широко расставленные на столе.

Все в его облике говорило о физической и духовной прочности. Я иногда думаю — можно ли сказать о каком-либо человеке, что над ним не властно время? Нет, нельзя. Но есть разная мера духовной энергии, той внутренней силы, увлеченности главным делом жизни, которые противостоят бегу времени, усталости, старению.

Слушая Осадчего, я заметил, что он больше стал говорить о людях, об их быте, жизни, о внимании к ним — это и была главная черта директорского стиля руководства. Яков Павлович придает большое значение тому нравственному климату, какой создает на заводе продуманная, щедрая забота о людях! Не потому ли, что стал давно ощущать прямую связь организации труда и быта, хорошего самочувствия рабочих, отличного настроения и высокой производительности труда!

Но при всем при том я не сомневался, что эта хозяйственная увертюра лишь пролог к развитию не менее важной темы. План, производительность труда, наращивание мощностей, техническая перспектива! И действительно, вскоре Осадчий заговорил обо всем этом, имея в виду сегодняшний и завтрашний день на Трубопрокатном.

Еще в Москве я читал в наших газетах некоторые выступления Осадчего по коренным проблемам заводской жизни. Яков Павлович часто дает интервью журналистам местных и центральных газет. Пишет и сам, делится опытом, в котором много поучительного, и, как говорится, «обкатывает» с помощью общественного мнения те или иные рождающиеся на заводе конструктивные идеи. Сейчас такой главной идеей стала обширная программа дальнейшей реконструкции завода.

Тот, кто думает, что реконструкция на заводе — понятие сугубо техническое или технологическое, ошибается. Наряду с НТР слово «реконструкция» ныне одно из самых распространенных и популярных в лексиконе современных производственных идей и терминов. Реконструкция самым тесным образом связана с повышением эффективности производства, с решением задачи исторической важности: соединить достижения научно-технической мысли с преимуществами социалистической системы хозяйства.

Реконструкция — это непрерывное движение вперед, к вершинам мировых достижений техники.

Реконструкция — это благодатное поле для слияния науки и производства, внедрения механизации и автоматизации.

Реконструкция — это, как правило, творческий взлет и трудовой подвиг коллектива, требующий от него немало энергии, смелости, энтузиазма и партийной страсти.

На XXIV съезде партии говорилось о таких условиях, которые заставили бы предприятия выпускать новейшие образцы продукции, буквально гоняться за научно-техническими новинками, а не шарахаться от них, образно выражаясь, как черт от лада. В наиболее привилегированное положение должны быть поставлены те коллективы, которые действительно борются за совершенствование техники и технологии, за выпуск продукции, отвечающей современным требованиям.

Реконструкция выражает динамичный дух времени, дух поисков и дерзаний, творческого горения и упорства в достижении целей.

Давно ли на заводе в рекордно короткие сроки была проведена генеральная перестройка большинства цехов и станов в трубоэлектросварочном цехе! Тогда строились новые линии, пролеты, расширялись цехи, осваивались новые диаметры труб.

А на рубеже семидесятых годов жизнь снова решительно продиктовала курс на реконструкцию. Об этом увлеченно и живо, как об удивительном скачке, как о новом, по сути дела, рождении завода, рассказывал Яков Павлович Осадчий.

И в былые годы Трубопрокатный постепенно накапливал большой опыт проведения реконструкции с минимальными остановками производства. Теперь этот опыт стал приобретать черты высокого искусства обновления.

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

Я помню фамилию — Телешов. Она ассоциировалась у меня с каким-то делом, интересным и важным. Но точно я бы сразу не смог ответить на вопрос — с каким же именно? Так бывает иногда — запоминается не сам факт или эпизод во всех деталях и подробностях, а то, что можно назвать психологической атмосферой вокруг него.

Телешов! Я услышал эту, показавшуюся мне знакомой фамилию летом семьдесят третьего и после некоторых раздумий вспомнил, с чем она связана. Это был шестьдесят третий год — знаменитая на Трубопрокатном весна, когда здесь велась грандиозная битва за первую большую трубу. Шел спор через границы, с монополистами из ФРГ, наложившими эмбарго на экспорт труб большого диаметра. Заводская многотиражка печатала на своих страницах хронику горячих строительных дней.

В одной из сводок мне запомнилась запись, всего две строчки:

«За небывало короткие сроки смонтирован участок формовки трубы. Здесь отличился Б. Телешов».

Я знал, что стояло за этим предельно кратким сообщением — уж наверняка и месяцы работы, и поиски оптимальных решений, и сложный монтаж мощного пресса, и

то огромное напряжение, которое Телешов разделял со всеми своими товарищами.

Ну, а если говорить напрямую, то разве труд только одного Телешова остался в тени, не попав в бурный поток газетной, журнальной, радио- и телевизионной информации о выдающейся победе трубопрокатчиков. А сколько интересных, неповторимо героических дел, скромных и непритязательных к славе наших рабочих-современников, вообще не попадает ни в какие летописи...

Телешов, как я узнал позднее, в то время монтировал участок формовки труб, а через семь лет взял на себя ответственность за генеральную реконструкцию всего ста-на «1220».

Как это начиналось на Трубопрокатном? В марте шестьдесят девятого Осадчий провел необычную планерку с узким кругом сотрудников. Проходила она в его кабинете, а не как обычно — в конференц-зале заводоуправления, где по понедельникам проходят расширенные оперативки. За длинным зеленым столом, который упирается в стол Осадчего, сидели начальники основных цехов и служб завода — Терехов, Вавилин, Телешов, секретарь парткома Иван Георгиевич Соболев, его заместители, Крючков — тоже со своими заместителями по завкому. Генеральная перестройка — дело всего почти шестнадцатитысячного коллектива.

Да и как это может быть иначе? Представьте себе всю махину Трубопрокатного, его масштабы, если он производит в год в два раза больше труб, чем Франция, в полтора раза больше, чем Англия, и всего лишь на одну четверть меньше, чем Федеративная Республика Германии.

Осадчий открыл совещание, сразу коснувшись самого главного. Многословие здесь вообще не в моде. Слишком дорого время!

К тому же каждый знает, что любая серьезная техническая идея не рождается мгновенно, как ослепительная вспышка молнии. Идеи вызревают в умах и в сердцах постепенно. Появившись, они вызывают определенное умонастроение у тех, кто постоянно думает о будущем завода.

Когда говорят — «идея уже посится в воздухе», имеют в виду безусловно именно это состояние возбужденно-приподнятого увлечения новой мыслью, увлечения, охватившего не какого-то одного человека, пусть даже обладающего большим влиянием и властью, а многих инженеров,

конструкторов, технологов, составляющих действующий на любом предприятии мозговой центр.

Когда же созывают важное совещание те, кто, по сути дела, является ядром такого мозгового центра, обычно уже фиксируют продуманное и выношенное раньше, обговоренное предварительно в директорском ли кабинете, у главного ли инженера, в каком-нибудь отделе, в цехе или на лестнице заводууправления, дома, на улице или даже за столиком ресторана в праздничный день.

— Итак, берем курс на реконструкцию,— негромко произнес Осадчий и пододвинул к себе лист бумаги, чтобы записывать вопросы, соображения.— Сначала о цехе номер два. Как известно, товарищи, он построен еще в войну. Оборудование там почти тридцатилетнего возраста. Для завода этот цех — старик!

Никто не возразил. Действительно — старик, хотя и с военной выправкой и стойкостью тянул все эти годы программу. Номер второй — это номер ветерана. Обозначение цехов цифрами сохранилось еще со времен войны, когда завод выпускал военную продукцию. Эти индексы, по сути дела, лишь память о далеком прошлом, цепко держались в разговорном обиходе. Да и в самом деле, легче ведь сказать — «шестой цех», чем произнести длинное, словно бы рокошующее от множества согласных, трудное в произношении — трубоэлектросварочный.

— Во втором,— продолжал Осадчий,— будем менять печь, трехваловый обкатный стан, прошивной стан, девятиклетьевой калибровочный — перечислять сейчас все оборудование не буду. Важно обговорить общие принципы.

— Правильно,— поддержал кто-то за столом.

Осадчий поднял голову: он не узнал голос, что случилось с ним редко. Кажется, это сказал Калинин, начальник шестого цеха. Тот что-то записывал в блокнот.

— Общие принципы имеют особое значение для вашего цеха, Сергей Алексеевич,— обратился к нему Осадчий.— Догадываетесь, почему?

— Как не догадаться.— Калинин почему-то слегка покраснел.— Тоннаж нашей продукции, Яков Павлович, и проблема простоев.

— Вот именно, простоев, а простые надо свести к минимуму. Но об этом потом. Самое главное...

Тут Осадчий неожиданно вздохнул, закашлялся и сделал продолжительную паузу.

Не так-то, видно, легко было ему произнести то, что собирался сказать — определить главную отправную точку, а точнее, генеральную линию, от которой начнут ответвляться все остальные, пока еще пунктирные векторы для расчетов, графиков, планов, все наметки предполагаемых сроков и этапов работ.

Наверно, все, или почти все, присутствующие на совещании знали или предполагали содержание этого главного, но тем не менее им передалось напряжение, зазвучавшее в голосе директора.

— Наши традиции, — твердо сказал Осадчий, — при любых перестройках завода — не просить у правительства снижения нам государственного плана. Вы помните, как было в шестьдесят третьем, так было и раньше. А если бы и попросили, дорогие друзья, то вряд ли бы нам разрешили это.

Многие, соглашаясь с директором, закивали, кто-то не то поперхнулся, не то многозначительно покашлял. Калинин и Телешов — представители самого большого цеха — одновременно потянулись к графину с водой. Телешов же при этом скорее почувствовал, чем заметил, как дрогнули губы Осадчего в мимолетной улыбке.

— Итак! — В голосе Осадчего чувствовалась решимость пресечь возможное малодушие и сомнения, но все молчали. — Итак, товарищи, — повторил он, — пункт первый: идем в русле государственного плана, имея в виду всю годовую программу, если же нам, как обычно, набавят план, то выполним и его.

Никто не возразил, хотя и одобрительных реплик тоже не было.

Молча принимая первый пункт, присутствующие брали на себя тяжелую и серьезнейшую ответственность. Но так случалось не впервые: генеральная реконструкция и работа с удвоенным напряжением, с полной отдачей всех сил были здесь по сути своей синонимами.

— Хорошо, с этим покончили. — Осадчий положил ладони на стол. — Теперь относительно этапов реконструкции. Главный инженер, прошу вас, — пригласил он Терехова.

Терехов кратко изложил план, предусматривающий три этапа работ. План этот, естественно, был раньше обговорен с директором, с начальниками производственного, технического и планового отделов.

Первый этап предусматривал проведение всех работ, которые можно совершить без остановки линий в цехах. Иными словами, во время работы всех механизмов, рядом с ними, над ними и под ними! Не надо быть специалистом, чтобы представить себе всю сложность задачи; на этом этапе работ требовался, так сказать, высший пилотаж в реконструкции.

Вторая стадия — это работы во время остановки всей линии, ибо на конвейере, связанном единым потоком производственного процесса, нельзя остановить какую-либо одну часть.

Третий этап начинался уже после пуска реконструированного оборудования — это доделки, доводка системы на ходу и во время ее работы уже на новых режимах и с новыми скоростями.

И на каждом из этапов направляющая идея вытекала из формулы Осадчего: «Ни одного месяца без выполнения государственного плана».

Распорядок работ, предложенный Тереховым, не вызывал возражений. Присутствующие на совещании одобрительно кивали или же молча делали отметки в блокнотах. В плане все выглядело разумным и опиралось на опыт бывших перестроек.

Ключевым был вопрос о сроках именно второго этапа. Каждый день, каждая смена и каждый час простоя били по плану и в конечном счете по заработкам рабочих и инженеров. Потеря «горячего часа» в любом цехе, на любом стане особенно чувствительны для завода. Все понимали, что цеховые работники, боясь не справиться с жестким графиком, были заинтересованы в том, чтобы растянуть временные рамки второго этапа, а руководители завода — в том, чтобы их стянуть до предела.

Очень часто на заводах создаются такие ситуации, когда у всех задача общая, а ответственность у каждого разная. С кого что спросят?! И еще есть разница между теми, кто ставит трудные задачи, и теми, кто их выполняет. Одно дело на дороге стоять и дорогу указывать, а другое — самому по ней ходить. Осадчий это понимал. Он хорошо чувствовал психологию производственников, не идеализировал человеческую натуру, но знал, как на нее повлиять. Чтобы подвести всех к важному решению, он прежде всего показал, как много он, директор, возлагает на свои плечи.

— Объем предварительных работ огромен, товарищи, — сказал он, — новое оборудование придется заказывать десяткам заводов. Требовать, чтобы были выдержаны сроки. Это я беру на себя. И определяю время — от сегодняшнего дня, от задумки нашей до непосредственного начала работ — полтора года.

Столь краткий срок этот ошеломил всех. Кто-то тихонько присвистнул. Кто-то от растерянности хлопнул в ладоши. Ведь обычно полтора года уходит только на оформление рабочих чертежей. А строительство крупных объектов занимает порою шесть-семь лет. Не ошибся ли в чем Осадчий?

— Яков Павлович! — Секретарь парткома поднял руку, и Осадчий насторожился. Можно было подумать, что Соболев просит слова. Но он, не дожидаясь кивка директора, заговорил о роли коммунистов, о том, что областной комитет партии поддерживает идею реконструкции и обещает помощь и что именно в обкоме ему посоветовали завязать теплые и взаимотребовательные связи с коллективами заводов-поставщиков.

И пока говорил Соболев, почему-то долго не опуская руку, Осадчий понял, что этот жест секретаря носит скорее символический характер, что Иван Георгиевич предлагает ему, директору, руку помощи парткома, всех коммунистов.

— Письма напишем туда, где находятся заводы-поставщики, обратимся в их областные газеты, на сами предприятия. В Минск, в Чувашию, в Сумскую область, в Оренбург — может быть, своих людей пошлем туда, организуем там агитационные стенды. Чтобы на этих заводах все хорошо знали — зачем, кому и в какие сроки нужно оборудование!

Опыт такой был. Соболева поддержали.

— Один ты не справишься, Яков Павлович, хотя говорят на заводе: «Осадчий все может!» — но все же одному трудно, — обратился Соболев к директору. — Есть такая сила у нас — интернациональная дружба, взаимопомощь. Рабочие, коллектив не останутся в стороне, особенно в преддверии нашего большого праздника — пятидесятилетия СССР.

— Иван Георгиевич оформил идею политически — это залог успеха, — поощрительно улыбнулся Осадчий. — Я думаю, этот срок реален, товарищи, так же, как и второй наш срок. А что я имею в виду, вы, наверное, догадываетесь.

Стап «1220», возьмем его вначале. Полная остановка линии предусматривается только на пятьдесят суток. За это время надо сделать все возможное и невозможное. Пятьдесят суток!

Осадчий произнес это с напряжением, повысив голос. Резко, чеканно сказал, как отрезал. И вдруг многим стало заметно, что директор волнуется.

Нет, он не ждал пока возражений. Не так-то просто мгновенно найти аргументы и с ходу оспорить Осадчего. Но Яков Павлович был уверен, что возражения, явные или тайные, невысказанные, но тем не менее разрушающие веру в успех, эти возражения все же появятся. Внутренне он был готов к ним.

Назвав срок — пятьдесят дней, — Осадчий начал развивать свою мысль:

— Ни дня больше, товарищи! И только не говорите мне, что это жестокий и несправедливый или невыполнимый срок. Нет, это не волевое решение, как кое-кому может показаться. Это сложный расчет. Я знаю, будет очень трудно. Знаю! И все же — пятьдесят суток!

Пауза была неизбежной, и она наступила. Осадчий расправил плечи, которые, напрягаясь, всегда немного сжимал. Поправил папки с бумагами на столе. Пододвинул ближе горстку карандашей и разноцветных фломастеров — он любил ими подписывать бумаги. Одним словом, он отвлекся сам и давал людям собраться с мыслями.

А мысли его были обращены к событиям заводской жизни. Может быть, он вспоминал дни, когда успех дела решали не только цифровые выкладки и точные расчеты. За десятки лет руководящей работы он убедился в том, что, кроме сухой цифровой оболочки, у каждого дела есть живая, трепетная душа. А у людей есть воля, желание и еще то, что часто называют «внутренними резервами». Резервы силы человеческого духа. В коллективе они неиссякаемы. Осадчий всю жизнь работал с верой в эти силы. Да, бывало, что его упрекали в «волевых решениях». Особенно в те годы, когда ругать за волевые решения стало модно. Легко навесить ярлык на какое-нибудь сложное и внутренне противоречивое явление. Куда труднее объяснить его сущность. И Осадчий всегда говорил себе и другим: «Тут надо разобраться!»

Волюнтаризм, голое администрирование вредны. Это беда, порождающая грубые изъяны в руководстве любым

предприятием. Но воля руководителя, который, опираясь на научный расчет, смело идет к намеченной цели,— это другое дело. Никто не может сбросить со счетов волевые качества рабочего, мастера, инженера. Это залог успеха любого дела.

У него, Осадчего, была своя формула, так сказать, для внутреннего употребления, для выверки собственных решений. «Хочешь получить предельно достижимое — потребуй невозможного». Он никому не навязывал этой формулы и не пропагандировал ее. Но сам так поступал и почти всегда выигрывал.

Наступившую тишину вдруг нарушил голос Гурского — заместителя начальника проектного отдела завода. Инженер назвал количество бетона, который надо взорвать, убрать из цеха и залить новый. Цифра солидная — четыреста кубометров. И земли надо вынуть из-под рольгангов триста кубических метров. Из рассуждения Гурского следовало, что сделать все это за пятьдесят дней очень и очень тяжело!

— Трудно — это правильно. Но ведь ты, Аркадий Алексеевич, не утверждаешь, что невозможно. А? — спросил Осадчий.

Гурский замялся. Произнести слова «возможно» или «невозможно» ему сейчас было, видимо, одинаково трудно.

— Чего это у вас поджилки вдруг затряслись? Мы-то с вами вроде бы обговорили все? — удивился Осадчий.

— А я все-таки выражу свои сомнения, потому что, если бы я их не выразил, то перед собою поступил нечестно.— Гурский покраснел и с видом обиженного человека сел на свое место.

— Ну что ж, приплюсуем и ваши законные сомнения.— Осадчий что-то черкнул в своем блокноте.

Осадчий знал, что сейчас первым пробным камнем всего плана реконструкции станут работы в трубоэлектросварочном цехе, на линии «1220», и ждал, когда слова попросит начальник этого цеха Калинин. Его-то Осадчий слушал особенно внимательно, ибо его цеху без помощи специалистов из монтажных организаций предстоит изготовить около ста тонн нового оборудования. Не менее восьмисот рабочих цеха — слесарей и сварщиков — должны будут превратиться в монтажников и рубщиков бетона.

— На два месяца людям надо сменить профессию, Яков Павлович. Это задачка! Были одни навыки, должны появиться другие,— сказал Калинин.— И программу еще цеху выполнять в общем-то теми же силами.

— Ты, Сергей Алексеевич, к чему клонишь? — спросил Осадчий.— Что забот будет много, или тебе тоже срок не подходит?

— И то и другое. Хочу обрисовать обстановку.

— Значит, цену себе набивашь, а это уже признак того, что справишься,— усмехнулся Осадчий.

Попросил слова Телешов, до сих пор молчавший, тот самый Борис Сергеевич Телешов, о назначении которого непосредственным руководителем работ на линии «1220» уже знали все присутствующие на совещании. Он был, так сказать, главный ответчик за все. И начал свою речь с того, что предложил идею укрупненной сборки оборудования.

— Может быть, товарищи, нам сделать так: мы в седьмом пролете оборудуем специальный стенд, узлы здесь укрупним, а на железнодорожной платформе подвезем к участку прессования. Получим выигрыш во времени.

— Я согласен в принципе,— кивнул Осадчий,— подробности уточним потом. В правильном направлении идете, Телешов!

Разговор на совещании начал принимать конструктивный характер. Это ободряло Осадчего. Когда люди озабочены поисками конкретных решений, значит, они осознали свою задачу и в душе уже считают ее выполнимой. Началась внутренняя мобилизация. А это очень важно.

Осадчий с удовлетворением отметил, что, называя сроки реконструкции, он мог ожидать куда больше сомнений и даже прямого сопротивления со стороны участников совещания. Он и сам колебался. И его мучили тревоги, тяжкие раздумья. Но никто об этом не знал, да и не мог узнать.

Есть одно правило, выверенное для Осадчего многими годами директорства. Можешь сколько тебе угодно раздумывать, сомневаться, взвешивать «за» и «против», но если ты, руководитель, вышел с предложением к людям — то будь тверд и решителен до конца. Иначе кто тебе поверит?

Поэтому, подписывая какой-либо приказ, принимая решение, Осадчий почти никогда их не отменял. Он ста-

рался не отменять и решений главного инженера, хотя имел на это право. Он поддерживал стиль выверенных и решительных действий, в реальность и мудрость которых должны верить те, кому предстоит совершить большие и на первый взгляд действительно невероятные дела.

— Ну что ж, пора подвести итоги, — сказал Осадчий, пряча в карман листы. — Главное решено, остальное по ходу событий будет корректировать сама жизнь и мы, грешные. Должен сказать, друзья, что я порой сравниваю наши заседания с доменным процессом. Вот мы, как шихту в домны, закладываем в наши головы общие идеи, размышления, впечатления, опыт. И все там крутится, варится. А потом происходит плавка, выдача нужных нам решений... У меня пока все! — поднимаясь из-за стола добавил Осадчий с легкой улыбкой. — Помните гагаринское «Поехали!»? Так вот, давайте и мы тоже трогать вперед, дорогие товарищи!

КУРС — РЕКОНСТРУКЦИЯ

Ранним утром в субботние или воскресные дни выезжают трубопрокатчики в свои дома отдыха. Едут на автобусах, на «Волгах» и ВАЗах в «Изумруд» — самый близкий, на озера Еланчик и Увельды.

Увельды лежит от Челябинска километрах в шестидесяти, но это не очень-то смущает любителей купаний, рыбалки. Едут даже зимой, в морозец, в снегопад, когда метет поземка или же завьюжит крепко, по-южноуральски, чтобы подышать удивительной чистоты воздухом, побродить по лесу, попариться в финской бане.

Небольшие коттеджи вблизи озера для своих рабочих и инженеров впервые поставил трубоэлектросварочный цех. Но место так понравилось трубопрокатчикам, что и другие цехи стали пристраиваться сюда, затем уж завком открыл столовую, клуб — так возник общезаводской поселок.

В самом Челябинске много заводов, но и озер вокруг города немало. Нынче редкое предприятие на Южном Урале не имеет своего, построенного с любовью и старанием, всегда живописно расположенного маленького курортного поселения. Строительство, начавшееся давно, в семидесятые годы приобрело особый размах. И думается мне, есть в этом новая черта инициативной, идущей от

самых заводчан заботы о своем быте, удобствах, здоровье, черта современной социальной жизни, в которой культура труда сливается с культурой отдыха.

Когда в один из дней февраля семьдесят второго года Борис Сергеевич Телешов приехал на Увельды, он за завтраком встретился в столовой с Вавилиным, супругами Тереховыми, увидел начальника цеха Калинина, мастера Падалко, сварщика Гончарука, да и многих других заводских коллег.

Телешов сел за один стол с Виктором Петровичем и женой его Верой. Они знали друг друга давно. Телешов был на восемь лет моложе, родился в Челябинске в тридцать четвертом, здесь же закончил школу и Политехнический институт, успел уже и возмужать, и облысеть па заводе. Про него можно было сказать, что он подлинный однолюб по отношению к родному городу, к родному заводу и привязанности своей менять не собирался.

Сразу же после института Телешов стал работать в конструкторском бюро Трубопрокатного, и здесь ему, начинающему инженеру, поручили дело, которое впоследствии стало для него главной заводской специальностью. Называлось оно механизацией и автоматизацией оборудования, а по существу, это была все та же реконструкция — непрерывное обновление, идущее в ногу с непреклонными требованиями времени и технического прогресса.

Обычно молодой специалист начинает свой путь на Трубопрокатном с какого-либо цеха. Там набирается навыков и опыта. Телешов же из конструкторского бюро вдруг перешел в цех, в самый большой — в трубоэлектросварочный. Он уже занимал должность конструктора, а попросился к стану, в сменные мастера.

Спуститься с четвертого этажа заводоуправления, где размещается конструкторский отдел, на поточную линию, в цех, да еще начать с должности мастера — это поступок в психологическом плане нелегкий для любого человека. Однако сам Телешов для себя оценивал этот поступок несомненно с чувством внутреннего удовлетворения. Я это понял, когда беседовал с ним.

Есть на заводах люди с тягой к вещной, реально зримой, руками осязаемой, хотя и тяжелой работе. Тяжесть их меньше всего смущает. Это люди с жаждой непосредственного делания и прямой личной ответственности за сделанное. К тому же они любят цеховую обстановку:

энергию, динамичность, физическое напряжение. Цехи притягивают к себе надолго людей определенного склада. Я не ошибусь, если скажу, что тут как бы сама работа отбирает и сортирует характеры.

Таков и Борис Сергеевич Телешов. Получив новую должность, он буквально ринулся в уже знакомую ему кипучую работу на стане «1220». К непосредственной же его реконструкции он приступил в декабре семьдесят первого.

Начальный период ее закончился успешно. В газетах печатались обращения, бригады с Трубопрокатного ездили в разные города на заводы-поставщики. Осадчий чуть ли не ежедневно что-то утрясал по телефону с директорами, звонил в областные комитеты партии, делал все, что мог, и даже то, на что и сам не рассчитывал. И в отпущенные полтора года, к удивлению и самого Телешова, подготовка к реконструкции была проведена.

Зимой на завод стали прибывать детали новых ниток рольгангов и гигантского кромкострогального станка, оборудование для новой трехдуговой сварки, части для реконструкции громадного пресса. Пришло время, как пошутил кто-то, «потрошить и сам цех изнутри» — готовиться к сложной операции замены оборудования.

Поскольку начало всякого дела, да еще и такой мощной и необычной программы, увлекало всех на Трубопрокатном, то Телешов и не удивился, когда Вера начала его расспрашивать о том, что творится на линии «1220».

Они вышли из столовой — Виктор Петрович, Телешов и Вера — двинулись в сторону озера по расчищенной лопатами дорожке. Ночью обильно шел снег, а с утра прихватил морозец, и снежок жестко и приятно хрустывал под ногами.

У берега стояли высокие ели, они близко подступали к домикам, протянув прямо к окнам отяжеленные снегом ветви. Солнце расплывалось тысячами веселых бликов на белой скатерти озера. Дышалось легко. Вера сказала, что у нее мечтательное настроение. Хочется безоглядно окунуться в эту тишину, раствориться в природе и забыть начисто все заводские дела.

— Да вот хочешь и — странное дело — не можешь. Не правда ли? — обратилась она к мужу, шедшему рядом с Телешовым. — Даже и здесь думается о заводе.

— Наша беда, что мы не умеем отключаться от всяких забот, на время отдыха хотя бы. Надо разом сбрасы-

вать все за барьер уже отшумевшего дня,— произнес Виктор Петрович.

— Я знаю, как ты сбрасываешь! На заводе день-деньской, а когда и до трех ночи. Не учи других тому, чего не умеешь делать сам,— сердито сказала Вера.

— Знаешь, как старики говорили: «Кто может, тот должен». Пока могу, работаю в таком темпе. И Борис Сергеевич также, и ты тоже, моя милая,— заметил Телешов.

— Ладно, живите как можете.— Вера махнула рукой.— Я вот у Бориса Сергеевича хочу в таком случае спросить, как вы там умудряетесь менять рольганги, не останавливая потока труб? Как это вам удается? Я спрашивала у моего,— Вера кивнула в сторону мужа,— да черта от него добьешься! Говорит — «секрет шестого цеха!» Нет, в самом деле — как?

— Ну какой там секрет, если его видят каждый день сотни рабочих. Просто сотрудники ЦЗЛ к нам редко заглядывают,— ответил Телешов.

— Нет, не редко, а только заскочив на десять минут, и не заметишь сразу, как вы там химичите, великие комбинаторы! — Вера была в хорошем настроении, и упрек Телешова нисколько ее не задел.

— «Химичите»? — Виктор Петрович слегка покривился.— Неуважительно и вульгарно. Нет, это изобретательность плюс продуманный риск, и то, и другое — как функция самой жесткой необходимости. Вот такая формулировка приемлема и отвечает правде фактов.

— Фу ты, как строго! Ну извини, прости, пожалуйста. Конечно, изобретательность. Я неловко выразилась.

Извинившись, Вера все же вопросительно смотрела на Телешова, ожидая объяснений.

— В общем-то все довольно просто. Чтобы взорвать фундамент под рольгангами и уложить новый, который предусматривает уже не четыре нитки рольгангов, а шесть,— начал Телешов с обычной своей обстоятельностью,— мы первым делом решили каждый рольганг поставить на металлические стойки. Это затем, чтобы рольганг поднялся бы над фундаментом, который необходимо сменить.

— Зрительно я представляю себе,— заметила Вера.

— Затем во время одного планового ремонта мы просверлили отверстия в бетоне, во время второго — бетон взорвали. Пустили рольганг,— продолжал Телешов,— а

под ним постепенно выбираем куски раздробленной бетонной массы. *

— Ловко! — вырвалось у Веры. — Значит, остановки в ущерб выполнению плана никакой?

— Да, пока.

— Это понятно. А вот такой вопрос. Во время взрывов осколки могут повредить оборудование. Не говоря уже об опасности для людей. Вы что, рабочих выводите из цеха?

— Нет. Просто место взрыва накрываем большими стальными листами. Там в яме гроыхнет крепко, снизу ударит в листы, и такой мощный звук рождается, словно бы в громадный колокол ударили. И знаете, Вера, образуется мощное эхо. Оно потом долго еще блуждает по цеху.

— А листы? — спросила Вера.

— А что листы! Им ничего не делается. Только вздрогнут во время взрыва и остаются на месте.

— Так! В общем-то здорово! — произнесла Вера. — Ну, а когда будете взрывать фундаменты под прессом или, скажем, кромкострогальным станком — там ведь листами котлован не накроешь. Велик больно.

— И тогда придумаем что-нибудь. Не у одного Телешова голова болит, — Борис Сергеевич постучал себя пальцем по лбу, — сработает коллективный разум. Есть уже разные предложения и варианты. Выкрутимся.

— Борис Сергеевич, я видела здесь Падалко. Он теперь у вас взрывник или арматурщик? — поинтересовалась Вера.

— Николай Михайлович-то! Он ведь мастер на линии «820». Когда начнем и эту линию реконструировать, — вполне серьезно, как бы не замечая иронии Веры, объяснял Телешов, — тогда подключится и Падалко. Но скорее всего на своем участке сварки.

— Все-то у вас предусмотрено, ребята, — улыбнулась Вера. — Всем-то вы дело нашли.

— Всем. А если из ЦЗЛ придут в цех сотрудники, хотя бы поработать на субботнике, то и вам отведем фронт работ.

— Вот именно, — поддержал Терехов. — Давай организуй там у себя трудовой поход, так сказать, на общественных началах.

— Нет, уж как-нибудь без ЦЗЛ перебьетесь. У нас своих дел вагон и маленькая тележка! Да и во взрывника мне, Борис Сергеевич, я думаю, поздновато переквалифицироваться.

— Между прочим, взрывников у нас как раз хватает. — Телешов улыбнулся Вере. — Молодежи нравится это дело. Что-то необычное, даже романтическое в наших условиях.

Они дошли до берега и повернули к домику Тереховых. Это был коттедж, оборудованный во вкусе Виктора Петровича — просто, скромно и удобно. Все для отдыха, лыжных прогулок, спокойного сна. Был и кабинетик для работы — стол у большого окна с видом на озеро и горбатый островок в километре от берега, похожий зимой на вмерзшего в лед седого верблюда. За озером на другом берегу — синеватый гребень дальнего леса.

Располагай Терехов большим временем — с каким бы удовольствием он приезжал сюда поработать над своей докторской диссертацией, связанной с проблемами сварки труб. Цехи завода предоставляли ему великолепные возможности для проверки возникающих технических идей.

Так случилось, что в последний приезд цех этот мне показывал не главный инженер и не Борис Сергеевич Телешов, а Петр Федорович Новиков, инженер, которого я раньше не знал. Он, как выяснилось, был одним из главных героев реконструкции.

Когда после пятилетнего перерыва я подходил к хорошо знакомому зданию цеха, мне показалось, что здесь ничего не изменилось. Заводской двор, маленький садик, вплотную примыкавший к цеху, — все тут выглядело так же, как и прежде. Быть может, только кустов жасмина да невысоких елочек и лип стало побольше.

Казалось бы, только вчера я вот так же открывал простенькую дверь с потрескавшейся краской и вступал на бетонный пол с мелкими щербинками, выбитый, вытертый тысячами грубых и крепких рабочих ботинок. Эта дверь вела в один из темноватых коридорчиков, он, в свою очередь, упирался в другую дверь, такую же неказистую, с деревянной замасленной ручкой. А за этой второй дверью неожиданно открылся простор цеха.

Нет, я не оговорился, именно простор, хотя, казалось бы, слово это не вяжется с представлением о цеховых пролетах, какими бы длинными они ни были. И не в длине тут, видимо, дело. Ощущение простора возникает от масштабности всего, что видишь перед собою, от мощи, которая исходит от каждого стана, от каждой автоматической линии,

Не знаю, много ли у Осадчего дизайнеров — людей, думающих о художественной выразительности конструкций. Но уверен, что главным дизайнером здесь стала побудительная сила, продиктованная самим временем, заставившая заводской коллектив стремиться к индустриальной гармонии, красоте и целесообразности.

Но вот странно: когда я хотел отделить старое от нового и новое от новейшего, представить себе реально плоды реконструкции, то, к удивлению своему, многого сразу заметить не мог!

И в самом деле, как определить на глазок изменения в мощности двух гигантских формовочных прессов, которые легко, одним нажимом сгибали плоские стальные листы в овальную форму. Я стоял около них, задрал голову, и мне представлялось, что эти махины такими же были и пять лет назад.

Но когда я сказал об этом Новикову, он как будто бы даже немного обиделся. Он сделал шаг назад, как бы разглядывая станы. Я смотрел на него. Выше среднего роста, худощавый, он понравился мне сразу немного застенчивой манерой держаться, простотой и неподдельной скромностью. С заражающей энергией он старательно объяснял мне все, что мог объяснить и показать в трубоэлектросварочном. Двигался он по всем мостикам и переходам легко, привычно, я бы сказал с солдатской выносливостью.

— Новый пресс очень отличается от старого, хотя и стоит на том же месте, — сказал Новиков. — Очень отличается, — повторил он. — Тот, прежний, работал с максимальным усилием в тринадцать тысяч тонн, а теперешний — ого! — давит с силой в двадцать тысяч тонн. Чувствуете, какая разница?

— Да, конечно, — согласился я, хотя разницу, честно говоря, не улавливал. Пресс работал быстрее на какие-то доли минуты, но и эта экономия времени на каждой заготовке давала за сутки значительный прирост производительности.

Такой же скачок в производительности принесла и замена четырех ниток рольганга на шесть.

Новиков спросил меня, вижу ли я это?

Я утвердительно кивнул, мысленно упрекнув себя в недостатке наблюдательности. Две новые линии рольгангов я должен был заметить. Я бы сравнил их с железнодорожными путями, с той разницей, что по ним катятся

не вагоны, а трубы. И естественно, чем больше путей, тем больше они пропускают труб.

— А вот длина путей уменьшилась,— заметил Новиков.— Мы нашли возможность сократить путь трубы внутри цеха, открыли и еще один, пожалуй главный, источник увеличения производительности.

— В чем же он заключается? — заинтересовался я.

— В скорости сварки. Вместо двух — три вольтовые дуги теперь на станах. Варим вдвое быстрее.

Мы прошли с Новиковым к пульту наружной сварки труб на линии «1220». Я остановился, наблюдая за ходом работы. Петр Федорович предложил мне сесть на скамейку, которая стояла на рабочей площадке. У сварщика, находящегося за пультом, была другая скамейка для отдыха, эта же предназначалась для электриков, слесарей, ремонтных рабочих, для мастеров, начальника смены, для всех, кому по той или иной причине надо работать около стана, не мешая самому сварщику и не отвлекая его.

Во всяком непрерывном процессе, особенно связанном с превращениями раскаленного металла, с технологическими метаморфозами сварки, всегда есть завораживающая сила. Люблю наблюдать за движением труб мимо сварочных пультов, люблю смотреть на то, как бежит по металлу огненная змейка шва и, дойдя до конца трубы, замерев на несколько секунд, как бы делает быстрый прыжок на другую трубу, и вот уже скользит по ее боку, метр за метром, проделывая путь, который здесь, в трубоэлектросварочном, за сутки исчисляется десятками километров. Возле пульта в общем-то тихий уголок. Только позванивают, попрыгивая на роликах рольганга, трубы, шипит, пофыркивает сварочный агрегат, и говорить можно, лишь напрягая голос. Но, слушая Петра Федоровича, я наклонял голову к его лицу, стараясь лучше услышать, уяснить, почему именно так значительно возросла скорость сварки.

— Существует еще и такая закономерность: если установить на стане особый вибратор, придающий колебательное движение электродам, то шов получается лучше,— Новиков вопросительно смотрел на меня, а я кивал, мол, понял,— а на трехэлектродную систему — я вам о ней говорил — мы переделали все станы. Прибавили скорость в одном звене цепи, пришлось расшивять всюду, по всей длине цепочки, все узкие места. Короче говоря, отсюда началась цепная реакция реконструкции.

Он сказал о ее начале. Ая подумал, что не столь уж важно, где именно произошел первый толчок: на участке ли сварки, формовки, кромкострогальных станков или плазменной резки труб. Важно неодолимое, продиктованное самим временем желание и необходимость следовать за новейшими открытиями науки, повсеместное стремление к высшему уровню техники.

Вот тут-то и заложена главная политическая и нравственная побудительная сила, ведущая к реконструкции на заводе. А затем уже определились действия людей, окрыленных сознанием, что их усилия служат достойной цели. Ибо только тогда дело движется по-настоящему успешно, когда и общественная оценка деятельности коллектива и каждого в отдельности полностью совпадает с задачами пятилетки, с подлинными интересами всего общества.

ВЗРЫВ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Послужной список Петра Новикова начался в сорок четвертом году, когда семнадцатилетнего парня призвали в армию; служил он в Тюменской области, учился владеть бронебойным оружием. Затем молодых воинов уже собирались отправить на фронт, но в тот же день было объявлено о конце войны.

И тут вышла солдатам роты, в которой служил Новиков, совсем другая дорога, не к Берлину, а на Север. Новиков и его товарищи приехали в места суровые и малообжитые.

— Холод! Растительности почти нет. Кислорода в воздухе не хватает. Бураны! Жили в палатках. Две зимы. Такие бывали ураганы, что палатки сносило. Потом со временем отстроились,— рассказывал мне Новиков. Подумал и добавил: — Были мы ребята — семидесятой ширины! — Он усмехнулся, задумался. Может быть, перед ним проходили картины воинской жизни в этих суровых местах, на крайних форпостах страны.

Он не хвастал пережитым, но и не старался выглядеть бодрячком, которому все нипочем. В спокойной интонации негромкого, с легкой хрипотцой голоса чувствовалась уверенность, что собеседник сам оценит обстановку и прямую связь суровой природы с закалкой характера. И он был прав. Все мы и по образованию, и по опыту жизни имеем достаточное представление о том, как живут

или же в определенные годы могли жить люди в разных концах страны.

Раз не сломался — значит, выдержал, а выдержал — значит, окреп, возмужал, духовно и физически. У Новикова сохранилось к тому еще и письменное свидетельство. А именно, диплом о присвоении второго разряда по гимнастике, который он получил на Севере.

Был у Новикова в армии дружок, который демобилизовался на год раньше, приехал в Челябинск и поманил сюда Петю. Увлеченный тогда своими спортивными успехами, Новиков хотел даже превратить увлечение в профессию. Он определился на должность председателя районного комитета физкультуры и спорта, намереваясь вскоре уехать учиться в Москву. Неожиданно для своих знакомых Новиков весной пятьдесят второго пришел на Трубопрокатный завод, поступил на должность подкранового рабочего, то есть начал с самых низов, и, имея за плечами всего семь классов образования, записался в школу рабочей молодежи. Новикову было тогда двадцать пять лет.

Совмещать учение и труд вообще нелегко, а заводскому человеку — особенно. Но ведь и на заводах тоже разные должности, и одно дело сидеть в какой-нибудь конторе, а другое — в горячем цехе отстоять смену у пышущего огнем стана, а потом вечером садиться за парту.

За этой партией Петр Федорович познакомился с Майей Ивановной, ставшей его женой. Вскоре родилась у них девочка — Люба. Петр Федорович с улыбкой вспомнил, как его жена, будучи беременной, не уместалась за школьной партией и мучилась от этого. Однако занятия не бросила. После школы закончила техникум и стала бухгалтером в цехе, а Новиков — к тому времени подручный сварщика в горячем цехе — в пятьдесят седьмом году пошел учиться в институт.

Именно тогда он отчетливо, всем сознанием, всем сердцем понял, как правилен был его выбор. Вряд ли физкультура принесла бы ему ощущение той полноты жизни, которую он испытывал в этих своих трудных, перегруженных до краев, утомительных, но очень интересных буднях. Новиков понял, что он создан для производства.

Постепенно он поднимался по служебной лестнице: сварщик, бригадир, мастер, старший мастер. И чем выше ступенька, тем меньше становилось у него свободного

времени, ибо добавлялись новые заботы, росла ответственность.

В цехе менялись смены, и Новиков, учась на вечернем факультете, то и дело пропускал занятия. Приходилось готовиться дома самому. И все-таки он успешно закончил институт, все выдержал и преодолел, как когда-то в юности на Севере. Из этого своего десятилетия почти непрерывной учебы и работы Новиков вынес ощущение уверенности в себе.

Первая кардинальная реконструкция 1963 года застала Новикова в должности начальника смены, молодой инженер и старый производственник, он соединил тогда в себе свежесть только что полученного образования с накопленным годами опытом. Но он участвовал в той реконструкции, как сам выразился, лишь косвенно.

— Помогал людьми из своей смены.

Однако вряд ли слово «косвенно» точно определяет характер непосредственной работы, которую осуществляли и сварщики Новикова, и сам он — опыт все же накапливался: то, что происходило тогда в цехе, совершалось на глазах у Петра Федоровича.

Теперь же — в начале семьдесят второго года — на плечи Новикова легла прямая, во всем объеме и во всей своей полноте ответственность за реконструкцию второго стана «820». И хотя несколько раньше Борис Сергеевич Телешов завершил третий, и финальный, этап на стане «1220» и Новиков многое уже мог взять из его практики, тем не менее перед ним стояли свои трудности.

Чем ближе подходил самый ответственный этап — пятьдесят дней, тем больше Новиков сосредоточивался на буровзрывных работах. Тут он был полным хозяином.

Предстояло заменить фундаменты в цехе почти подо всеми крупными агрегатами. У одного кромкострогального станка, занимавшего в длину метров тридцать, надо было сменить три фундамента, из них два — в период пятидесяти дней. На очереди стояли фундаменты правильной машины, пресса окончательной формовки, экспандера...

В порядке подготовки к самому главному Новиков решил максимально использовать так называемые плановые ремонтные сутки. В это время линия останавливалась, около нее бурились скважины для взрывчатки, в них закладывался тол и динамит и производились взрывы с соблюдением необходимых мер безопасности.

Работы велись быстро, но не торопливо. Никто не отменял старое фронтное правило: «Сапер ошибается лишь раз в жизни». Поэтому и работы такого рода велись с помощью специалистов из организации, которая называется «Буровзрывпром». Все намеченное необходимо было закончить в одни сутки. Рассчитывалась каждая минута. Пока взрывали, линия, естественно, стояла: обычно это происходило ночью, к утру убрали раздробленный бетон, и все уже было готово к пуску линии. Трубы вновь катились по ролямгангам.

По той же самой системе там, где это можно было сделать, в дни плановых ремонтов производилась установка арматуры и заливка бетона под новые фундаменты.

Новиков всегда присутствовал при этом. Он тогда заранее планировал не только график работ, но и бессонную ночь. Никто не заставлял его находиться в цехе в ночные часы. Он сам не мог уйти домой, переложив хотя бы часть своей личной ответственности на чьи-либо плечи.

Я пишу сейчас об этом периоде в жизни Новикова, о боевых для него, в полном смысле этого слова, днях и ночах с некоей опаской. Всякого рода авралы сейчас не в моде, во всяком случае — в литературе. Чрезвычайные обстоятельства берутся под сомнение с точки зрения их необходимости. Всякого рода жертвенность, даже в отношении потраченного времени, по преимуществу списывается на организационную неразбериху, расхлябанность. Герои производственных штурмов, которые еще случаются, чаще всего аттестуются теперь как жертвы плановых просчетов.

В принципе все это верно. Применительно к основным тенденциям развития нашей индустрии тоже справедливо. Налаженный ритм производства должен быть адекватен и налаженному ритму жизни рабочего, инженера, директора.

Но всякая истина конкретна. И то, что гладко на бумаге, в жизни часто бывает осложнено обстоятельствами. Но кто может оспорить высокую прогрессивность того, что происходило в трубоэлектросварочном цехе? Можно ли было провести такую большую реконструкцию, остановив цех только на два месяца, сменить почти все оборудование, не снижая плана — и при этом не пойти на некоторое напряжение, на дополнительные нагрузки, которые легли на плечи трубоэлектросварщиков?

Всякий реально мыслящий человек скажет, что иначе поступить было нельзя. Люди работали много, больше, чем обычно. Но работали не по принуждению, не вяло и скучно, а делали интересную и увлекающую их работу, делали с радостью и энтузиазмом. И это чувство удовлетворения и душевного подъема, которые они испытали в результате своего труда, с лихвой компенсировало им временную усталость или лишние часы, проведенные в цехе.

Впрочем, последнее касалось главным образом не рабочих, а тех, кто руководил ими, и больше всего самого Новикова. Он же как о чем-то хорошем, очень значительном в его жизни вспоминал о напряженных днях реконструкции.

«Гремят мирные взрывы в цехе!» — писала в те дни заводская многотиражка. Новикову надо было торопиться. На линии «1220», у Телешева, общий объем реконструкции был меньше, а сроки — все те же пятьдесят дней полной остановки стана. Значит, выход был только в одном — в еще большей интенсивности, темпах, споровке.

Главный пик реконструкции наступил 22 декабря 1972 года. Время самых мощных взрывов, самого важного демонтажа и монтажа нового оборудования.

Новиков сказал мне:

— Мы остановились двадцать второго декабря, под Новый год. А нормально поехали уже двенадцатого февраля семьдесят третьего. Ровно пятьдесят дней! Уложились, черт побери! Скажи раньше, что так получится, — сам не поверил бы!

«Нормально поехали!» — значит, пустили линию в эксплуатацию. Гагаринское «поехали» стало знаменитым и общеупотребительным на заводе. Быть может, в нем таился понятный всем знак общей сопричастности с высшим взлетом нашей техники? Или же в данном случае выражение личной, Петра Федоровича Новикова, гордости за быструю реконструкцию трубосварочного стана. Однако поздно вечером тридцать первого декабря семьдесят второго года, в воскресенье, то есть только через девять дней после полной остановки линии, ни радостного настроения, ни спокойной уверенности в том, что срок будет выдержан, у Новикова еще не было, да и не могло быть.

На тот день планировался второй и самый мощный взрыв на котловане демонтированного прессы-гиганта.

В первую смену еще не успели подготовиться, а во вторую не приехали взрывники, которых с нетерпением ждали.

Новиков позвонил в заводоуправление главному инженеру и спросил, что делать.

Была уже половина пятого, над заводом сгущались ранние декабрьские сумерки. Внезапно густо пошел снег. Он валил крупными, пушистыми хлопьями, и от этого стало еще темней. В воскресный день заводоуправление пустовало. Все готовились к новогодней ночи. Однако Терехов приехал на завод. Новиков и трубку-то поднял только после того, как диспетчер сообщил ему, что главный у себя.

— Вы на заводе? — с несколько наигранным удивлением спросил Новиков, поздравив с наступающим.

— Причина одна, Петя, — надо удостовериться, что все в порядке, а чарки мы успеем поднять. Как взрыв?

— Мы готовы, нет взрывников. Воскресенье! Боюсь, что не придут вовсе, — вздохнул Новиков.

— Думаешь, уже провожают старый год?

— А чего же. Некоторые начали уже в субботу.

— Да, я вам скажу — новогодняя ситуация! — сказал Терехов и тоже вздохнул.

Оба помолчали. Новиков подумал о том, что Виктор Петрович может дать команду — перенести взрыв на вторник, второго января. Но для цеха это будет означать потерю двух суток. Новиков решил, что на это, если и последует такое предложение, не согласится.

— Так как? — снова спросил Терехов.

— Надо звонить, добиваться, пусть разыщут взрывников в любом виде.

— В любом виде — не пойдет, да и что звонить, вызвую машину и еду сам, — решил Терехов. — Вы ждите, если найду хоть одну живую душу — привезу.

— Ждем с надеждой, еще время есть, — обрадовался Новиков.

Он звонил прямо с участка, а сейчас пошел к лифту, который поднимал на четвертый этаж, где располагались все цеховые управленческие службы. Поднялся, прошел по коридору и открыл дверь в кабинет начальника цеха. Сам Калинин, механик участка формовки Шаповалов, наладчик Журомский и еще несколько человек находились здесь. Все они имели непосредственное отношение к предстоящему взрыву и решили пока не уезжать с завода.

Любое вынужденное ожидание — томительно. А уж особенно в предновогодний вечер, всегда волнующий одним сознанием того, что год — нелегкий, интересный, насыщенный событиями — прошел и наступает новый, со своими радостями, огорчениями, надеждами. Быть может, и есть люди, начисто освобожденные от этого трепетного, немного суеверного томления души в канун Нового года. Если и есть, то их немного.

Необычное это состояние, охватившее всех, кто сидел сейчас в кабинете Калинина, усиливала еще и тишина в конторе, непривычное безлюдие. Рабочие были только внизу, в пролетах действующей непрерывной линии «1220», там еще трудилась вторая смена, которая к одиннадцати вечера должна была уйти, уступив место ночной.

Чтобы как-то рассеяться, Калинин включил телевизор. Большой черный ящик стоял у окна, выходившего на заводской двор.

— Ага, заработал, Сергей Алексеевич, а я и не знал! — сказал Новиков, взглянув на приемник служебного и внутрицехового телевидения, который показывал только одну программу, а именно, программу выполнения производственного плана. На голубом экране обозначились очертания пролета формовки, рольганги, по которым катились трубы. Нажимая кнопки, на экран можно было вызвать любой участок трубоэлектросварочного.

Конечно, красиво и удобно, особенно это впечатляло гостей цеха, но видеть, подмечать — этого начальнику цеха было уже маловато. Телевизор пока не представлял возможности прямого вмешательства и что еще важнее — непосредственного общения с людьми. Правда, иногда выручала комбинация телевизора с телефоном, когда для того, чтобы лишний раз спуститься в цех, уже просто не хватало времени.

Во всяком случае, по поводу потухшего на две недели телевизора в цехе не вывешивалась очередная «тревога». А «тревоги» — это броские и требующие немедленного ответа плакаты, появлялись уже несколько раз по инициативе рабочих и штаба реконструкции. Поводов хватало: то в одном месте образовался узкий фронт работ, над каждым агрегатом висел кран, монтажникам негде было развернуться, то срывался график подводки трубопроводов к одному из прессов, то возникла проблема расширения помещения насосно-аккумуляторной станции,

«Тревоги» чередовались с «молниями». «Молнии», писавшиеся большими красными буквами, объявляли благодарность тем, кто вел работу с опережением графика. «Молний» было больше.

Ну как, Петр Федорович, «тревогу» уже вывесил на счет взрывников? — спросил Калинин, когда Новиков пододвинул к себе стул и устроился у телевизора таким образом, чтобы видеть пролеты и свободно вытянуть ноги, уставшие за день от беготни по цеху.

— Цель «тревоги» — чтобы ее почувствовали виноватые, а если они отсутствуют, то по кому же бить? — ответил Новиков.

— Все равно спрос с нас будет.

— Это уж точно.

— Ждать да догонять, хуже нет, — пробурчал Шаповалов.

— Что дома-то о нас подумают? — подхватил Журомский. — Спятели-де совсем мужики. Сейчас положено жен и детишек целовать, поздравлять с наступающим.

— Да не скули ты, ради бога, Геннадий Маркович, родные нас как-нибудь поймут, а вот если план сорвем годовой — поймут ли нас в министерстве? — Калинин первым засмеялся, но не очень весело, и махнул рукой, как бы говоря, что уж лучше сейчас помолчать или же касаться иных тем, чтобы не портить себе настроение. Включили другой телевизор, передающий концерт из Москвы. Теперь можно было видеть, как пляшут на сцене Колонного зала Дома союзов и как движутся трубы по конвейеру сварки. Одновременно.

— Вот она, цивилизация, ребята, — сказал начальник цеха. — Если бы еще увидеть главного, как он взрывников ищет, совсем было бы интересно.

— НТР в реальном виде обступает нас со всех сторон, — заметил Новиков и добавил: — Уж полночь близится, а взрывников все нет!

Но на эту его шутку никто не ответил улыбкой.

Терехов привез взрывников только к десяти вечера. Даже и ругаться с ними уже не было времени. Тотчас же все отправились на участок формовки, к прессу. Начали забуривать скважины, закладывать заряды. Все были так сердиты, что и разговаривать друг с другом не хотелось. За работой, в спешке не заметили, как время подкатило к двенадцати.

Кто-то спохватился, крикнул:

— Товарищи, через десять минут Новый год!

Новиков услышал голоса:

— Эх, не догадались бутылку шампанеи захватить из магазина. Сейчас бы хватило холодненького!

— И покрепче можно было бы!

— В цехе-то! Не полагается.

— А Новый год тут, на бетоне, встречать полагается? Подкрановые балки обнимать?

— Ну и что! Въезжаешь в Новый год за работой. Значит, весь год все хорошо будет получаться. Примета есть.

— Иди ты со своими приметами, понял?

— Понял, понял, перехожу на прием...

Ровно в полночь, взглянув на часы, Калинин поднял руку и дал команду всем остановиться. Не сговариваясь, а как-то так уж получилось — все трубосварщики потянулись к начальнику цеха, собрались вокруг него кучкой. Калинин поднял шапку над головой. Произнес, пожалуй, самую короткую свою речь в цехе:

— С Новым годом, товарищи! С нашим новым цехом. Пусть все будет хорошо. И продолжим работу, ребята!

...Взрыв подготовили только к двум часам ночи. А около трех Новиков покинул цех. Трамваи не ходили, домой шел пешком. К утру морозец самый жесткий, хватал за щеки, за уши, однако дышалось хорошо. Новиков смотрел на освещенные окна, не каждую ночь увидишь такое — чуть ли не из каждой форточки гремела музыка и слышались песни.

До кинотеатра «Аврора», около которого он жил, — ходьбы минут сорок от завода, если не торопясь. Он и шагал не торопясь, рассчитывая отоспаться утром, когда разойдутся гости.

Впервые так случилось — встречать Новый год в цехе. А что особенного? Не один он такой, работают ночные смены, люди трудятся там, где есть непрерывное производство, — на электростанциях, у домен, у мартепов. Усталость, которая разлилась по телу, и ощущение некоторой досады, что не посидел со своими за праздничным столом, — все это ерунда. Другое важно, думал тогда Новиков, чтобы всегда пребывала в душе радость от сознания, что все сделано хорошо, быстро. Важно, чтобы приходило почаще то теплое, почти физически осязаемое чувство удовлетворения, с которым и шагал домой Новиков по своей улице Гагарина в эту памятную новогоднюю ночь.

Когда я ходил по цеху с Новиковым, а потом и с Телешовым, или же бродил сам по хорошо знакомым мне маршрутам, то невольно ощущал в трубоэлектросварочном какую-то новую и приятную атмосферу: стало легче дышать. Я почувствовал, что воздух стал свежее, чище, сейчас мало чем отличаясь от того, что был за стенами цеха, на заводском дворе.

Я как-то сказал об этом Новикову.

— Миллион рублей,— ответил он.

— Что? Какой миллион? — не понял я.

— Из двух с половиной миллионов рублей, которые были потрачены на реконструкцию нашего стана, вентиляционные работы потребовали миллион,— пояснил Петр Федорович.— Вот сколько денег, а следовательно, и сил потрачено на очистку воздуха в цехе.

— Много!

— Еще бы! Это, между прочим, иллюстрация к тому, что в наши дни подлинная забота о здоровье людей на производстве стоит немало.

— А с другой стороны,— сказал я,— доказательство того, что теперь заводы, государство могут тратить такие деньги на эту заботу.

— Конечно,— согласился Новиков.— Цех у нас, как видите, огромный, но и сварки очень много, плавящегося флюса, едких паров. У нас и прежде была система вентиляции, но значительно примитивнее нынешней. Сейчас мы заменили ее мощной подачей кондиционированного воздуха почти на все участки цеха.

Я невольно позавидовал:

— У нас в Доме литераторов такого нет, летом в кинозале — помрешь от духоты.

Новиков усмехнулся, видно, хотел что-то сказать, но удержался. Может быть, хотел резонно заметить, что существует разница и достаточно существенная между сваркой труб и просмотром кинофильмов. Но он только пожал плечами, как бы говоря: «Ну, у вас там одно, у нас другое».

Новиков показал мне на кабину машиниста пресса на линии «820», как раз мы находились около нее, и заметил:

— Мы подаем охлажденный воздух вот в эти закрытые кабины машинистов прессов.

— В них оператору жарко?

— Жарковато.

— Даже и зимой?

— В общем-то в цехе температура всегда примерно одинаковая, вы же знаете, что мы и зимой ходим здесь в костюмах.

— А как с вентиляцией на рабочих местах сварщиков? — Мы с Петром Федоровичем шли к сварочным стандам на линии «820».

Ведь если без охлаждения воздуха жарко работать машинисту пресса, то сварщик, стоящий у пульта, в полуметре от рокочущей вольтовой дуги, еще более нуждается в освежающей прохладе, которая бы сохранила ему силы и бодрость до конца смены.

— Вот на пульты сварщиков мы и обратили наше главное внимание, — ответил Новиков. — На пультах внутренней сварки мы наш «кондишен» можем сфокусировать более точно, чем на станах наружной сварки. Там есть, да вот они, — показал рукой Новиков, когда мы подошли совсем близко к стану, — новые остекленные кабины. Внутри, как говорится, «под стеклянным колпаком» сидит и сам человек — хозяин аппаратуры.

Петр Федорович добавил еще, что летом воздух подается в цех охлажденный, а зимой подогретый. И что в первом и во втором случае свежий воздух вытесняет загазованный и вредный. Впрочем, это было очевидно и без пояснений.

Я же подумал тогда, что вот эта часть реконструкции, требующая больших затрат и прямо «не работающая» на ускорение выпуска труб, безусловно, в замысле своем, да и в конкретном осуществлении, не обошлась без профсоюзного влияния. Я имел в виду тех завкомовцев, которых знал сам, и прежде всего Валентина Крючкова. Ему-то, много лет проработавшему сварщиком, нынешнему блюстителю интересов рабочих, должна быть особенно близка забота о их здоровье.

Вспомнились прежние бурные заседания заводского комитета профсоюза, выступления членов комитета, рабочих, которые давно уже справедливо требовали, как могут требовать хозяева завода, чтобы во всех цехах создавался оптимальный — с точки зрения медицины, — самый удобный микроклимат, способствующий лучшему самочувствию рабочих.

Бывает так: подумаешь о ком-либо, а он тут же и появится перед твоим взором, как будто таинственные биотоки притянули человека. Не было ничего неестественного в том, что, находясь на линии «820», где работает Николай Падалко, я вспомнил о нем. Ведь не раз и по многим вопросам он выступал с Валентином Ионовичем единым фронтом.

Я подумал тогда о Падалко, и вдруг он сам показался в полете.

Николай Михайлович подошел к нам улыбаясь. Я давно заметил эту его привычку — улыбаться еще издали, на подходе, и слегка вытягивать руку вперед, как бы приготавливая ее для рукопожатия. Что проявлялось в этом жесте? Просто ли вежливость воспитанного человека, привычка ли выражать всякий раз особое благорасположение к собеседнику? Не знаю! Знаю лишь то, что улыбчивые люди не всегда самые добрые, уверен и в том, что именно у Николая Михайловича улыбка чаще всего зеркальное отображение его доброжелательности к людям.

Я не видел Падалко пять лет, но для него, сильного, крепкого человека в расцвете зрелых лет, — срок невелик, чтобы измениться внешне. К тому же улыбка, так же как и человеческий голос, очень редко меняется.

Мы поздоровались, помолчали, глядя друг на друга. Падалко — спокойно, приветливо и выжидающе, должно быть, приготовился к вопросам. Я же с душевным расположением, с тем живым интересом, который свойствен человеку, чувствующему себя даже в некоторой степени ответственным за судьбу своих героев.

— Снова к нам?

— Приходится. Вон вы снова проделали у себя техническую революцию.

— Что говорить, по сути дела, все основные технологические линии в корне перестроили, — заметил Падалко.

— И долго вы будете все перестраивать, Николай Михайлович?

— Долго ли?

Падалко на мгновение задумался и, усмехнувшись, произнес почему-то с легким вздохом:

— Да, наверно, всю жизнь. Завод — он всегда в движении.

«Всегда в движении!» Это было сказано не только вер-

по, но и с тем обобщающим смыслом, который целиком отвечает характеру научно-технической революции.

«А что же делал сам Падалко в период реконструкции?» — подумал я. Что-то ведь он делал, хотя и работал все время мастером на линии? Мне было интересно узнать, каков был его личный вклад в перестройку цеха.

— Разное приходилось делать, разное, — ответил он.

— А все-таки?

— Он вибраторы ставил, — подсказал Новиков.

— Интересной была работа, — подхватил Падалко. — Ну, и немного на буровзрывных работах, вот с Петей вместе. — Он кивнул на Новикова. — Своей работы я не оставлял. Тогда весь цех у нас трудился, прямая была заинтересованность взрывать и ничего не повредить. Наше ведь хозяйство...

Должно быть, слова об ответственности за весь цех напомнили в ту минуту Николаю Михайловичу и о других важных заботах.

— Хотите знать, что мучило нас, особенно в период пятидесяти дней? — вдруг спросил он меня.

— Что же?

— Поставка оборудования. Заводы-поставщики опаздывали. Мы ждали, нервничали. А сейчас беспокоит не оборудование, а перебой с металлом. Вот какая история! Обидно бывает до черта. — Падалко взглядом как бы призывал Петра Федоровича подтвердить правильность его слов. — Только наладим часовой график и вдруг — бац! Нет стальных листов. Остановка линии!

— А нормативный запас на заводе?

— Должен быть по приказу министра, но его нет. Нам металл поставляют и Урал, и Украина, и Сибирь. Из центра страны получаем. И все же часто работаем буквально «с колес». Хватаем, как только привезут. В таких условиях трудно планировать производство.

Герой Социалистического Труда, мастер Падалко говорил сейчас так, как мог бы говорить директор Осадчий. Конечно, их разделяло служебное положение, но не мера ответственности, которую каждый на своем месте определяет для себя как производственник, как коммунист. В этих с болью произнесенных словах прозвучала забота настоящего хозяина своего цеха, хозяина рачительного и требовательного, для которого его обязанности перед заводом, перед товарищами были не менее, если не более,

важны, чем права, которыми он тоже с сознанием долга и ответственности умел хорошо пользоваться.

Подумав, что мое замечание должно понравиться Падалко и как-то подогреть его хозяйское чутье, я совершенно искренне посетовал на то, что мне вначале не так-то легко было определить прирост продукции на полмиллиона тонн, ибо новое здесь как бы вдвинуто, впрессовано, органически слито с привычными контурами старого.

— Верно, — согласился Падалко, — тут глаз нужен наметанный. Но ведь это и в жизни так, и с людьми тоже.

— Что именно?

— Да не просто отделить новое от старого. Человек живет, меняется, что-то в нем прорастает, что-то отпадает. Но до поры до времени, не все сразу проявляется.

— Но согласитесь, Николай Михайлович, порою ведь можно рельефно выделить это новое, прощупать его пальцами, — сказал я. — И завод в целом, если можно здесь применить спортивную терминологию, — «сильно прибавил» не только в объемах производства, но и в классе работы, в качестве.

— Прибавил, это точно. Вы замечаете, и мы это чувствуем, как говорится, — на ощупь. Наши товарищи и отчитывались об этом на слете победителей соревнования.

Я знал, что Николай Михайлович должен был ехать в Магнитогорск в числе лучших людей завода.

— Совпало с отпуском, я не поехал тогда на Магнитку. И знаете, очень жалею, — сказал он. — Поездки, они вообще не только писателям полезны, но и нашему брату — рабочему. Расширяют кругозор. Можно многое сравнить, сопоставить. Я вам так скажу — от этого умнеешь. А ведь нам надо далеко смотреть вперед. Вы наши планы знаете, они не на год и не на два. И эту пятилетку захватим, и всю следующую, десятую.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

12 июля вечером из Челябинска в Магнитогорск отправился специальный поезд. Делегаты съезжались в Магнитку, чтобы отметить здесь традиционный праздник металлургов. Гости — литераторы — тоже были внесены в списки участников слета, но выехали из Челябинска, Златоуста, Арши на несколько дней раньше.

В то теплое утро, когда наш поезд листал километры зеленовато-желтого степного простора, когда на горизонте стали появляться первые строения славного города и постепенно поднималась в небо мощная корона домен, оплетенных толстыми венками трубопроводов, я думал о тех, кто вот так же из окон специального поезда будет смотреть на эту степь, эстакады, мосты, рудные выработки и многокилометровые «коробки» мартенов с густо коптящими сигарами труб.

Валентин Крючков еще в Челябинске показал мне список делегатов от Трубопрокатного. Иных я знал, фамилии других слышал впервые, но не сомневался, что на заводе отобрали самых достойных.

В том же поезде должны были приехать Осадчий и еще два директора крупнейших металлургических предприятий Челябинска — Владимир Николаевич Гусаров и Николай Алексеевич Тулин.

Кто-то из наших товарищей заметил однажды, что Осадчий, Гусаров и Тулин — маршалы промышленности. Руководители могучих предприятий не только в масштабах своей «республики металлургии», но и всей страны, они призваны быть людьми стратегического мышления, с обостренным чувством перспективы.

Я сейчас далек от мысли оценивать и сравнивать трех директоров, каждый из которых, безусловно, своеобразная и сложная личность. У меня скромная задача — наметить некоторые тождественные черты, порожденные общностью проблем и, быть может, как-то отраженные в приметах группового портрета.

К Гусарову на Электрометаллургический мы поехали сразу от Осадчего. Едва машина миновала ворота проходной, где образовалась пробка от самосвалов, едва справа и слева от главной заводской магистрали появились большие цехи, на нас повеяло ощущением индустриальной мощи. Оно охватывает всякого на Трубопрокатном и еще более усиливается в «хозяйстве» Тулина на Челябинском металлургическом заводе, площадь которого так велика, что исчезает представление об обычной замкнутости внутризаводского пространства.

Размышляя о чертах сходства, я бы начал с того, что отметил монументальную масштабность трех заводов с тенденцией непрерывного расширения и увеличения. Укрупнение заводов мне представляется своего рода знаменем времени. Не серия мелких или средних предприя-

тий в разных местах, а создание базовых заводов с определенной специализацией, с концентрацией больших мощностей.

Должно быть, именно такое решение отвечает возможностям наибольшей автоматизации производства, введению новейших средств управления, созданию эффективных поточных систем — одним словом, теперешнему этапу научно-технической революции.

Когда в одном из цехов электрометаллургического комбината стоишь у заслонок плавильной ванны, где с устрашающим треском искрятся огромные электроды, бушует электрическое пламя, то тебя охватывает трепетное ощущение причастности к великолепному, поистине космическому сотворению нового вещества. А говоря проще, это и есть рождение ферросилиция, феррохрома или ферровольфрама.

Или когда на Челябинском металлургическом заводе в таком же монументальном по размерам цехе наблюдаешь рождение стали в конверторах, видишь, как льется этот слепящий глаза поток из наклоненного горла словно бы гигантского металлического кувшина, когда возникают внезапно и быстро исчезают шумно низвергающиеся огненные потоки металла, то понимаешь, что эти процессы соотносятся с достаточно высоким уровнем современной металлургической техники.

Уровень же техники неотделим от уровня организации производства, от разветвленной системы кооперации, снабжения и планирования. А это как раз и есть та самая система прямых и обратных связей промышленной интеграции, которая чаще всего разлагивается. Неполомки в ней больше всего отзываются на ритмичной работе предприятий.

Сближают ли эти общие проблемы, трудности, общие боли и заботы не характеры — тут взаимосвязи очень топкие и сложные, — а хотя бы стили работы руководителей? Я думал об этом. В какой-то мере, паверно, сближают. Вернее, диктуют общую линию поведения. Хотя и эта линия преломляется через особенности каждой личности. Да и само лицо завода, его успехи, его проблемы находят какое-то отражение в нравственно-психологическом облике директора.

Мы сидели за одним столом с Владимиром Николаевичем Гусаровым, с его главным инженером Степаном Евгеньевичем Пигасовым, говорили о пути завода, о зарож-

депии именно здесь, в Челябинске, ферросплавной промышленности страны.

Гусаров производил на всех приятное впечатление ровно журчащим баском и тем обаянием силы, которая, казалось бы, нашла свой отпечаток и в его осанке, в очертаниях крупной, наголо обритой головы. Он излучал радужные, улыбка почти не гасла на его лице. Чувствовалось, что он много поработал и повидал на своем веку. Опыт его проглядывал и в главах скромной деловой книги «Родина советских ферросплавов», которую Гусаров с явным удовольствием дарил писателям как своего рода приглашение к изучению завода, ярких страниц его истории. Он сам был одним из пионеров ферросплавной промышленности, которая начиналась вот тут, в Челябинске, более тридцати лет назад.

Сейчас он такой же высокоуважаемый человек в городе, как и Осадчий. Оба они Герои Социалистического Труда, лауреаты Ленинской премии, почетные граждане Челябинска. Много общего в их судьбе, в жизненных этапах и перипетиях, оба встречались с Калининым, с Орджоникидзе, с Тевосяном, и встречи эти уже сами по себе как бы относят их к людям одного поколения.

Влюбленность же в свои заводы, хозяйственная взыскательность и активный заводской патриотизм, о котором много говорил Гусаров, так же, как и Осадчий, — все это добротная основа для формирования рабочего стиля.

Их остается не так уж много, крупных хозяйственников, директоров, начинавших еще в годы первых пятилеток. Менялись времена, и каждое десятилетие оставляло свой отпечаток в их душах, и эта своеобразная мозаика различных напластований, живая история пережитого, узнанного, выношенного, драгоценный опыт «делания социалистической индустрии» сам по себе интересен как предмет особых размышлений.

Я часто думаю о том, какую надо иметь жизнестойкость, чтобы сохранять в себе в течение многих десятилетий постоянную активно-целеустремленную силу, азарт, молодой интерес к работе. А не стоит ли подумать о том, что эта энергия, как и сила партийного единения, питается из тех же общих народных и идейных корней?

Высокий, статный, со спокойным лицом человека, которому всегда есть о чем подумать, хотя он и не кажется слишком озабоченным и погруженным в себя, —

Тулин, как и Гусаров, и Осадчий, принимал нас в своем кабинете. Часто и чуть заметно поправляя очки, он рассказывал о заводе, который может гордиться не только своими мощностями, но и высококачественной сталью.

Тулин, чей возраст около пятидесяти, воевал как боевой офицер и надевает свои орденские планки, видимо, не только в торжественных случаях. Он кандидат наук и к руководству заводом пришел из науки — весьма современное явление. Завод, на котором сменилось в прошлом немало директоров, долго лихорадило. Теперь с этой тряской дороги — то успехов, то срывов — коллектив переходил на более ровную, устойчивую. В этом нельзя не видеть и усилий нового руководителя.

Не скрою, что в той гамме впечатлений, которые оставили наши встречи с Тулиным, пока больше эмоционального, чем аналитического, влияния личного обаяния Николая Алексеевича, его душевной открытости, остроумия и веселости. Тулин, ныне заместитель министра черной металлургии, — как и Осадчий, и Гусаров — притягательная личность для писателя хотя бы уже потому, что он стремится соединить в своей работе образованность и твердые навыки хозяйствования, деловой стиль с общественным и политическим влиянием на людей.

Эта очень важная мысль развивает известную формулу о «необходимости органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства...»

Вот о чем я думал в поезде, подходящем к перрону Магнитогорского вокзала. Мы много рассуждаем и пишем о научно-технической революции. Но почему-то часто забываем о второй части формулы, обо всем том, что раскрывает именно преимущества нашего социалистического хозяйствования, а ведь это и есть, по сути дела, сама атмосфера советского образа жизни, вне которой невозможно себе представить ни характеры людей, ни современные конфликты.

Стыковка НТР с социалистической системой хозяйствования! Это и есть, должно быть, коренная тема в исследовании жизни современной индустрии, если помнить, что дело это нелегкое, сложное и прежде всего — новаторское, и прежде всего — творческое.

Это он только так скромно называется в календаре — «день» — красное число — 15 июля, над ним силуэты горных на фоне огненного зарева, а на первом плане фигура сталевара в кепке с защитным стеклом у козырька.

Я смотрю на листок календаря, и этот условный рисунок перерастает для меня в иной символ, в многослойное и многокрасочное ощущение дня, который вобрал в себя целый год, ибо подвел красную черту подо всем, что было задумано и намечено, найдено и осуществлено, что было сработано за год напряженного труда огромной армии металлургов.

Прилагательное «огромный» лишено для меня даже малейшего оттенка гиперболы, когда оно относится к «горячему цеху» Родины. И в центре этой битвы за металл флагманом черной металлургии области выступает Магнитка.

Я вспоминаю день праздника в Магнитогорске, а точнее — три дня, ибо большая программа слета началась еще в пятницу утром, когда поезд с делегатами подошел к перрону вокзала. Честно говоря, в этом потоке впечатлений мне трудно выделить самое яркое и значительное, решить, чему же отдать предпочтение?

Доменный цех комбината — десять печей, стоящих в одной, внушительной и поражающей мощью шеренге, которую при некоторой доле воображения можно рассматривать и как своего рода гигантскую диаграмму развития доменного дела в стране. Эти печи с паспортами всех девяти пятилеток несут на себе печать различных технических уровней и объема.

Почти каждые полчаса то на одной, то на другой из них выпускается чугуn. Сравнение с льющимся почти непрерывно огненным потоком лишено здесь какого-либо образного преувеличения. Я мог бы вспомнить и другие цехи, и рудный комбинат, подобравшийся своими строениями к вершине уже основательно похудевшей Магнитной горы, и метизный завод в центре города, который можно было сравнить со своеобразной ткацкой фабрикой, где исходный материал тончайшие стальные нити.

Большое театрализованное представление на городском стадионе было посвящено слету и празднику металлургов. Вечерело, время от времени накрапывал дождь, но непогоду — как кто-то заметил — разрядили торжест-

венность обстановки, звуки фанфар, взлетающие в воздух шары, ракеты, да и приподнятое настроение всех, кто пришел на стадион, чтобы посмотреть на парад победителей социалистического соревнования, волнующую церемонию сдачи трудовых рапортов и посвящения парней и девушек, воспитанников профтехучилищ, в рабочий класс.

Но, безусловно, кульминационным моментом праздника стало само торжественное заседание в помещении городского театра. Оно было итогом не только месяцев труда и горячих металлургических дней на всех заводах, но и горячих часов на самой Магнитке. Два дня в канун заседания делегаты слета провели в профессиональном окружении: доменщики у доменщиков, мартеновцы у мартеновцев, прокатчики у прокатчиков. Шел наглядный обмен опытом.

Наибольшее внимание привлекла мартеновская печь № 13 и ее хозяин Юрий Степанович Карташев — инициатор Всесоюзного соревнования металлургов за максимальное производство стали на каждом агрегате и победитель этого соревнования. Он составил бригаду из гостей, победителей соревнования на своих заводах, в нее вошли два челябинских сталевара Владимир Абдаладзе и Муса Рафиков с Трубопрокатного, златоустовец Иван Исаев, уфалеец Николай Фокин, ашинский сталевар Азарий Шатунов.

Плавка дружбы, как венец соревнования, проходила во втором мартеновском цехе на огромной девятисоттонной двухванной печи. Она началась в шесть часов утра, и писатель Владимир Попов, автор известных романов о металлургах, сам четверть века отработавший на мартеновских печах, не мог пропустить это великолепное зрелище.

Около полудня он приехал прямо из цеха в горьком партии, немного опоздав на встречу с первым секретарем Челябинского обкома КПСС Михаилом Гавриловичем Воропаевым. Попов вошел в кабинет прямо в каске, с нестертыми еще следами копоти на щеке, необычно возбужденный и громогласно объявил о завершении плавки, передав привет от всех ее участников.

Я вспоминаю рассказ Владимира Попова о плавке дружбы, подтвердивший давно созревшее у меня убеждение, что обмен даже маленькими профессиональными открытиями, которые приходят к рабочему человеку вместе с опытом, — одна из драгоценных черт соревнования. Ра-

бочие одаривают друг друга этими открытиями искренне, от души. Само это стремление поделиться всем, чтобы возвысить товарища в профессиональном мастерстве, а тем самым нравственно возвыситься и самому, великодушные этого дара принадлежит, мне думается, к одним из самых значительных социальных достижений современного рабочего класса...

...Большой вестибюль театра за полчаса перед началом слета напоминал собою в уменьшенных масштабах вестибюль Дворца съездов перед открытием важного совещания. Все делегаты, празднично одетые, были при орденах, медалях, значках. Блестели Золотые звезды Героев Труда.

Это была гвардия металлургии.

Когда в начале четвертого, определяющего года девятой пятилетки были учреждены ордена и медали Трудовой Славы, так живо напоминающие боевые ордена Славы, которыми награждались солдаты в Великую Отечественную войну, стали еще более понятными и осязаемыми общие истоки героизма военного и трудового, то значение, которое придает страна каждодневному, упорному и поистине боевому труду советского рабочего класса.

Я увидел в вестибюле театра Осадчего, Гусарова, Тулина. Они стояли рядом, беседуя с новым директором Магнитки Дмитрием Прохоровичем Галкиным. Бывший главный инженер комбината, он заменил недавно умершего директора Андрея Дмитриевича Филатова, еще раз подтвердив ту закономерность, что человек с большим опытом технического руководства, определяющий глубокие перспективы развития предприятия, как правило, выдвигается на такой пост, где проблемы научно-технической революции надо сочетать с умением хозяйствовать по-государственному.

Директора Магнитки! Я видел их портреты в зале Магнитогорского дворца культуры — славная когорта крупнейших командиров черной металлургии. Почти все они были удостоены самых высоких отличий и званий, а имя Григория Ивановича Носова в среде металлургов стало буквально легендарным. И невольно подумалось, что их судьбы, особенности каждого преломленно отражают особенности разных периодов нашей индустриальной жизни. Высокое деловое горение этих руководителей, их победы и поражения — какой это интересный материал

для серьезного исследователя истории нашей, ныне уже без преувеличения можно сказать великой индустрии.

В шумном вестибюле перед началом слета и затем в затихшем зале театра, слушая вместе с делегатами доклад первого секретаря обкома М. Г. Воропаева, я испытывал волнение от охватившего меня ощущения не только своей сопричастности к важному и большому делу, но и к давней, славной, реально проявившей себя в литературе традиции.

Начиная с тридцатых годов, здесь бывали многие писатели, которые и создали яркие произведения о Магнитке. Я привез с собою книгу «Магнитка» — краткий очерк истории завода и города, берущего начало в 1743 году, когда на правом берегу реки Яик, после Пугачевского восстания переименованной в реку Урал, возникла казачья крепость — станица Магнитная. В этой исторической хронике упоминаются и писатели, чье перо послужило славе Магнитогорска.

1931 год. В Магнитогорск приехал Д. Бедный. Социалистическая стройка стала для многих писателей «творческой Меккой». На Магнитострой в начале тридцатых годов приезжали В. Катаев, Ф. Гладков, А. Гайдар, А. Малышкин, В. Горбунов, Н. Богданов. В те годы о Магнитогорске были созданы яркие произведения: «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Пленум друзей» Н. Богданова.

1934 год. Силами магнитогорских писателей написаны повести, книги стихов, пьесы. Повесть машиниста А. Авдеевко «Я люблю» издана в Москве. Издана в Москве книга стихов бетонщика Б. Ручьева — «Вторая родина».

1948 год. В Магнитогорске состоялась встреча с писателем Евг. Воробьевым, в прошлом активным строителем Магнитки. Впоследствии Евг. Воробьев написал роман «Высота».

1950 год. Встреча с писателем, автором романа «Сталь и шлак» Вл. Поповым.

1951 год. Известный писатель А. А. Фадеев, собиравший в Магнитогорске материал для романа «Черная металлургия», выступил в театре с докладом «Новое в советской литературе».

1958 год. Встреча с писателем Эм. Казакевичем, работавшим над романом «Новая земля».

В Магнитке долго жили и писали о ней Л. Татьяничева, М. Львов, Ник. Воронов.

Борис Александрович Ручьев, почетный гражданин Магнитогорска, чьи стихи и поэмы стали памятником истории завода и города, их патетической и лирической летописью, 13 июля вместе с хозяевами встречал нас в своей Магнитке.

Очевидец и участник давних дней строительства, он не только запечатлел героическое время в своих книгах, но и оставил нетленные строки, высеченные на гранитных, бетонных обелисках и постаментах.

Мы жили в палатке с зеленым окопцем,
Промытой дождями, просушенной солнцем...
Под зимним брезентом, студеной постелью
Мы жили и стыли, дружили и пели,
Чтоб нам поднимать золотые костры
Нетронутой славы Магнитной горы...

Эти слова нынче высечены на основании памятника — первой палатки, установленной при входе в Северный парк правобережного Магнитогорска. С скромный гранитный треугольник с чуть загнутыми краями, и рядом широкая рабочая ладонь с куском буро-желтой руды, стоит на площади, откуда хорошо видна река, большой мост, ведущий на левобережье, с заслонившим полгоризонта величественным силуэтом комбината.

Этот памятник отметишь среди многочисленных фигур сталеваров и доменщиков, стоящих на высоких постаментах, еще потому, что он уводит наше воображение к первым палаткам Комсомольска-на-Амуре и Новокузнецка, Братска и целины, к тем молодым и отважным, не жалевшим себя и счастливым в своем подвиге, к тем первопроходцам пятилеток, кто ставил эти палаточные, брезентовые городки. Память о них и в стихах поэта.

Увы! Бориса Ручьева уже нет с нами. Но стихи его напоминают о неоплаченном нашем долге перед замечательным поколением строителей первых пятилеток, которое уже постарело, а вскоре сойдет с исторической арены. А великий долг литературы не заключается ли именно в том, что она запечатлевает свое время?

Да, многих мастеров литературы притянула в свое время к себе легендарная Магнитка. Здесь, в этом удивительном городе, союз труда и литературы оказался особенно плодотворным.

И в наши дни многие писатели ездят по дорогам пятилетки, но, к сожалению, мы не видим такой большой литературной отдачи, книг крупномасштабных, социально

значимых, в полной мере достойных труда наших современников.

Я слушал ораторов на слете, это были и прототипы героев Катаева, и Малышкина, и Ручьева. Младшие братья, дети и внуки тех, кто начинал здесь четыре десятилетия назад. Вспомнились слова поэта:

Какой мы путь немыслимый прошли,
От деревянной тачки до ракеты.

...Герои современной индустрии в наш век ракет и кибернетики, прототипы героев из непаписанных еще романов и поэм, поднимаясь из зала, проходили на сцену, с тем чтобы получить здесь значки победителей соревнования металлургов и дипломы лауреатов премии имени Григория Ивановича Носова. И там выстраивались рядом со столом президиума — все рослые, крепкие, сильные люди с широкими кумачовыми лентами через плечо. Весь зал смотрел на них, и, может быть, не я один думал в ту минуту о том, что эти сегодняшние лауреаты, эти люди, стоящие у домен, конверторов, мартенов и прокатных станов, и простые рабочие и в то же время, по существу, в чем-то немного и ученые, и конструкторы, и инженеры, смело изменяющие технологию, опробывающие новые автоматические устройства, поднимающие свои агрегаты на новый уровень технического прогресса.

Меня эта церемония вручения премий не могла оставить равнодушным. Я видел в рядах президиума Осадчего, Гусарова, Тулина... «Маршалы промышленности», они тоже выглядели радостно-возбужденными, особенно когда смотрели на получающих премию рабочих своих заводов.

Заводское родство притягивает души не менее фронтового. Незримые флюиды гордости за общий успех создали эту удивительную, ликующую атмосферу торжества, которое надолго останется в памяти лауреатов-рабочих и всех присутствующих на слете.

Мы сейчас немало пишем о современном рабочем классе. Публицисты стремятся подробнее рассмотреть социальные черты его коллективного портрета. Эти наши суждения порою слишком общие и элегические или, наоборот, слишком умозрительные и сухопрагматичные. И мне подумалось, что трудно придумать что-то более определенное и впечатляющее, более наглядно убеждающее, чем этот слет в Магнитке, — отчет о конкретных действиях и фактах, непреложных реалиях жизни.

После слета металлургов в Магнитогорске я снова прилетел в Челябинск, чтобы хоть некоторое время пожить на заводе, походить по любимому трубоэлектросварочному, послушать ровное и мощное дыхание цеха, подумать стоя где-нибудь на «капитанском мостике», перекинутом над станами.

У каждого из нас есть свои профессиональные заботы, и нет ничего удивительного в том, что писатель, бродя по цеху, может вспомнить о литературной критике, ставшей более взыскательной ко всему, что связано в литературе с пятилеткой. И вспомнить о нередких упреках в адрес так называемого массового очерка за то, что он часто поверхностен, бесконфликтен, комплиментарен, между тем как подлинная писательская публицистика есть исследование жизни, в которой должна всякий раз присутствовать и своя, авторская, точка зрения на нерешенные вопросы действительности.

Упреки законны, и все это совершенно справедливо. Быть может, только с одной оговоркой, что комплиментарность не надо путать с пафосом утверждения нового и значительного, а искренняя и глубокая влюбленность в людей труда, наверно, самая надежная почва и для эпоса, и для лирики, и для мудрой критики.

Я с огорчением наблюдал в цехе, как останавливались станы из-за перебоев с поставкой металла, думал о своей точке зрения на эту проблему, совпадающей с тем, что об этом говорили на заводе почти все — и мастер Падалко, и инженеры Новиков и Телешов, и директор Осадчий.

Яков Павлович написал о трудных проблемах развития завода и реконструкции статью в «Правду». Она называлась «Реконструкция: с каждого спрос особый», и была опубликована в газете в ноябре семьдесят третьего.

Читая эту статью, я обратил внимание и на то, что многие замечания Осадчего, не текстуально, конечно, а по сути своей, живо перекликались с тем, что на своем участке с искренней досадой и горечью говорил мне Николай Михайлович Падалко.

Итак, Осадчий писал в «Правде», имея в виду вторую половину семьдесят третьего года: «Перебои с поставками металла стали хроническими. Коллектив гордится тем, что удалось добиться высокой ритмичности производства, что в цехах действуют часовые графики, а теперь эти

завоевания оказались под угрозой. Внеплановые переходы с одного размера труб на другой, частые остановки крупнейших станков — «1220» и «820» привели к тому, что с начала года потеряно более тридцати тысяч тонн продукции. Мы считаем такое положение совершенно недопустимым. Возможно, следовало бы увеличить размер санкций за срыв кооперированных поставок до такой степени, чтобы они покрывали все убытки потребителей. Повышение взаимной ответственности поможет поднять дисциплину, обеспечить более четкую работу всех звеньев хозяйственного механизма...»

Мне думается, что это совершенно справедливые требования особого внимания к такому заводу, как Челябинский трубопрокатный. Яков Павлович имел в виду своевременное проектирование, финансирование на льготных условиях, закрепление генерального поставщика оборудования в период реконструкции и т. д.

Ведь на самом деле что же произошло?! За восемь лет завод увеличил производство почти на миллион тонн. Это равносильно сооружению нового крупного трубного завода!

Миллион тонн! Увеличение производительности труда в полтора раза. Но каким образом? Без нового капитального строительства. Без увеличения рабочей силы. На тех же площадях, с тем же количеством рабочих. Это удивительно и замечательно, это относилось к лучшим и зримым чертам технического и социального облика девятой пятилетки!

Реконструкция всех цехов стоила немногим более двадцати пяти миллионов рублей. Строительство же нового завода с производительностью один миллион тонн в год обошлось бы не менее ста пятидесяти — двухсот миллионов. Вот реальная цена инициативы челябинских трубопрокатчиков! И разве это не лучшие и зримые черты технического и социального облика нашей пятилетки?

Мы часто говорим, что некоторые наши недостатки являются продолжением наших достоинств. И то, что говорят о людях, иногда можно сказать о заводах. Достижениям свойственно порождать недостатки, трудные ситуации. В промышленности они по справедливости именуются чаще всего трудностями роста. Перебой с металлом не были ни для кого новостью на Трубопрокатном. Такое случалось и раньше. Не ново и то, что такое положение

самым отрицательным образом сказывается на ритмичной работе предприятия.

Прошлым летом, вскоре после уральской поездки, мне довелось очутиться на Волге, в городе Тольятти, на ныне всемирно известном Волжском автомобильном заводе. ВАЗ — это удивительное создание современной индустрии. Не боясь упреков в поэтическом преувеличении, скажу, что ВАЗ — это еще и гимн автоматике, динамике, интенсивному труду. Завод впечатляет всех, завораживает мощью своих конвейеров, общей протяженностью в сто пятьдесят километров.

О ВАЗе много пишут и будут еще писать как о новом явлении в промышленности, порождающем и новые проблемы — технические и нравственные. Одним словом, это область особых исследований для писателей и социологов. Я же вспоминаю сейчас о ВАЗе только в связи с одним, поразившим меня наблюдением. Едва ли не главной трудностью и бедой для завода стало ныне все то же снабжение, точнее, его недостатки, несовершенство и расхлябанность.

Все особенно остро познается в сравнении. Конфликт между недостатками промышленной кооперации и высоким техническим уровнем передовых заводов стал в наши дни особенно резок и нагляден.

Есть вещи несовместимые и взаимно исключающие друг друга. Такие заводы, как Волжский автогигант, Челябинский трубный и им подобные — а их становится все больше, — предъявляют повышенные требования к порядку и ритмичности работы всех цехов и служб. Надо полагать, что новые требования должны подтянуть, нет, обязательно со временем подтянут весь механизм кооперации в промышленности и снабжении на новый уровень.

...Ну вот, казалось бы, и можно уже поставить точку в рассказе о реконструкции на Трубопрокатном, о событиях этого необыкновенного лета на заводах Челябинска и Магнитки. Но уместнее здесь многоточие.

Когда в пятьдесят шестом я впервые попал на завод, мог ли я тогда предположить, что дружба моя с заводом протянется уже почти на два десятилетия и в моих блокнотах начнет откладываться такая история человеческих судеб, характеров, конфликтов и свершений, которую захочется продолжать и продолжать с нарастающим интересом.

Снова я побывал в Челябинске в феврале 1977 года. Я попал на завод через несколько дней после того, как Трубопрокатный проводил в последний путь Якова Павловича Осадчего. У меня сохранилась заводская многотиражка, в которой говорилось о том, что лучшей памятью о Якове Павловиче будет успешная работа на благо нашей Родины, продолжение дела, которому Осадчий посвятил свою жизнь.

Трубопрокатный для меня — это не только цехи, станы, люди и трубы. Думая о заводе, я всегда мысленно представляю и тысячекилометровые трубопроводы для нефти и газа, опоясывающие и Россию, и Среднюю Азию, Сибирь и Дальний Восток, уже построенные и строящиеся, и столь необходимые сейчас для нашей цивилизации.

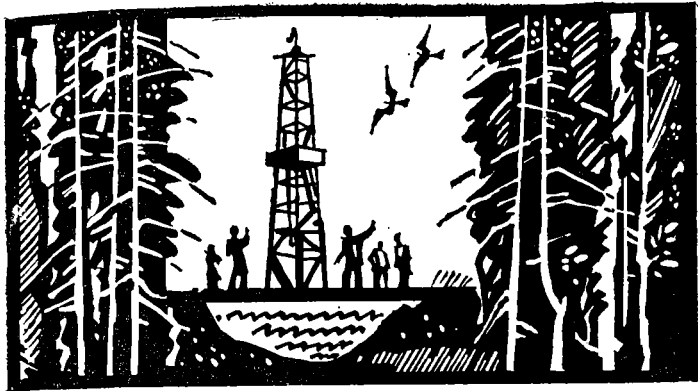
Победная поступь девятой пятилетки совпала с потрясающим мир взрывом энергетического кризиса. На Западе он оказывал разрушающее влияние на страны капиталистического мира, на устойчивость правительств, формировал современную политику.

Кто в наши дни может переоценить значение топлива, нефти и газа! А ведь в нашей стране они текут по трубам большого и малого диаметра, значительная часть которых изготавливается на станах Челябинского трубопрокатного. Помня об этом, думая о людях завода, не будет преувеличением сказать, что в трубах этих нефте- и газопроводов поистине бьется в наши дни пульс мировой истории.

И поэтому мне всегда интересно приезжать в Челябинск, к трубопрокатчикам, к металлургам. Приезжать, чтобы вновь и вновь воочию наблюдать за переменами в судьбах моих друзей, за тем неустанным творчеством, напряженным трудом и вечным обновлением, которые часто по скромности наших рабочих-современников именуются обыкновенной заводской жизнью.

1976

Челябинск — Магнитогорск — Москва



ЭСТАФЕТА

СИБИРЬ — МОСКВА

Пятнадцать минут полета от города Надыма и посадка в лесотундре, на поросшей травой и кустарником бугристой площадке, метрах в пятидесяти от большого здания из бетона, алюминия, пластика и стекла.

Это ГПГ — главный пункт очистки и сборки газа, поступающего от многих скважин, расположенных отсюда на расстоянии полутора-двух километров.

Перед воротами ГПГ, на дороге, напоминающей волны застывшей грязи и глины, — два болотохода. Это мощные машины. Обычные тракторы, даже самые сильные — здесь не в счет.

ГПГ — завод современный, высоко автоматизированный, выстроен за... полгода! Это легко написать. Значительно труднее даже просто представить себе, как шел монтаж с помощью вот таких машин на гусеничном ходу с грозным именем «Ураган», с помощью МАЗов, КРАЗов и других грузовиков, привозивших материал по зимнику на самолетах-тяжеловесах АН-12.

Вот наглядные возможности современной техники! Темпы создания такого завода вблизи Полярного круга под стать лишь главному подвигу в Медвежьем — рождению самого промысла.

Строительство промысла Медвежье началось зимой 1970 года. Зима в этих краях вообще самая горячая и

продуктивная строительная пора, когда действуют зимние дороги и замерзшие болота выдерживают тяжесть сооружений, трубопроводов, машин.

О том, как создавалось Медвежье, уверен, лучше всего могли бы поведать нам сами участники рождения промысла в тундре. Можно только пожалеть, что люди, непосредственно творящие славные дела, не имеют времени, а более всего, пожалуй, привычки вести деловые дневники изо дня в день, из месяца в месяц. Мало, досадно мало печатаются у нас записки бывалых людей, обращенные к мирным, созидательным будням.

Когда всенародный подвиг освоения громадного края становится в заглавную строку наших пятилеток — за событиями на широком трудовом фронте пристально следят газеты, идет информация по каналам радио, телевидения. И деловая летопись свершения складывается из тысячи фактов.

Дело же писателей — люди! Здесь ничто не может заменить художественного слова, стремления проникнуть в суть поступков, увидеть новое в облике человека труда. И писатели стремятся уловить и запечатлеть эти черты и черточки характеров, дающие пищу для размышлений, сопоставлений, выводов. Пусть порою эти наблюдения не столь долговременны, а встречи с героями в силу разных обстоятельств — коротки. Тем не менее все верно и зорко подмеченное в человеке, «делающем пятилетку», в духовных гранях его жизни — интересно нам, современникам, будет ценно и для потомков.

«Завод построен с воздуха!» Это сказал мне Табрис Хуснутдинов — сорокалетний главный инженер треста «Надымгазпромстрой». Построить с воздуха. Что это значит? Это означает отказ от обычных методов стройки, от кирпича, раствора. При средней зимней температуре минус сорок идет монтаж крупных блоков и металлоконструкций с высокой заводской готовностью. Металлоконструкции доставлялись сюда в основном самолетами АН-12, а устанавливались с помощью вертолетов МИ-8, МИ-6.

«Надым по-ненецки означает счастье». Я услышал это от Рената Каримова, начальника ГПГ. Краснощекий, юношески легкий в движениях, он прежде всего чувствует меру ответственности, которая легла ему на плечи.

Каримов знакомил нас с заводом. Сказать, что он делал это увлеченно, — мало. Он сам получал большое удовольствие от рассказа, от прогулки по цехам. Завод —

чудо современной газовой техники. И ведь где он находится! Гостей, прилетающих на вертолете в тундру, бывает здесь не так уж много.

Почему Каримов вспомнил, что Надым означает — счастье? Да потому, наверно, что он считает счастливыми не только город, но и Медвежье, свой завод, людей, работающих рядом с ним. И себя самого. Отблеск большой удачи, даже если это касается месторождения газа, ложится в какой-то степени и на судьбы людей. Всякое же счастье добывается с боем, трудом, горячим желанием.

Мы быстро шли за Каримовым, легко шагающим по гулким и пустынным коридорам, переходам, тоннелям, нигде не замечая рабочих. Это поражало. Каримов сказал, что вся вахта, включая операторов и рабочих-слесарей, состоит всего из... шести человек!

Толстые трубы, емкости, компрессоры и снова трубы. И вот пульт управления — большой светлый зал, освещенный солнцем, с диспетчерским подковообразным столом, с приборами, занимающими всю противоположную стену.

Эти пульта мы видим на современных электростанциях. Царство полной и совершенной автоматике! В наших обжитых индустриальных районах все это кажется привычным. В лесотундре — не может не удивлять.

С помощью этой автоматике здесь не только очищают газ от ненужных примесей, но и регулируют работу 17 скважин промысла, устанавливая, как здесь говорят, «оптимальные нормы отбора газа». Они должны соответствовать строению пластов. «Повышенные отборы» уже ведут к истощению недр, нарушению технологии.

Оператор, дежуривший в эту смену, — Петр Терентьев, калининец, недавно акклиматизировавшийся на Севере, был занят неотложными делами, и на пульте диспетчерской оставалась хозяйкой... студентка-практикантка Татьяна Михайловна Шведова, для товарищей попросту Таня.

Белокурая, худенькая, — даже толстая брезентовая куртка не прибавляла ей осанистости, а часто хмурившиеся брови серьезности, — Таня представляла в Медвежьем Московский институт нефтехимической технологии.

Летом в Сибири можно увидеть множество студенческих строительных отрядов. В Надыме совсем рядом с нашей гостиницей — деревянным домиком с эмблемой бегущего оленя на двери — располагался белопалаточный лагерь харьковских студентов, названный ими «Гренада».

Через наши гостиничные окна, завешенные от гнуса марлевыми сетками, вечером доносились из лагеря звонкие голоса и песни. Видимо, работа днем на стройках Надыма не лишала парней и девушек желания петь и веселиться, несмотря на атаки комаров и мошки, особенно звереющих с наступлением темноты.

«Надым, Надым — комары и дым!» Студенты жгли костры, спасаясь от комарья, и горьковатый дымок струился в окно гостиницы вместе с робкой ночной прохладой.

Да, студенты в Западной Сибири ныне вовсе не редкие гости, по почему же все-таки работа студентки Тани Шведовой в диспетчерской ГПГ показалась мне необычной? Потому ли, что Медвежье — так далеко от Москвы, и девушка жила в небольшом поселке Пангода, в общешитии, и на работу ездила, как и другие, за десять километров на вахтовом автобусе? А ведь к суровой обстановке, к безмолвию тундры надо еще и привыкнуть.

Или оттого, что Таня вместе с другой молодой женщиной Аллой Андреевной Смольской — инструктором по профилактике пожаров, она назвала себя просто «пожарником», по сути дела, хозяйничали в огромной диспетчерской, взяв на себя в эту вахту ответственность за работу всего завода.

Эти контрасты, наглядная власть над мощной техникой, которую ныне на автоматизированном производстве могут осуществлять и слабые женские руки, вкупе со всей обстановкой — внушали невольное уважение и к энергичной практикантке, и к ее старшей подруге.

Молодежь и Север! Эти два понятия теперь почти синонимы. Средний возраст живущих в северных городах Тюменской области — двадцать шесть лет. «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед!» А теперь молодость нашего времени штурмует недра Тюменщины, ведет за собою на дальний Север советскую цивилизацию.

Я смотрел в простое русское лицо, казалось бы, обыкновенной девушки-студентки, чей жизненный старт начинался «в северном исполнении», как шутят здесь. Старт нелегкий, но тем шире, удачнее будет потом, я уверен, жизненный разбег ее судьбы.

— Приедете сюда работать после института? — спросил я Таню.

— Постараюсь, — кивнула она.

— Таня закончит практику и вместе с газом из Медвежьего появится у себя в институте,— сказала Смольская.— Трубопровод уже подходит к Москве, в общем, приведет газ в столицу,— добавила она.

— Да, мне повезло,— согласилась Таня.— Очень даже. Действительно, так получается, что мы сейчас работаем у истоков газопровода «Сибирь — Москва». Можно сказать, прямая связь, только подземная. Приятно сознавать, что мы делаем такое большое дело!

Я подумал только о том, что не только Таня Шведова, но и Хуснутдинов, и Каримов говорили о Медвежьем с гордостью, казавшейся мне не только естественной, но и, пожалуй, даже несколько приуменьшенной, как бы приглушенной непоказной скромностью этих людей. А ведь на лацкане пиджака Рената Каримова поблескивал значок с внушительной надписью: «Покоритель Медвежьего!»

Это и были покорители, чьи дела достойны этого слова, всегда сопряженного в нашем воображении с делами особой трудности, с масштабностью незаурядного подвига.

Хуснутдинов и Каримов, оба были из Башкирии, оба успели там пройти по многим ступеням производственного опыта, были мастерами, прорабами, начальниками участков. Как инженеры-нефтяники родились и возмужали на промыслах Второго Баку.

Теперь это люди Надыма и Медвежьего, куда редко кто приезжает только лишь по назначению, помимо желания, а почти все по зову души, влекомые интересом, жаждой большого дела.

Деловой язык инженеров — это цифры, объемы, технологические схемы. Преемственность делового опыта — большая сила. В Медвежьем, в Надыме, в Уренгое — много нефтяников из Баку, еще больше из Татарии, Башкирии. Освоение промыслов — не только профессия, а, я бы сказал, еще и страсть. Когда эстафета открытий и освоения новых месторождений становится фактом собственной биографии — она увлекает и зовет в новые, необжитые места, к новым трудностям, как это и произошло с Хуснутдиновым и Каримовым.

Табрис Фаляхович Хуснутдинов работает в Надыме рука об руку с Юрием Алексеевичем Дмитриевым — русским, но тоже родившимся в Башкирии, своим ровесником, который прокладывает газопроводы от Медвежьего в глубь страны. Трест «Северотрубопроводстрой», как

явствует из этого длинного названия, тянет нитки голубых дорог через топи и болота.

В летние месяцы к трассе подобраться по земле почти невозможно. А с ноября, когда мороз набирает силу, но еще не так крепок — чтобы ускорить начало рабочей страды, вдоль трассы идет намораживание дорог, их поливают водой.

Затем тяжелая техника — тягачи начинают возить на трассу «плети» — секции из трех больших труб, предварительно сваренных. Секции укладываются в траншеи.

Морозы в тундре нередко держатся до мая. Однажды в день праздника 1 Мая градусник показывал минус тридцать, мела пурга. Но здесь, в Медвежьем, морозы, как и тепло, наступают внезапно, все зависит от того, какой придет ветер, какое дыхание океана пронесется по Западно-Сибирской, ничем не защищенной низменности.

В ту весну случилось так, что нитка только что уложенного газопровода в открытые траншеи осталась без «пригруза» — бетонных кубов, весом по четыре с половиной тонны каждый. А почва здесь размокает быстро, и тогда всплывающие без пригруза трубы, находясь к тому же под давлением газа, могут разорваться.

Обстановка продиктовала такое решение: временно отключить газопровод и провести операцию по заземлению этого участка трассы. В Надыме был проведен праздничный митинг, и тут же все прямо с митинга отправились в тундру.

На трассу предварительно завезли палатки, еду, спальные мешки. Отключили газопровод, и началась работа. Надо ли говорить о том, с каким напряжением трудились люди, зная, что у них в запасе немногим более суток. Ветер, снегопад — ничто не могло помешать строителям делать свое дело. За сутки повесили все при грузы — четыре тысячи плит.

А ночью внезапно начала меняться погода, днем вышло солнце, пропитанная водой почва потекла, дороги мигом испортились, и людей из тундры в Надым пришлось затем вывозить вертолетами.

Так прошел этот праздничный день. Ну, а обычные, будничные — они заполнены такой же неотступной, упорной, динамичной работой, такой же борьбой с трудностями, которые, право же, при самом осторожном отношении к громким эпитетам, нельзя назвать иначе, как героическими.

В Надыме, в Медвежье и южнее, на перевалочных пунктах, на пристанях в Тобольске, в Сургуте, я видел много больших, стальных труб. Они лежат высокими штабелями, издали похожие на гигантские, зияющие жерлами многоствольные минометы. Трубы везут на Север по воде, на палубах барж, в трюмах теплоходов, нередко можно увидеть, что трубу несет над тундрой, подхватив своими руками-тросами, похожий на жука вертолет. Там, где это было возможно, я подходил к трубам, стараясь узнать, какого они завода, и постукивал пальцем по их звонкой металлической плоти.

Если Медвежье — стальное сердце промысла, то трубопроводы, несущие «голубое топливо», — артерии. И тысячи километров этих заполненных нефтью и газом сосудов составлены из труб, родившихся на хорошо мне знакомом Челябинском трубопрокатном.

Когда я вижу где-либо челябинские трубы, я всегда невольно вспоминаю Челябинск, завод, великолепные, залитые светом цеха, громадные станы, мощные поточные линии южноуральского гиганта.

Наверно, это двойное зрение в какой-то мере прибавляет мне остроту, объемность, я бы еще сказал — пространственное видение усилий множества людей, строящих трубопроводы.

Как-то один из моих знакомых, рабочий Челябинского завода, сказал мне с нескрываемой гордостью:

— А вы знаете, свои заводские трубы всех калибров я отличаю в любом месте.

Я этим, конечно, похвастаться не мог бы. У меня нет такого навыка, такого знания труб. Но, право же, и я тоже с неким «родственным чувством» подходил к штабелям труб на пристанях, на железнодорожных станциях земли тюменской, на промыслах Медвежьего и Уренгоя. Скорее всего, в силу именно этого родственного чувства, я через несколько месяцев испытал волнение и ощутил, пусть малую, но душевную свою сопричастность к большому празднику строителей, когда стальная нитка супергазопровода «Сибирь — Москва», длиной в три тысячи километров, пришла от Медвежьего в нашу столицу.

Это произошло во второй половине октября 1975 года. Когда в ясный, хороший день москвичи собрались на торжественное открытие газопровода и толпа людей заполнила пустырь на пересечении Волгоградского проспекта и окружной автостреды, наверно, каждый из побывавших

там, мысленно прикинув путь газа в столицу, подивился огромности вложенного в это сооружение труда.

Тем более что всюду, на плакатах, на транспарантах, на плоскости трибуны, наскоро сооруженной, была изображена схема маршрута, идущего от Надыма, через Пунгу, Нижнюю Туру, Пермь, Ижевск, Казань, Горький, через тринадцать областей и автономных республик, через двадцать три реки, в том числе Обь, Каму, Оку, через болота, овраги, автомобильные и железные дороги.

Трубопровод был построен за девять месяцев, на 60 дней раньше, чем планировалось. И уже одно это говорит о многом. Митинг на Волгоградском проспекте собрал не только москвичей, но и северян, прилетевших из Надыма и Медвежьего, горьковчан, которые вели нитку газопровода на четвертом, завершающем этапе. Здесь были и те, кто с благодарностью к строителям «принимал сибирский газ», — представители общественных, хозяйственных, партийных организаций.

Министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Борис Евдокимович Щербина огласил текст приветствия ЦК КПСС и Совета Министров СССР участникам строительства газопровода.

Затем состоялся торжественный митинг.

«...Приход сибирского газа в столицу — это начало больших качественных перемен в топливном балансе страны,— сказал, выступая на этом торжестве, министр газовой промышленности СССР С. А. Оруджев.— В дело вступила газоносная провинция севера Тюменской области, подземные кладовые которой хранят три четверти всех газовых запасов Советского Союза. Положено начало крупномасштабному использованию топливных богатств Сибири. Отныне и на многие годы вперед основной прирост добычи газа в стране будет производиться за счет освоения тюменских месторождений...»

«Отныне и на многие годы!» — сказал министр.

Отныне мы действительно все чаще будем думать о нефтяниках и газовиках Тюмени, восхищаться их достижениями, радоваться масштабу развернувшихся работ.

«Сибирь — Москва» — это, пожалуй, не только название трубопровода. Но и своего рода вступление в тему. Это начало рассказа об увиденном на Севере, о том, что и как меняется в профессиональном и духовном облике советских нефтяников вместе с этапами нашей индустрии

альной истории, в которой каждое десятилетие — это эпоха.

Ничто не рождается на пустом месте. И все лучшее сегодня подготовлено трудом, энергией, инициативой и исканиями предыдущих рабочих поколений.

Поэтому мне и хочется перебросить здесь мысленный мост из семидесятых годов в сороковые, пятидесятые. Вспомнить то, что довелось увидеть самому, рассказать о рабочих людях, нефтяниках первой послевоенной пятилетки. А затем вернуться к событиям наших дней, от старой Кубани — родины русской нефтяной промышленности — к событиям и героям нового Тюменского Севера.

В СОРОКОВЫЕ, ГРОЗОВЫЕ

Я впервые попал на нефтяные промыслы Кубани зимой 1947 года. Стояли зимние, в этих краях дождливые и пасмурные, дни. Поля, лишённые снежного покрова, разбухли и сочились влагой. Грязь, как гигантское тесто на дрожжах, всходила на грунтовых дорогах, делая их непроходимыми ни для машин, ни для лошадей.

Мы ехали к новому промыслу, расположенному в районе, бывшем ещё недавно излюбленным прибежищем волков и кабанов. Их отпугивали горящими факелами, смоченными нефтью. Когда-то тут было пропасть всякой дичи. И дикие утки, слетавшиеся сюда, теперь нередко садились в огромные чаны для нефти, принимая их за воду, и уже не могли подняться.

Эта новая площадь находилась неподалеку от старейшего месторождения, где до войны высился мраморный обелиск с надписью: «Прародительница нефти в России, скважина № 1, пробуренная ударным способом с применением паровой машины».

Немецкие оккупанты разрушили этот памятник. Однако они не смогли получить здесь ни одной тонны промышленной нефти. Партизаны, в рядах которых было немало нефтяников, препятствовали малейшей попытке начать промышленное бурение, взрывали оборудование и уносили его в горы. Но едва части противника покатались к западу, как партизаны, спустившись с гор, принялись за восстановление промысла.

Вначале жили, как на фронте, в землянках. Грелись кострами. Связь держали с городом по полевому телефо-

ну. Но работы продвигались быстро. За первые два послевоенных года здесь, словно бы из-под земли, вырос черный лес вышек. Зажглись подвешенные над скважинами большие яркие лампы. Вскоре их стало уже так много, что огни на промысле сливались в одно плывущее над степью зарево. Линией пунктира огоньки уходили к горам, и казалось, что это дальние маяки, обозначающие на земле берега невидимого нефтяного моря.

Одним из тех, кто разбуривал весной, летом и осенью сорок седьмого года эту площадь, был буровой мастер Николай Михайлович Поздняков.

Парторг ЦК буровой конторы «Апшероннефть» был в этих краях человек новый и знал Позднякова только понаслышке. Поэтому, когда буровой мастер, не совсем еще оправившийся от ранения, вернулся в родной поселок, парторг спросил у него:

— Как вы попали на фронт?

— Сдал броню в военкомат. Ушел добровольцем. Лейтенант пехоты, ранен под Сталинградом.

— Что же вы теперь думаете делать?

Поздняков удивленно посмотрел на парторга, а потом молча показал ему небольшую книжку, изданную еще до войны — «Опыт скоростного бурения бригады мастера Позднякова».

В ней рассказывалось, как Поздняков со своей бригадой достиг всесоюзного рекорда коммерческой скорости бурения скважин — пять тысяч двести восемьдесят метров на станко-месяц. В книжке было два портрета: командарма тяжелой индустрии Серго Орджоникидзе и мастера Позднякова.

— Но старая слава ржавеет, если ее не обновлять, — сказал тогда парторг. — Скорости в бурении — это наше настоящее и будущее. Так за чем же дело стало, товарищ Поздняков?

— Дайте мне бригаду, и я опять возьмусь за скоростное бурение, — пообещал мастер.

...Вновь открытая площадь «Восковая гора» пользовалась плохой репутацией у буровиков. Было уже немало случаев, когда при бурении допускался большой радиус кривизны, и иные скважины приходилось даже перебуривать. Кое-кто из рабочих стал поговаривать, что, мол, на этой горе вообще невозможно хорошо работать.

— Ерунда! — сказал Поздняков, выступая на собрании. — Отдайте мне «Восковую гору». Будем бурить каж-

дую скважину не два-три месяца, а десять — пятнадцать дней.

В зале сразу стало тихо. Кто-то крикнул:

— Хватит, товарищ Поздняков, рассказывать бабушкин сон! Кто поверит, что на «Восковой горе» можно так бурить?

Поздняков вспомнил, как до войны, когда он ставил свои всесоюзные рекорды бурения, он не раз ездил в Москву на беседу с Серго Орджоникидзе. Нарком посылал ему поздравительные телеграммы, подарил личную машину. Это была счастливая полоса его жизни, он был удачлив, энергичен, умел шагать в ногу с новой техникой.

В тот же вечер ему позвонили из крайкома партии. Хотели проверить, правильно ли им сообщили о выступлении мастера.

Спросили:

— Так, значит, беретесь?

— Я дал слово, — ответил Поздняков, — слово коммуниста.

...Когда Поздняков поднялся на деревянный настил буровой, смонтированный у устья будущей скважины, первая вахта его бригады уже находилась на своих местах. Поздняков огляделся вокруг. Буровая стояла в густом дубовом лесу на склоне «Восковой горы». Было очень рано: пять часов утра. Солнце только еще всплывало в небо, освещая снежные пики далеких снеговых вершин. В лесу стлался предрассветный туман, но там и тут в утреннем воздухе раздавались голоса людей.

У палатки, которую поставила себе в лесу бригада, с записными книжками в руках стояли инженеры из треста «Апшероннефть» и гости — корреспонденты газет, инженеры и работники крайкома партии. На самой же буровой примостились двое хронометражистов, ожидая начала бурения.

Один из трестовских инженеров подошел к мастеру.

— Провалишься, Поздняков! Сознайся, хватанул лишний? — насмешливо спросил он.

Поздняков рассмеялся:

— Нет, дорогой товарищ, не увидеть вам этого. Побудьте с нами до конца, посмотрите, может быть, потом и покритикуете за что-либо.

Мастер еще раз перед началом работы оглядел свое хозяйство: вышку, поднимающуюся над лесом, мощные моторы, ротор, новые насосы завода «Красный молот».

Это была хорошая отечественная техника. Кое-что прямо переключалось с фронта, например, танковые моторы, которые гнали теперь струю глинистого раствора в глубь скважины.

— Сегодня ведь девятое мая, годовщина дня победы над Германией,— сказал Поздняков, обращаясь к вахте.— Какой день, ребята! И в этот день мы начинаем первую скоростную. Ну, Володя,— обратился он к Владимиру Гуслякову, бурильщику первой руки, стоящему у тормоза,— начали!

Бурильщик включил ротор, и стальное, особой закалки долото, похожее на лопасть морского винта, начало прогрызать землю. Поздняков всего несколько минут наблюдал, как его ученик Гусляков медленно наращивает скорость бурения.

— Нет, так не годится,— сказал он.— Я тебе сейчас покажу, как надо бурить скоростную.

Мгновение — и наблюдавшим за работой показалось, что металлическая буровая вздрогнула от напряжения. Толстый круг ротора стал вращаться с огромной скоростью. Два мощных насоса погнали в трубы струю глинистого раствора с такой силой, что он сам мог бы, казалось, размывать и выносить породу. Пятнадцатиметровый стальной квадрат, на опускание которого иногда уходит несколько часов, Поздняков забил в землю в какие-нибудь две минуты. Хронометражисты сдержанно ахнули, заполняя свои блокноты.

Ученик, наблюдавший за мастером с удивлением и восторгом, не успел опомниться, как надо было уже наращивать на инструмент металлическую «свечу» и опускать ее в пробуренное отверстие.

— Я никогда не думал, что можно так бурить! — Он не скрывал растерянности.

— Можно и нужно. Вот теперь становись ты к тормозу,— предложил Поздняков,— и давай в том же духе.

День был жаркий, безветренный. В горах не держались долго ни туманы, ни дождевые тучи. Лес вокруг площадки вырубил, а на буровой не спрячешься от палящих лучей солнца.

Поздняков снял с себя рубаху. Ему приходилось самому часто становиться к моторам, помогать молодежи. Вся вахта работала, скинув верхние рубахи, налегке, не ослабляя высокого ритма.

Поздняков как-то сказал: «Они у меня как моряки на корабле: махнешь рукой — и все на своих местах».

Чуть замешкался верховой — по винтовой лестнице на вершину вышки уже бежит рабочий, помогая устанавливать тридцатиметровые трубы, извлекаемые из скважины.

Поздняков перед началом работы всегда обходил свое хозяйство, проверяя, подвезли ли ему все, что необходимо для непрерывного хода бурения. Он никогда не пускал буровую, пока не убеждался, что подготовка закончена.

Стоя у ревущих от напряжения моторов, Поздняков то и дело поглядывал на часы. Поворачивая руку тыльной стороной, он молча показывал часы бурильщикам. Чувствовалось, что у него взвешены и учтены минуты и секунды. Не только сама вахта, но ремонтники, слесари, рабочие у насосов поглядывали на бурового мастера, как музыканты в оркестре на дирижера.

Как-то рассказывая мне о своей бригаде, Поздняков сказал, что у него действует котловая система. По просьбе самих бурильщиков заработная плата рассчитывается не по индивидуальному метражу, пробуренному каждой вахтой — ведь на долю иных выпадают ремонтные и спуско-подъемные операции, а по общему объему и скорости работ всей бригады.

Но у поздняковцев был не только общий денежный котел. Когда во время одной из ночных вахт произошла авария — порвались цепи Галля, не только дежурные слесари, но и все, кто отдыхал после вахты и спал в это время в палатке, — вышли им на помощь. И они за несколько часов починили оборудование, не дав аварии сорвать намеченные сроки бурения.

Проходка земных недр — это словно бы путешествие в неизведанные края. Оно трудно и увлекательно. Правда, вахта не сходит с подмостков своей буровой, но она и не видит в глубине земли своей трассы и всегда готова ко всяким неожиданностям.

Когда в первый же день бурения вахта Володи Гусякова встретила мергели — слой твердо спрессованного известняка с цементированной поверхностью, стирающей долото, как наждак, молодой бурильщик резко сбавил темп бурения.

— Нет, ты так его не возьмешь, — сказал Поздняков.

Была в его характере одна черточка — увлечение риском. В былые времена, случалось, мастер позволял себе рискованную операцию — бросал на твердую породу

долото, подкрепленное тяжестью всего многотонного инструмента. Опыт и рабочая зрелость излечили его от этого искуса.

Но все же смелая хватка, которая жила в молодом тогда еще мастере, помогла ему найти метод, которым он быстро раскалывал и одновременно стирал в порошок твердокаменные породы.

Он применял так называемый «утяжеленный низ», навинтив в нижней части бурильного инструмента специальные трубы, создающие дополнительную нагрузку весом до двенадцати тонн. Инструмент теперь не отклонялся в стороны и не мог искривить скважину даже при очень высокой скорости, как бы глубоко ни уходила она в толщу пластов.

Нефтяники говорят, что сердце буровой — это грязевой насос. Мутно-красный, тяжелый и плотный раствор глины по толстому шлангу, а потом через бурильный инструмент попадает к основанию бура. Оттуда он выходит на забой скважины под огромным давлением до восьмидесяти атмосфер.

Поздняков увеличил отверстия на вращающихся лопатках бура. Вместо одного грязевого насоса бригада поставила два. Теперь струя раствора выходила на забой скважины с такой силой, что сама могла вымывать мягкую породу, вынося ее на поверхность земли.

Поздняковцы сократили операции по подъему и спуску бурильной колонны, получив за счет этого большой выигрыш во времени. Все это создало еще небывалый на промыслах высокий и четкий ритм скоростного бурения.

Девять дней жила поздняковская бригада в своей палатке у буровой, лишь изредка наведываясь к родным в поселок. Девять дней бурильщики засыпали и просыпались с одной мыслью — сколько взято метража, как идет буровая? И все эти дни у подмостков дежурили хронометражисты, чтобы потом обобщить и передать другим промыслам опыт апшеронцев.

Но вот была достигнута проектная глубина — тысяча сто метров. Последняя вахта залила в скважину цемент, чтобы крепчайшей рубашкой, которая поднимется между эксплуатационными трубами и стенками скважины, намертво запереть воду в пластах, лежащих выше нефтяной свиты.

Поздняков смотрел на часы. Подошел к концу срок затвердения цемента, и долото, уже опущенное в скважину, тотчас начало разгрызать цементную пробку, давая свободный выход нефти.

Когда были подведены итоги, то выяснилось, что скважина, начатая в День Победы, была пробурена с выдающимся рекордом скорости в послевоенное время на Кубани и во всем Советском Союзе. Коммерческая скорость на станко-месяц составила три тысячи триста шестьдесят метров (в три раза выше нормы), и вся скважина была сдана промыслу на двадцать один день раньше срока.

...Я частенько думаю и вспоминаю о Позднякове, о послевоенной Кубани, где все по своему напряжению, трудностям напоминало фронтовую обстановку.

— Эти девять дней на скоростной буровой буквально перевернули весь промысел, — говорил мне тогда руководитель конторы бурения. — Если еще и находились раньше люди, которым трудности восстановления казались неодолимым препятствием для скоростных проходок, то им пришлось умолкнуть под давлением фактов. Ни один буровой мастер уже не мог говорить о месячном сроке для бурения, не рискуя сгореть от стыда. Ведь поздняковцы бурили обычно не больше, чем десять дней. Поистине скоростные методы у нас произвели маленькую революцию!..

Ну, а сам Поздняков — герой тех дней, часто выступавший на слетах передовиков, на партийно-хозяйственных активах, где его видели, слышали многие ныне работающие нефтяники, буровики — как он выглядел?

Я уверен, что Поздняков производил на своих молодых рабочих-современников сильное впечатление. Мне тоже казалось, что от его плотно сбитой фигуры, тяжеловатой походки даже внешне исходила эманация физической и духовной силы. Он был страстный охотник, человек жизнелюбивый и умеющий заражать жизнелюбием тех, кто с ним работал.

Говорил Николай Михайлович громко, четко, немного с хрипотцой, словно был постоянно простужен. Хотя он воевал в скромном чине лейтенанта, но по возрасту вполне «тянул на майора». На лице его лежали ранние и глубокие морщины, кожа слегка задубела от постоянного пребывания на ветру, но блеск темных глаз был яркий, молодой.

Я думаю, что Поздняков знал себе цену и высоко ценил свою страсть «к темпированной работе», как он любил говорить. Еще до войны рабочая слава коснулась его своими шумными крыльями и сделала чувствительным к похвалам, чего Поздняков и не скрывал. Он любил быть на виду, в центре производственной и общественной жизни на промысле.

В работе Николай Михайлович был поистине неистов, «выкладывался на полную катушку», себя не щадил и многого требовал от других. Никто не мог бы бросить ему упрека и как коммунисту.

Шло время. Традиции трудового героизма развивались, углублялись, приобретали новые формы. Пора единичных рекордов постепенно начала сменяться стремлением к широкому, массовому подъему производительности труда, к высокой его эффективности на основе более продуманной организации и культуры производства.

Уже в те сороковые годы жизнь начинала выдвигать «на передний край», на видное место рабочих иного склада, чем Поздняков.

ЗЕРНО НОВОГО

Буровая вышка стояла на самом гребне поросшей лесом горы, и со своих подмостков буровики могли наблюдать за тем, как работают в низинке строители, вырубая лес, монтируя оборудование и подводя к новой буровой коммуникации. Строители готовили бригаде мастера Хрищановича новый фронт работ, не успевая за бурильщиками: пока закончат установку вышки, пройдет дней десять и неминуемо «окно» — вынужденный простой.

Хрищанович, тоскуя, ходил вокруг строителей по разрыхленной земле площадки, тоскуя, подсчитывал свои неожиданные «свободные» дни. На гребне горы он уже закончил проходку двухкилометровой скважины, сократив в два раза обычные сроки бурения. После ночной вахты, сдав готовую скважину, бригада собиралась домой.

— Вот что, ребята, — сказал Хрищанович. — Сами видите, какое дело. Надо помочь. Давайте вклинимся в бригаду строителей.

Опытный мастер, он хорошо знал своих людей, проработав с ними в Нефтегорске много лет, но все же он волновался, ожидая, что скажут бурильщики. Все были

единодушны: надо помочь. Комсомольцы захотели сделать это немедленно. Тут немного удивился сам мастер.

— Как, прямо сейчас после ночной смены? — спросил Хрищанович.

— Да, сейчас!

И в то же утро они, вместе со строителями, протащили по склону горы на четыреста метров свою огромную сорокаметровую металлическую вышку.

...Мастера Хрищановича я впервые увидел на промысле «Восковая гора». Он обходил свой скоростной участок, разбросанный на довольно большой площади и объединенный ритмом слаженной комплексной работы. Начальник участка на минуту забежал погреться в маленькую деревянную будку, кочующую вслед за бригадой от одной буровой к другой.

Когда он, высокий, ширококостный, в черном полушубке, втиснулся между железной печуркой и складной кроватью, в будке стало темно.

— Вот и Александр Степанович — хозяин всего участка, — с уважением произнес Леша Бараев, молодой бурильщик, такой же высокий, как и Хрищанович, с открытым и приятным лицом.

Хрищанович протянул над печуркой руки, большие, сильные, со вздувшимися бугорками вен.

— Скоро потащим вышку, Александр Степанович? — спросил Леша.

— Надо тащить, — сказал мастер. — Вас уже ждут на новом месте, площадка готова.

— Замечательная это вещь — цикл! — восторженно произнес Леша. — Мы в этом месяце покажем такие скорости, какие здесь никому не снились.

— Ладно, болтаешь! — остановил его мастер, но худое суровое его лицо потеплело в еле заметной улыбке.

— Время, вот что нам дорого сейчас! Время.

Хрищанович молчал, погруженный в свои мысли.

Леша внимательно смотрел, как буровой мастер разминает над печуркой покрасневшие уже от тепла пальцы. Он, видимо, был неразговорчив, спокоен, нетороплив, но осязаемая волевая сосредоточенность и сила окрыляли его короткие, скупые фразы:

— Иди встречай трактора, Алексей. Слышишь, уже режут в кустарнике.

Через полчаса бригада потащила на новое место буровую вышку. Целую неделю подряд в горах шли пролив-

ные дожди. Вздрыбленные волны грязи на горных скатах были похожи на внезапно застывший морской прибой. Вышку тащили три трактора, а четвертый шел сзади, натягивая трос, укрепленный на шпиле буровой, — удерживал в равновесии многотонное сооружение. Тракторы ломились через кусты, лес, потоки воды, как танки, сокрушая все на своем пути.

Мастер шел впереди, выбирая дорогу. В одном месте Хрищанович по неосторожности увяз в грязи. Он махнул рукой, чтобы на него не обращали внимания и продолжали тащить вышку. Но на помощь к мастеру тотчас бросились двое бурильщиков. Смеясь и сами утопая по колено в грязи, они вытаскивали Хрищановича, поддерживая одновременно голенища сапог, которые липкая безжалостная глина снимала с ног.

Хрищанович выбрался на место посуше и переобулся. Потом снова неутомимо шагал впереди, то появляясь, то пропадая среди деревьев, и по его замываемому водою следу с ревом ползли вспахивающие рыхлую землю тракторы. К вечеру этого же дня вышка, проехав около полукилометра, была установлена на месте новой скважины.

...Они были очень разные — эти два человека, два коммуниста: стремительный, горячий на слово и жест Поздняков и малоразговорчивый, всегда серьезный Хрищанович. Долгие годы опытный мастер Хрищанович был в тени, заслоняемый яркой фигурой Позднякова, не выпускавшего из своих рук инициативы скоростного бурения.

Поздняков все свои усилия сводил к тому, чтобы установить рекорд коммерческой скорости и вернуть былую славу. Незаметный Хрищанович мыслил шире.

Наблюдая за Поздняковым, Хрищанович не мог не заметить некоторой однобокости его увлечения рекордами. Поздняков думал только о своей буровой, Хрищанович же теперь болел душой и за строителей, и за вышкомонтажников, за нефтяников смежных профессий, за весь промысел. Поздняков боролся за одно важное звено, составляющее только часть дела, в то время как Хрищанович видел перед собою целое.

Опыт нескольких дней помощи строителям натолкнул Хрищановича и всю его бригаду на важную и плодотворную идею — идею организации скоростного участка.

На деле новый метод Хрищановича означал вот что: бригада потребовала себе комплект оборудования, два бу-

рильных станка, две вышки, четыре трактора и людей, занятых вспомогательными работами. Пока бурилась одна скважина, часть большой бригады, куда входили теперь и строители, воздвигала себе вторую буровую, потом бурильщики переходили на новую точку и одновременно перетаскивали старую вышку на третье место. Теперь уже не могло быть речи ни о каких «окнах» и простоях. Это был высокопроизводительный, непрерывный цикл бурения на большой нефтеносной площади.

Скоростной участок Хрищановича изменил не только всю систему буровых работ, но и в какой-то степени психологию бурильщиков и мастеров.

Раньше бурильщики несли ответственность только за свою скважину — на скоростном участке они отвечали за весь объединенный коллектив бурильщиков, монтажников, вышкостроителей. Только люди, чувствующие себя подлинными хозяевами, могут стремиться ко все большей ответственности, заботам и волнениям за общее дело. Но для Хрищановича и его бригады это было естественно и необходимо, все это вытекало из их повседневных дум и забот о жизни промысла.

Новаторский почин вскоре стал достоянием всех нефтяников наших южных районов. Он открывал новые перспективы в организации труда, и этот метод начали внедрять во многих буровых конторах.

...Я как-то сидел в уютной квартире мастера, поджидая его, когда за темным окном появилось лицо и плечи высокого человека в брезентовой накидке и капюшоне, надвинутом на самые глаза. Шел уже девятый час вечера, а Хрищанович уехал на буровую в шесть утра. Жена его уже несколько раз звонила на промысел.

Мастер снял в передней сапоги и в одних меховых носках вошел в комнату.

— Опять задержался.— Он виновато поглядел на жену, махнувшую рукой, как бы говоря, что это «опять» она слышит каждый день.— Заливали цемент в скважину.

— Что ж, не могли без тебя?

— Могли. Я все подготовил.

— Так почему не уехал?

— Люди-то работают, и потом они привыкли — Хрищанович всегда на буровой,— сказал мастер в ответ на улыбку жены.

Он посадил себе на колени светловолосую четырехлетнюю внучку, которую очень любил, из соседней комнаты

вышла взрослая дочь мастера. Александр Степанович поднялся и поцеловал ее в лоб.

— Ну, как буровая, папа?

— Пошабашили, дочка! За четырнадцать дней полный цикл, вместе со строительством.

— А по плану?

— Тридцать пять дней.

— Вот видишь! Что я говорила! — засмеялась она. — И нефть там есть?

— Ого! — Хрищанович взмахнул рукой. — Там ее полные подвалы. Только качай и качай!

— Молодцы, честное слово! И ты молодец, папка! — Молодая женщина взяла к себе на руки дочку, которая мешала деду есть.

Я спросил бурового мастера, как вызрела у бригады мысль о скоростных участках.

— Мы много думали об этом, — просто ответил Хрищанович. — Одна коммерческая скорость погоды не делает.

Уже в десятом часу вечера на квартиру к мастеру позвонил парторг буровой конторы. Они пригласил Александра Степановича на беседу, которую проводил лектор крайкома, задержавшийся в горах из-за непогоды и только что приехавший.

Хрищанович позвонил на промысел мастеру ночной вахты:

— Звони мне на лекцию, если что. — Потом достал свои меховые носки и подержал их над голубоватым огнем газа, горящего в печке, побеленной ослепительно белой краской. Мастер посушил свою куртку над этим никогда не гаснущим газовым камином, который стоял в доме каждого нефтяника, и стал надевать сапоги, собираясь на лекцию.

...В горной седловине, где между высоких старых дубов виднелся большой бак-мерник, собирающий нефть из скважин, стояла девушка-оператор по добыче.

— Катя, — спросил Хрищанович, возвращающийся со своей буровой, — почему у тебя такое лицо?

Девушка рассказала, что недавно пущенная в эксплуатацию скважина с высоким дебитом неожиданно замолкла и нефть больше не идет.

— Куда она делась? Ума не приложу. — Она чуть не плакала от досады. — И геологи уже прибегали, но ничего не могут понять.

Хрищанович приложил ухо к железной обшивке мерника и, убедившись, что нефть действительно не бежит, сокрушенно вздохнул.

Мы отошли уже с полкилометра, когда Катя закричала нам во весь голос:

— Товарищи, подает!

Буровой мастер бросился назад к скважине. Он бежал через кустарник и ручьи воды, текущие по плотной и глубокой грязи. Запыхавшись, Хрищанович по железной лестнице влез на верх мерника. Там из широкой трубы на дно резервуара уже бежал зеленоватый, искрящийся на солнце поток и, пенясь, гулко бился о стенки бака.

Шум льющейся нефти заполнил все вокруг.

— Подает! Как хорошо подает нефть! Молодец какая! — говорил мастер с сияющим лицом, оглядываясь на Катю.

— Просто что-нибудь с насосами случилось, и сейчас исправили, — сказала девушка. Она тоже поднялась на бак и стояла там рядом с мастером, вытирая со лба светлые капельки пота, раскрасневшаяся, похорошевшая от волнения.

Два раза мы отходили от мерника метров на сто, и Хрищанович снова возвращался послушать, как льется нефть.

— Замеряйте, пожалуйста, замеряйте ее дебит, — говорил он девушке.

— Вот оно, наше сокровище — улыбнулась мне Катя.

Хрищанович мельком взглянул в мою сторону, потом перевел взгляд на Катю, о чем-то раздумывая, и неожиданно произнес:

— А люди, Катя, разве не сокровище? Какие у нас люди!

...Буровой мастер Александр Степанович Хрищанович стал первым на кубанских промыслах Героем Социалистического Труда. Он заслужил эту высшую степень трудового отличия в 1948 году, когда претворил в жизнь свою идею скоростного участка.

Я думал о пытливом уме мастера, его стремлении найти новое, прогрессивное, и мне казалось естественным, что новаторский метод, отражающий в себе черты коммунистического отношения к своему делу, родился именно в его бригаде.

Вспоминая ныне личность самого мастера, впечатлившего меня целостностью и силой своей натуры, вспоми-

ная эпизоды, факты, записанные мною в конце уже далеких сороковых годов, думая о Хрищановиче, я вижу в нем те черты рабочего характера, которые определяют нечто глубокое, органичное и важное в коренном ходе послевоенной рабочей жизни.

Весьма примечательные для тех лет, эти черты не исчезли, не ушли в сыпучий песок времени, а живут и ныне, развиваясь и углубляясь, приобретая новые грани, порожденные требованиями наших дней, новыми условиями, новыми задачами.

Метод скоростного участка?! Именно в той форме, в какой его осуществлял Хрищанович почти тридцать лет назад, он ныне уже не применяется на промыслах Кубани. Но разве не просматривается живая душа этого метода в постоянном стремлении рабочих бригад к увеличению скорости проходки земных недр. В поисках современных организационных форм, подсказанных нынешним уровнем технического прогресса!

В НЕФТЯНЫХ ТУЙМАЗАХ

— Внимание! — Мастер Беляндинов сделал знак рукой, чтобы все отошли. Волнуясь, люди торопливо попятись в стороны от черного устья буровой.

Девонская скважина, пробуренная на глубину более полутора тысяч метров, благополучно вошла в нефтеносные песчаники. Из нее откачивали воду, возбуждая фонтанную энергию пласта, и это была последняя, венчавшая все труды бурильщиков операция.

— Галиуллин, — весело попросил мастер, — расшевели ее, милочку. Пусть побросает немного.

Над устьем скважины закурился светленький курчавый газок. Предвестник нефти, он первым выбирался на свободу, а глубоко под землей уже клокотала в стальном горле труб и сама нефть.

— Дышит! — ласково произнес мастер. Он провел ладонью по раскрасневшемуся от мороза лицу и чуть заметно улыбнулся.

Казалось, черный столб выпер из трубы, словно выдернутый стремительно летящим вверх канатом. Мохнатая шапка струи мелькнула где-то около верхних мостков и через мгновение обрушилась вниз тяжелым маслянистым дождем. Порывистыми толчками скважина выбра-

сывала грязную воду, пропитанную нефтяной эмульсией. Возбужденная газом, она долго не могла успокоиться и все выкидывала в небо жирные оранжевые пятна.

Мастер растер на ладони липкий пахучий сгусток.

— Нефть! — Беляндинов помахал ладонью. — Видите, скважина сильная. Здесь будет фонтан!

Буровая высилась в открытом поле сорокаметровым маяком над степным зимним простором. Ветер крутил по-земку. Жесткий, обжигающий, он поднимал в воздух снежную пыль, и она клубилась туманом вокруг железной пирамиды вышки. И только горящие в отдалении факелы нефтяного газа, который еще не знали куда девать и как утилизировать, точно костры на снегу, разрывали белую мглу нежно-злыми колеблющимися огнями.

Мы пошли греться в «культбудку» — деревянный переносной домик, который стоял в пятидесяти шагах от буровой. В двух чистеньких его комнатах от толстой трубы паропровода струилось тепло. Поджидая мастеров, за рабочим столом сидел парторг буровой конторы Ашин и перелистывал вахтенный журнал, где отмечалось все, что происходило с турбобуром на его длинном подземном пути к нефти. Ашин подсчитал, что 236-ю скважину бригада прошла на тридцать дней раньше срока, но это был не лучший результат в году, и все знали, что Беляндинов недоволен итогами.

— Касим Белянович, дорогой, — сказал парторг, — этой скважиной закончили год. Пора, мастер, подумать о следующей, о новых скоростях, которых достигнет бригада. Надеюсь, что это будет тысяча двести пятьдесят метров на станко-месяц, — скорость неслыханная еще в наших краях!

Беляндинов улыбнулся мягкой озабоченной улыбкой человека, уверенного в себе, но осторожного в обещаниях.

— Тысяча двести, Алексей Дмитриевич, — возразил он, — это реально.

— А не слишком ли реально? Может быть, выше? Чтобы было за что бороться! Вот. — Парторг похлопал ладонью по вахтенному журналу. — Здесь все предпосылки для решительного броска вперед. Смелее!

— Мы подумаем, — пообещал Беляндинов. — Шагать надо по ступенькам, но мы подумаем, парторг.

Он раскрыл дверь в комнату, где отдыхали его бурильщики, и кивнул рабочим, широким жестом приглашая всех заходить и принять участие в разговоре.

...Я просматриваю свои записные книжки начала пятидесятых годов. Поучительное это занятие и интересное. События, факты, люди, как бы заново увиденные сквозь призму прошедших лет, обретают своеобразную рельефность и временную глубину. Интерес же к ним отнюдь не только мемуарный, хоть и пожелтели уже страницы записных книжек. Нет, это еще и повод, толчок, отправная точка для раздумий, сопоставлений, имеющих самое непосредственное отношение к делам нашего времени, к заботам сегодняшнего дня.

Я беру в руки заложенные между страницами газетные вырезки. На бумаге налет восковой желтизны. Сравнишь со свежим газетным листом — разница впечатляющая. Бумага стареет на рубеже пятнадцати — двадцати лет. А вот то, что в ней запечатлено, живет еще и зрительно, и эмоционально в памяти — и впечатления от давней поездки в Туймазы, и картины бурения скважин в зимней башкирской степи, и памятная мне фигура мастера, его грубоватое, простое, доброе лицо человека работающего, старательного, всей душой отдающегося делу.

Судьба его типична для современника. Крестьянин, потом рабочий, сначала в Баку, затем в Туймазах. Ушел на фронт, славно и честно повоевал, и вновь нефть притянула его к себе после того, как, раненный и подлечившийся, он в сорок четвертом вылез из вагона на перрон маленькой и тихой станции. Хромая и опираясь на палочку, Беляндинов осторожно пошел к зеленому автобусу, и тот повез его на промыслы.

Как раз в этом году, памятной вехой вошедшем в историю Второго Баку, здесь в Туймазах геологи Мальцев, Залоев, Торяник, следуя настойчивым указаниям академика Губкина, вскрыли ниже известного угленосного горизонта более глубокие песчаники древних девонских отложений и обнаружили могучий, многообещающий фонтан нефти. Скважина № 100, возле которой поставили впоследствии мраморную доску с надписью «Открывательница девонской нефти», гремевшей пятидесятиметровой струей как бы салютовала в осеннем ясном небе второму рождению Туймазинских промыслов. И вот в короткие сроки на месте недавней безвестной башкирской деревушки начала развиваться одна из крупнейших в пятидесятые и шестидесятые годы нефтяных баз на востоке страны.

Еще немного подлечившись в Туймазах после ранений, мастер Беляндинов принял буровую.

До войны скважины здесь бурили медленно и долго. Бурили год и дольше, если бывали технические осложнения или же случались задержки из-за сорокаградусных морозов и бушующих в степи метелей, когда заносило все дороги и ветер рвал провода, раскачивал многотонные вышки. Трудно было весной и осенью, в распутицу, преодолеть которую могли лишь тракторы.

Да, зимы в Туймазах — суровые. И, преодолевая трудности освоения Второго Баку, покоряя сложнейшую по тем временам нефтяную целину, буровики Татарии и Башкирии исподволь, ходом самой нашей индустриальной истории готовились к новым испытаниям — к метелям еще более жестким, к бездорожью еще более тяжелому — на просторах Западно-Сибирской низменности, в Приобье и в Заполярье.

Точно броневым щитом и здесь, в Туймазах, природа прикрывала свои недра окременелыми доломитами, крепчайшими известняками, мергелями, песчаниками. Если на юге, в Баку, скважину проходили тридцатью долотьями, то восток требовал ста. Кремневая твердь съедала стальные зубья долотьев, не пробуривших подчас и полуметра.

Беляндинов только втягивался в работу, присматривался и изучал своих людей, а на промыслах Туймазы уже гремела слава мастеров Куприянова, Балабанова, Алексеева, Усова и других. Они внедряли широким фронтом турбинную технику, опрокидывали старые нормы и технологию.

Беляндинов и Куприянов принадлежали в общем-то к поколению Позднякова и Хрищановича. Но так случилось, что рабочий их талант в полную меру развернулся уже в годы пятидесятые, а это наложило свой отпечаток на характер их рабочего поиска, творчества.

Страна стремительно шагала по пути технического прогресса, и не случайно Куприянов и Беляндинов искали новые методы в сфере форсированных режимов, добивались скорости за счет новаторского применения техники.

Я как-то вместе с Беляндиновым поехал на буровую Ивана Дмитриевича Куприянова. Хотел познакомиться с ним. Беляндинову же надо было что-то посмотреть, поучиться. Учиться же, вообще говоря, было чему. Куприянов в те годы был уже Героем Социалистического Труда,

получил Государственную премию за разработку и осуществление метода форсированного бурения скважин.

По тогдашним временам это было ново и интересно. Куприянов первым начал нагнетать раствор, приводящий в движение забойный турбинный двигатель не одним, а сразу двумя мощными насосами. Смелое это решение поразило тогда не одного мастера Беляндинова.

Дело в том, что работа с турбобурами сама по себе являлась в те дни новацией. При турбобуре вращалась не вся многометровая бурильная труба, «не весь инструмент», как говорят буровики, а лишь сама турбинка на конце его. Новая технология, имевшая бесспорные преимущества, требовала и нового рабочего искусства, особенно в умении проходить твердые породы. Ведь тут при больших нагрузках легко было и сломать долото. Значит, надо было находить такой оптимальный режим нагрузки, чтобы не давать турбине останавливаться при очень большом давлении и не «прыгать» — при малом.

«Когда турбина «танцует», вся талевая система у меня прыгает», — как-то сказал мне Беляндинов.

Освоить работу на двух насосах — означало научиться работать по-новому, с еще большими давлениями грязевого потока на турбобур.

И вот ранее ничем особенным не отличавшаяся беляндиновская бригада, работая на двух насосах, прошла скважину с небывалой высокой в Туймазах скоростью — 1100 метров. На конференции, которая всегда проводилась в бригаде перед началом бурения каждой новой скважины, рабочие решили начать соревнование с бригадой Ивана Куприянова.

— Он мужик сильный, — сказал тогда Беляндинов, — мы у него учились, а теперь потягаемся с героем.

Позвонили Куприянову. Вышка его стояла километров за двадцать, он только начинал свою новую буровую. Вызов он принял.

Куприянов, невысокий, крупноголовый, с неторопливыми движениями, полными размеренной силы, поднялся нам навстречу из-за стола.

— Ну, чему ты приехал учиться, Касим Белянович? Скорости у тебя уже лучше моих, и все-то ты у меня выведал давно. — В его тоне шутку трудно было отделить от серьезного замечания, и тут уж понимай, как хочешь!

И слова, и тон Куприянова задели Беляндинова за живое.

— Все? — воскликнул он. — Нет! Многое, конечно, но не все! Подожди, время идет, Иван Дмитриевич. Разве мы живем зря? Мы большой опыт накапливаем каждый день. У человека в работе появится что-нибудь маленькое, новое — очень хорошо! И это надо взять.

— Ну, что ж, бери, — задумавшись, ответил Куприянов, и это уже прозвучало вполне серьезно.

Два мастера прошли тогда к буровой по тропинке, протоптанной в снегу. Вахта бурила, пробивая турбобуром толстую, в десятки метров, кремневую породу, встреченную на пути скважины. Долото сработалось, пройдя всего лишь два метра. Молодой бурильщик Михайлов начал при нас поднимать всю свинченную из двадцатипятиметровых бурильных труб колонну, с тем чтобы, сменив долото, опустить ее снова в скважину. Я видел, что Беляндинов с удовольствием хронометрировал четкие, до автоматизма отработанные движения бурильщиков.

...Вот выползает из скважины маслянистое стальное тело бурильной «свечи». Ее мгновенно схватывают железные ладони элеваторов. Вот чуть замешкался на высоте рабочий, отводя верхний конец трубы в сторону (Беляндинов зафиксировал потерю пяти секунд), но рабочий оттолкнул от себя верхний элеватор, Михайлов включил лебедку, талевого блок уже летит вниз, чтобы подхватить новую «свечу», и маленький скоростной цикл заканчивается в одну минуту семнадцать секунд.

— Молодец! Орел! — сказал Беляндинов о Михайлове. — Таких у меня еще мало.

— Ты был моим последователем, Касим Белянович, — с неожиданной грустью заметил Куприянов, когда мы вернулись в будку. — А теперь мне вроде за тобою следовать. Или подождать еще?

Куприянов дал восемь тысяч метров годовой проходки, но отстал от Беляндинова в скорости, и это, видно, мучило его.

— Подождать? — как-то рассеянно переспросил Беляндинов, о чем-то думая и перелистывая вахтенный журнал. — Зачем, друг, ждать? Следовать надо обязательно, вперед следовать.

...Он как-то сказал мне убежденно:

— Если я мастер, то не позволю скважине втянуть меня в неприятности. Надо знать и предвидеть. Я двадцать лет бурю, и мне не стыдно учиться у всех, всю жизнь.

Буровая № 477 была в районе, где насчитывалось по меньшей мере три известные зоны ухода раствора в пласт. «Катастрофическая» зона находилась на глубине 1350 метров — там струя точно всасывалась в какой-то огромный подземный резервуар. В скважину бросали цемент, камни, хворост, даже деревянные столбы, чтобы только создать какой-то остов разрушающимся стенкам.

Беляндинов знал об этом и готовился к трудностям заранее. На большой скорости он подошел к первой зоне, закачивая в скважину приготовленный по своей рецептуре вязкий и легкий раствор, как бы смазанный солидной добавкой нефти. Жидкость обволакивала и укрепляла стенки скважины, турбобур шел вниз, точно купаясь в теплой нефтяной ванне. И Беляндинов проскочил опасную зону.

У него было особое, добытое опытом чутье. Но метод его выходил за рамки принятого, и это встревожило кое-кого из инженеров. Буровую пытались остановить.

— Показатели у раствора неправильные, — говорили мастеру. — Нарушаете норму.

— Зато осложнений не бывает, — отвечал Беляндинов.

Стояла зима, морозы. Глина для раствора так смерзлась, что ее приходилось взрывать. На буровой всегда шипел обогревающий механизмы пар, но холодное железо чувствовалось и через рукавицы. Если сменная вахта в пургу не могла пробиться к вышке, люди продолжали работать вторую смену, ибо остановленный инструмент за полчаса будет намертво схвачен землей.

Ночью в будке мастер, надев очки, читал газеты и отогревал своих людей чайком. Он сам кипятил его и разливал, по-отцовски заботливый, деликатный, всегда удивительно спокойный, мудро неторопливый, даже когда на буровой возникали осложнения. Отдыхая, бурильщики включали радиоприемник, и радостно было слушать голос Москвы под свист бушующей под окнами метели...

Беляндинов закончил эту скважину в сорок три дня вместо восьмидесяти шести по плану. Он пробурил ее со скоростью в 1145 метров. В те годы таких темпов не достигал никто во Втором Баку. Скважина встрепенулась, показала первую нефть. В бригаду посыпались поздравительные телеграммы. Беляндинов написал в газету: «Можно бурить быстрее. Скорости, которых мы достигли, должны и могут стать массовыми».

...Мы как-то ехали с парторгом Ашиным и Беляндиновым по широкому асфальтовому кольцу, связывающему промыслы. Транспортное кольцо просто необходимо для освоения большого нефтяного района. А такой район всегда в движении. Уходят вперед разведочные буровые партии, и вслед за ними, строим железных башен опоясывая степь, передвигались и передвигаются высокие цилиндрические чаны — хранилища, к ним подползают, переплетая землю, толстые жилы нефтепроводов, и вскоре на поле уже качаются, как маятники, большие насосы и тянутся к горизонту цепочки новых рабочих поселков. Мы говорили в машине о том, что бурение — главное в битве за нефть.

— Бурильщик — это, если хотите, и разведчик, и боец переднего края, — сказал парторг Ашин.

Я не мог тогда предположить, что вспомню об этих словах через... двадцать лет. Вспомню в поездках по Западной Сибири, когда начну встречать учеников Позднякова и Хрищановича, Куприянова и Беляндинова, и учеников их учеников в Тюменском Приобье, районе, который стал новым историческим этапом в движении нефтяников с юга на север и с запада на восток.

ТРУДНЫЕ РУБЕЖИ

Буровой мастер Александр Николаевич Филимонов, Герой Социалистического Труда, приехал в поселок Нефтеюганск в 1964 году из Башкирии, где работал на нефтяных промыслах. Сейчас ему под пятьдесят, значит, застал еще и Куприянова, и Беляндинова в расцвете их мастерства и трудовой славы.

Филимонов прибыл «с первым десантом», их было шестнадцать человек. Он так и сказал «с десантом», и я подумал, что слово это в последнее время обрело некое метафорическое бытование в наших статьях, хотя, строго говоря, применяется оно не совсем точно. Военный десант выбрасывается на территории за линией фронта, десанты же строителей, нефтяников, геологов прилетают в новые малоисхоженные края, чтобы по-боевому, и тут уже в полном смысле слова, по-фронтовому начать обживать земные недра.

Прилетел Филимонов в район Усть-Балыкских месторождений летом и с удивлением застал здесь жару, дохо-

дившую в тени до плюс 38 градусов, и вызванные ею пожары.

Чего-чего, а уж такой тропической жары не ожидал он в местах выше шестидесятой параллели! Поистине, Север поражал своими континентальными контрастами.

Пожары тоже, мягко говоря, «впечатляли» своей мощью и неукротимостью главным образом потому, что укрощать их тогда было нечем. Горели редкие сосновые рощи, где деревья, прокаленные солнцем, напоминали темно-коричневые свечи. Пылали кустарник на болотах, густая трава. Не отступала и мошкара, которая, казалось, не боялась и дыма. Ко всему этому и бытовое неустройство. Десантники чувствовали себя робинзонами, которым все надо начинать «с нуля».

Немудрено, что кое-кто уже летом потянулся назад, как здесь говорят, «на Большую землю», даже не дождавшись пугающей зимы, первого сурового дыхания морозов.

Но Филимонов, который привез на Север свою семью, остался. Десантники начали строить для себя балки, им помогали жены, дети. А что еще делать в этой глухомани, если не обживатьсь как можно быстрее, не «вгрызаться в землю», как говаривали на фронте, занимая новые рубежи. Надо было создавать в тайге прочный плацдарм для жизни совместными, дружными усилиями.

Потом начали приходить по воде грузы для обустройства поселков, для первых буровых. Десантники сами строили причалы на реке, от балков начали переходить к возведению первых каменных домов.

— Однажды один такой дом «повело», — вспомнил Александр Николаевич. — Вышел казус. Мы не дождались усадки, подвели дом под крышу, а он и скособочился. Ведь не строители мы, а буровики, но тут уж, если ты первопроходец, то умей делать все!

Филимонов произнес это с улыбкой, которая мне понравилась. Не все люди умеют хорошо улыбаться. А этот крупный, уже слегка седеющий человек смеялся непринужденно, как-то легко и вкусно, говорил громко, внятно, с удовольствием.

И то, как говорил, как энергично двигался, смеялся, — безошибочно свидетельствовало о ровном расположении духа и о той удовлетворенности судьбой, делами, которая, если она прочна и основательна, то и всегда ощутима, какие бы перепады настроения ни посещали порою человека.

— Я начал буровым мастером. Сейчас руковожу буровой конторой. Десять лет здесь,— сказал Филимонов,— и меня уже считают ветераном.

Десять лет — срок, казалось бы, небольшой. Но только не для этих мест, где, как в былые времена на фронте, каждый год, проведенный в болотах, в битве за нефть, по справедливости можно и надо считать... за два. Человек, десять лет отдавший покорению недр Западной Сибири, может считать себя ветераном нефтяной и газовой целины. Тем более что ветеран здесь понятие почти адекватное первооткрывателю.

Александр Николаевич Филимонов бурил в Усть-Балыке не самую первую разведочную скважину. Кстати говоря, эта работа проходила под руководством главного геолога Усть-Балыкской геологической экспедиции, знаменитого человека в Западной Сибири, лауреата Ленинской премии Фармана Салманова. Но Филимонов бурил один из первых, его труд, несомненно, лег в фундамент освоения крупнейшего месторождения, которое, вместе с Сургутскими, Шаимскими, Горноправдинскими районами, вместе с Самотлором, может считаться жемчужиной этого края.

Я возил с собой в этих поездках два толстых тома, озаглавленные: «Нефть и газ Тюмени в документах». Это сборники геологических рапортов почти за семьдесят лет, с 1901 по 1970 годы, отчетов экспедиций, выдержки из важнейших постановлений, решения партийно-хозяйственных активов, пленумов обкома, речи хозяйственных и партийных руководителей. Два тома, насыщенные событиями и фактами, по сути дела, богатейшая первооснова для художественной летописи, грандиозной документальной эпопеи, которую, к сожалению, пока еще никто не создал.

«На север за нефтью!» Так называлась одна из статей, появившаяся в «Омской правде» еще 5 февраля 1935 года. Заголовок выражал смелую идею академика Губкина, высказанную в тридцатые годы и вдохновившую геологов на разведку подземных кладов в Западной Сибири. Прошли десятилетия. Идея оказалась удивительно плодотворной, прогнозы оправдались. И ныне новые рубежи тюменских нефтяников передвигаются все дальше, в глубь Западно-Сибирской равнины.

Еще шесть лет назад тогдашний первый секретарь обкома КПСС, а ныне министр строительства предприятий

нефтяной и газовой промышленности СССР Б. Е. Щербина писал в своей статье:

«...У геологов есть карты, где показаны перспективы территории страны на нефть и газ. Чем больше в недрах нефти, газа, тем ярче, гуще окраска. На необъятных просторах Тюменщины доминирует ярко-красный цвет».

И далее: «...подтверждаемость прогнозов,— писал Борис Евдокимович,— необычно высока. Степень удачи, хотя это и звучит парадоксально, превышает сто процентов...»

Как это отлично и вдохновенно сказано!

Степень удачи в открытии промыслов, естественно, должна дополняться такими же удачами в освоении, в эксплуатации, или, как говорят нефтяники, «в разбурировании месторождений».

Об условиях проходки скважин на Усть-Балыкских промыслах Филимонов рассказывал так:

— Породы в общем-то у нас мягкие. Турбобур идет легко. Это, пожалуй, единственная милость природы в нашем суровом краю, которую получили нефтяники. Раз породы мягкие, то и скорости — высокие, одни из самых больших в стране. И дебитами скважин мы не обижены. Дебиты такие, что может позавидовать любой другой нефтяной район страны. Тут все хорошо.

— А что же не хорошо? — спросил я.

— Грунт липкий. Отсюда частые «прихваты». Достаточно на десять минут остановить буровой инструмент в скважине, и он схватится с землей.

Слушая Александра Николаевича, я вспомнил Туймазы. Как говаривал мастер Касим Беляндинов: «Если я мастер, то не позволю скважине втянуть меня в неприятности. Надо знать и предвидеть!»

И он, Беляндинов, тогда, в пятидесятые годы, умел бороться с «прихватами». Изменял скорости, регулировал давление на долото, варьировал состав глинистого раствора.

И я подумал: неужели опыт этого замечательного мастера не нашел себе продолжения и развития в условиях Тюменского Севера? Трудно было даже допустить мысль об этом, хотя и прошло два десятка лет.

Но оказалось, что Филимонов помнит Туймазы, знал Беляндинова, Куприянова, читал их брошюры с изложением опыта.

— Я ведь сам из тех мест, из Башкирии,— сказал он.— Как же не знать старых мастеров?

«Ну, конечно, старых,— подумал я.— Ведь люди, которые старше лет на двадцать, нам уже кажутся стариками».

Филимонов заметил, что технология самой проходки скважин — это лишь частная задача. И она входит в комплекс другой, главной, если не сказать, генеральной проблемы освоения месторождений. В чем же ее суть? «А в том,— пояснил свою мысль Александр Николаевич,— что это общая система покорения болот, освоения их как промысловых площадок новых месторождений».

— Если кратко, то спор у нас в Сибири шел вот какой: сваи или грунт?

Пожалуй, это было слишком уж кратко. Филимонов, видно, почувствовал потребность пояснить свою мысль. Мне же было интересно, как эту идею наступления на болота понимает человек, сам проработавший много лет буровым мастером.

Начав говорить, Александр Николаевич явно загорелся живым интересом. Мне показалось, что даже немного разволновался. И немудрено. Наверно, он вспомнил многое: и первые опыты здесь, в Усть-Балыке, и споры, столкновения позиций не только в научных сферах, в министерствах, но и в рабочей среде.

— Мы работаем на болотах,— говорил Филимонов.— Как пройти по ним, чтобы поставить буровую, как подвезти к этой буровой тяжелое оборудование и не утопить его в трясине вместе с вышкой? Как? Сначала возникла идея повторить Каспийский вариант. Устанавливать в болотах, как в море, металлические сваи, вбивая их глубоко в землю вечной мерзлоты. Затем сооружать на них длинные многокилометровые эстакады. А уж с этих эстакад, со стальных оснований бурить скважины.

Пока Александр Николаевич говорил, я вспомнил Каспийские нефтяные промыслы. Эта удивительная трудовая эпопея в пятидесятые годы поражала наше воображение своим размахом, технической дерзостью и героизмом людей. Как жаль, что сейчас уже редко кто вспоминает об этом!

Летопись трудовых свершений потому и называется летописью, что мы должны бережно хранить в народной памяти все ее славные страницы.

...Осень 1951 года. Штормовой день. Пристань на берегу, на окраине Баку, сотрясалась под ударами неистового ~~норд-оста~~ норд-оста. Вахтовый катерок, на котором собиралась ехать очередная смена рабочих, подбрасывали большие валы с желто-пенными гривами. Над серой угрюмой пеленой моря бежали мутные, взлохмаченные облака.

Но все же ничто не могло отменить вахтового рейса катера. Суденышко взяло курс к тому месту моря, которое в лоции Каспия отмечалось, как одно из самых опасных на пути из Баку в Астрахань.

Нефтяные Камни! Когда-то это место ограждалось со всех сторон вехами и буйками. Ночью в туманную погоду здесь гудела сирена, предупреждая мореплавателей об опасности. И все же корабли нередко разбивались о Нефтяные Камни. Моряки чувствовали приближение опасности по специфическому и острому запаху нефти, далеко разносившемуся в море. До сих пор в прозрачной воде около промыслов можно увидеть обросшие водорослями остовы затонувших кораблей.

Замечательно написал о морском нефтяном промысле Николай Семенович Тихонов, побывавший в Баку в 1975 году.

Со всей родной земли тут труженики были.
На двадцати восьми здесь пели языках,
Здесь нефтяные камни говорили
О чуде, что останется в веках.

Труд людей, которые вывели нефтяной Баку в море, подсказал поэту образ, насыщенный глубоким обобщением, масштабным предвидением будущего.

Я взглянул на город-остров, на его сцепление строек,
И грядущего предвестье вдруг пронизало меня,
А не так ли в свое время будут космоса герои
Собирать по звеньям остров, полный жизни и огня?

Нефтяные Камни действительно впечатляют необычайно. Можно не сомневаться, что каждый, кто посетит этот удивительный морской промысел, сохранит в своей памяти представление о своего рода индустриальном феномене с романтической одухотворенностью, и я бы еще сказал, особой эпической мощью.

В те годы здесь были широко известны мастера морского бурения: Курбан Абасов, Мелик Геокчаев, Достали

Рзаев, Степан Каверочкин. Они вписали свои страницы в эпопею морских нефтяных месторождений.

Казалось бы, опыт Каспия наталкивал на необходимость повторить его в Тюмени.

Когда речь идет о свершениях такого масштаба, в орбиту споров о выборе варианта втягиваются, без преувеличения, сотни людей, множество учреждений.

— Как видите,— сказал мне Александр Николаевич Филимонов,— мы не пошли здесь по каспийскому варианту. Искали, что подешевле, как можно быстрее освоить болота, что больше подходит для Сибири. И тогда у нас, мне думается, даже вначале в рабочих бригадах, возникла другая идея. А именно: заменить сваи и эстакады на насыпи из местного же грунта.

— Насыпи на болотах?

— Да. А как делают земляные плотины на реках, чтобы вообще преградить дорогу потоку воды? Насыпают грунт с помощью экскаваторов или намывают насыпь земснарядами.

— А дороги?

— Сначала мы создавали земляные островки из нашей же глины, песка, а затем между ними — такие же насыпные дороги, с асфальтовым покрытием, а чаще всего с покрытиями из бетонных плит. Асфальт в наших условиях не выдерживает гусениц болотоходов, тяжелых самосвалов, и вообще нашей мощной техники.

Идея земляных оснований для буровых вышек была принята на вооружение нефтяниками Западной Сибири. И этот метод себя оправдал. С одного земляного основания, сооруженного в болотных топях, бурят не единственную скважину, а много. Идея эта не нова. Называется кустовым бурением. Так часто бурят на Каспии, в Жигулях, Башкирии и Татарии. Но особенно эффективным кустовое бурение стало на промыслах Тюмени, где столько трудов и средств стоит отвоевать у болот надежный островок твердой земли. «Куст» — это нередко десять — пятнадцать скважин, направленных с одного основания в разные стороны и на разные глубины.

А к этим островкам-основаниям тянутся дороги — рокадные, то есть вдоль фронта буровых вышек, радиальные и окружные.

— Конечно,— говорил мне Александр Николаевич,— и этот метод недешевый, но все же намного экономичнее того, что на Каспии. Зимой нам полгода дороги строит

дедушка-мороз. Бесплатно. Ну, а летом мы сами. Заметьте, один километр бетонной дороги стоит тысяч семьсот — восемьсот. И все же летом без бетонного покрытия дорог нам здесь жить нельзя.

Я видел эти дороги из бетонных плит в Нефтеюганске, островки земляных оснований для буровых, которые сливались на Усть-Балыкских промыслах в один большой остров, густо перепоясанный сетью дорог. Все это производит сильное впечатление, хотя возраст у иных промыслов, как говорится, «еще детсадовский», чуть превышает четыре-пять лет.

Освоение промыслов идет очень быстро. Казалось бы, еще недавние мечты — уже реальность сегодняшнего дня.

ДОРОГИ ВГЛУБЬ

Буровая вахта — это восемнадцать человек, полнокровная бригада для трехсменной работы. Люди в нее подбираются опытные, крепкие, сильные духом и телом, одним словом, под стать условиям жизни и работы, которые ожидали их в Поселке.

В состав одной из трех вахт входил и буровой мастер Борис Федорович Попов, прилетевший на Север в самом начале зимы. Всем буровикам предстояло прожить в Поселке длинную полярную ночь и, сменяясь через каждые три недели, вести непрерывное бурение.

Человеку слабовольному, хлипкому, в себе неуверенному, ленивому и недобросовестному тут делать нечего. И коллектив, напрягаясь в тяжелой борьбе с природой, не примет, и сам человек быстро почувствует себя, как говорится, не ко двору.

Мне рассказывали, что один бурильщик, появившийся на Севере, прямо заявил бригаде, что приехал заработать на «Волгу». И бригада его не приняла. Такая «откровенность» никому здесь не пришлась по вкусу. Корыстолюбие, стремление обогатиться, как главный стимул, жадность к деньгам — не в почете.

Как и на войне, работа в глубоком Заполярье сама отбирает людей. Отбирает, как говорится, еще на дальних подступах, до начала длинной дороги сюда, еще только в первом замысле людей и в последующих естественных сомнениях — ехать или не ехать?

А летят сюда из разных мест, относительно близких — из Надыма, Нижневартовска, Сургута, Тюмени, еще больше из Башкирии, Татарии, из далекого Баку.

В бригаде Попова оказалось немало южан. Гали Урузамбеков покинул степи Казахстана, Юрий Корнеевич Дик — свою Молдавию, бурильщик Бахрамов — солнечный Узбекистан, прилетевший вместе с вахтой начальник инженерно-технической службы Георгий Григорьевич Иванов — родом из Грозного и там работал много лет.

Из города Грозного и сам Борис Федорович Попов. Промыслы Чечено-Ингушетии, Краснодарского края, Апшерона, Хадыженска, Нефтегорска — это его родные края. Он рабочий с девятнадцати лет. Сейчас ему сорок восемь, и, естественно, Борис Федорович немало повидал, пережил за свой почти тридцатилетний путь в глубины земли за нефтью, за три десятка лет рабочей жизни.

То, что Попов из Грозного, обрадовало и заинтересовало меня. Значит, Борис Попов был юношей рабочим в те годы, когда здесь, в Майкопе, Нефтегорске, Хадыженске, гремели имена буровых мастеров Позднякова и Хрищановича. О них знал, у них наверняка учился молодой нефтяник.

Так почему же его, привыкшего к мягкому климату юга России, к горам, долинам и лесам Северного Кавказа, человека уже не очень молодого потянуло на Север?

Это «почему» как бы висело у меня на языке в беседах с работающими в Поселке. А ведь вряд ли кто-либо, даже из числа наиболее разговорчивых и откровенных, смог бы дать исчерпывающий ответ. Это не просто, совсем не просто. Редко поступок человека продиктован каким-либо одним желанием или чувством. Обычно это совокупность обстоятельств, потребностей, черт характера, душевных стремлений.

«Приехал поработать, посмотреть!»

Это сказал мне Попов, предельно скупое, и в этом уже проглядывалась черта характера. Сказал безо всякого желания углублять или развивать эту тему. Я же подумал в ту минуту, что он приехал, конечно, не только посмотреть, но и себя показать, попробовать, сколь крепки еще его рабочая хватка и мастерство.

Я заметил, что коренных сибиряков в Поселке не так уж много. Больше приезжих людей, но уже, как говорится, с сибирским характером. И как тут не подумать о том, что это понятие вовсе не географическое.

С сибирским характером не столько рождаются, сколько его приобретают, воспитывают, укрепляют в Сибири выходцы из средней полосы России, прибалтийцы и дальневосточники, люди из Закавказья или наших среднеазиатских республик, одним словом, посланцы всех земель и всей нашей необъятной Родины.

Семья бурового мастера Попова — одно из впечатляющих тому свидетельств. Именно семья. В отличие от большинства своих товарищей по бригаде Борис Федорович Попов не совершает авиационных рейсов из Поселка по другую сторону Полярного круга — для отдыха. Вахтовый метод он не принял и живет тут постоянно.

На время, пока трудно сказать — какое, он забыл и о своем доме в Грозном, где работает его дочь Вера Борисовна — воспитательница в детском саду. А жена и старший сын Григорий — бурильщик прилетели с главой семьи на Север.

Я пошел с Поповым в балок-загончик, чтобы посмотреть его «семейный уголок». Мастер занимал с женой комнатку, естественно, небольшую, обставленную просто, по-походному, с минимумом мебели. И все же это был семейный уголок, дышащий непритязательным уютом, теплом домашнего очага, которые стремятся даже в таких условиях создать женские руки.

Мы сели с Борисом Федоровичем около туалетного столика, над которым рядом с зеркалом висела большая семейная фотография Поповых, сделанная, видимо, в Грозном. Сели, помолчали, я начал расспрашивать мастера о здешнем житье-бытье, он мне негромко отвечал.

Попов высок, и это заметно, даже когда он сидит, чуть сутулившись, склонив книзу голову и оперев о колени крупные ладони. Он темноволос, с хорошей еще шевелюрой, в меру, по-рабочему, сухощав. Лишний жирок у него, должно быть, не накапливался. Не та работа, чтобы накапливался.

Темные глаза Попова смотрели из-под густых бровей почти без улыбки. Может быть, он был сосредоточен на каких-то мыслях, охвачен своими заботами, или же устал в этот день.

Много раз в жизни я встречал людей с таким угрюмоватым взглядом. Сам, в известной мере, такой же. И от того хорошо знаю, что это часто лишь внешние и обманчивые признаки характера. Грубоватая лепка лица, его

суровость отнюдь не «зеркало души», вовсе не отражение суровости душевной.

Поэтому меня не смутила хмуроватость бурового мастера, его сдержанность в разговоре. Поступки всегда красноречивее слов.

— Я приехал с семьей не налегке, а основательно, чтобы обосноваться прочно.

Сказав это, Попов бросил взгляд на свою комнату, мельком оглядев ее, словно увидел впервые. Мне показалось, что я понял этот взгляд. Конечно, прочность в Поселке была особого рода. И смена бригад через год-два, видимо, — неизбежной.

— Пережили зиму, — продолжал он. — Работали нормально.

Ох уж это «нормально»! Ходовое словечко в рабочем лексиконе, некий словно бы условный знак делового благополучия. Но порою за этим «нормально» сколько скрывается трудностей, преодоленных препятствий!

Да и здесь это самое «нормально» было наверняка куда как относительным. Я слушал Попова и думал: «В таких случаях мера сдержанности в словах, оценках — есть и мера мужества, и мера скромности рабочего человека, не любящего расписывать всяческие трудности!»

— Мне все же легче, чем другим, — заметил Борис Федорович. — Рядом хозяйка, сын, все теплее.

Я посмотрел на хозяйку. Надежда Петровна сидела рядом, слушала наш разговор и улыбалась, как человек, которому слова мужа и понятнее всего и ближе.

Не берусь определить ее возраст. Но она мать трех взрослых детей, и это уже говорит о многом. Станным было бы спрашивать Надежду Петровну, зачем она приехала сюда? Приехала с мужем, с которым привыкла делить все, что выпало на его долю, не осталась с дочерью в Грозном, а вот здесь, в поселке, устроила семейное гнездо, помогает мужу и сыну.

Надо иметь характер и волю, очень любить своих близких, надо быть смелой женщиной, чтобы так жить и делать все то, что делает и Надежда Петровна, и поварихи из столовой, и немногие женщины из геологической службы.

«Есть женщины в русских селеньях!» И в сибирских, и в заполярных! — можно было повторить вслед за поэтом. Есть женщины в рабочих поселках, живут, обустра-

ивают быть в местах, которые еще совсем недавно считались забытыми богом и людьми.

Я ничего не сказал Надежде Петровне, но уважение к ее доле жены и матери она бы могла прочесть в моих глазах.

— А где же младший ваш? — спросил я ее, глядя на семейную фотографию.

— Анатолий служит в армии, скоро приедет.

— Куда?

— Сюда к нам, куда еще!

— К отцу в бригаду, — добавил Борис Федорович. — До армии был бурильщик и снова будет со мной работать.

Зарплата рабочих здесь — велика. Под стать масштабам трудностей. К основной ставке идет прогрессивка, потом северная надбавка, полевая.

— Через полгода мне пошли и заполярные в коэффициенте один к семи по отношению к основной зарплате, — заметил Попов.

Это я его спросил о зарплате, и он ответил, назвал сумму заработка, не хвастаясь, но и не прибедняясь. Спокойно, достойно.

— Тут у всех так, — добавил он.

Я же подумал тогда, что трое бурильщиков в этой семье, зарабатывая рублей по шестьсот — семьсот в месяц каждый, накопят значительную сумму денег. Было бы, конечно, ханжеством сбрасывать со счетов и это соображение в соединении тех побудительных мотивов, которые создали в Поселке постоянную полярную вахту семьи бурильщиков Поповых.

Но главное ли это для них? Сколько есть людей, которых никакие денежные перспективы не заставят покинуть насиженные места в привычной городской обстановке и отправиться в этот маленький поселок нефтяников и геологов.

Мы поднялись на буровую Попова. Это большое и сложное хозяйство — маленький передвижной цех. С годами на буровых все становится более мощным. Двигатели, электромоторы, насосное хозяйство. Прибавляется автоматики. Своими глазами тут ничего не увидишь. Только приборы могут показать, как идет турбобур в глубь земли, как бежит по стенкам труб глинистый раствор.

Каркас современной буровой высотой с десятиэтажный дом. Чем глубже скважина, тем массивнее наземное

сооружение, способное удержать на весу стальную колонну труб длиною подчас в пять километров.

Я спросил у Бориса Федоровича — какова твердость внешних пород?

— Основательная. 130 метров слой вечной мерзлоты. Лед с землей. И ниже пласты большой твердости. Увеличиваем концентрацию глинистого раствора и проходим их.

— Все благополучно?

— Разное бывает. — Попов пожал плечами. — Это же буровая, да еще разведочная. И турбобур, смотришь, прихватит, или шарошки «летят», и надо колонну часто таскать из скважины. А главные трудности все же не под землей, а на земле.

— Ураганы?

— Конечно. У нас рабочий-верховой стоит на вершине вышки. Сорвать его может, как птицу. И не только людей, но и оборудование.

— Представляю себе!..

Попов усмехнулся:

— Но так, конечно, не каждый день. Сегодня вот день хороший, бурим нормально. По плану надо дать в месяц 1200 метров проходки, а дали 1300. Перевыполняем. Погода погодой, а плап выдай — это закон!

Я наблюдал за работой смены. Шла проходка, наращивались «свечи». Гудел, постукивая, круглый, массивный ротор, и от вращения стальной колонны в земле, от этого гигантского штопора в 1250 метров длиной вздрагивали пол и стены площадки. И вся буровая, словно бы корабль в движении, испытывала дрожь вибрации.

Мастер Попов поглядывал на приборы, несколько раз сам вставал к тормозу, помогая молодому рабочему Юрию Дику, который недавно закончил курсы бурильщиков и здесь проходил стажировку.

Сын мастера — молодой Григорий Попов, такой же, как и отец, темноволосый и высокий, но с более мягкими, округлыми, материнскими чертами лица, сказал мне на буровой, что работать ему в бригаде под началом Попова-старшего — хорошо!

— Спрашивает, как со всех, может быть, даже строже. Но все равно — это же отец! — сказал Григорий.

— Значит, под родительским крылом — спокойнее? — спросил я.

— А как вы думаете? Конечно!

Я же подумал тогда, что действительно хорошо, когда отец — рядом. Но если он даже и за семьсот километров южнее, на другом месторождении и тоже занят разведкой и добычей газа, то его опыт, общность интересов и жизненных целей — все это помогает, не может не помочь сыну, особенно в его первых самостоятельных шагах.

На буровой Поповых я увидел высокого, стройного молодого человека, черты лица которого показались мне знакомыми.

— Подшибякин Вячеслав, — представился он.

— Подшибякин — редкая фамилия, — сказал я. — К тому же и громкая, широко известная в этих краях. Василий Тихонович — не родственник ли вам?

— Отец.

В Поселке старшим геологом экспедиции работал сын Василия Тихоновича Подшибякина, получившего в 1970 году Ленинскую премию, как было сказано в правительственном постановлении: «...за разработку и внедрение высокоэффективных комплексных технико-технологических решений, обеспечивающих ускоренное развитие добычи нефти в Тюменской области».

Тем летом Василий Тихонович возглавлял Уренгойскую нефте- и газоразведочную экспедицию. В дни нашего приезда был в отпуске. К сожалению, в Уренгое мы его не застали.

В материалах второго тома сборника «Нефть и газ Тюмени в документах» упоминания об Уренгое, начиная с 1968 года, все чаще появляются в постановлениях партийно-хозяйственных активов, в приказах министерств.

Мы видим по документам, как идет подготовка к развитию промысла: создаются специализированные совхозы — нужны продукты, строятся участки газопроводов, в том числе и в районе Газ — Сале — Тазовское, подтягивается техника, в основном водным путем, по реке Пур. Бюро Тюменского обкома принимает специальное решение: «О мерах по дальнейшему улучшению культурного обслуживания населения нефтедобывающих районов области». Появляются культурно-бытовые поезда и теплоходы, агитбригады, радио и телевидение, строятся дома культуры и клубы, создаются библиотеки, народные театры и любительские коллективы.

...Наш вертолет приземлился метрах в ста от поселка Уренгой. Справа тянулся до горизонта обычный тундровый пейзаж — мелкий кустарник, кое-где песок, красная

морощка, кочки и болота, слева, за двумя порядками до-
мов шумела полноводная, глубокая и судоходная ре-
ка Пур.

На что похожа эта летняя земля здесь, вблизи Поляр-
ного круга? На что она похожа и несколько южнее, в
районе величественной Обской губы, полярного и припо-
лярного Тюменского Севера?

Вряд ли это удивительное зрелище с воздуха можно
подчинить какому-то одному обобщающему образу. А ес-
ли все же попытаться, то сюда войдет прежде всего ощу-
щение простора, простора и еще раз простора, без конца
и края, зеленой и серо-зеленой шири, едва ли не сплошь
изрезанной и покрытой реками и озерами.

Озера, озера! Их в области приблизительно 300 тысяч.
Приблизительно, ибо точного количества озер еще никто
в Тюмени не сосчитал.

Да и как сосчитать водоемы, которые образует оттаи-
вающая летом земля вечной мерзлоты? Их особенно мно-
го вблизи могучей Оби, которая катит свои серые, холод-
ные воды в океан. Озера с высоты кажутся разнокалибер-
ными блюдцами с иззубренными и обломанными краями.
Между ними твердые перемычки земли, кустарников, ли-
шайников.

Озера тянутся цепями. Как и голубые вены рек и ре-
чущек. С воздуха летняя тундра красива, многоцветна.
Весело поблескивает на солнце вода. Но вместе с тем, как
тревожна и даже зловеща эта красота на тысячи километ-
ров вспученной водою, шаткой, болотной земли!

Уренгой севернее и восточнее Надыма. А следова-
тельно, и континентальнее. А это означает, что природа
здесь суровее, зимой крепче морозы, летом более жарко, и
от близости реки и болот — гнуса и комаров видимо-неви-
димо.

Река Пур катит свои воды прямо на север, в Тазов-
скую губу, которая сливается с Обской. Оттуда — выход в
океан.

Если посмотреть на карту — Пур напоминает большое
синее дерево, корни которого окунулись в Тазовскую гу-
бу, ствол растет к югу, а ветви — это широко разбросан-
ные по Западно-Сибирской низменности притоки реки.
Их много, и все названия притоков от одного корня: Пур-
пе, Пякупур, Айваседапур, Пакупур.

Около этой крупной реки не только семья притоков,
но и россыпь недавно открытых месторождений: Тазов-

ское, Заполярное, Русское, Южно-Русское, Юбилейное, Комсомольское, Губкинское. Но жемчужина газового края — Уренгой.

С 1962 года здесь шла только разведка, оконтуривание газоносных площадей. Первые же скважины «подсекли» большое месторождение. Скважины приходилось бурить глубокие — до пяти тысяч метров. Начало добычи — в последнем году пятилетки, основной же разворот промышленного освоения принадлежит пятилетке девятой.

Так рассказывал Лев Георгиевич Жаворонков, начальник инженерно-технической службы экспедиции, секретарь парткома. Ему еще нет сорока. Он худощав, строен, продолговатое лицо, очки и темная бородка делают Жаворонкова немного старше. Трудовую биографию Льва Георгиевича уже отличает широкая география промыслов, где он работал: Северный Кавказ, Ишимбай, Сахалин, Березово, теперь Уренгой. Жаворонков встречал писателей и показывал поселок. Мы осмотрели порт на реке Пур. Самых буровых в Уренгое нет.

Вышки разбросаны по тундре. Особенно их много там, где поднимаются ныне дома нового города. Это неподалеку, но, конечно, по сибирским понятиям — лететь в новый город надо на вертолете. Называется он Ягельный.

Летом никакой дороги к Ягельному по земле нет. Первые строители прибывали сюда по «зимнику», ставили вагончики.

С чего начинаются ныне города? С первого кола, вбитого в землю, с первой палатки. Но в тундре трогать землю вечной мерзлоты опасно — весной может поползти. Здесь города начинаются с первого вертолета, который высаживает десант строителей, и те ставят сборные вагончики из легких стальных и алюминиевых стен.

Проекты для городов Тюменского Севера делают ленинградцы. Центр Ягельного составят панельно-блочные дома, большие кварталы, утепленный рынок. Вырастет здесь и парк из кустарников и тонкоствольных елочек. Ягельное потом назовут городом — Новый Уренгой.

В Ягельном уже живут и работают. Именно здесь прославились трудом бригады разведчиков нефти бурового мастера Героя Социалистического Труда Николая Глебова, Николая Терещенко.

Но все же центр района пока еще в старом Уренгое.

Здесь и штаб экспедиции, возглавляемый Подшибякиным. Работы им хватает!

Все увиденное, узнанное и рассказанное нам и Жаворонковым, и главным инженером экспедиции Николаем Ивановичем Ясеновым, и главным геологом Валерием Михайловичем Мельниковым заставляло пристально всматриваться в поселок, — с виду такое обычное тундровое поселение рыбаков и охотников. Я бы сказал, что все это по-особому высветило Уренгой, его новые и старые дома, широкую улицу из бетонных плит, чтобы могли пройти «Ураганы», тяжелые машины.

Здесь есть и книжный магазин, библиотека, клуб. А в каком так называемом «глухом углу» нет в наши дни книг, нет библиотек и клуба! Всюду читают книги, и главное чувство, проистекающее из этого вывода, — чувство ответственности за все написанное и сказанное.

Должно быть, учитывая перспективы Уренгоя, как-то снисходительнее относишься к вездесущей мошкаре, которая кишит повсюду. «Комариная столица» — как выразился один из наших поэтов. До Уренгоя мы еще кое-как терпели укусы комарья, но здесь нам выдали накомарники — широкополые белые шляпы с черной и длинной вуалью.

— Бывают дни, — заметил Лев Георгиевич, — когда можно бросить легкий женский платок в воздух, и он повиснет... на комарах!

Деталь впечатляющая! Но удивительно другое — человек привыкает ко всему! Ни Жаворонков, ни его коллеги по экспедиции не носят защитных вуалей, не употребляют спасительных мазей.

Когда мы шли в порт, на крыльце здания управления, на мешках и рюкзаках, как на станции, полулежали четверо бурильщиков, одетых по-рабочему, в резиновых сапогах, ватниках. И, конечно же, без накомарников.

Я спросил у Льва Георгиевича, что они здесь делают.

— Ждут вертолет, чтобы лететь на вахту.

В этом краю вертолетов, где даже маленькие дети знают все наименования машин и различают их по конструкции, ими пользуются так же, как у нас в Москве автобусами.

Вечером мы выступали в клубе Уренгоя. То, что вечер уже наступил, можно было определить лишь по часам. Просто продолжался светлый день и лишь слегка измени-

лось небо, стало немного голубее, а воздух казался чуть-чуть подсиненным. Все так же ходили по поселку люди, только вечером их меньше, а ночью и вовсе мало. Как ни бела ночь, а поселок спит.

Вот в такой светлый вечер и началась наша встреча с читателями в клубе при электрическом освещении — окна были закрыты шторами от комаров. Я смотрел в зал на молодые, в большинстве своем, лица внимательных и благодарных слушателей.

Эти скромные рабочие люди, геологи, бурильщики, портовики, врачи, учителя за десяток лет превратили безлюдное и гиблое место в край первопроходчиков. Конечно, кое-кто не выдерживает трудностей — уезжает. Но многие прочно укореняются, и об этом свидетельствует статистика рождаемости. В прошлом году в Поселке появилось 36 младенцев, в этом — 60.

Да, это большая и специфическая проблема — оседлость в этом краю. Возить вахтами рабочих из дальних городов — недешево. Надо, чтобы люди прочно вили свои семейные гнезда вблизи новых индустриальных очагов.

— Если бы поговорили с Василием Тихоновичем Подшибякиным, — сказал мне Жаворонков, — то наверняка услышали бы от него: развитие района сильно сдерживается отсутствием железной дороги.

Не только Жаворонков и Подшибякин, не только в Надыме и в Уренгое, всюду на Тюменском Севере говорят о железной дороге.

По мнению многих партийных работников Ямало-Ненецкого окружка в Салехарде отсутствие дороги оттянуло на некоторое количество лет и само открытие месторождений. Не говоря уже о том, что это прибавляет много трудностей в деле освоения края, создания промыслов и северных городов.

К Надыму и Уренгою должна была подойти железная дорога с юга, из районов нефтяного Приобья. И теперь эта дорога построена.

Итак, проблемы, проблемы! Большие, можно сказать — глобальные. Но ведь и размах созидательных работ здесь только потому так масштабен, что он отвечает современному уровню индустрии. Только во всеоружии современной техники, только с расчетом на стремительную поступь научно-технического прогресса можно ставить задачи такого исторического значения и содержания.

Они еще очень молоды. Надым стал городом весной 1972 года, Нефтеюганск — в 1967-м, немного старше Сургут, ему двадцать один год.

Что значат для истории такого промышленного региона десять — пятнадцать лет! Это только утро больших работ.

Северные города начинались с палаток, балков, вагончиков. Потом приходили строители. И появлялся город, которого не было на карте еще пять-шесть лет назад. С палаток, вагончиков и всякого рода временок начинались в шестидесятых годах Мегион и Урай, Нефтеюганск и Игрим, Светлый и Горноправдинск. Вслед за геолого-разведчиками приходили в эти места строители и промышленники. Преображался таежный край, вырастали ранее мало кому известные поселки, выходили в ранг прославленных промышленных центров Шаим и Нижневартовский, Пунга и Уренгой, Тазовское и Сургут.

Есть старый Сургут и новый. Старый прижался к обскому берегу. Тянутся вдоль реки чистые улицы с крепкими еще домами, садами и палисадниками, давнее, хорошо обжитое селение таежных рыбаков и охотников. Новый Сургут — это и речной порт, и корпуса рыбоперерабатывающего завода, телевизионные антенны, работающие на ретранслятор «Орбиту», — странно видеть эти стальные высокие кресты на потемневших от времени избах.

И все же как разительно отличается старая деревушка от белокаменного, современного города! Города с крупнопанельными типовыми домами в пять и девять этажей, большими парками, домами культуры, красивыми кафе, могучей ГРЭС на окраине и своим аэровокзалом.

Когда видишь молодые города Тюменского Севера, промыслы, дороги, то понимаешь, что стремительный их рост, «обустройство», как любят здесь говорить, не мыслится вне примет наших пятилеток, вне характерных особенностей современного научно-технического развития.

Несмотря на особые условия Севера и трудности со снабжением, строительство здесь на уровне самой передовой технологии. Организация работ по системе домостроительных комбинатов. Крупноблочный монтаж изготовленных на заводах деталей домов.

Больших городов тут не строят. И дорого, и не диктуется жизненной необходимостью. Вполне достаточно нескольких сравнительно крупных, благоустроенных по последнему слову техники и культуры.

Жизнь корректирует и выверяет планы. Постепенно определилась и эта оптимальная цифра: население городов не должно превышать тридцати — тридцати пяти тысяч человек.

Об этом рассказывает Евгения Ивановна Калентьева — секретарь Сургутского горкома.

Женщина на большой партийной работе как-то особенно привлекает внимание. Тем более здесь, на Севере, где столько трудностей, где каждый день приносит с собою какую-то толику испытаний — на волю, твердость характера, на подлинную партийность, человечность.

Евгения Ивановна невысокого роста, очень подвижная и энергичная, скорая на шутку, острое замечание, общительная, веселая и неутомимая в своем желании показать гостям все в городе, учительница, она пришла на партийную работу лет десять тому назад. Я слушал Евгению Ивановну и думал, что ее одухотворенность, сургутский патриотизм, внимание к людским судьбам составляют индивидуальность ее как человека, коммуниста.

Показывала ли нам Евгения Ивановна новые дома, клубы, столовые, библиотеки, сургутское «Черное море», хозяйство по разведению карпов с «доморощенным рыбным стадом», музыкальное училище, куда едут ребяташки аж из дальних южных городов (училище — это гордость Сургута), Евгения Ивановна все время старалась вывести на первый план нравственный аспект, подчеркнуть духовную силу и богатство сургутчан в их повседневном труде, обиходе. В человеке ее интересует прежде всего человеческое.

— Видите, сколько мы строим учреждений культуры, здесь у нас есть, по сути дела, все, что и в любом другом городе. И знаете, — убежденно говорила Евгения Ивановна, люди у нас душевно не беднеют, нет, не беднеют, ни от морозов, ни от болот, гнуса летом, от всех трудностей, что приходится преодолевать. А те, кто беднеют, и не выдерживаются здесь.

Вот даже в этом нашем музыкальном училище, — живо продолжала она, — двадцать два преподавателя, и большинство с консерваторским образованием. Как видите, и

нам едут такие культурные силы, оседают здесь и с удовольствием работают с нашими ребятами.

Я спросил у Евгении Ивановны об особенностях культурной работы, эстетического образования и, естественно, партийной работы, ведь Калентьева секретарь горкома по идеологии.

— Главные принципы те же, как везде в стране. Они изложены в нашей программе, в решениях съездов партии. А особенности, — она задумалась, — они есть, конечно. Ну, вот, скажем, в том, как идет формирование кадрового ядра сургутчан, людей, для которых Север стал или становится родным и обжитым домом. Север сам отбирает своих героев. Ну, с нашей помощью, конечно, — улыбнулась Евгения Ивановна.

Население Сургута состоит из сорока национальностей. К каждой национальной группе нужен и свой подход с учетом разного рода особенностей. Сургут — город молодых и зрелых людей, пенсионеров здесь почти нет. И все это формирует стиль партийной работы.

— У нас широко известен выработанный общественностью «Наказ гражданину города Сургута». Там много хороших мыслей, заповедей. А если говорить о главном, то это желание сделать город коммунистическим. Коммунистического труда и облика. Это все только начало. — И Евгения Ивановна взмахнула рукой, как бы очерчивая контур этой быстро застраиваемой территории, пока состоящей лишь из отдельных каменных домов, пустырей, соснового леса около речушки, маленького притока Оби, где, кстати говоря, размещалась и наша гостиница, в обиходе именуемая здесь «Канадской».

Деревянный коттедж быстро поставили в лесу и хорошо оборудовали для приезжавших несколько лет назад канадских специалистов, которых привлекла сюда слава сургутчан, покорителей нефти и газа. Природные условия канадского Севера и тюменского похожи. Однако наши темпы и размах работ, овеянный в замечательных делах пафос освоения сурового края буквально ошеломили канадцев.

— Да, это только начало, — повторила Евгения Ивановна, — вот скоро начнем асфальтировать улицы, пустим троллейбус, построим новые гостиницы. Десять лет назад к нам как-то приезжал Председатель Госплана СССР, так и ему пришлось спать на столе в кабинете председателя райисполкома. И он мерз, дело было зимой. Ну, а сейчас

мы принимаем большие иностранные делегации на высоком уровне комфорта, если исключить комаров, с которыми летом пока не можем справиться. Большого ресторана у нас еще нет, но скоро будет. Одним словом, пройдет несколько лет и мы Сургут не узнаем!

Она так и сказала «мы». Потому что, когда свой город «не узнают» старожилы, значит, он действительно здорово изменился.

В Сургуте работает свой домостроительный комбинат. — Большое дело иметь здесь, на Севере, свой домостроительный комбинат. Сами строимся, соседям — близким и далеким — помогаем. Взаимовыручка, взаимопомощь на Севере — главный нравственный закон.

Обо всем этом Евгения Ивановна говорила не без гордости, но вместе с тем в ее голосе прозвучала пусть и малая, но все же какая-то толика озабоченности, а может быть, и деловой зависти к тем городам, с которыми соревнуется строящийся Сургут. И соревнуется, и помогает, и, как говорится, «отрывает от себя».

Взгляните на карту и вы увидите, как долг извилистый путь Оби на север, к Салехарду и Обской губе, а затем по реке Надым к городу Надыму. А ведь детали домов, строительный материал в этот северный форпост газовой индустрии, в молодой город Надым везут из Сургута и даже из Тюмени доставляют сюда крупнопанельные, особой, северной, конструкции дома в разобранном виде.

Я много занимался строительными делами, знаю и характер, и особенности работы строителей. И все же в Надыме меня многое просто поражало. Ведь нам в Москве кажется порою далеким путь от заводов железобетонных изделий на Красной Пресне до Теплого Стана или Ивановского, измеряемый десятками километров. Что же в таком случае можно сказать о транспортном «плече» в полторы тысячи километров от Тюмени до Надыма!

Баржа со строительными материалами находится в пути от Сургута 15—17 суток, и это в лучшем случае. А как сложен этот особый сибирский дом, приспособленный к лютым морозам, сколько в нем деталей, частей и весит он основательно — пять тысяч тонн.

И все же, несмотря на все эти трудности — буквально почти все необходимо сюда завозить, — в Надыме строят старательно, со вкусом и с сибирским размахом.

Надым спроектировали ленинградские архитекторы и инженеры. Белокаменный город встает в тундре полукружьем своих корпусов, таким высоким, мощным редут-ом зданий, защищая центр города от свирепых ветров и вьюг.

Северный дом должен быть домом максимального уюта, того уюта в городе, который призван смягчить суровость края, дать возможность жителям города хорошо отдохнуть у домашнего очага, набраться сил и бодрости.

Поэтому в домах Надыма тепло, много света, большие кухни, хорошие ванные, в квартирах встроенные шкафы. Одним словом, квартиры обустраиваются с особой тщательностью.

Очень ходовое это и емкое на Севере слово — об-устройство. И применительно к самим промыслам, и применительно к характеру строительства, созданию новых городов.

Юрий Николаевич Струпцов — один из «отцов города», он главный инженер комсомольско-молодежного треста «Севергазстрой», треста, который строит Надым. Я встретился с ним в здании горкома партии, где шла у нас беседа по широкому кругу вопросов этого самого «ускоренного обустройства северных городов», потом мы ходили вместе по строительным площадкам, поднимались на этажи домов, осматривали планировку квартир. Здесь тоже, как и в больших городах, выдерживается принцип микрорайонов со всеми бытовыми службами и очагами культуры, с автономной жизнью кварталов, которая столь необходима в этих условиях.

— Вот строим в городе широкоформатный кинотеатр, и свой молокозавод, и свой большой холодильник, строим свой аэропорт,— говорил Струпцов,— строим школы, Дом молодежи, универсам, теплицы, магазины, ремонтные мастерские.

— И неужели нет никакого своего заводика строительных материалов, который как-то помог бы вам наладить дело? — спросил я у него.

— Свой только у нас Надымский завод ячеистых бетонов, и он, конечно, помогает. Но честно сказать, нелегко нам тут, впрочем,— Струпцов улыбнулся,— а какой строитель и где скажет, что ему легко.

Это молодой еще человек, воспитанник и посланец московского комсомола и сам еще недавно комсомолец, приехал в Надым в 1969 году, быстро освоился, вошел

в коллектив и скоро стал одним из его руководителей.

Как и Евгения Ивановна, мне он сказал восторженным шепотком, как будто бы открывая какую-то тайну:

— Дайте срок, через шесть лет здесь будет большой и красивый город. Знаете, дома северному человеку нужно много тепла и простора. Но тепло нужно и для... души. Нам нужен высокий накал духовной жизни. Поэтому большим праздником стало для города, когда мы построили у себя телевизионную станцию «Орбита». Теперь мы видим многие передачи вместе со всей страной, видим и Красную площадь в дни наших всенародных торжеств. Большое дело!

Когда мы вышли на ту улицу, которая запроектирована как главная в городе, соединяющая крайние точки периметра Надыма, Струнцов заметил, что имелось в виду назвать эту улицу «Теплой».

— Почему имелось?

— А тут случилось одно «но», — сказал Струнцов. — У нас был замысел оригинальной улицы, где бы все дома были соединены сплошными теплыми переходами. Представьте себе, за окнами полярная ночь, сплошная темень, мороз, метель, но человеку, пришедшему с работы, не надо более выходить снова на холод, на улицу. К соседям, к друзьям, в другие дома, в кафе, в библиотеку, в кинотеатр, в спортивный зал, в Дом молодежи, всюду он может попасть по теплым и ярко освещенным переходам. Не правда ли, удобно? — живо спросил у меня Струнцов. И как бы убеждая самого себя и укрепляясь в уверенности, что это действительно хорошо и удобно, продолжал: — Такая «теплая улица» отвечает представлениям о высоком уровне комфорта, о той атмосфере, ну, что ли, всяческого благоприятствования северному человеку, которая бы еще больше скрашивала трудности жизни в этих краях.

Оказалось, что в Надыме успели сделать лишь часть «теплой улицы». А затем то ли проектировщики, то ли начальство повыше из соображений финансовых, снабженческих или еще каких-то иных, первоначальный проект «теплой улицы» изменили, и надымчане получили чертежи центра нового города в обычном варианте.

Это разочаровало строителей, огорчило будущих жильцов новых домов и кварталов. Струнцов сказал мне, что

они еще попытаются побороться за свою «теплую улицу». Тем более что опыт у них уже есть. В Надыме на окраине раскинулась редкая для этих мест, с трудом сохраняемая роща с кедрами, лиственницей. Рощу предполагалось уничтожить и возвести здесь промышленные строения. Но жители города дружно запротестовали, защитили этот отличный уголок леса в приполярной тундре, превратили его в городской парк, изменив тем самым проект застройки этой части Надыма.

Хочется верить в успех надымцев. «Теплые улицы» — это, по-моему, прекрасно для новых, уютных, удобных для жилья, эстетически выразительных городов Тюменского Севера.

Эстетические проблемы, применительно к градостроительству, здесь не отвлеченные проблемы, а плоть и кровь сегодняшних, животрепещущих проблем, размышлений, споров, дискуссий.

Каким быть новому городу? Эстетическому уровню строительства? Уровню самой культуры? Какова должна быть нравственная и духовная атмосфера жизни в этих молодых очагах советской цивилизации на Севере? Об этом спорят, рассуждают на диспутах молодежи, профессиональных конференциях не только строителей, но и нефтяников, газовиков. Это интересует каждого, кто приехал сюда долго жить и всерьез работать.

И общее мнение определилось. В молодых городах все должно быть на высшем уровне, отвечать максимуму заботы о человеке, его удобствам, отдыху, развлечениям, высокому потенциалу духовной жизни.

Строительство клубов, кинотеатров, кафе идет в том же неукоснительном графике, как и строительство самих жилых домов в Надыме и Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, где я побывал, где сам это видел. А также плавательных бассейнов и гимнастических комплексов, теплиц и парников, животноводческих ферм для снабжения городов, филиалов технических вузов, которые открыты в Сургуте и Нижневартовске, техникумов и профучилищ во всех городах.

Ежегодно нефтяники Приобья приобретают около трех тысяч легковых автомобилей, и многие рабочие, если есть к тому возможность, ездят по бетонке к своим буровым на собственных машинах. Трудно отыскать в северных городах квартиру без телевизора. Здесь всюду построены современные здания школ, много детских садов... Ни

отдаленность, ни бездорожье, ни глушь, ни болота — не помеха, если советский человек, работающий на Севере, окружен большой заботой государства, партии.

Мы как-то ехали на машине по улицам Нефтеюганска, по высокому, крутому берегу Юганской Оби, которая впадает в Обь, вдоль откосов, где еще сравнительно недавно ютились лишь домишки промысловых селений рыбаков и охотников. А сейчас здесь речной порт, неподалеку аэропорт, но еще без аэровокзала.

И все же это уже вполне благоустроенный современный город со всеми благами цивилизации, как и его соседи, выросший в подлинной глухомани, в настоящем медвежьем углу, в глубоком захолустье по меркам старой Сибири.

Секретарь горкома Нефтеюганска Ольга Кононовна Загородных давно живет в Сибири.

— Вот здесь будет памятник первооткрывателям тюменской нефти, вот здесь новый порт, новый завод, — говорила она, протягивая руку то вправо, то влево и как бы вынимая из легкого тумана, в то утро спустившегося на Нефтеюганск, то корпус заводского строения, который пока открывался только ее воображению, то Дом красоты, где будут располагаться парикмахерские, косметические кабинеты, то еще два новых девятиэтажных дома для молодоженов.

— Здесь будет, будет! — повторяла она, перечисляя клубы, школы, филиалы институтов, жилые кварталы.

Казалось, что она работает волшебником, как поется в известной песенке... Нефтеюганск завтрашний как бы зримо вставал из рассказов Ольги Кононовны как город, устремленный в будущее.

А то, с чего начинался этот город — передвижные вагончики, землянки, балки и полубалки, они еще есть где-где, но уже как некая, сохраняемая для истории музейная реликвия.

Про Ольгу Кононовну мне сказал работник обкома:

— В Нефтеюганске идеолог тоже женщина. С ними и легче и труднее.

Что именно он имел в виду? Женскую аккуратность и исполнительность во всех делах, больших и малых, и особую отзывчивость женского сердца, а отсюда, возможно, и особенности делового стиля в партийной работе. А может быть, влияние неизбежных «перегрузок», которые дикту-

ются борьбой с трудностями, здесь они весьма весомы и не всякой женщине по плечу.

Приятно видеть деятельных, энергичных женщин, выдвинувшихся на передний край битвы за освоение края, создание новых городов. А таких женщин здесь много. Они всюду — в конторах бурения, на промыслах, в школах, больницах, библиотеках, на партийной работе.

Ольга Кононовна Загородных, как и Евгения Ивановна Калентьева, поработала учительницей, закончила Высшую партийную школу в Свердловске, шесть лет была секретарем горкома в Салехарде, а потом «попросилась куда-нибудь южнее» — как сказала она мне.

— Все-таки на Ямале очень суров климат.

— Здесь легче?

Мне казалось, что и в Нефтеюганске климат достаточно суров.

— Все-таки легче. Дышится легче. Климат мягче, хотя и жизнь динамичнее, темп высокий и забот очень много.

Ольга Кононовна влюблена в Нефтеюганск. Она питает к нему то особое чувство, я не побоюсь сказать, материнской привязанности к появлению каждой улицы и каждого дома, каждого горожанина.

Юлий Георгиевич Эльстер — зампредседателя исполкома, один из хозяев города, излучает ту же гордую влюбленность в общее дело создания города. Молодой ленинградский адвокат, приехавший на свою первую работу, он неожиданно для себя оставил одну профессию и приобрел другую.

— Контору свою вы передайте вот девушке-практикантке, а нам такие здоровые мужики нужны для других дел. Вот так мне сказали и взяли работать в горисполком, теперь занимаюсь строительством, жильем. А его не хватает, сколько ни строим. Очень острая проблема для города, где столько молодежи, где с полной нагрузкой работает загс, где свадьбы не утихают во все времена года, — говорил Юлий Георгиевич.

В Нижневартовске, в самом крупном из северных городов Тюменской области, — ежегодный прирост населения около пятнадцати тысяч. И это люди, знающие цену себе, своему труду, правам и обязанностям. Какая у них поразительная тяга к культуре, литературе, искусству!

Молодежный зал в Нефтеюганске был заполнен до отказа. Люди стояли в проходах, у стен в течение несколь-

ких часов, слушая писателей, и готовы были стоять еще долго.

В какой еще стране можно найти такую аудиторию — внимательную, чуткую, взыскательную, ведущую как бы доверительный, заинтересованный разговор с писателями о своей жизни, мечтах, чаяньях.

Как выступить перед ними? Что рассказать, какие прочесть стихи, которые были бы достойны их внимания, как доставить им эстетическое удовольствие?

Вот так же, в течение нескольких часов слушала выступающих многотысячная толпа любителей литературы на заполненной до краев зеленой площадке древнего Тобольского кремля. И одно это не могло не волновать, вселяя прежде всего ощущение ответственности за каждое слово.

В часы встреч на буровых, на промыслах я не раз убеждался в том, что юноши и девушки, молодые рабочие трудятся здесь с высокой отдачей сил. Может быть, поэтому они так нетерпимы к недостаткам, неполадкам, так смело выступают на собраниях, никому не прощают промахов.

С такими ребятами нелегко иным хозяйственникам, им не дает «спокойно жить» общественная активность и деловая взыскательность молодых рабочих.

СОПРИЧАСТНОСТЬ

Я видел ночные Сургут и Нижневартовск. Море огней колыхалось во мгле очень темного северного неба, и трудно было определить, где заканчивается город и начинаются нефтяные промыслы, где светятся корпуса ГРЭС, а где — заводов, управлений буровых.

Свет над Западной Сибирью! И это не только метафора. Что можно было сделать в этом суровом краю без мощной энергетики? Ничего!

Такими первыми источниками энергии были для малообжитых, труднодоступных районов плавучие электростанции «Северное сияние». Их выпускает Тюменский судостроительно-судоремонтный завод, предприятие, работающее с 1834 года. Кстати, первые пароходы в Сибири начали строить на верфях Тюмени еще в первой половине восемнадцатого века, в 1738—1740 годах.

Ныне завод — современное предприятие, на уровне передовой техники, лучшим доказательством этого — самоплавающие сооружения, интереснейший технический гибрид теплохода с электростанцией.

Я видел одно такое «Сияние» еще на стапелях, а другое на воде заводского затона. Суда производят внушительное впечатление своим мощным, широкобортным корпусом, большим, чем обычно на судах, количеством труб, которые высятся над металлическим чревом корабля, начиненным турбинами и генераторами электрической энергии.

Далеко уплывают теперь от Тюменской гавани, справедливо называемой «воротами в Сибирь», эти суда-электростанции. На Колыму, Печору, Алдан, на острова Ледовитого океана. Плавающие электростанции работают в районах Тюменского Севера.

Однако с их помощью можно было положить лишь начало освоению такого промышленного региона, как нефтяное Приобье. Здесь вскоре потребовались куда более мощные источники энергии. И вот неподалеку от города Сургута, в том месте, где еще летом 1968 года простиралась тайга, началось строительство ГРЭС, первая очередь которой была рассчитана примерно на мощность четырех довоенных Днепрогэсов, на два с половиной миллиона киловатт.

Ее возвели за четыре года! Срок, безо всякого преувеличения, поразительный.

В Сургуте говорят, что на тюменской земле вместе с пуском первых агрегатов Сургутской ГРЭС случилось еще одно техническое чудо. И это справедливо. Вот еще один пример тому, как большая и благородная цель рождает и огромную энергию строителей.

Основные строительные работы начались здесь только в 1971 году, года полтора заняла тщательная и продуманная подготовка тылов, строительной базы. А затем — все нарастающая по темпам работа в котловане, монтаж блоков и узлов, которые собирались тут же на площадке и готовыми или же сильно укрупненными подавались в здание станции. Это — примета современного строительства.

Сейчас на Сургутской ГРЭС идет строительство второй очереди, и тоже с мощностью в два с половиной миллиона киловатт. Итого пять миллионов! Так ведь это же по мощности новая Братская ГЭС, использующая почти

даровое топливо попутных, вырывающихся из земных глубин вместе с нефтью природных газов.

Дорога от города к ГРЭС уложена большими бетонными плитами. Машину слегка трясет на стыках. По обочинам мелькают тощие сосенки, ельник, поднявшийся на болотистой земле, покрытой тонким зеленым ковром травы.

Около ГРЭС небольшой поселок — пятиэтажные каменные дома, но многие работающие на станции живут в городе. Дыхание ГРЭС слышно издали. Прямоугольник каменного гиганта с мощными трубами поднялся над тайгой. Мохнатая шапка дыма висит над станцией и, растворясь, постепенно уходит в сторону движения ветра.

Внутри, как обычно на таких станциях, чистота, малолюдность. Помещения соединены галереями с цветными витражами. Сквозь них видны деревья, зелень, цветы.

Чем ближе к основному корпусу, тем сильнее гул котлов и явственнее вибрация от работы генераторов. ГРЭС тоже напоминает корабль, как и суда «Северное сияние», только не плавучий, а на вечной стоянке. Это сравнение особенно рельефно, когда движешься по переходам, галереям, с этажа на этаж поднимаешься по крутым металлическим лестницам.

Кабинет директора станции Василия Григорьевича Голикова на самой высокой галерее. Это одновременно и как бы наблюдательный пункт, отсюда просматривается весь главный корпус.

Директор принимает станцию из рук строителей. А это народ кочевой, многих уже нет в Сургуте. Коллектив станции — законный наследник всего того, что они сделали. Я увидел в центральном зале станции на кране, за рычагами которого сидела веселая, узкоглазая девушка, большой плакат со словами:

«Делать — значит жить хорошо!» И рядом другой — слова Константина Федина: «Нет малых и больших дел, всякое дело велико, если исполняется по зову Родины».

Оба лозунга были призывом и как бы определяли оптимизм работающих на ГРЭС. И кран, и лозунги на нем — все время в движении над огромными котлами.

Голиков — фронтовик, инженер, недавно принявший ГРЭС, заметил, что станцию за смену обслуживает всего сорок человек. Таков уровень автоматизации и технологической культуры.

Свет от Сургута идет во все города нефтяного Приобья. Вскоре высоковольтная линия направится круто на север, к Надыму. И по мере введения новых агрегатов все более мощным станет этот животворящий луч энергии, устремленный в необозримые просторы Тюменского Севера и Заполярья.

Конечно же, ГРЭС обслуживает и свой город. И, однако же, имея под боком такой источник энергии, различные ведомства и министерства построили в Сургуте еще... 43 котельные?!

Об этом рассказал в своей статье «Город смотрит в завтра», опубликованной в «Известиях», председатель Сургутского горисполкома Ю. Мелихов.

«...Есть в Сургуте мощная ГРЭС, работающая на попутных газах. Она с лихвой обеспечила город теплом. Но нам пока не удастся убедить руководителей Министерства энергетики СССР в целесообразности отапливать город за счет ГРЭС. Поэтому и дымят котельные, закрывая небо над Сургутом».

Как тут не вспомнить слова Леонида Ильича Брежнева из доклада на XXV съезде КПСС:

«Жизнь заставляет задуматься и о многих других вопросах. Мы, например, дали высокую оценку того, что сделано в Западной Сибири. Но при лучшей организации дела достижения могли бы быть еще более весомыми. Посмотрите, что получается. В Западной Сибири, выполняя единую по существу задачу, действуют четыре ведомственных речных флота, множество строительных и снабженческих организаций. В Москве все они выходят на добрый десяток министерств и ведомств. Нянек, как видите, много. Но и недостатков тоже хватает. Раздробленность, слабая концентрация приводят к неоправданным издержкам и потерям, замедляют решение крупных задач».

Если Сургутская ГРЭС — энергетическое сердце Приобья, то Саянск — нефтяное. О Саянске пишут немало. Это озеро, окруженное болотами, под которым обнаружился многоярусный, протянувшийся на много километров нефтяной подвал, казалось бы, надежно укрытый природой.

Название этого места в русском переводе означает нечто вроде «гнилой воды». Можно было добавить — и воды, и земли. Даже зимой восьмиметровую толщу болот не могут сковать сорокаградусные морозы. К первой перс-

пективной точке для разведки на нефть, которую обнаружили сейсмические волны приборов геофизиков, гусеничные трактора добирались, делая по полтора-два километра в сутки.

И вот первый фонтан ударил здесь в 1965 году. С тех пор имя Самотлора начало круто набирать известность. Несомненно, оно станет таким же популярным, как в былые годы Баку, Майкоп, Туймазы.

Происходит поразительная метаморфоза. Озеро превращается в сушу с вырастающим здесь редковатым, но внушительным черным леском буровых вышек. Я был на Самотлоре летом и не заметил вблизи буровых открытой воды. Она отступила вдаль, туда, куда еще только выдвигаются передовые эшелоны вышек, нефтяных емкостей, насосных станций и линий трубопроводов.

Есть вблизи города Нижневартовска необычный памятник. Это прямоугольная стальная колонна, на вершине ее устремленный в небо стальной завиток из литого металла, а рядом ниспадающие прутья, символически изображающие струи фонтана. Под ними надпись: «Первая скважина Самотлора». И дата — 1965 год.

У этого памятника часто снимаются и хозяева, и гости Нижневартовска. Хранится такой снимок и у меня. Вокруг обелиска остаток реденького леса и мачты электропередачи выше, чем деревья, подстанции, строения — обычный индустриальный пейзаж. А где же непроходимые болота, тайга? Вдали, только вдали.

Мемориальная площадка достаточно велика. Стоит здесь и доска Почета с надписью: «Слава покорителям Самотлора!» На доске поименованы первооткрыватели месторождения, герои первых подземных штурмов.

Всякий, кто приезжает в Нижневартовск, приходит сюда, к обелиску.

Ныне скважина продолжает жить, давать нефть, но вентиль ее закрыт наглухо. Это потому, что на площадке перед обелиском часто бывает многолюдно.

Здесь проводятся собрания, отмечаются торжественные события. Существует и еще одна традиция. Новобрачные «езды на факел». Собственно, самого факела давно уже нет. Огни пылают в отдалении. Но мысленно представляя перед собою огонь, новобрачные произносят клятву супружеской верности у обелиска первооткрывателям.

И само это желание молодых именно здесь произнести слова любви и верности, еще раз подумать о выбранном ими жизненном пути, думается мне, говорит о многом.

Желтая насыпь дороги, бегущая по болоту, сделав несколько петель, подводит к буровой Виктора Васильевича Китаева, человека, известного в нефтяной Сибири. Здесь работает одна из лучших буровых бригад Самотлора.

Самого Китаева на буровой не оказалось. Он был в отпуске. А так хотелось поближе познакомиться с бывшим заведующим промышленным отделом Ханты-Мансийского окружкома партии, который несколько лет назад с партийной работы ушел в буровые мастера! Китаеву тридцать три года. В тридцать лет еще можно позволить себе такой крутой зигзаг. Как видно, жизненный опыт пошел на пользу: теперь Китаев снова на партийной работе.

Китаева тогда замещал сменный буровой мастер Владимир Руфинович Гулин. Наверно, гостей на прославленной буровой обычно принимает сам бригадир. Мне показалось, что Гулину все это было непривычно.

Мастер выглядел сдержанным, даже суховатым. На вопросы моих товарищей отвечал кратко, не обнаруживая желания развивать тему. Он оживился лишь на самой буровой, уловив в глазах собеседников интерес к технике бурения. Уж это, верно, не могло не вызвать у него ответного отклика, ибо касалось родного дела.

Впрочем, сдержанность сама по себе обнаруживает существо характера, как бывает порою выразительной в рассказе вовремя поставленная точка.

Гулин — инженер. Он закончил Тюменский индустриальный институт. Прослужил год в армии и приехал на нефтяную целину, в Нижневартовск, посмотреть на «жемчужину Приобья» — Самотлор и остался здесь. Жена сейчас заканчивает институт в Тюмени.

— В декабре защитится и приедет, — сказал Гулин. — Младший братишка Леонид тоже в институте. Помогаю ему, помогаю родителям-пенсионерам, зарабатываю и по сибирским меркам прилично — рублей 700 в месяц.

Владимир Руфинович сказал, что особых накоплений у него нет, много денег отсылает родным, но «Жигули» все же купить собирается.

Вот молодая рабочая семья наших дней! Муж и жена, оба с высшим образованием. В своей смене Гулин не один

имеет диплом. Бурильщик Петр Исаев закончил техникум, среднее образование у бурильщика Владимира Серикова.

Право же, тут есть о чем подумать! Я вновь вспоминаю бригады Позднякова, Хрищановича, Беляндинова. В сороковые и пятидесятые годы около буровых станков, у тормозов роторов еще не стояли люди с высшим образованием, редко у кого было и среднее. Да и не было в том особой нужды. Инженер оставался инженером, рабочий — рабочим, каждый с кругом своих обязанностей.

Но вот пришло время, когда здесь, на промыслах Самотлора, далеко на Севере, в труднейших климатических условиях никого уже не удивляет молодой инженер Владимир Гулин на искони рабочей должности бурового мастера.

На площадке буровой Гулин сказал мне, что здесь ныне нет уже тяжелых физических операций.

Я это видел и сам. Помнилось по буровым Кубани, Баку, Туймазы, Урала, что более всего усилий требовалось на то, чтобы вручную отвинчивать и свинчивать трубы в буровой колонне, которую часто приходится поднимать и опускать в скважину. Теперь это делает автоматический бурильный ключ. И не только эту операцию. Многие. Автоматика — душа технологических циклов.

— Только вот грязновато у нас еще, — посетовал Гулин. — Но что поделаешь — не аптека. Кругом мазут, нефть.

С одной точки бригада бурит обычно несколько скважин, используя два станка. Если с одной скважиной случилась какая-нибудь неприятность, брак, бригадир перебрасывает вахту на другой станок. Первая скважина может подождать, а на второй буровики поднажмут, а в результате выбраны плановые метры проходки, гарантированы зарплата и премия. По видимости это все хорошо, но есть тут и свои «но», о которых еще пойдет речь.

Все бригады на Самотлоре разбуривают группы скважин — «куст», как здесь говорят.

— За десять — двенадцать дней доходим до нефтяного пласта, — пояснил Гулин. И добавил: — Темпы высокие.

Да, высокие, что и говорить! Сейчас нефть уже берут с окраин месторождения — это сложнее, труднее. Каждая из новых залежей все дальше и дальше откатывается от транспортных магистралей. И путь от баз освоения до новых месторождений измеряется уже сотнями километ-

ров. Здесь эксплуатация и доразведка ведутся одновременно, это ценный опыт Самотлора, позволяющий выигрывать дорогое время.

Уже после поездки в Нижневартовск, в Москве я прочитал статью бурового мастера В. Глебова из Нижневартовского управления буровых работ № 2. Статья была опубликована в «Комсомольской правде» и называлась «Спорные метры, или Почему на Самотлоре много нефтяных скважин с пломбами?».

Кратко суть проблемы такова. Буровые бригады соревнуются за количество метров проходки. Однако случается и так, что скважина пробурена, но какое-то время и по разным причинам не сдается в эксплуатацию. Такие законсервированные скважины автор статьи называет просто «дырками в земной тверди».

Комсомолец Глебов предлагает учитывать не только метры проходки, но и «конечные результаты производства», а именно — готовые к работе скважины.

«В таких новых условиях,— писал Глебов,— премиальный рубль получить сложнее. Если есть неполадки, устраняй их сам и как можно быстрее. Ведь станок-то у тебя один и никто тебя никуда не перебросит. Нетрудно заметить, что с точки зрения организации труда — это метод Злобина в условиях нефтяного промысла».

Мысль мастера Глебова сводится к тому, что новый принцип диктует и свои нравственные нормы, определяющие существо соревнования как взаимовыручку, взаимопомощь.

«Кое-кто из бригады ушел,— замечает Глебов,— зато остались парни надежные. Раньше, когда мы обслуживали два станка и когда шла погоня за метрами, мастер лихорадочно снимал вахты, спешил, суетился дать побольше метров. Было так, кто-то перегружен, выходных почти не видит, а кому-то совсем работы нет... А при новом методе снизились материальные и финансовые затраты. И самое главное: за всем этим — реальная самотлорская нефть, готовые к эксплуатации скважины».

Интересна, с глубоким смыслом идея. У Злобина расчет идет по готовому дому. Здесь по сданной в эксплуатацию скважине.

«Преимущества злобинского метода в бурении,— пишет товарищ Глебов,— по мнению многих мастеров, очевидны, но дискуссия — «за» и «против» — не утихает...»

Не утихает потому, что надо менять с годами устоявшиеся критерии оценки работы бригад только в метрах проходки. И соответственно искать новые мерки отсчета, новые комплексные показатели успешного труда буровых бригад.

А в общем-то, если присмотреться внимательно, то это идея все расширяющейся коллективной ответственности за конечный результат труда.

Так разве не это же лежало в основе метода скоростного участка, который предложил кубанский мастер Хрищанович в кажущиеся нам теперь уже далекими сороковые годы? Ведь Александр Степанович хотел соединить одной заботой, общей ответственностью всех, кто связан с циклом установки буровой на новом месте: бурильщиков, монтажников, вышкостроителей!

Самотлорский мастер Глебов ставит ныне вопрос так: что важнее — пробуренные метры или же тонны нефти, извлеченной из-под земли? И говорит — тонны! Давайте считать по тоннам. Давайте смотреть шире на результаты своего труда. И в защиту его аргументов встают строки из «Основных направлений развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы», утвержденных XXV съездом КПСС.

«Совершенствовать методы хозяйствования и экономического стимулирования, систему критериев оценки работы объединений, предприятий и организаций, исходя из необходимости улучшения конечных результатов производства».

Так через десятилетия идет плодотворная переключка рабочих инициатив. Меняются времена, условия. Новые требования предъявляет научно-технический прогресс. Но как примечательно то, что живет, развивается, обогащается и набирает силу эстафета рабочего творчества, становится все динамичнее это замечательное хозяйское чувство рабочих людей. И оно вбирает в себя долг, честь, широту мышления и государственную заботу о порученном деле...

...По сути дела, такой подход характерен для всего того, что задумывается и делается в Тюмени. Я вспоминаю уютный конференц-зал обкома КПСС. Его первый секретарь, лауреат Ленинской премии Геннадий Павлович Богомяков с полным основанием именуется Тюменский регион — промыслы и новые города, газопроводы и электростанции, мощные заводы по нефтехимии, строительств-

во которых уже началось, тысячекилометровые трассы железных дорог — небывалой строительной и индустриальной площадкой страны.

Он ведет беседу с писателями, а за столом президиума — карта области, поражающая своими размерами. На земле в 1 миллион 534 тысячи квадратных километров можно легко разместить несколько европейских государств. Карта впечатляет. Но втройне впечатляет сама индустриальная реальность в вещной плоти нефтяного и газового хозяйства, в размахе созидательных дел, сложных проблем, больших государственных забот.

— Стране очень повезло, что у нас есть Тюмень, — с улыбкой говорит Геннадий Павлович, — ведь темпы прироста промышленной продукции в области ныне в три раза больше общесоюзных. И мощное развитие энергетики страны вполне обеспечат и сегодня и завтра подземные богатства Тюмени.

Но прежде надо решить много проблем. Обширнейшей программой автоматизации, коренной технической и организационной перестройкой охвачена ныне вся нефте- и газодобывающая отрасль. Вводится новая система сбора, транспортировки и подготовки нефти и газа на базе унифицированного блочно-комплексного оборудования. А что это означает? Сокращение сроков монтажа оборудования во много раз. Возможность вести добычу нефти в крупных промысловых районах при сравнительно небольшой численности персонала, а иные объекты вообще обслуживать... без людей!

Разве не примечательно то, что за последнее время из сферы производства высвобождено более 12 тысяч человек. А ведь это десятки поселков, которых уже не надо строить, это свободные рабочие руки для других промыслов и районов.

И все же, все же жилья пока не хватает и острая нужда в развивающемся транспорте, особенно железнодорожном.

В августе 1975 года из Тюмени вышел специальный поезд, с тем чтобы через 27 часов, проделав 700 километров по приобской тайге, через болота, торфяники, преодолев реки Тавда, Иртыш, Юганскую Обь и Обскую пойму, прийти в город Сургут. Поезд этот открыл поточное движение по Севсибу — новой, важной стальной магистрали страны.

Конечно, все это особая и большая тема. Масштабность ее я почувствовал, оказавшись в июле прошлого года в районе моста через Обь вблизи Сургута за неделю до его открытия.

Мы плыли на небольшом белом теплоходе, рассекавшем темноватую воду Оби. Показавшийся на горизонте мост был похож на стальную струну, соединившую берега. Постепенно в ясном, чистом воздухе прояснялись его мощные контуры — десять пролетов, опирающиеся на бетонные опоры.

Сургутский мост, длиною более двух километров, один из самых больших в стране. Строительство его, рассчитанное на пять лет, закончилось за четыре с половиной. Начальник мостоотряда № 29, мой земляк из Днепропетровска, Анатолий Викторович Моисеев мог быть доволен своим коллективом.

Бетонщики, монтажники, плотники отряда, сами выстроившие себе городок около моста, работали в труднейших условиях. В первые годы грузы к стройке приходили только водой. Но сибирская зима долгая. А весной, когда вода становилась «большой», на реке приходилось останавливать работы, рытье фундаментов для опор, которые закладывались на восьмиметровой глубине. Дорогие кесоны здесь применялись в самых крайних случаях.

Моисеев до Оби успел поставить три моста на Иртыше. В Сибири он прижился. Он пришел к нам на теплоход — высокий, худой, загорелый, словно бы прокаленный морозами, ветрами, сибирской летней жарой. Рассказывал неторопливо и, слегка щурясь от солнца, поглядывал на мост, Обь, поселок, где его людьми выстроена и школа, и амбулатория, и детский сад, и «все, что надо для жизни», как он сказал.

От Тюмени до Сургута мостостроители воздвигнули ни мало ни много сорок пять мостов, маленьких и больших. Сам Моисеев за это время получил девять выговоров от главка и один — от министра, а затем... орден «Знак Почета»!

После Сургута мостоотряд № 29 уже провел дорогу в Нижневартовск, то есть к Саянскому, и теперь круто повернет на север, в сторону Уренгоя и Заполярья.

Рассказывал обо всем этом Анатолий Викторович как о делах обыденных, естественных для него, будничных, без пафоса и «придыхания», не акцентируя на какой-либо исключительности или самоотверженности его товарищей.

И невольно подумалось — на сибирских просторах выковываются удивительные рабочие характеры. Это — особый гражданственный и психологический сплав убежденности, мужества, образованности и всегдашней готовности к самым длительным усилиям в борьбе с трудностями.

Поистине это благороднейшая генерация рабочих людей семидесятых годов. Таковы Филимонов, Попов, Китаев, Гулин и Геннадий Михайлович Левин, буровой мастер и одновременно заместитель председателя Верховного Совета РСФСР, и мастер Максим Иванович Сергеев, кандидат в члены ЦК КПСС, и многие другие прославленные самотлорцы.

О Самотлоре в обкоме шел особый разговор. То, что делается здесь, во многом носит характер новаторский. В нефтяной промышленности давно сложились определенные традиции освоения месторождений. С момента их открытия до выхода на оптимальные темпы добычи нефти проходило, как правило, около десяти лет. Но в Западной Сибири такие темпы никого не могли устроить. Новые условия подсказывали и новые пути. Разведчикам нефти было вменено в обязанность за год-полтора — не больше — с момента открытия составить предварительное заключение о целесообразности ввода месторождения в эксплуатацию. Тут же без промедления параллельно с разведочным бурением начинается эксплуатационное, строятся трубопроводы. Через два с половиной — три года нефть потоком идет в переработку.

Так было на промыслах Нефтеюганска, Сургута. Но особенно быстрыми темпами развивался Самотлор, всем своим опытом убедительно подтвердив правильность такого подхода.

Слушая Геннадия Павловича, я вспомнил нашего спутника и гида в Нижневартовске, инженера Наиля Султановича Галеева, который шутливо отрекомендовался нам, как «татарский сын русского народа». Он приехал на Север из Башкирии, где проработал немало лет, сейчас заведовал одним из отделов в нефтегазовом управлении. Он сказал, что Самотлор — это его последняя и самая сильная любовь.

И сам воодушевленный и увлеченный своим рассказом, тем, что видит каждый день, что составляет существо его будничной работы, он в автобусе, глядя на тайгу, болота, строения, проносившиеся мимо, воскликнул: «Самотлор — это же Курская битва девятой пятилетки!»

Сказано это было сильно, с каким-то особым внутренним убеждением: так он думает, так это и есть на самом деле.

Конечно, подобные метафоры всегда относительны. В этой тоже был некий эмоциональный запал, известная доля преувеличения. И все же Галеев как бы врубил эту фразу в мою память. Да, битва, несомненно, ярчайшая трудовая битва современности.

Мы жили в Нижневартовске в уютной двухэтажной деревянной гостинице, неподалеку от «бетонки», днем и ночью заполненной потоком ревущих МАЗов, КРАЗов, «Татр». Это была «бетонка» кольцевой дороги, как бы передававшая напряженное биение рабочего пульса всего Самотлора, пыле разбуриваемого, как выразился инженер Галеев, «уже под завязку».

В Нижневартовске, как и во всех северных городах Тюмени, стоят телевизионные установки системы «Орбита», стальные раковины, похожие на огромные уши, чутко слушающие небо. Вечерами загорались экраны телевизоров, передающие «рукопожатие в космосе», стыковку космических кораблей «Союз» и «Аполлон».

И невольно, ассоциативно сопрягались в наших ощущениях, сознании, в эмоциональном настрое эти два ряда впечатлений — и от штурма в космосе, и от штурма сибирских недр, от того земного подвига, который мы наблюдали в Самотлоре.

«...И называя наше время временем великих свершений, мы отдаем должное тем, кто сделал его таким, — мы отдаем должное людям труда».

Это сказал Леонид Ильич Брежнев с трибуны XXV съезда КПСС.

Сопричастность к истории — сложное и тонкое чувство. Оно редко обнаруживает себя в открытой форме. Ему противопоказана всякая аффектация, как рабочему человеку чуждо выпященное тщеславие.

Совершая подвиг на войне или в труде, человек редко думает о его значении. Порою лишь спустя многие годы люди понимают, сколь существен и весом был их вклад в сотворение важных перемен. Но разве от этого подлинная историчность событий становится меньше!

Сопричастность к истории! Я ощущал ее здесь всюду, и не только на Самотлоре. Тут, должно быть, только с особенной силой.



ГОРЯЧИЙ АВГУСТ В БЕРЛИНЕ

ОБНОВЛЕНИЕ

Как и многие города социалистических стран — современный Берлин строят большие специализированные организации. Комбинаты. Объединяются они в главки. Главмосстрой. Главберлинстрой. Среди таких строительных объединений — одно обычно бывает самое мощное, как бы сказали у нас — головное. В Берлине это Первый жилищно-строительный — Вонунгсбаукомбинат.

Его фирменное обозначение «WB» рекламируется на плакатах, на бортах машин, на значках — популярно и известно всем берлинцам.

Управление Вонунгсбаукомбината находится на значительном расстоянии от центра города. Сравнительно недавно кварталы восточного района Лихтенберг еще считались окраинной. Здесь есть тихая, застроенная трех- и четырехэтажными домами улица Рюдигер. В доме 65 — управление. Небольшое здание обнесено оградой. У железных ворот домик дежурного, исполняющего смешанные обязанности и вахтера и диспетчера, как это водится во многих деловых домах Берлина.

Длинный коридор, как стручок гороха, набит небольшими комнатами. В них разместились различные службы управления строительством. В общем-то их структура тождественна организации любого другого подобного комбината в Москве ли, Будапеште, Варшаве.

Я приехал сюда впервые в августовский день семьдесят шестого года. Это лето принесло в Европу небывалую жару, устойчиво державшуюся в течение трех месяцев. Высокие температуры — за тридцать градусов показывали ртутные столбики не только в Берлине, но и в Варшаве, Праге, я был там проездом. Всюду иссушалась почва, кое-где горели леса. В большом же городе жара соседствует еще и с угнетающей духотой. Нагретые камень и бетон долго не остывают, это ощущалось и ночью в номере гостиницы «Беролина». Днем в такси даже открытые окна не приносили значительного облегчения. Однако деловая жизнь города не прекращалась. Как обычно, под солнцем и открытым небом работали и строители Берлина.

О людях Вонунгсбаукомбината я слышал давно. О генеральном директоре Герое труда и лауреате национальной премии Ойгене Шротере, его заместителе Фрице Краузе, о знаменитых бригадирах Ральфе Тишендорфе, Герберте Кольмане, Курте Бромберге, Гюнтере Шольце. Слышал от их московских коллег — рабочих, мастеров, инженеров, руководителей строек, от людей, которых знаю уже не первую пятилетку, с которыми давно дружу.

О том, что Шротера я не застаю, мне было известно еще в Москве. Он был в отпуске. Встретить меня должен был Фриц Краузе — главный инженер и «правая рука» Шротера. Перефразируя известную поговорку, можно, пожалуй, сказать: «Покажи мне ближайших помощников большого начальника, и я определю — кто он сам».

Фриц Краузе! Он сразу же произвел на меня хорошее впечатление. Не знаю, поддается ли исследованию природа человеческого обаяния, но влияние на окружающих этой силы — бесспорно.

Высокий, хорошо сложенный, темноволосый человек, в котором все крупно — руки, голова, торс, черты лица, Краузе легко двигался по комнате, в нем ощущался большой запас энергии, активное жизнелюбие. Он как бы заражал собеседника радостью существования. Таких людей мне приходилось видеть не раз, и не только на стройках. Привлекает их всегдашняя деловая целеустремленность, глубокая увлеченность делом.

Краузе около сорока пяти. Но выглядит он моложе. В комбинате работает давно. После того как завершил учебу в Высшей партийной школе в Москве. Он знает нашу столицу, у него здесь много знакомых. К этому вре-

мении относиться и непосредственное участие Краузе в первых деловых контактах между строителями Москвы и Берлина.

Начало нашей беседы было посвящено деятельности комбината, его истории, размаху работы, особенностям строек Берлина. Речь зашла о самом городе, о тяжком наследии войны, и о том, каким стал Берлин сейчас благодаря труду строителей, всех его жителей, трудящихся Германской Демократической Республики.

...Берлин сорок пятого! Я его видел сам. Военный корреспондент московского радио, я был в группе, посланной для записи важнейших событий финала войны. Вместе с передовыми частями мы двигались за линией фронта, квартал за кварталом, к центру города, к рейхстагу и имперской канцелярии. Берлин в пожарах, в развалинах мне запомнился на всю жизнь.

Последний приказ, отданный от имени Гитлера, гласил:

«Столица рейха будет обороняться до последнего человека. Борьбу должно вести фанатически — всеми средствами обмана, хитрости и коварства».

Эти «обман, хитрость и коварство» не могли, конечно, остановить наступления советских войск, изменить ход событий. Но трагедию трехмиллионного населения Берлина они сделали еще более жестокой. В предсмертном пароксизме нацисты взрывали мосты, заводы, склады, дома, электрические станции, затопили многие станции метро, где, как в безопасном убежище, находились раненые, женщины, дети.

Берлин тех дней являл собою тяжелое зрелище. Каменное кладбище, протянувшееся на десятки километров. Упавшие дома стерли привычные очертания улиц и площадей. Бои, шедшие на трех уровнях, — в воздухе над городом, на земле и под землей — разрушили все транспортные и жизнеобеспечивающие коммуникации, железные внутренности большого города, казалось, были вывернуты наизнанку.

Примерно 20 миллионов кубических метров жилья было взорвано. 185 тысяч квартир сравнено с землей, четырехста тысяч повреждено. Получалось, что каждый из трех берлинских домов оказался разрушенным полностью, каждый второй — наполовину, каждый третий — поврежден.

Люди прятались и жили главным образом в подвалах, в бункерах. Те, кто не успел эвакуироваться из зоны огня, забились в эти бетонные щели, руины, со страхом ожидая расплаты.

Однако вместо расплаты пришла бескорыстная помощь Красной Армии, советского народа. Даже и сейчас, через тридцать с лишним лет, событие это не потускнело в своем великом гуманистическом значении, не утратило исторической значимости и волнующего смысла. И до сих пор все это необычно впечатляет, достаточно лишь подумать и вспомнить о том, как «странно» повели себя недавние «враги».

Советские воины сами начали тушить пожары, откапывать людей, засыпанных в подвалах, обезвреживать мины, расчищали улицы, они лечили раненых в военных госпиталях, раздавали хлеб голодным, готовили густые борщи в полевых солдатских кухнях для немецких ребятшек, больных и стариков.

Действительно, «странным» казалось такое поведение надломленному, потрясенному и запуганному обывателю, чьи мозги были давно и прочно завернуты в газетные листы лживой геббельсовской пропаганды.

24 апреля, когда еще шли бои, был назначен первый советский комендант немецкой столицы — командующий 5-й армией генерал-полковник Н. Э. Берзарин. На следующий день он опубликовал свой первый приказ, в котором говорилось, что советское командование гарантирует мирному населению безопасность и жизнь, приказывает продолжать снабжение жителей продуктами по определенным нормам.

Думается, не лишним будет сейчас вспомнить, что нормы эти, в то суровое время выдаваемые по карточкам, были не ниже тех, что действовали у нас в стране.

Так, с 15 мая началась выдача продовольствия, куда включался даже натуральный кофе, притом даже на два месяца вперед, чтобы не делить пачку. Было организовано снабжение молоком детей до 8-летнего возраста.

Надо ли писать о том, каких это потребовало усилий и жертв! Да и сыщется ли в истории подобный пример самоотверженности.

Советские воины с первых же дней всерьез взялись за восстановление города вместе с антифашистами, с мирным населением, с теми, кого тогда называли «активиста-

ми первого часа». Среди них было очень много женщин, которые своими руками расчищали развалины.

Вскоре пустили воду, зажглось электричество, появился газ. Начали действовать пекарни, больницы, родильные дома. Уже через два месяца приступило к работе около шестисот предприятий. Вошел в строй городской транспорт.

Спускаясь летом семьдесят шестого в хранящие прохладу вестибюли метро, я вспомнил пуск первого поезда в мае сорок пятого.

Представьте себе темно-серую широкую бетонную платформу с путями по обеим сторонам, овальный потолок подземного вестибюля. После боев станция была быстро отремонтирована немецкими рабочими и советскими саперами, инженерами.

«...К отправлению первого поезда приехал в Нейкельн генерал Берзарин. В сопровождении директора Берлинского общества городского транспорта он, не торопясь, прошелся по платформе, осмотрел вестибюль.

Потом они остановились около открытых дверей вагона — Берзарин и директор общества, плотного сложения мужчина в отличном темно-синем костюме, вежливо наклонивший голову.

— Ну, вот, отлично,— сказал ему Берзарин.— Почин сделан. Теперь мы должны с вами пустить весь берлинский метрополитен. Когда же?

Я не расслышал, что ответил директор. Но зато я увидел на его лице то приторное, искательно услужливое выражение, которое должно было, видимо, подтвердить готовность директора сделать все возможное.

— Я поздравляю вас,— обратился Берзарин к директору.

— Спасибо,— ответил тот по-русски, оглядываясь на фотокорреспондентов, снимавших его рядом с генералом.

— Прошу вас войти в вагон,— предложил Берзарин.

— Это я вас прошу,— поклонился директор.

Так они, соревнуясь в вежливости, уступали друг другу право первым переступить порог вагона. И вот наконец Берзарин со своей неизменной улыбкой, выражавшей и великодушие и твердость характера, вошел первым и сел на мягкий диванчик.

Не могу, конечно, поручиться, но кажется мне, что и генерал и наши офицеры не могли не представить себе в эту минуту — хоть на мгновение — картины боя на этой

станции: выстрелы, крики в темноте, орудия, спущенные в туннели, орудия на тех самых рельсах, что сейчас металлически поблескивали в лучах прожектора моторного вагона.

— Ну, что ж! Если все готовы, товарищи и господа, то поехали вперед — к славному будущему города Берлина! — с улыбкой произнес Берзарин и, сняв фуражку, вытер платком крупный лоб и седеющие виски.

— Слушаюсь! — подхватил директор.

— Фертиг! — рывкнул за окнами вагона дежурный по станции Герман-плац, и первый поезд на первом участке метро, восстановленном немцами и русскими на двенадцатый день после капитуляции Берлина, отправился в свой первый рейс...»

Так я писал в книге «Берлинская тетрадь». Обширность цитаты, мне думается, оправдывает памятный и дорогой эпизод с генералом Берзариным, погибшим во время автомобильной катастрофы в Берлине в июне сорок пятого. Замечательный воин, коммунист, человек — Берзарин на посту первого коменданта оставил по себе неизгладимую память.

Новых домов в Берлине тогда еще не строили. Это началось позже и шло по нарастающей — восстановление, реконструкция и строительство новой столицы Германской Демократической Республики.

Уже к 1949 году из 20 миллионов кубических метров разрушенных зданий 5 миллионов кубометров было восстановлено. Образование в октябре 1949 года Германской Демократической Республики послужило новым этапом в обновлении столицы.

Начало было положено на Унтер-ден-Линден. Первыми здесь начали восстанавливать университет, Кроль-опера. Затем Карл-Маркс-аллею от улицы Берзарина до площади Штраусбергер. 2115 квартир, 105 специализированных магазинов и ресторанов. Два километра вновь выстроенной Карл-Маркс-аллеи — это и есть первая страница строительной хроники Вонунгсбаукомбината.

А затем работы на той же аллее, но ближе к центру, восьми-, десятиэтажные дома, высотное здание отеля «Штадт Берлин», ресторан «Москва», реконструкция Александерплац, улицы Карла Либкнехта.

...Фриц Краузе показал мне интересный альбом, выпущенный к тридцатилетию победы над фашизмом. Называется он по-русски так: «Фотодокументация об успешном

социалистическом строительстве столицы ГДР Берлина».

Альбом «говорит» впечатляющим языком фотографий. Сорок пятый год и нынешний. Что может быть убедительнее прямого зрительного сравнения! Вот общий план площади Александерплац. Слева на фотографии — то, что было! Справа — то, что стало! Слева — руины, каменный хаос, справа — ныне широко известная площадь, отличающаяся свободной и гармоничной планировкой, редким в таком большом городе ощущением простора.

Простор — это ведь не только свободное пространство, кстати говоря, в четыре раза большее, чем на довоенной площади с тем же названием. Это и ощущение, создаваемое архитектурой зданий, обрамляющих площадь. Главный универмаг «Центрум», высотное, свыше сорока этажей, здание гостиницы «Штадт Берлин», массивный, с большими цветными панно на стенах Дом учителя, знаменитая телевизионная башня с круглой вращающейся серебристой короной.

В Берлине говорят, что эта площадь ныне самая красивая в Европе. Не знаю — самая ли, но красивая — безусловно.

Я прочел в одной книге, что неподалеку от нынешнего универмага «Центрум» стояло когда-то полицейское управление. Именно здесь в 1932 году томился в следственной тюрьме кандидат в президенты Эрнст Тельман. Пять миллионов голосов собрали тогда коммунисты, несмотря на жестокий террор. И об этом, и о кровавых боях с нацистами здесь, на площади, вспоминают те, кто любит ныне ее архитектурой.

Унтер-ден-Линден! От площади Маркса — Энгельса до Бранденбургских ворот всего один километр, но именно здесь находятся многие здания, представляющие большое историческое, государственное и культурное значение.

На площади Маркса — Энгельса дом Государственного Совета ГДР, недавно выстроенный Дворец Республики, где будут проходить съезды СЕПГ, сессии Народной палаты, важнейшие международные конгрессы. Здесь же вблизи — современное, из стали и стекла, изящное здание Министерства иностранных дел.

А посмотрите старую фотографию. Массивный, черного цвета, словно бы весь обуглившийся дом, крыши нет, с правой стороны обрушены стены, зияют провалы окон. Дом снесли и построили, по сути дела, заново.

И далее на Унтер-ден-Линден — реставрированные здания университета Гумбольдта, Государственного оперного театра, памятник жертвам фашизма и милитаризма, дом советского посольства, «Опернкафе».

Площадь Ленинплац, Карл-Маркс-аллея, Либкнехт-штрассе, Франуфуртер-аллея — все неузнаваемо изменилось. Ныне уже каждый второй житель миллионного города переехал в новую квартиру.

Вряд ли кто-либо будет оспаривать сейчас, что современный Берлин — один из самых красивых городов Европы. Красота — категория не только эстетическая. Есть такое медицинское понятие — эстетотерапия. В красивом городе лучше дышится, лучше работается.

Поэтому новому Берлину решено было дать больше простора, света, зелени. Красота стала одной из ведущих идей генерального плана реконструкции Берлина, который был утвержден Советом Министров ГДР в 1968 году. Генеральный план имеет длительную перспективу — до начала... третьего тысячелетия! Примечательный факт, свидетельствующий о чувстве уверенности, с которым Германская Демократическая Республика смотрит в будущее.

Решением ЦК СЕПГ и Совета Министров от 21 мая 1973 года утвержден план строительства Берлина с 1976 по 1980 год. Предстоит построить 80 тысяч квартир. 225 тысяч берлинцев улучшат свои жилищные условия. Все больше будет возводиться детских садов и детских площадок, больниц, амбулаторий, поликлиник. Строить больше, дешевле, быстрее во всех восьми районах Берлина — вот лозунг современного градостроительства. И львиную долю этой уже совершенной и совершаемой работы взял на свои плечи в Берлине Вонунгсбаукомбинат, награжденный несколько лет назад высшим в ГДР орденом Карла Маркса.

НАЧАЛО СОДРУЖЕСТВА

Началось с малого — укреплялось и расширялось постепенно. Даже когда идея, как говорится, носится в воздухе, необходима чья-то инициатива, толчок, благоприятные обстоятельства и горячее желание осуществить идею.

История содружества строителей Москвы и Берлина ведет отсчет с 1966 года. Как раз в то время Фриц Краузе учился в Москве. Тогда же он познакомился с начальником первого и единственного в то время в столице домостроительного комбината — Валентином Николаевичем Галицким.

Это известное имя в семье московских строителей. Крупный специалист, много лет — заместитель начальника Главмосстроя. В шестьдесят первом Галицкий формировал первый комбинат и собирал вокруг себя инициативных людей.

Новый комбинат основывался на идее полной индустриализации строительства, внедрения промышленных методов, потока, неукоснительно выполняемого графика. Строительная площадка как бы превращалась в цех огромного предприятия под открытым небом, осуществляющего весь комплекс домостроения.

Опыт москвичей заинтересовал строителей других столиц социалистических стран. Домостроительные комбинаты стали давать высшую по сравнению с другими организациями производительность в массовом, крупнопанельном домостроении.

Первая поездка берлинских коллег во главе с Ойгеном Шротером в Москву состоялась в декабре шестьдесят седьмого года. Если уж быть совершенно точным, то надо сказать, что этому предшествовал визит в Берлин тогдашнего руководителя Главмосстроя Пащенко, который и пригласил немецких товарищей в нашу столицу.

Среди инженеров, которые приехали со Шротером, был и Краузе, занимавшийся строительными делами в Берлинском магистрате.

Многое впечатлило и понравилось гостям в комбинате. Сама его организация. Согласованность всех звеньев. Система комплектации, когда на строительные площадки приходят контейнеры с полным комплектом деталей дома, необходимых для определенной работы. Приходят точно по графику. Немцы, которые с особой взыскательностью относятся к любой работе, тогда не имели у себя такой четкой системы на стройках.

Берлинские коллеги по достоинству оценили и экономическую службу. Кроме обычных отделов, на комбинате были созданы нормативно-исследовательская станция и лаборатория экономического анализа. Естественно, что у каждого экономического подразделения свой круг обязан-

ностей, но они действуют и совместно, когда надо поднимать темпы, эффективность, чтобы, скажем, «три дня — этаж» — стало законом на строительных площадках.

Такие высокие темпы порождены приходом в строительную практику массового крупноблочного, а затем и крупнопанельного строительства.

В Берлине крупноблочная эра началась в 1960 году. Первый дом был выстроен в районе, известном не только берлинцам. С именем Карлхорста связано событие всемирно-исторического значения — подписание в мае 1945 года Акта о капитуляции нацистского государства.

Дом был пятиэтажным. Примерно таким же, как и известная серия домов в Москве, которыми в те годы застраивались у нас в столице целые районы.

Берлинские блочные дома в те же годы перекочевали из Карлхорста в районы Лихтенберг, Трептов, на другие окраины. Чем более расширялся строительный плацдарм для возведения этих зданий, тем все более настоятельной становилась потребность в усвоении советского опыта скоростного строительства.

— В организации домостроительных комбинатов, таких, какими они являются сейчас, в скоростном строительстве — первенство за Советским Союзом!

Это сказал мне Фриц Краузе. Он же показал красочно оформленную книгу с множеством цветных снимков. Называется она: «25 лет Вонунгсбаукомбината Берлин, 1949—1974 гг.»

«Счастливым час в нашей дружбе!» Это не строка из стихотворения и не название рассказа. Это фраза из воспоминаний человека, которому этот «час» запомнился на всю жизнь. Человека зовут Герберт Кольман — он рабочий, бригадир, один из ветеранов в семье берлинских строителей.

Полистайте книгу по истории комбината и вы увидите его лицо на многих фотографиях — лицо, привлекающее внимание — крупные черты, открытый высокий лоб, волевые складки у красиво очерченного рта, добрый взгляд из-под густых бровей.

Счастливым час! Это, конечно, метафора. Точнее, поделовому надо бы сказать — счастливых полгода, в течение которых берлинцы, построив несколько типовых и высотных домов, осваивали советскую технологию, метод московских и ленинградских домостроительных комбинатов.

Первым в этой серии было здание, вошедшее в историю «Вонунгсбаукомбината» под названием: «Дом семидесяти семи дней и скоростного монтажа». Его строили на Георгиенкирхштрассе. Типовой, одиннадцатизэтажный дом на 118 квартир. Происходило это в декабре 1968 года.

Обычно от нулевого цикла до сдачи дома новоселам у берлинских строителей проходило сто сорок — сто шестьдесят дней. Лучшие бригады в Первом Московском домостроительном комбинате выполняли тот же цикл дней за шестьдесят. Разница в темпах выглядела весьма существенной.

Бригада Курта Бромберга, заслуженного, опытного строителя, возводившего это здание, решила сократить «разрыв», попытаться хотя бы приблизиться к уровню достижений московских коллег. Что взял Курт Бромберг и его товарищи из советского опыта? Трехсменный монтаж. Четкий ритм и почасовой график. «Монтаж с колес», как говорят в Москве, когда детали домов, доставляемые на площадку панелевозами, тут же, без промедления поднимаются кранами на этажи.

Берлинцы взяли еще и московскую схему монтажных захваток и так понравившуюся им систему комплектации материалов.

Графики для дома на Георгиенкирхштрассе разработали инженеры Герхард Штильмахер и Отто Пфент. Что-то видоизменяли, приспособляли к своим условиям, механизмам. Освоение опыта друзей — не механическое копирование, а тоже процесс в известной мере — творческий. Работа по новой технологии «разогрела ребят», как сказал Бромберг, увлекла. Новый дом был выстроен за семьдесят семь дней. Эффективность новой технологии была настолько велика, что обычные для постройки такого дома сроки сократились... на девяносто дней! «Час» действительно стал счастливым!

* Примерно через полгода на этот раз уже бригадир Герберт Кольман начал возводить по советской технологии высотное двадцатизэтажное здание на площади Ленина.

И если для дома на Георгиенкирхштрассе учебником были схемы и расчеты московских и берлинских инженеров, то здесь, на Ленинплац рядом с Кольманом стояли сами мастера скоростного монтажа — ленинградец Герой Социалистического Труда Семен Ткачев и москвич Анатолий Суровцев.

Анатолия Михеевича Суровцева я знаю давно, не раз писал о нем, это мой друг. Его имя, одного из лучших бригадиров ДСК-1, широко известно.

Суровцев — заслуженный строитель РСФСР. Он — рыцарь качества, как говорят на комбинате. И, конечно же, не случайно, что в октябре шестьдесят девятого года в Берлин поехал именно он — для передачи опыта и, как говорят, «мир посмотреть и себя показать!»

Ленинплац! Эта площадь расположена на северо-востоке от исторического центра Берлина. Она граничит с большим парком, зеленая полоса которого образует одну из граней архитектурного ансамбля. Однако это вторжение зелени не мешает ощущению широты, свободному размаху планировки, напротив, придает ей еще большую объемность и простор.

Пожалуй, есть две площади в обновленном Берлине, где это ощущение простора выражено столь эмоционально и впечатляюще. Это Александерплац и площадь Ленина. Вообще же говоря, берлинские строители доказали, что простор в планировке — это важнейший и архитектурный и эстетический компонент застройки.

Да, на площади Ленина сейчас просторно, легко дышится. Но не так все выглядело во время строительства. «Тогда, — вспоминал Кольман, — мы располагались как бы на островке, между Ленин-аллее, Фриденштрассе и Лихтебергерштрассе, справа к нам примыкал «Вольск-парк».

Два подъемных крана вздымались в небо. Из стеклянных кабин можно было обозреть весь город. На кранах висели знамена ГДР и СССР, как знаки германо-советской дружбы.

В бригаде работало много молодежи. Моя «классная комната», как руководителя и учителя молодежи, находилась в нашем передвижном красном вагончике, который путешествует со строителями от одного дома к другому. На стенах этого вагончика висели рисунки, схемы, чертежи, поясняющие советскую технологию скоростного возведения зданий. Я читал тогда планы, как некоторые читают захватывающие романы!»

Так написал Кольман, не считая это преувеличением. Да и какие основания оспаривать то, что он написал? Значит, таковы были в ту пору его увлеченность планами, деловой азарт. Счастливый час — это счастливый час!

Как-то у меня дома мы с Анатолием Михеевичем Суровцевым разглядывали цветные фотографии, которые мне подарили в Вонунгсбаукомбинате.

Высотный дом, на котором Суровцев работал в бригаде Кольмана, высится позади монументального памятника Владимиру Ильичу Ленину. Памятник, обрамленный сквером, — центр площади, он придает ей особенно торжественное и волнующее звучание.

Сам же высотный дом — это трехступенчатая пирамида с самой высокой башней в двадцать пять этажей.

— Я работал на последних, — рассказывал мне Суровцев, — а мой ленинградский товарищ Семен Ткачев прилетел в Берлин на монтаж самого верхнего этажа и затем, чтобы уложить вместе с Кольманом последнюю балку перекрытия.

— Почему именно Ткачев? — спросил я.

— Его бригада соревновалась тогда с бригадой Кольмана. Вот его и вызвали телеграммой. Дом-то мы сдавали седьмого октября, как раз в двадцатую годовщину образования Германской Демократической Республики.

Как мы быстро привыкаем ко многим деталям и приметам новизны! Считаю обыденно деловым, заурядным. Заграничные поездки, совместная работа в интернациональных бригадах! Бывало ли раньше такое? А сейчас это практика наших будней. Рабочего человека приглашают прилететь за границу на завершение стройки высотного дома.

Анатолий Михеевич долго не мог оторваться от фотографии. Она его волновала.

— Вот этот одиннадцатизэтажный, типовой строила бригада Курта Бромберга. Посмотрите — он овальной формы, в виде гигантской подковы. А какая тщательная отделка, все чистенько, аккуратно. Лоджии разноцветные, синие, красные. Цветовое разнообразие, от этого дом лучше смотрится. Вы заметили — дом Бромберга как раз напротив дома Кольмана. Встретились на одной площади. Я к Курту Бромбергу заходил на этажи, потом мы познакомились ближе, подружились.

Да, Анатолий Суровцев старался взять как можно больше из опыта немецких друзей и в свою очередь передать им свои навыки. Это была его первая поездка за рубеж, и, естественно, он был переполнен впечатлениями, просто не успевал их впитывать в себя и, даже работая,

нет-нет и отрывался, чтобы с площадки двадцать пятого этажа посмотреть на Берлин.

Смотреть с высоты на большой город — это, пожалуй, особое удовольствие для строителя-профессионала. Когда-то, еще до типового строительства, Анатолий Михеевич участвовал в возведении таких зданий, как кинотеатр «Россия», Дворец съездов...

...Центр, с его темно-серой монументальностью, тяжеловатостью и угрюмостью архитектурных форм, более чем какой-либо иной район сохранил облик старого Берлина. На окраинах же все выглядело по-иному, просторно, легко, светло, старая сводчатая, вертикально взметенная вверх готика уступила место современной, строгой геометрии улиц, кварталов и площадей.

Высотный дом на Ленинплац был здесь самым большим и внушительным. В канун праздника, уложив на двадцать пятом этаже последнюю балку перекрытия, Кольман и Ткачев в белых касках и серых брезентовых куртках подняли на стальную мачту флагштока, установленную на крыше, красный флаг с изображением Владимира Ильича Ленина.

Торжественный момент взволновал всех, столпившиеся внизу берлинцы, задрав голову, смотрели на подъем флага — событие необычное и порожденное, как написал потом в своих воспоминаниях Герберт Кольман, «содружеством, которое принесло богатые результаты и сулит новые перспективы в будущем».

В тот же день Анатолий Суровцев и Семен Ткачев от души поздравили своего товарища Кольмана: он был награжден Золотой медалью Героя Труда ГДР.

В книге о Берлинском комбинате есть еще одна давняя фотография: водружение флага на крыше дома. Она датирована 8 мая 1945 года — днем освобождения немецкого народа от фашизма, днем подписания капитуляции.

Должно быть, никогда не перестанут нас волновать такие снимки!

ЗЕЕЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ

Зееловские высоты я посетил по совету и не без помощи Фрица Краузе. Он сам возил группы рабочих к мемориалам минувшей войны.

Мощная «Татра» была взята в экскурсионном бюро «для московского писателя, который интересуется делами берлинских строителей», как сказал Краузе, добавив, что не так-то часто даже берлинские писатели посещают Вонунгсбаукомбинат.

Шестьдесят километров от Берлина прямо на восток к Одеру! В сорок пятом в апреле это была дорога огня и крови, жестоких боев и великих жертв. Начав наступление с заодерских плацдармов, 16 апреля наши армии подошли к окраинам Берлина на шестой день — двадцать первого. Сейчас мы потратили на этот путь около часа.

Был субботний день, на дороге немного машин и автобусов. Обращало на себя внимание по-немецки аккуратное обустройство дорожного полотна регулирующими движение знаками. Я нигде не видел столько жирных белых полос и стрелок на темном асфальте шоссе! Когда дорога шла лесом или парком, деревья на обочинах как бы выстраивались в ровную шеренгу, и каждое белело высоким чулком специальной обмазки.

Городок Зеелов остается на левом фланге холмов, поднявшихся километрах в шести от Одера. Это и есть «высоты», которым суждено было войти памятной страницей в историю Берлинской битвы.

Мемориальный комплекс, посвященный этому сражению, находится, пользуясь языком военных терминов, «на обратном скате одной из высот». Он расположен на двух террасах и открывается выставкой оружия времен войны. На гладкой, выстеленной белыми плитами площадке стоят танк Т-34, знаменитая наша «тридцатьчетверка», наводившая страх на фашистских солдат, 152-мм гаубица и 76-мм пушка — из числа тех, что хорошо поработали на Зееловских высотах, а сейчас стали музейными экспонатами.

Оружие с годами стареет, но не меркнет его боевая слава. А то, что свет Победы долго сияет на металле танков и пушек, можно увидеть на этой площадке, если подойти к многочисленным экскурсантам из Берлина, Зеелова, Франкфурта-на-Одере и других городов.

Взрослые уважительно посматривают на старое, но грозное оружие; дети же весело играют около гусениц танка и лафетов орудий. Я видел, как белокурый немецкий мальчик влез на башню танка, оттуда взобрался на ствол пушки и, совершенно счастливый, был заснят там

на пленку фотоаппарата проходившим мимо советским солдатом. Надо ли комментировать эту сценку?!

От площадки, где стоят пушки, каменная лестница ведет к «Блиндажу Жукова». Это музейное здание выстроено на том месте, где когда-то стоял блиндаж командующего фронтом. И часть бревен наката, сохранившихся с той поры, составляют теперь стены продолговатого здания с тремя узкими щелями-окнами, похожими на амбразуры дота. Блиндаж — живая память о днях, пожалуй, самых ожесточенных боев за время всей Берлинской операции.

Сам Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» так вспоминает о первых часах штурма Зеловских высот:

«...Ровно за три минуты до начала артподготовки все мы вышли из землянки и заняли свои места на наблюдательном пункте, который с особым старанием был подготовлен начальником инженерных войск армии.

Отсюда днем просматривалась вся приодерская местность. Сейчас здесь стоял предутренний туман. Я взглянул на часы: было ровно пять утра.

И тотчас от залпа многих тысяч орудий, минометов и наших легендарных «катюш» ярко озарилась вся местность, а вслед за этим раздался потрясающей силы грохот разрывов миц, снарядов и авиационных бомб. В воздухе нарастал гул бомбардировщиков...

...В небо взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню подобного ощущения...

Артиллерия еще больше усилила огонь, пехота и танки дружно бросились вперед, их атака сопровождалась двухслойным мощным огнем валом. К рассвету наши войска преодолели первую позицию и начали атаку второй позиции...

...Утром 16 апреля на всех участках фронта войска успешно продвигались вперед. Однако противник, придя в себя, начал оказывать противодействие со стороны Зеловских высот своей артиллерией, минометами, а со стороны Берлина появились группы бомбардировщиков.

И чем дальше продвигались наши войска к Зееловским высотам, тем сильнее нарастало сопротивление врага.

Этот естественный рубеж господствовал над всею окружающей местностью, имел крутые скаты и являлся во всех отношениях серьезным препятствием на пути к Берлину. Сплошной стеной стоял он перед нашими войсками, закрыв собою плато, на котором должно было развернуться генеральное сражение на ближних подступах к Берлину.

...Для противника отстаивание этого важнейшего рубежа имело еще и моральное значение. Ведь за ним лежал Берлин! Гитлеровская пропаганда всячески подчеркивала решающее значение и непреодолимость Зееловских высот, называя их то «замком Берлина», то «непреодолимой крепостью»...

«Крепость» пала, а как это произошло, можно увидеть сейчас на картах и экспонатах музея-«блиндажа Жукова», в кадрах кинофильма о взятии Берлина, который несколько раз в день демонстрируется в домике, расположенном рядом с выставкой оружия.

Кинокадры и экспонаты музея дополняют друг друга. Я долго стоял около прекрасно выполненной художественной диорамы ночного боя 16 апреля. Тут же огромная, смонтированная на столе оперативная карта — схема сражения, фотографии, снимки членов Военного совета фронта и командующих армиями, приказы Жукова тех дней, перечень фамилий наших воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза именно за эти бои.

Фамилии написаны по-русски, и многие посетители читают, шевеля губами и складывая слоги, с ошибками, но все же разборчиво произнося вслух фамилии: Алексеев, Авакян, Богомолов, Вайнруб и много, много других.

На бревенчатых стенах памятные плакаты тех лет. Солдат держит в руках огромный «ключ от Берлина»! А под ним «изречение из Геббельса»: «Все возможно в этой войне, но только не то, что мы можем когда-либо капитулировать!» Ответом на эту самонадеянную болтовню, на этот дутый пафос обреченных — яркие слова плаката, отпечатанного, видно, где-нибудь во время сражений, в армейской походной типографии: «Слава героям Зееловских высот!»

Входя в блиндаж, я заметил слева урну для окурков, изготовленную из обыкновенной каски солдата нацистской армии. Может быть, хозяин каски сложил свою

голову на этих скатах, наслушавшись вранья доктора Геббельса. А теперешние экскурсанты сбрасывают в эту нацистскую каску пепел своих сигарет, возможно и не задумываясь в этот момент над тем, что в блиндаже Жукова такой жест приобретает и некое символическое значение.

С особым чувством я зашел в небольшую комнатку блиндажа, где стоят музейные экспонаты, принадлежавшие лично маршалу Жукову: его маленький письменный стол, его книги, на подставке у бревенчатой стены — полевой телефонный аппарат, карты. За этим столом он сидел, в этой комнате работал. Все просто, скромно, по-военному, по-фронтовому. Эта верность духу времени, подлинность обстановки впечатляет сильно и глубоко.

Мне же еще подумалось тогда, что хорошо бы увидеть на Зееловских высотах подлинные окопы, пройти по траншеям, по которым шагал маршал Жуков, генералы, офицеры, руководя отсюда сражением. Но траншеи не сохранились, окопы давно заросли травой. Посажены и выросли новые деревья, и всему скату придан вид красивый и благоустроенный. Сотни жителей городов Франкфурта-на-Одере и Зеелов многие часы и дни работали здесь по велению сердца, добровольно. Мемориал был сооружен в 1967 году, в год 50-летия Октябрьской революции.

Выше блиндажа Жукова на ровной террасе — братское кладбище. Две линии могил в окружении цветников и деревьев. Над каждым холмиком постаменты из коричневого мрамора. Надпись по-русски:

«Сол. Кошематов Георгий», «Сол. Изотов Александр».

Я вначале почему-то не сообразил, что означает это непривычное — «Сол.», у нас-то ведь никто не урезает слова — солдат. Как трогает, какой болью входит в сердце этот длинный, траурный ряд фамилий на холмиках, которые и здесь как бы выстроились в строгую шеренгу. Слово бы и мертвые солдаты держат строй!

«Сол. Авраменко В. Ф.», «Сол. Колухатов И. Н.», «Сол. Фурманов Н. И.», «Сол. Егоров М. М.», «Сол. Юзин С. Е.», «Сол. Дубянский А. А.».

А рядом такие же постаменты из коричневого мрамора с одним только словом «Неизвестно!», «Неизвестно!», «Неизвестно!». И около них много цветов.

Неизвестные, неопознанные герои Зееловских высот! Они тоже лежат здесь. Я замечаю, что на этом кладбище более всего рядовых солдат. Первыми дорогу к победе прокладывали в бою те, о ком еще в годы сражения сло-

жилась крылатая, верная и полная высокого трагизма поговорка:

«Солдаты переднего края долго не живут, но мир на них стоит вечно!»

Да, мир стоит вот уже более тридцати лет, и люди не забывают, да и не забудут никогда, кому они обязаны этим.

С террасы кладбища хорошо видна автобусная стоянка. Машины все прибывали и прибывали. Большие группы людей поднимались к кладбищу и не торопились отсюда уйти.

Я видел, как двое юношей подвели к могилам старую женщину, должно быть, свою бабушку. Она держала в руках букет ярких гвоздик. Юноши потом помогли женщине подняться по ступеням к памятнику на вершину горы. Она положила цветы к ногам русского солдата и сама опустилась на колени. Долго, очень долго вглядывалась старая женщина в бронзовое лицо воина с автоматом, висющим па груди.

О чем она думала в этот момент, что вспоминала?! Не знаю, перевели ли ей надпись по-русски на постаменте:

«1941—1945 гг.

Вечная слава героям, павшим в боях с фашистскими захватчиками за свободу и независимость Советского Союза».

Но, наверно, она догадывалась о значении этих слов. Я видел, как она заплакала.

Плакали и две пожилые женщины, сидевшие рядом со мною в кинозале, когда на экране проходили кадры боев и здесь, на Зееловских высотах, и дальше — в Берлине. Фильм был построен на исторических параллелях. Вот довоенные пышные гитлеровские военные парады. Вот лес рук, поднятых вверх для приветствия марширующих нацистских колонн. Вот те же руки, протянутые к солдату, который большим черпаком наливает суп в миски, к советской девушке-воину, раздающей голодным берлинцам хлеб.

Кадры знакомые, но что же из того! Они волнуют всех по-прежнему, а здесь, на Зееловских высотах, — с особенной силой.

Нервно дышит маленький темный кинозальчик мемориала. Смотрят молча, вздыхают, женщины всхлипывают. Да, здесь есть над чем задуматься и сегодня, что вспом-

пить и что оплакивать! И все же это добрые слезы, слезы очищения, слезы благодарной памяти о тех, кто лежит на братском кладбище, кто отдал свою жизнь за то, чтобы нынешние поколения граждан ГДР могли спокойно и плодотворно строить социалистическое общество.

Чем дольше находишься на Зееловских высотах, тем яснее понимаешь, что это не просто «Памятное место освобождения Зееловских высот», как официально именуется мемориальный комплекс с памятником в различных проспектах и альбомах. Нет, это еще место той плодотворной и, я бы сказал, духовно неопенимой работы, которую организовали здесь активисты общества немецко-советской дружбы, кружки юных историков города Зеелов. Они ведут обширную переписку с родственниками погибших воинов, получают сотни писем из Советского Союза.

«Милые юные историки! Мой брат Коля Иванов погиб при штурме Зееловских высот. Хочу знать, где покоятся его останки? С нетерпением жду ответа.

К. Иванова»

Иван Остридорога умер от ран, полученных на Зееловских высотах. А его дочь Раиса переписывается с пионерами города Зеелов.

И этому посвящены стенды с письмами на русском, немецком языках — для всеобщего обозрения. Это тоже впечатляет.

Многие торжества проходят здесь. Я видел в альбомах мемориала снимки, где изображены многолюдные митинги около памятника. Вот собралась молодежь, спортсмены — почтить память героев. Вот митинг общества немецко-советской дружбы, вот слет юных тельманцев. Торжественное построение солдат народной армии ГДР, встречи ветеранов этих боев — гостей из Советского Союза.

Маршал Чуйков, бывший командующий 8-й гвардейской армией, на наблюдательном пункте которой и находился маршал Жуков на рассвете 16 апреля, посетил мемориал. На снимке — он с группой сопровождающих его лиц, советских генералов и генералов ГДР, руководителей округа, куда входят и Зеелов и Франкфурт-на-Одере. На шее маршала — красный пионерский галстук — дар юных следопытов мемориала.

На другом снимке командующий группой войск в Германии генерал Ивановский и начальник политуправления

этой группы генерал Медников делают записи в книге гостей.

Несколько лет назад стотысячному посетителю памятного места был вручен ценный подарок.

В ГДР есть множество памятников минувшей войны, среди них, конечно, самый монументальный и грандиозный — мемориальный комплекс в берлинском Трентовпарке.

Но думается мне, что сооруженный на месте непосредственных кровавых и упорных боев мемориал Зееловских высот занимает в этом ряду какое-то свое, особое место. И не говоря уже о силе того впечатления, которое он производит, этот памятный комплекс стал живым центром интернационального воспитания, действенным символом благодарности немецкого народа за освобождение от фашизма, символом нашей вечной дружбы.

Мы возвращались от Зееловских высот по великолепной берлинской автостраде. Заезжали еще ненадолго в город Франкфурт-на-Одере, красивый городок на берегу реки, неузнаваемо изменившийся с тех пор, когда я видел его в апреле сорок пятого года.

Дорогой я думал о том, что реликвии военных побед только тогда достойны породившего их всенародного подвига, когда вот так, как на Зееловских высотах, они бережно соединены с памятью о живых и мертвых, о солдатах и маршалах Великой Отечественной войны.

ПУСТЫРЬ У БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ

На пересечении улиц Унтер-ден-Линден и Отто-Гротевольштрассе стоит шестиэтажное прямоугольное здание Министерства народного образования ГДР. Отсюда метров сорок до Бранденбургских ворот. Шестиколонная композиция с широкими проемами, с полуовальной колоннадой примыкающих крыльев увенчана на фронтонах центральной части квадригой и трехцветным знаменем ГДР, развевающимся на ветру.

Соседство этих сооружений в чем-то кажется символическим. Памятник прусской военщины с его напыщенными формами, позаимствованными из древнеримской архитектуры, в соединении с современным обликом здания министерства — в какой-то мере образно выражает на

этом историческом месте Берлина его прошлое и настоящее.

Прошлое выразительно напоминает о себе еще и простирającymся левее Бранденбургских ворот большим пустырем с полосами кустарника. Это место бывшего квартала центральных учреждений 3-го рейха, тут находилась новая Имперская канцелярия Гитлера.

Сохранилась фотография времен сорок пятого года, изображающая это место вблизи Бранденбургских ворот. Разбитые, иззубренные колонны, обвалившиеся карпи́зы и разбитая квадра́га самих ворот, и на этом участке Унтер-ден-Линден — вся в завалах и баррикадах из битого камня, вместо домов — некие глыбообразные их подоби́я, обугленные здания, всюду хаос.

Теперешний большой, светлых тонов дом министерства был выстроен заново на расчищенном месте. Строил его, как и всю Унтер-ден-Линден, Вонунгсбаукомбинат. Здесь поработала бригада и Курта Бромберга, и Ральфа Тишendorфа с ведущим монтажником молодым рабочим Гюнтером Шольцем.

Анатолий Суровцев вместе с Куртом Бромбергом приходил сюда не раз, профессионально зорким взглядом осматривал здание, оценивал качество монтажа, отделки. Обычно они сидели на скамейках в скверике под теми самыми липами, которые начисто выгорели в сорок пятом, а сейчас вновь бросали широкую тень на песчаные дорожки бульвара.

Потом они прогуливались по Отто-Гротевольштрассе. Я не знаю, что рассказывал Бромберг Суровцеву, когда они смотрели на каменные глыбы, вывернутые взрывами из-под земли, на следы, оставшиеся от бетонных входов в подземные бункера, на весь этот зловеющий пустырь — бывшее «логово фашистского зверя», как писали в те годы в газетах.

Думаю, что какие-то детские впечатления о войне остались у Курта Бромберга. Каждый берлинец хоть однажды посетил пустырь у Бранденбургских ворот, свернув налево с многолюдной, всегда праздничной Унтер-ден-Линден. Мне говорил в Москве Анатолий Суровцев, что он трижды приходил к этому пустырю и смотрел на него с тем тяжелым стеснением в груди, какое вызывали у него бараки, крематории, виселицы концлагеря Заксенхаузена вблизи Берлина, куда он тоже ездил с Куртом Бромбергом.

И я, бывая в Берлине, выбираю время и обязательно подхожу к этому пустырю. Собственно, тут мало что меняется с годами. Только становится больше кустов и деревьев, пробивающихся между камнями, меньше бетонных глыб и мусора, я видел здесь работающий экскаватор, говорят, что в подземелье продолжают раскопки, расчистка заваленных при взрывах ходов, помещений, поиски документов.

Сами же здания снесены с лица земли. Это зона отчуждения!

Именно такой хаотичный, неприбранный и отталкивающий вид пустыря, думается, и более всего соответствует исторической справедливости.

Всякий раз здесь я испытываю сильные чувства. Я ведь помню, как эта улица выглядела в сорок пятом. Тогда она называлась Фосштрассе и была вся изрыта бомбовыми воронками, завалена камнями и баррикадами.

Жаль, что мои и Суровцева приезды в Берлин не совпали. Хорошо было бы пройтись по этому кварталу вдвоем, я стал бы гидом Суровцева по своей памяти и к тому, что видит он, сейчас добавил бы и толику своего зрения, обращенного в прошлое.

Мы бы прошли метров сто от Бранденбургских ворот и остановились на том месте, где сейчас торчат из-под земли несколько прямоугольных белых столбов, все, что сохранилось от бывшего здания нацистского министерства пропаганды.

Глава пропагандистского аппарата нацистов Геббельс утром двадцать первого апреля сорок пятого года провел в этом здании свое последнее инструктивное совещание.

Около пяти тысяч сотрудников министерства собрались в находящемся тут же полуразрушенном помещении кинозала. В зале электричество не горело, лишь тускло мерцали свечи. На большой сцене для Геббельса было приготовлено кресло.

Он проковылял по сцене в черном траурном костюме и погрузился в слишком обширное для него кресло, положив при этом ногу на ногу.

О чем говорил Геббельс? Он уже не давал никаких советов своему «аппарату», не учил борзописцев, как им обманывать немецкий народ, Геббельс только с бешеной злостью проклинал народ, который предал своих руководителей, проклинал армию, отступающую на востоке и сдающуюся в плен на западе.

— Что можно сделать с народом, чьи мужчины не могут уже воевать и чьи женщины беспомощны! — истерически взвизгивал Геббельс. И он снова продолжал ругать немцев, которые якобы сами выбрали свою судьбу, доверив власть в стране нацистам.

— Почему вы работали со мной? — закричал он в зал. — Кто вас заставлял? Вот теперь берегитесь — всем вам горло взрежут!

Это было последнее напутствие Геббельса своим подручным.

Провожаемый глухим ропотом обалдевших от страха нацистских чиновников, Геббельс направился к двери и, в последний раз обернувшись, вдруг оскалил в циничной ухмылке рот. Потом он резко хлопнул дверью.

«Если нам придется уйти, мы резко хлопнем дверью», — мрачно пообещал Геббельс в одной из своих речей.

И вот он хлопнул дверью, убегая из здания кинотеатра в более надежный бункер Имперской канцелярии. Кого испугал этот стук? Только самого Геббельса...

...Я мог бы сказать своему другу Суровцеву, что второго мая днем, часа в три, в соседнем с домом министерства пропаганды дворе Имперской канцелярии я видел труп Геббельса. Садик, в котором он лежал на земле, был самими немцами назван «садом самоубийц». Здесь было много трупов. Приближенные Гитлера вылезали из своих подземных нор в этот сад, чтобы глотнуть в последний раз свежего воздуха и покончить с собою.

Геббельс, как известно, оставался на короткое время преемником Гитлера, после его смерти, разделил власть с гроссадмиралом Карлом Деницем. Рейсканцлер на полтора дня!

Отравив сначала своих детей, он, подобно Гитлеру, приказал сжечь свой труп и труп жены Магды. То ли эсэсовцы торопились, то ли им помешал артобстрел или же ворвавшиеся в здание наши солдаты, но дело свое они не доделали, бросили труп Геббельса в саду, и он не успел сгореть дотла.

Никогда не забуду этой картины. Полуобгоревший труп, в котором сразу угадывался Геббельс с его продолговатым обезьяньим черепом и одной короткой ногой с медной или платиновой пластинкой на пятке. Длинный, видно из какой-то синтетической ткани, галстук не сго-

рел, и было дико видеть его повязанным вокруг обуглившейся шеи.

А вокруг всюду земля была черной, словно бы пропитанной мазутом. Рядом с трупами Геббельса и его жены валялись какие-то флаконы, куски материи, обувь и, должно быть, выпавшие из костюма Геббельса разноцветные карандаши.

Днем второго мая светило солнце, был по-настоящему весенний день, зеленая трава пробивалась там и сям во дворе Имперской канцелярии, цвела сирень, все тянулось к теплу, к свету — это жизнь заступала на место тления и смерти, победный мир завершал собою последние дни войны и в этом мрачном месте.

Труп Геббельса к вечеру перенесли в тюрьму Плетцензее — группу четырехэтажных темно-серых зданий, окруженных высоким забором. Многие из тех, кто был в эти дни в Берлине, а их остается все меньше, видели этот труп там, в тюремном городке.

Много лет спустя известный германист, писатель и исследователь истории завершения войны в Берлине Л. А. Безыменский «взял с меня письменные свидетельские показания», и они касались утренних часов второго мая сорок пятого, которые наша радиогруппа провела в саду Имперской канцелярии...

...Я возвращаюсь в августовский день семьдесят шестого. В Берлине было все раскалено: камни, бетон, стекло, воздух, флюоресцирующий, как громадный голубой экран.

За столиками «Опернкафе», вынесенными на улицу под цветные тенты, — ни одного свободного места. Люди укрывались от палящих лучей под тенью лип, на скамейках бульвара. И все же даже днем, в самую жару, у Бранденбургских ворот — многолюдно, оживленно.

Наша переводчица Рут Вайер заметила, что Унтер-ден-Линден — любимое место ее прогулок. Вайер долго жила «в Союзе», как здесь говорят, работала инженером на нашем Севере, знает Москву.

— Сюда, к Бранденбургским воротам, берлинцы приходят, как москвичи на Красную площадь, — сказала она.

Есть одна известная фотография. Ее можно увидеть в музеях, книгах, энциклопедиях, он популярен, этот снимок сорок пятого года: метрах в сорока от Бранденбургских ворот, еще не расчищенных от баррикад и досок, на

том месте, где сейчас красивый сквер, стоит большая са-моходная пушка.

Вокруг на Унтер-ден-Линден от одного края до друго-го — веселая, возбужденная толпа в шинелях, касках, шапках, пилотках, фуражках — это солдаты-победители. Идет митинг. День хмуроватый, но, видно, теплый, с ве-терком. А погода еще весенняя, неопределенная. Опер-шись плечом о ствол пушки, с листком бумаги в руке поэт-офицер читает стихи. О том, что русские, советские воины пришли в Берлин, о победе.

Теперь этот сквер и Бранденбургские ворота, и хоро-шо видимое отсюда здание рейхстага — все это в сознании, в памяти миллионов непреложно связано с Победой, с историческим переломом в судьбах мира, в истории немецкого народа. Связано прочно и навсегда.

На Отто-Гротевольштрассе людей меньше, а в такую жару — особенно. Ничто не мешало мне разглядывать пустырь. Смотреть, думать. Вот если бы со мною рядом находился в те минуты Анатолий Суровцев, я бы, навер-но, сказал ему:

— Вот видишь, Анатолий Михеевич, рейхстаг. Он в черте Западного Берлина. Не знаю, обратил ли ты внима-ние на то, что громадное это здание давно уже стоит без купола. Без того известного по тысячам снимков полу-застекленного овального купола, на котором тридцатого апреля в 22 часа 50 минут Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы.

Купол был поврежден во время боев, но разве за три-дцать один год его нельзя было отремонтировать? А зна-менитые надписи воинов, нанесенные на колонны рейхс-тага? Они все смыты, стерты, уничтожены. Еще бы! Мно-гое, слишком многое напоминают они в Западном Берли-не тем, кто хотел бы умалить значение Великой Победы!

Я видел чахлые, изнуренные жарой кустики на месте бывшего двора Имперской канцелярии и невольно припо-минал факты, ставшие достоянием истории.

Тридцатого апреля Гитлер покончил с собою. В тот день шел сильный артиллерийский обстрел района Им-перской канцелярии. Гюнше и Борман тащили из подзе-мелья трупы Гитлера и Евы Браун, завернутые в ковры. В саду эсэсовцы выстроились цепочкой и быстро переда-вали трупы от одного к другому, все ближе к большой воронке от фугасной бомбы. Там трупы положили друг подле друга, облили бензином, слив его предварительно в

канистру из автомашин, другого горючего здесь уже не было.

Эсэсовцы с тупым любопытством, со страхом и содроганием перед тем, что ждет их самих, смотрят, как поднимается дым и распространяется зловоние от того, кто в течение двенадцати лет, подобно чуме, отравлял весь мир.

Я видел кабинет Гитлера в разрушенном здании Имперской канцелярии. Длинный коридор, который вел к кабинету, был полуразрушен. Окна всюду были забиты досками и кое-где завалены книгами из личной библиотеки фюрера. Пол в коридоре и в кабинете местами провалился, с потолка свисали куски бетона и торчали металлические ребра балок. На полу — сломанная мебель, у перевернутого стола Гитлера глобус со вмятинами от удара сапог.

Всюду запустение! Здесь давно уже никто не бывал. Гитлер убежал в безопасный бункер, зарылся глубоко под землю...

А сейчас здесь всюду на месте этого бункера лишь бетонные кубы, камни, песок и опаленная солнцем желтоватая трава. Трава забвения!

Пустырь тянется и дальше, туда, где рядом с новой канцелярией находилась старая — Гинденбурга, которая тоже исчезла. Но стоит на прежнем месте, в конце бывшей Фосштрассе, здание бывшего нацистского министерства авиации.

Мне говорил Анатолий Суровцев, что как строитель он с любопытством разглядывал это сооружение из темного камня и гранита с прямоугольными колоннами у подъездов, такими, как и в бывшей Имперской канцелярии. В его архитектуре — дух и стиль старого официального Берлина — громоздкая, серая монументальность.

Может быть, потому, что здание — огромное, занимает собою целый квартал, и это единственно уцелевший дом в этом районе, и еще потому, что это бывшая резиденция напыщенного Геринга — я тоже, как и Анатолий Михеевич, долго рассматривал дом, с которым связано многое.

Когда-то здесь рейхсмаршал авиации Геринг принимал парады своих летчиков. Именно здесь, в самом центре Люфтваффе успешно работала подпольная группа антифашистов, так называемая Роте капелле, члены которой были казнены гитлеровцами.

Сейчас же здесь разместилось много министерств и учреждений ГДР. Я читаю у подъезда колонку табличек

с надписями: «Государственная плановая комиссия», «Комиссия по материально-техническому снабжению», «Министерство машиностроения»... Правее, как продолжение этого здания, — дом, где находится сейчас Министерство путей сообщения, еще правее — одно из отделений Академии наук ГДР, академическое издательство.

Поистине история одного этого здания на Отто-Гротевольштрассе — это суровая повесть о борьбе с фашизмом.

Бывший «дом Геринга» стоит на самой границе, говоря точнее, граница проходит «через дом», разделив его на части. Неподалеку контрольно-пропускной пункт. Ежедневно множество гостей и экскурсантов переходят границу, жители Западного Берлина имеют право на «суточную визу» для посещения столицы ГДР. Их привлекает красивый и обновленный город, его достопримечательности, исторические памятники, новые кварталы, магазины, музеи — богатая духовная и культурная жизнь.

Я как-то видел на Отто-Гротевольштрассе в раскаленный полдень шумную группу молодежи — это были англичане и французы. Они быстро шли по улицам, потом остановились у груды камней и кустиков около четырех колонн, оставшихся от Имперской канцелярии.

Гид, взмахивая рукой, рассказывал, и то, о чем он говорил, казалось, наверно, этим юношам и девушкам чем-то очень давним, невероятным и страшным, во что и поверить трудно. Однако это страшное и невероятное существовало. И тот, кто не хочет, чтобы прошлое повторилось, не должен о нем забывать никогда.

Постояв минут двадцать около этого мертвого пустыря, группа молодежи здесь же на Отто-Гротевольштрассе юркнула под навес бетонной лестницы, спускающейся на перрон подземной станции Тельман-плац, и поехала в сторону оживленного, кипевшего энергией центра Берлина.

СОРЕВНОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ

Уже после первой своей поездки в Берлин в шестьдесят девятом году Анатолий Суровцев, как он сказал мне, «начал привыкать к этому строгому и прекрасному городу». От поездки к поездке Берлин все более нравился Анатолию Михеевичу.

Представления о больших городах у Суровцева были не заимствованы из литературы, не усвоены с чужих слов, а почерпнуты из собственного опыта. Как специалист-строитель он побывал в Будапеште, видел новые районы венгерской столицы — Келенфельд, Зугло, Обуду, строительство новой Варшавы, жил в Праге, в Белграде.

У него, обыкновенного московского бригадира моптажников, за последние две пятилетки образовался, безо всякого преувеличения — международный строительный опыт, который многому учил, на многое заставлял смотреть непредвзято, широко, с глубокой перспективой общего для социалистических стран развития строительного дела.

Вот с этих позиций Суровцев видел, что немецкие коллеги, работая аккуратно, качественно, с большой затратой времени и труда на отделку, при всем этом отставали в темпах от повседневной практики московских домостроительных комбинатов.

На строительство дома в бригаде, скажем, Курта Бромберга уходило сто сорок — сто шестьдесят дней. Бригада же Анатолия Суровцева завершила тот же цикл за сорок пять.

Еще в первую свою поездку Суровцев заговорил с Бромбергом о том, что он может предложить бригадиру план монтажа типового здания, разверстаный на шестьдесят дней.

— Спасибо, но у нас не получится, — заявил Бромберг.

— Почему же?

— Очень быстро. Даже трудно себе представить.

— А я уверен, что получится. — Суровцев заметил в глазах Бромберга нерешительность и вместе с этим живой интерес. — Дорогой Курт, не думай, пожалуйста, что и у нас все так быстро и ладно сложилось. Давно ли было время, когда мы в бригаде дом возводили три, четыре, а то и пять месяцев? А сейчас — за месяц. И никого это уже не удивляет. Привыкли. А вот теперь заставь работать медленнее — уже не смогли бы. Неинтересно. Ты все же посмотри расчеты. Они убеждают.

Расчеты Бромберг хоть и не сразу, но взял. И то, что он взял, — и расчеты, и график работ, выполненный Суровцевым, и технологическую схему монтажных захваток, и схему комплектации материалами и изделиями — это

все, как понимал Суровцев, уже как бы обязывало Бромберга к каким-то действиям.

Быть может, потому, что и сам Суровцев был по натуре человеком точным и обязательным — «совестливым», как он говорил про себя, он быстро сблизился с Куртом Бромбергом. После работы нередко заходил к нему домой, был представлен жене Курта Кристине, работавшей пародным судьей в одном из районов Берлина, и дочке Сюзанне, школьнице, которая была лишь немногим старше дочери Суровцева — Ирины.

Домашние Курта понравились Анатолию Михеевичу. Видя к себе такое доброе, внимательное отношение, Суровцев и тогда уже начал задумываться над тем, что бы и ему сделать хорошее для Курта Бромберга? Что же он мог подарить берлинскому коллеге? Лучшее, что было у него и, пожалуй, самое ценное — это его профессиональный опыт.

Шли дни, и Бромберги старались сделать все, чтобы жизнь Суровцева была приятной. Вся семья Бромбергов сопровождала гостя в Государственную оперу на Унтерден-Линден и в знаменитый Цейхгауз — музей истории, иногда брали такси и ездили вместе по городу. Поднимались на телебашню и смотрели на город сверху, с самой высокой точки Берлина. Катались вместе по Шпрее и озерам, которые широкой, извилистой голубой лентой рассекают город.

Эта поездка особенно запомнилась и впечатлила Суровцева. Был пасмурный денек, от Шпрее тянуло свежим ветром, нагонявшим мелкую рябь волны. Они приехали в Трептов-парк и там на пристани взошли на палубу теплохода «Генрих Манн». Курт Бромберг, показывая на надпись, сказал тогда, что у них в республике очень ценят писателей, которые прославили немецкую литературу.

Теплоход медленно отчалил от пристани, Бромберги и Суровцев устроились на верхней палубе, где было хоть и ветрено, но зато хорошо просматривались берега, дома, оживленное движение судов на Шпрее.

«Генрих Манн» плыл в юго-восточном направлении, чередовались озера, заливы, каналы, по которым скользили спортивные байдарки.

Бромберг сказал Суровцеву, что здесь часто устраиваются спортивные соревнования — регаты, и весь этот речной простор с красивыми особняками по берегам берлинцы называют «Малой Венецией».

Они проплывали мимо районов, которые знал или о которых слышал Суровцев: Баумшиленвед, Шенефель — район аэропорта, Кёпениг. Тут было много заводов, старых и новых. Казалось бы, это окраина столицы, но ведь сейчас во всех крупных городах именно окраины и более всего застраиваются новыми кварталами, ибо здесь много свободной площади. И сплошь и рядом они растут быстрее центральных районов.

Туман за рекой постепенно рассеялся, взошло солнце, вода засверкала бликами. Над Шпрее летали чайки, плавали утки и лебеди. По палубе теплохода бегали, веселясь и играя, дети, и все выглядело как-то уютно, по-домашнему, если это слово применимо к путешествию. Именно отсюда, с палубы теплохода, Суровцев увидел, как много зелени в Берлине и какой это ухоженный и приспособленный для приятного отдыха город.

Они плыли мимо дачных поселков, мимо маленьких пристаней, где стояли яхты, моторки. Бромберг заметил, что такие дачки, участки, лодки есть и у рабочих Вонунгсбаукомбината.

Когда Кристина и Сюзанна все же немного замерзли на палубе, они спустились в салон, где вкусно пообедали, и снова заняли свои места на скамейках вблизи капитанской рубки.

В одном месте теплоход вошел в канал, зеленые берега сблизились настолько, что дачные строения казались совсем рядом и можно было разглядеть, что растет на грядках. Тихо звучала музыка, чистые немецкие мотивы создавали хорошее настроение.

Перед самым отъездом из Берлина Суровцев договорился с Бромбергом о соревновании их бригад. Если говорить честно, то вначале Анатолий Михеевич не слишком верил в эффективность такого договора. Одно дело, когда «соперник» работает с тобой в одном городе, а еще лучше в одном районе, когда можно наглядно сравнивать результаты. А другое — когда он отделен двумя государственными границами, методы строительства разные, и типы домов, и расценки, и технология, и многое другое.

Однако жизнь опрокинула сомнения Суровцева. И неожиданно сделало это... телевидение! Именно работники телевидения предложили Суровцеву и Бромбергу провести прямую передачу по системе Интервидения. Телевизионные камеры были установлены в Москве и в Берлине, бригадиры не только видели друг друга, но и

могли вести прямой диалог, рассказать о своих успехах и трудностях, спросить друг у друга совета.

Кроме того, их взорам открывались здания и жилые кварталы в обеих столицах. И эта вещественная иллюстрация мобилизовывала обоих.

Первым делом, увидев Бромберга на экране, Суровцев спросил его о здоровье жены и дочери, а Бромберг передал свой привет и лучшие пожелания жене Суровцева — Валентине Петровне и дочери Ирине. Затем они заговорили о деле, и Курт Бромберг обрадовал своего друга тем, что начал работать по его, Суровцева, графику скоростного монтажа.

— Ну и как, пошло дело? — спросил Суровцев.

— Пошло, пошло, не так быстро, как в Москве, но пошло успешно, — ответил Бромберг.

— Ну и хорошо, я очень рад. А как результаты?

— Мы довольны. Теперь сдаем типовые здания за сто дней.

— Сто! Ну, что ж! Для начала неплохо. Но ты, Курт, сам ведь чувствуешь, что это не предел, что можно еще быстрее. Так?

— Пожалуй, что так, — согласился Бромберг. — Ты напиши мне, Анатолий, и о своих делах, — попросил он, — может быть, я тебе что-то хорошее и посоветую.

Прошел год, в течение которого обе бригады продуктивно трудились в Москве и в Берлине. И снова произошла телевизионная передача по системе Интервидения. Еще год — и опять передача, наглядно подводящая итоги соревнования. И снова прямая перекличка опыта двух бригад и бригадиров.

Тогда же Суровцев и написал Бромбергу, что у бригады сейчас новые заботы. Это — качество. Суровцев поставил уже один экспериментальный дом в Ивановском, и качества они стараются добиваться, не снижая темпов. Работать стало труднее, все же за последние пятнадцать лет никто из его бригады не уволился. А это говорит о многом!

Бромберг же, в свою очередь, сообщил, что его бригада тоже в пути к новым трудовым рубежам и теперь свои типовые одиннадцатизэтажные дома они возводят за восемьдесят дней.

Письмо из Берлина всерьез обрадовало Суровцева. Он подумал тогда о социалистическом соревновании. Какая это, по сути дела, великая сила! Она побуждает человека

отдавать труду всю энергию, выявлять порою еще и не открытые в себе самом запасы воли, упорства, мастерства.

Во второй раз Суровцев приехал в Берлин в 1971 году, будучи участником большого «поезда дружбы». Он ехал тогда не один, а вместе с начальником главка и начальником комбината, директором одного из заводов железобетонных изделий, с другими специалистами.

Делегацию москвичей интересовали вопросы качества, эстетики комфортабельных типовых домов. И это было не случайно. Борьба за качество становилась в заглавную строку всех договоров о соцсоревновании. Тем более что у немцев было что посмотреть и чему поучиться, а заодно критически отнестись к собственной практике. Но основные события в этом направлении развернулись лишь спустя несколько лет.

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Карлхорст. Серого цвета здание с четырьмя прямоугольными колоннами у главного подъезда, табличка с надписью на русском и немецком языках:

«В этом здании 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии».

Есть такие дни в жизни людей, в истории народов, которые не забываются никогда! Утро 8 мая — ясное, солнечное, прозрачное — шестое мирное утро в Берлине. Уже не стреляли, и всюду царила непривычная тишина, удивлявшая уже одним тем, что она повсеместна и что ее так много.

В это утро на аэродроме Темпельгоф приземлилось несколько самолетов — это прилетели военные делегации союзников. Прибыл самолет с представителями Верховного командования разгромленной фашистской армии. Вереница машин проследовала по улицам Берлина, здесь через каждые пятьдесят — сто метров стояли наши автоматчики, девушки-регулирующие, указывающие путь в районе Карлхорста, к зданию бывшего немецкого военного училища.

Сюда же, в этот район, сравнительно сохранившийся и не очень пострадавший от боев, съезжались в то утро машины командующих корпусами и армиями, дипломатов

и журналистов, фото- и кинооператоров, представляющих союзные страны.

И наша радиогруппа, аккредитованная при Политуправлении 1-го Белорусского фронта, тоже подъехала к особняку на грузовой машине, где размещалась аппаратура. Машина остановилась за домом справа, если стоять лицом к главному подъезду, среди негустых деревьев сада. Здесь мы сбросили на нежную майскую траву длинные кольца электрокабеля, протянули его через парадную дверь и коридор в тот, и тогда, и ныне кажущийся сравнительно небольшим скромный зал училища, который срочно обустраивался для торжественного события. Событие это венчало собою победный конец войны.

Примечательное свойство нашей зрительной памяти: виденное кажется несколько иным, чем было в действительности, время как бы уменьшает рельефно запечатленные картины давно минувших лет.

Может быть, поэтому дом немецкого инженерного училища в Карлхорсте тогда, в сорок пятом, мне казался выше, массивнее, как-то помпезнее. И сад заполнился, как большой. И перекресток улиц представлялся объемнее.

Я сейчас думаю, что все это происходило, возможно, потому, что тогда разрушенный Берлин и весь-то был «меньше ростом». На фоне развалин выделялся сохранившийся дом в Карлхорсте. Но, думается, существовала и другая причина. Ведь масштабность всему, что виделось, что переживалось тогда, придавало еще и само время, ощущаемая всеми нами необычность момента, его историческое значение. И, конечно же, незабываемое волнение, охватившее тогда всех нас.

Казалось бы, за тридцать с лишним лет оно должно бы утихнуть, раствориться в иных делах и заботах. Но нет. Я вновь ощутил странное стеснение в груди, меня вновь охватило волнение, когда берлинское такси остановилось у этого особняка на улице Райнштайнштрассе.

Мы подъехали как раз во время перерыва в работе музея. И, кстати, было время пройтись по саду, по его ныне ухоженным газонам и песчаным дорожкам, посидеть на скамейках, поставленных здесь для посетителей, и внимательно осмотреть выставку в саду — расположенные и справа и слева от здания на асфальтовых площадках орудия, самоходные пушки, танк Т-34 — грозную боевую технику Великой Отечественной войны.

Если быть точным, то здесь, на Райнштайнштрассе строго мемориальным являются лишь сам зал подписания Акта о капитуляции, или, как он именуется официально, «Мемориальный зал Берлин — Карлхорст», и здание инженерного училища. Что же касается всего остального, то и сад и помещения внутри этого дома — все переоборудовано под экспозиции документов, картин, оружия, макетов, карт, знамен, фотографий, рисующих всю историю войны, героическую эпопею подвигов Красной Армии, пришедшей с победой в Берлин.

И все, кто начинает осмотр музея, страница за страницей как бы перелистывают боевую летопись событий, начиная с 22 июня 1941 года.

Правильно ли поступили устроители этого филиала музея? Мне кажется, что правильно. Я видел, как к подъезду особняка в Карлхорсте подъехала группа молодых немцев — граждан ГДР, приехали французские туристы, автобус привез, видимо из Западного Берлина, около взвода английских солдат в темно-зеленых форменных френчах и в серых беретах, чуть сдвинутых на правый висок. Они минут пять шумно разминали затекшие в дороге ноги, а затем нечетким строем направились к подъезду музея.

Современный Берлин привлекает к себе деловых людей и множество туристов со всего мира. Мемориал «Берлин — Карлхорст» многое говорит их памяти, их чувству, их уму, здесь учит сама история.

Она учит и тому, что исторические корни Победы уходят ко временам становления Советского государства. Об этом рассказывает экспозиция, посвященная гражданской войне, документы далекого времени, и среди них портреты наших первых маршалов: Ворошилова, Буденного, Тухачевского, Егорова и Блюхера.

В конечном счете в любой битве Отечественной войны, как и в истории Берлинской операции, если посмотреть глубоко, отыщется след того, что было сделано давно и делалось постоянно, есть доля ратного труда и героев гражданской, первых строителей рабоче-крестьянской Красной Армии.

Но, конечно же, главное в музее — это Берлинское сражение. Одно из крупнейших за всю историю войны, оно занимает в ней особое место, приобрело величайшее значение, и не только, как венчавшее собою разгром фашизма, но и как светлый канун мира, интернациональный

праздник освобождения поработенных народов, как пролог к новой, демократической жизни самого немецкого народа.

Немало написано обо всем этом, по разве все уже рассказано об участниках Берлинского сражения, о гуманизме советских воинов и нашего государства, о коммунистическом подполье и антифашистском сопротивлении? Каждый такой музей-памятник в ГДР требовательно напоминает об этом. Музей в Карлхорсте — особенно.

Вот карта Гитлера с его личными пометками, найденная 2 мая сорок пятого года в подземном бункере фюрера на его письменном столе. Это примечательный экспонат. Карта появилась здесь недавно. Долгое время она находилась в личном архиве маршала Г. К. Жукова и незадолго до смерти передана им самим в музей.

Карта старая, пожелтевшая, с глубокими полосами — разрезами на сгибах, исчерканная пометками, стрелами, кружками. Линии аляповатые, кружки неровные, словно бы сделанные дрожащей рукой. Опытному глазу военных специалистов карта и сейчас рассказывает о многом. Между прочим, говорит и о том, что оперативные пометки на пей, планы операций размечены в военном отношении неграмотно.

Фюрер и в последние дни «третьего рейха» пытался руководить военными действиями. Утром шестнадцатого апреля, в день начала нашего наступления на Одере, Гитлер созвал в своем подземном кабинете совещание генералов и адмиралов. Рука его металась по карте, перемещая флажки с обозначением номеров армий, разбитых, обескровленных или же вообще уже существующих только в его воображении. Гитлер все еще верил или же пытался другим внушить веру в победный исход войны. Единственное, что он мог твердить не уставая, это то, что якобы силы русских иссякли.

Услужливый Кейтель, прозванный в кругу приближенных Гитлера — «Лакейтелем», поддерживая фюрера, а более всего свои пустые надежды, заметил:

«Господа, есть старое военное правило: если наступление не завершается успехом на третий день — оно будет неудачным».

Гитлер с благодарностью взглянул на своего фельдмаршала. Однако остальные военные угрюмовато промолчали, и в этом нельзя было прочесть ничего хорошего...

Двадцать первого апреля Гитлер предпринял отчаянную попытку деблокировать уже почти окруженный нашими войсками Берлин. Спасителем города для гитлеровской клики предстал вдруг эсэсовский генерал Штейнер, командовавший двумя танковыми дивизиями, находившимися вблизи Берлина. И Штейнер получил приказ — перейти в наступление.

В тот же день по распоряжению Гитлера все, кто служил в нацистских ВВС, были переведены в пехоту и брошены в бой.

«Всех, кто может ходить по земле, немедленно передать Штейнеру. Каждый командир, который не выполнит этого приказа, будет казнен в течение пяти часов!»

Подобные угрозы в военных распоряжениях фюрера никого уже не удивляли. Все приказы Гитлера почти без исключения пестрели в эти дни словом «расстрел».

На следующий день на совещании с Кейтелем, Йодлем, Кребсом и Борманом Гитлер спросил, где же находится Штейнер, начал ли он свое наступление? Узнав, что Штейнер не только не смог подойти к Берлину, но и едва удерживает свои оборонительные позиции, на которые наступают советские войска, Гитлер впал в ярость. Он кричал тогда, что немецкий народ не понимает его целей, что он слишком ничтожен, чтобы осознать и осуществить его намерения...

Не в тот ли день красный и синий карандаши Гитлера прыгали по этой самой карте, быть может, в последний раз переставляя значки с обозначением дивизий и полков и наводя толстые прямые линии предполагаемых, но уже не осуществимых «ударов»?!

Рядом с комнатой, где можно увидеть карту Гитлера, зримо и впечатляюще контрастируя с ней, расположена на широком столе-стенде длиною едва ли не во всю комнату — разноцветная и светящаяся карта нашего наступления в Берлине, начиная с положения 26 апреля.

Внушительные стрелы со всех сторон направляются к центру Берлина. Подготавливая город к обороне, гитлеровские генералы разбили его на девять боевых участков — секторов. Девятый, последний, включавший главные правительственные учреждения и район парка Тиргартен, именовался «Цитадель».

«Цитадель»! Наши воины окрестили этот район иначе: «логово фашистского зверя!» Взять «Цитадель» — означало добить этого зверя в его логове.

Еще 24 апреля войска 18-й гвардейской и 1-й гвардейской танковой армий 1-го Белорусского фронта соединились в юго-восточной части Берлина с 3-й гвардейской танковой и 28-й армиями 1-го Украинского фронта. Этим было завершено окружение франкфуртско-губенской группировки врага. 25-го войска двух фронтов соединились в районе Кетцена. Таким образом, берлинская группировка противника была полностью окружена. Это было двойное кольцо. И стрелы наших наступающих армий устремились к «Цитадели».

Там же, в центре сектора, стоял рейхстаг, и это знаменитое здание оказалось не только крупным опорным пунктом врага, но и символом окончательного крушения нацистского государства.

В Карлхорстском музее есть отличная диорама — фрагмент картины художника Ананьева «Штурм рейхстага». И карта наступления, и диорама впечатляют необычайно.

Шли ожесточеннейшие бои, лилась кровь на улицах Берлина, умирали наши воины в последние часы, отделявшие войну от мира, четыре года невиданного напряжения и героизма — от сорокапятиминутного заседания в зале, куда после обхода музея приводят посетителей для заключения экскурсии, чтобы показать этот самый волнующий и самый значительный мемориал Карлхорста.

Зал подписания капитуляции! Все эти тридцать с лишним лет я видел его перед своим мысленным взором так ясно, будто бы все это случилось вчера: четыре стола — для президиума, для маршалов и генералов, для прессы четырех стран, и четвертый столик, поменьше, у входных дверей в зал — для представителей верховного немецкого командования.

И балкон на втором этаже, где разместился духовой оркестр, и у правой стены большие прямоугольные окна, плотно завешенные тяжелыми коричневыми портьерами. И красное сукно на столах, и листы бумаги для пометок, белевшие ровными рядами, и ученические ручки, чернильницы и пачки папирос «Беломорканал».

И вот я снова в этом зале рядом со столами, ступаю по мягкому ковру, застилавшему почти всю площадь зала (в сорок пятом, кажется, этого ковра не было), и мне хочется сказать гиду, что столы теперь как будто бы короче, а помнится, они доходили почти до самой задней стены.

Да, кое-что здесь изменилось, что-то переделали организаторы мемориала. Но это и естественно. Ведь был просто дом немецкого инженерного училища, а стал музей. Конечно, сотрудники музея прекрасно знают, что нет уже в этом доме продолговатого холла у входных дверей. А мне запомнился там столик и телефон ВЧ, по которому этой же ночью в Москве, в редакции центральных газет, дозванивались военные журналисты.

Застроен комнатами и коридор, по которому первыми вошли в зал маршал Жуков и с ним представители союзного командования, наши дипломаты, а потом через некоторое время, по знаку Жукова, громко отбивая каблукami прусский шаг, промаршировали немцы. Первым в проеме дверей появился Кейтель, в парадном светло-сером мундире, при всех орденах, с Железным крестом на груди. Он напыщенно «приветствовал» победителей взмахом фельдмаршальского жезла.

Теперь эта дверь забита, застроен и балкон на втором этаже, но зато появилась новая дверь у задней стены, ведущая в небольшой кинозал. Здесь для посетителей демонстрируется фильм, снятый в ночь с 8 на 9 мая. То, о чем кратко рассказывает экскурсовод, можно увидеть в кадрах документальной ленты, запечатлевших для истории процедуру капитуляции.

Фильм показывают после осмотра мемориального зала. Самое сильное и глубокое волнение охватило меня именно в зале, где все можно увидеть воочию, ощутить неповторимую подлинность обстановки.

Хотя глаза мои невольно замечали какие-то мелочи, совпадающие или не совпадающие с тем, что сохранила память, главным было в эти минуты — радостное, если не сказать, ликующее чувство узнавания былого, удивительное ощущение как бы заново переживаемых сейчас торжественных, исторических минут.

Со своей звукозаписывающей аппаратурой мы располагались тогда в самой глубине правого угла зала, метрах в восьми от стола президиума. Примыкал к нему в середине столик для двух переводчиков на английский и немецкий. Наши микрофоны были установлены тут же. Чуть поодаль находился стол для немцев, за который потом уселись Кейтель, Фридебург и Штумпф. За их спинами выстроились трое адъютантов в соответствующих мундирах армии, флота и авиации разгромленной нацистской армии.

Сама процедура капитуляции описывалась уже не раз. Всему миру известны снимки ключевых моментов заседания, подписания актов на четырех языках сначала Кейтелем, Фридебургом, Штумпфом, затем Маршалом Советского Союза Жуковым, главным маршалом авиации Теддером, генералом Спаатсом и генералом Делатр де Тасиньи.

В эту историческую ночь газеты всех стран оставляли на первых полосах места для экстренных сообщений и фотографий, всюду ждали специальных киновыпусков о капитуляции в Берлине. Надо ли удивляться тому, что в зале находилось тогда множество журналистов, фото- и кинорепортеров из всех стран союзников.

И в ту минуту, когда Кейтель подписывал листы Акта, методично откладывая в сторону ручку и выбрасывая движением века стеклышко монокла, в то время, как он, приподнимая голову с одним и тем же выражением готовности и внимания смотрел на советских генералов, и главным образом на маршала Жукова, в те мгновения, когда сам маршал Жуков, коротко вздохнув, поставил свою первую подпись на документе, и в этом зале напряжение, казалось, достигло наивысшего накала — все корреспонденты устремились к столу президиума и начали его буквально «штурмовать», чтобы пайти наилучший ракурс, сделать исторический снимок.

Особенно неистовствовали американцы, вооруженные фотокамерами, которые трещали с пулеметной скоростью и большим шумом. Шла, если можно так выразиться, «последняя атака» на стол президиума в Карлхорсте.

И в этой стихийно возникшей сумятице, в этом сдержанном и одновременно почти не регулируемом возбуждении все же выделялась главная психологическая нота, которая и врезалась мне в память.

Это было сознание огромного нравственного превосходства, достоинства силы и благородства целей, которые освещали этот торжественный триумф победителей, людей, поставивших фашизм на колени.

В течение всего заседания, продолжавшегося от двадцати четырех часов восьмого мая и до полу часов сорока пяти минут девятого мая, я вел на листе бумаги поминутную запись церемонии в дополнение к тому, что фиксировалось через микрофон на пластинку.

Две краткие речи маршала Жукова при открытии и в заключение заседания. Два «яволь» Кейтеля в ответ на

вопрос председательствующего, ознакомилась ли немецкая делегация с Актом о полной и безоговорочной капитуляции и готова ли она его подписать? Слова переводчиков, относящиеся к немцам.

Но зато как эмоционально насыщены были эти сорок пять минут, как выразительны были лица, жесты, глаза, улыбки, контрастировали ликование и злоба, радость и ненависть, бессильная, с трудом сдерживаемая.

Всем запомнился высокий, с ровным пробором темных волос, с Железным крестом на груди адъютант, стоящий за спиной Кейтеля. С какой злобой во взгляде он все время смотрел на маршала Жукова, на других генералов!

Ну, а сам Георгий Константинович? Он ведь почти и не смотрел на Кейтеля, Фридебурга, Штумпфа, словно бы его и вовсе более не интересовали битые нацистские вояки, по сути дела, именно в эти последние часы войны выбрасываемые на свалку истории.

Никогда мне не забыть спокойного, по-деловому слегка озабоченного, сильного и прекрасного в своей волевой сосредоточенности лица маршала Жукова. Он то разговаривал с сидящими рядом генералом Соколовским и дипломатом Вышинским, то подписывал документы, то задумчиво посматривал куда-то в глубину зала, поверх голов Кейтеля, его сопровождающих и адъютантов.

Закончилась процедура, и майор-переводчик громко передал команду: «Немецкая делегация может покинуть зал».

И опять натянуто-вычурным жестом Кейтель выбросил вперед руку с фельдмаршальским жезлом. Круто повернувшись, немцы, вновь отбивая прусский шаг, удалились в глубь коридора.

И тогда словно бы вздох радостного облегчения пронесся по залу. На хорах загремел духовой оркестр. Зажглась еще одна люстра, и стало еще светлее. Раздвинулись портьеры на окнах, и на площадку перед домом, где сейчас находятся ухоженные газоны и выставка старого оружия, брызнул свет из первых незамаскированных окоп в Берлине. Это был свет мира, окончательного мира, наступившего в столице, во всей Германии, во всей Европе...

...В одной из комнат Карлхорстского музея висит ныне военная форма маршала Жукова. Висит недавно. Это парадный мундир со многими рядами орденских плапок,

с четырьмя Золотыми Звездами Героя Советского Союза. Здесь же выставлен и мундир маршала Конева.

Личные вещи военачальников — это такие же ценные экспонаты, как и карта наступления, как диорама взятия рейхстага. Наверно, по желанию самих маршалов мундиры привезены именно сюда, в Берлин, где так блестяще увенчана победой их многолетняя, трудная ратная жизнь.

Начальник музея, молодой капитан Севостьянов Вячеслав Михайлович попросил меня сказать несколько слов в мемориальном зале, когда туда вошла очередная группа посетителей. Это были сначала советские туристы, потом берлинские рабочие, строители. Возможно, тут находились коллеги Курта Бромберга и Герберта Кольмана. В этой группе я представил себе Анатолия Суровцева, мысленно я обращался и к нему.

Капитан Севостьянов представил меня, как журналиста, который был в этом зале в ночь с восьмого на девятое мая. Я стал рядом с ним на мягкий ковер, как раз напротив того стола, за которым в ночь с восьмого на девятое мая сидели Кейтель, Фридебург и Штумпф.

Ведь именно к этому месту, где я стоял, и устремился в ту памятную ночь мой товарищ по радиогруппе, оператор Алексей Спасский. А произошло это так. Кейтель уже поднимался за столом, чтобы ответить на вопрос маршала Жукова, и Спасский схватил микрофон, стоявший у стола президиума, с желанием продвинуть его ближе к Кейтелю. Ноги его запутались в проводах, лежавших на полу, и он едва не упал, по отчетливое «яволь» Кейтеля хорошо зафиксировалось на пластинке.

Как передать те ощущения, с которыми я вновь приоткрылся к этому столу, и к микрофону, и к еще одному маленькому столику, примыкавшему к торцу стола президиума. Сюда по указанию маршала Жукова переместились представители немецкого командования, когда им пришлось подписывать Акт о капитуляции.

И, наконец, я очутился в том самом углу зала, где в ту ночь стояла наша довольно громоздкая звукозаписывающая аппаратура и бежала по широкому кругу тонфоли острая игла, чтобы сохранить в бороздках звукозаписи голос маршала Жукова и всю процедуру капитуляции.

Пластинка эта, кстати говоря, в числе важнейших кино- и фотодокументов и звукозаписей, как и требует ныне «Закон об охране и использовании памятников истории и культуры», хранится в нашем специальном архиве.

Сотрудники мемориала в Карлхорсте, как и полагается в таком учреждении, ведут исследовательскую работу, собрали обширную библиотеку книг, главным образом военных мемуаров, связанных с Берлинской операцией. Здесь хранятся и расширяются музейные фонды 5-й ударной армии, которой командовал генерал Берзарин, других армий и соединений.

Капитан Севостьянов с огорчением заметил, что никак не может установить фамилию дирижера, руководившего военным оркестром в ночь капитуляции. Спросил, не помню ли я? Нет, я не помню, не поинтересовался тогда, а по журналистской дотошности, наверно, это надо было сделать.

Мне понравилось рвение молодого начальника музея. Независимо от значения того или иного лица, принимавшего участие в процедуре, надо знать в музее все, ведь из подробностей и вырастает впечатляющая картина, я бы сказал — художественный образ великого события.

В музее разрешено фотографировать. Щелкают аппараты около диорамы и карты нашего наступления на центр Берлина, возле большой фотокопии первого приказа, объявившего о начале мирной жизни в городе и подписанного маршалом Жуковым и генералом Берзариным, у боевых знамен и плакатов тех дней, у фигуры нашей девушки-регулирующей, которая с улыбкой показывает флажками дорогу к рейхстагу. Здесь, кстати говоря, генерал Берзарин и его штаб встречались с военными журналистами, а потом беседовали с немецкими военнопленными.

Фашизм повержен, и прошлое никогда не вернется. Как хорошо, что об этом говорит музей своим посетителям, которых много и в жарком августе, и метельном феврале, когда опушены снегом мохнатые лапы небольших елочек в парке вокруг здания и ветер колеблет алое полотнище на высоком флагштоке у парадного входа.

11 ноября 1949 года, в год образования Германской Демократической Республики, в мемориальном зале «Берлин — Карлхорст» состоялась еще одна торжественная церемония передачи функций управления государством премьер-министру Отто Гротеволу. Соответствующий Акт вручал генерал-полковник В. И. Чуйков.

Фотография, изображающая это событие, — украшение и гордость Карлхорстского мемориала. Поистине высокий дух мемориала — это дух пролетарского интернациона-

лизма и братской дружбы, точно и емко выраженный в кратком вступлении к иллюстрированному путеводителю по музею. А там сказано:

«Рука, державшая меч, раскрылась нам для дружеского рукопожатия, и мы в ГДР с радостью приняли эту руку!»

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В середине июня семьдесят третьего Анатолий Суровцев вместе со своим товарищем по комбинату, бригадиром Николаем Денисовым, начальником управления Героем Социалистического Труда Г. И. Ламочкиным и главным экономистом комбината П. Д. Косаревым по приглашению Вонунгсбаукомбината прилетели в Берлин на празднование Дня строителя ГДР.

Праздник — это праздник. Но как повелось уже давно в нашей стране и в братских странах социализма, дни торжества — это еще и деловое подведение итогов труда, раздумья над путями в будущее, над нерешенными еще проблемами.

Для Суровцева эта поездка в ГДР была уже третьей по счету. Однако как и в первый раз, он ощущал все то же, ничуть не погасший интерес к поездке, все то же состояние перегруженности разнообразными впечатлениями, неутоленную жажду новизны. Воздушное путешествие содержит в себе возможность резкой, быстрой и приятно возбуждающей перемены обстановки. Два часа полета — и вот уже подступы к аэродрому Шенефельд, под крылом самолета очертания Берлина — многоцветный, многоликий городской пейзаж.

С такой высоты, намного превышающей двадцать пятый этаж здания на площади Ленина или телебашню на Александерплац, Суровцев видел Берлин впервые. Под солнцем искрились зеленые, голубые, белые линии, круги, квадраты. Застроенное домами пространство тянулось от горизонта до горизонта. Берлин казался сверху огромным, он и был таким на самом деле в том едином целостном ощущении, которое доступно смотрящему на этот город с воздуха.

Есть ли ныне на земле люди, которых не волнуют подобные картины урбанической мощи, красоты? Это ве-

ками накопленный и выраженный в камне, бетоне, металле, стекле титанический труд поколений.

Ну, а что же тогда говорить о профессиональных строителях из группы Ламочкина, о Суровцеве, который, как и всякий монтажник, представлял себе не умозрительно, а как бы на ощупь, на вкус пота, что означает это «делание города». Кого-кого, а уж Суровцева вид Берлина с воздуха не мог оставить равнодушным.

К тому же, как мы все ни привыкли к воздушным перемещениям, а все же каждый полет — это какое-то малое чудо. Едва строители успели пообедать, как самолет пошел на посадку, и вскоре можно было, сойдя по трапу, вдохнуть всей грудью воздух Шенефельда.

Все дороги от аэропортов к центру больших городов в чем-то похожи. Широкая асфальтированная лента, встречные потоки машин, постепенно нарастающая густота строений слева и справа от шоссе, большие промышленные сооружения.

И все же есть здесь своя особенность. Это аккуратность и чистота, прямолинейность планировки, это начало того главного архитектурного мотива, той градостроительной увертюры, которая потом мощно развернется на окраинах города.

Чем ближе к центру, тем более ощутимо обновление, о котором я уже писал, праздник новых архитектурных форм и объемов. Не знаю, в какой мере это мог ощутить Суровцев? Ведь он не знал и военного Берлина. Но я-то мгновенно выделял в городском пейзаже малочисленные островки старого, будь то дома на прямой, как стрела, Франкфуртер-аллее, или вблизи Берзаринплац, площади, чье одно название так много говорит и памяти и сердцу.

В солнечный июньский день казались особенно оживленными и Карл-Маркс-аллея, и Александерплац, и подъезды к берлинскому небоскребу, гостинице «Штадт Берлин», возведенной строителями Вонунгсбаукомбината. Здесь и остановились гости из Москвы.

На следующий день началась программа Дня строителя — встречи, новые знакомства непосредственно на строительных площадках, на заводах, деловые совещания в комбинате. Одно более других запомнилось Суровцеву. Быть может, оттого, что было многолюдным, многоязычным и наиболее полно выразило интернациональный дух праздника, широту связей и контактов строителей социалистических стран.

В этот день все делегации собрались в зале ресторана «Москва». Этот красивый дом стоит на Карл-Маркс-аллее, как раз напротив другой, большой гостиницы «Беролина», построенной рабочими Берлинского комбината.

С легким смущением рассказывал мне Анатолий Михеевич, что в тот день его более всего удивил большой круглый стол, какие бывают на важных международных конференциях с местами для делегаций из Польши, Венгрии, Болгарии, Чехословакии.

Однако ни торжественность обстановки, ни круглый стол и праздничные приветствия не помешали затем совещанию войти в деловое русло.

На этом совещании еще Суровцев особенно ясно подал общность проблем у строителей социалистических стран. Если и находились различия, то в частности, в поисках своих подходов к решению проблем, в том или ином национальном своеобразии работы. Нагляднее же всего это раскрывалось на рабочих площадках.

Вот туда-то Суровцев и поехал на следующий день после совещания. Поехал в бригаду к своему другу Курту Бромбергу, с которым увиделся еще на аэродроме Шенефельд, где Курт встречал московских друзей. В машине по дороге в город и затем, на заседании за круглым столом Суровцев настойчиво повторял Бромбергу, что главное, зачем он теперь приехал и чем он намерен заняться, — вопрос качества!

Любая строительная организация — это развивающийся общественный организм. Случаются периоды трудные, переломные, порою кризисные, когда идет суровая переоценка сложившейся практики.

Именно такое и случилось в семьдесят третьем году. Для Московского комбината наступило трудное время. Тот типовой девятиэтажный дом, который долгое время возводили все двадцать потоков комбината, уже не устраивал ни москвичей, ни самих строителей. Началась перестройка строительного конвейера на другой тип дома — шестнадцатиэтажный. И поиски новых качественных решений при сохранении высоких темпов стройки.

Недавно вместе с Анатолием Михеевичем просматривали мою тетрадь с записями, относящимися к лету семьдесят третьего года. Время быстро листает летопись событий. И то, что еще вчера казалось злободневным, сегодня уже отнесено к истории.

Мы вспомнили заседание МГК, отчет о нем появился в газетах, где шел строгий и взыскательный разговор о качестве градостроения в столице, о том, что иные руководители Главмосстроя мирятся с фактами низкого качества, а управление Госархстройконтроля формально отпосится к приемке домов. Те, кто допускал сдачу объектов с недоделками, не поднимал на должный уровень качество строительства, — были строго предупреждены.

В то же лето несколько групп строителей выехало в столицы социалистических стран, в том числе и в Берлин, чтобы перенять лучшие достижения друзей, обменяться опытом.

Как-то Суровцев сказал Бромбергу:

— Вот, Курт, дома у вас серийные, а смотри — какие все же непохожие друг на друга. В каждом какое-то отличие. И по конструкции, и по цвету. Керамические плитки вон у вас какие веселенькие — голубые, красные, желтенькие. И глазу и душе приятно.

— Это так, — Курт кивнул, соглашаясь.

— Мне нравится, — продолжал Суровцев, — что все подъезды «смотрят» на главную магистраль. Это улице придает нарядность. И торцы зданий все разные, а не на одно лицо.

— Все это требует и труда больше, — заметил Бромберг.

— Само собою. Но ведь ты, Курт, понимаешь, — и тут Суровцев выразительно вздохнул, — что не все зависит и от нашего труда. А если нет той же глазурованной плитки? А если где-то и начинают делать, то одного цвета? Скажем, салатно-белого. И все дома получаются, как близнецы.

Курт усмехнулся. Может быть, он хотел сказать, что было время, когда эта похожесть и однообразие мешали и берлинским строителям создавать красивые кварталы, и что недовольство Суровцева ему понятно.

— Мы работаем с архитекторами. Тут многое от них зависит. Это архитекторы помогают нам придумывать что-то новое для каждого дома. Чтобы он имел свою физиономию, — заметил Бромберг.

— Вот это хорошо, — воскликнул Суровцев. — Вот это то, что нам надо!

И он подумал тогда, что о содружестве архитекторов со строителями говорили немало в его управлении и комбинате. Но то ли архитекторы оказывались не слишком

инициативными, то ли строители не слишком требовательными, то ли заводы малоповоротливы, но контакты налаживались слабо; у Суровцева в бригаде так называемый архнадзор, осуществляемый одним техником, так и оставался лишь надзором за осуществлением проекта. Творческого-то начала здесь не было видно.

— Курт, у вас и чистоты на строительной площадке больше, — с самокритичной беспощадностью говорил Суровцев, — как будто бы и мусора-то нет. А мы у себя убираем, убираем. И черт его знает, откуда он берется?

Курт рассмеялся.

— Аккуратности, что ли, не хватает?

Суровцеву было интересно, что ответит Бромберг.

Тот неопределенно пожал плечами.

— Привычка к аккуратности — это, конечно, очень важно. Мы и детей с малых лет приучаем к исполнительности и аккуратности. А все же, Анатолий, я больше верю в хорошую организацию труда. И требовательность. Если много с себя спрашиваешь, то можешь спокойно требовать и с других. Поймут. И будут делать. Так ведь и привычки вырабатываются — от усилий, от труда.

— Я согласен, — ответил Суровцев.

Он с удовольствием слушал Бромберга. Всегда получаешь удовольствие от того, что твои мысли совпадают с тем, что думает, как смотрит на мир твой товарищ по труду. Тем более если он живет в братской, дружеской, но все же другой стране.

— Я хочу подчеркнуть, что поощрение здесь очень важно, — живо откликнулся Суровцев, желая развить разговор о требовательности. — Конечно, и у вас, и у нас есть премии, если бригада сдала дом «на отлично». Но, знаешь, Курт, я бы их увеличил. Вознаграждал бы именно за качество, и не только деньгами. Не одним рублем, как говорится, жив человек! И я добавлю — рабочий человек! За качественную работу почет и уважение!

— Да, да, — кивал Бромберг.

Но Суровцев высказал не все. Не случайно кто-то в управлении прозвал его «рыцарем качества». Он гордился этим «званием» и действительно много думал о том, как надо теперь работать, и частенько беседовал об этом со своими ребятами в бригаде. Поэтому, помолчав немного, он добавил:

— Понимаешь, Курт, количество — это хорошо, это необходимо, и штука это определенная и ясная, ее всегда

измеришь. А качество — это твое старание, душа твоя, совесть рабочего!

Так, разговаривая, они переходили с этажа на этаж готового, но еще не заселенного типового здания. Ходить по такому чистенькому дому, где все, как говорится, пока еще с иголочки, все новое, блестит, сверкает — всегда приятно. Площадки на этажах, еще пахнущие бетонной крошкой, краской, квартиры с запахом свежей «столярки» — все это радовало сердце Суровцева.

И пока они ходили по квартирам, он все расспрашивал Бромберга о заделке швов между наружными панелями. В Московском комбинате тогда существовала практика плотного заделывания наружных швов твердой бетонной массой. Но все здания со временем дают осадку, нередко часть бетона при этом выкрашивалась, и через щели в квартиры начинала проникать влага.

Теперь Суровцев видел, что немецкие коллеги поступали по-иному. У них пазы панелей плотно входили друг в друга, а кроме того, на стыках прокладывались шнуры из синтетического материала. Они-то и задерживали любую влагу.

Еще Суровцева удивило, что немцы не белят стены, а только клеят обои, а это и быстрее, и наряднее.

— А что, если мы придем к вам наших маляров подучиться?

— Пожалуйста, — развел руками Бромберг.

Суровцев слышал от Ламочкина, что делегация договорилась с руководством Берлинского комбината о посылке в Москву нескольких маляров. В ГДР этой профессией занято немало мужчин. Выходило, что и в малярном деле могут быть свои профессора.

— Заделка швов между панелями нас особенно беспокоит, — признался Суровцев Бромбергу. — Вот как у вас просто и хорошо выходит. Хорошо бы нам это взять к себе для применения.

— Будем очень рады, — откликнулся Бромберг, — мы давно в долгу перед вами.

— За что же?

— А система комплектации, скоростные графики монтажа. Мы быстрее стали строить дома. По вашему примеру.

— Ну, если так... А вообще-то, Курт, я частенько думаю, что такое соревнование? — спрашивая и тут же отвечая себе, продолжал Суровцев. — Если человек соревну-

ется, то он как бы берет на себя обязательство быть душевно щедрым. Есть люди, которые любят дарить. Легче подарить часы, но труднее то, что нашел, чего сам трудом добился.

Бромберг слушал заинтересованно.

— А мы, соревнующиеся, дарим это друг другу и никогда не жалеем потом. Чем больше даришь, тем больше и приобретаешь в конечном счете. Это благородный обмен, от которого и жизнь богаче, и дело наше общее быстрее идет вперед. Согласен, Курт? — спросил Суровцев.

Курт Бромберг только кивнул и молча, но выразительно пожал Суровцеву руку.

ПОЕЗДКА В ПОТСДАМ

В программе Дня строителя были поездки по республике. В Дрезден и Потсдам. Нужны ли слова о пользе таких путешествий? И в Дрездене, и в Потсдаме есть свои домостроительные комбинаты. Познакомиться с ними всегда интересно. Ну, а сами древние немецкие города со своей историей, неповторимым обликом, «лица необщим выраженьем»! Как обогащает, какую эстетическую радость приносит знакомство с памятниками зодчества, культуры, искусства.

Анатолий Михеевич приезжал в Потсдам не раз. Город-музей, город-сад и вместе с тем вполне современный, быстро растущий, давший имя одной из самых важных международных конференций, связанной с послевоенным устройством мира, — Потсдам всякий раз прибавлял Суровцеву новые знания о стране, которая с каждой поездкой, с каждым вновь приобретенным другом становилась ему все ближе и понятнее.

Написав это, я подумал о том, что правильная, по существу, мысль носит несколько общий характер, ибо лишена достоверности увиденного. Ведь я не был с Суровцевым в те июньские дни семьдесят третьего года, когда машина Вонунгсбаукомбината привезла москвичей в красивый, с высотным зданием гостиницы, с множеством зелени вокруг озера Хавель — центр города. Ну, а расспросить обо всем, конечно, невозможно.

Но сам я трижды побывал в Потсдаме, а первый раз в самом конце войны. И потом — достаточно знаю своих

героев, чтобы представить себе, что они чувствовали, о чем думали, находясь здесь.

Мы, кстати говоря, порою преувеличиваем возрастные барьеры и психологическую разницу в ощущениях, впечатлениях людей разных поколений. И те, кто воевал, и те, кто не видел фашизм в лицо, смотрят ныне в прошлое с высоты нашего гражданственного и политического мышления.

Один строитель из московской группы, главный экономист комбината Петр Давыдович Косарев, мой старый друг и в прошлом офицер-фронтовик, воевавший в Германии. Я уважаю его как человека умного и остроглазого, обладающего широтой мышления. Поэтому я уверен: то, что мог заметить в Потсдаме я, наверняка видел и Косарев. Мои ощущения должны во многом совпадать и с чувствами Суровцева или Ламочкина. Когда речь идет о победе над фашизмом — миллионы современников волнуют одна боль и одна радость.

Потсдам — тихий, красивый город, притягательный еще и потому, что в нем зримо чувствуешь многовековую перспективу истории, дыхание старины. Да это и естественно для города, получившего этот статус еще в четырнадцатом веке, а впервые упоминающегося в древних летописях, начиная с 993 года нашей эры.

В красиво изданных, цветных иллюстрированных альбомах, их можно ныне купить в Потсдаме, есть снимки, относящиеся к разрушениям сорок пятого года. В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое апреля самолеты английских ВВС обрушили мощный бомбовый удар по Потсдаму, смели с лица земли целые кварталы, нанесли тяжелый ущерб заводам и предприятиям города. Конечно, война есть война, и трудно здесь вычислить количество и размер разрушений, число жертв, однако же эта бомбежка Потсдама, как и палет американской авиации 13 апреля на Дрезден, по мощи ударов, которые пришлось на города-памятники, жилые районы городов, намного превышала военную необходимость.

В Потсдаме были почти полностью уничтожены городской замок, ратуша, Николаевская церковь, дворец Верберини, старый рынок, пострадала Гарнизонная церковь — ковчег «доблестей» воинственного прусачества, зловещий символ союза всех реакционных сил старой Германии.

Потсдам освободили советские войска. Стремительный удар наших армий спас город, его дворцы и музеи, в том числе и всемирно известные Сан-Суси и Цецилиенхоф.

И Сан-Суси, дворец и парк в стиле пышного немецкого рококо, залы, картинные галереи и комнаты, где Фридрих Второй стремился жить без женщин и «без забот», и выстроенный по английскому образцу дворец принцессы Цецилии — эти главные достопримечательности Потсдама и его художественные ценности — не минует ни один турист, ни один гость города не обойдет своим вниманием.

Конечно же, здесь побывала и группа московских строителей. Красная Армия спасала ценности Потсдама для немецкого народа. И хотя здесь шли тяжелые бои с танковыми и пехотными соединениями нацистов, наши войска сделали все от них зависящее, чтобы ни артобстрел, ни бомбежка не повредили бы дворцы. А сделать это было, конечно, нелегко. Помня об этом, благодарные жители города именуют по праву советских воинов «спасителями Сан-Суси».

Мне Суровцев говорил о том, что московские строители объехали почти весь город, осматривая типовые и уникальные высотные здания, выстроенные Потсдамским комбинатом, который, так же как и Берлинский, взял на вооружение советский строительный опыт. Как и в столице, домостроители Потсдама, в этом еще раз убедился Суровцев, работали тщательно и аккуратно, с расчетом на долговечность и самих зданий, и того эстетического впечатления, которое они производят.

Я тоже с удовольствием смотрел на новые красивые кварталы города. Но хотел здесь увидеть и те, что остались в моей памяти еще с весны сорок пятого, с тех первых дней мая, когда наши военные в Потсдаме перешли к мирной жизни и помогали это сделать измученному войной немецкому населению.

Тогда в Германии было много военных госпиталей. В Потсдаме на берегу Хафеля, у тихой воды, в тени густых парков, казалось бы, сам бог создал наилучшие условия для излечения раненых и больных воинов и тех мирных, как тогда говорили, «цивильных» немцев, которые нуждались в медицинской помощи и получали ее от наших врачей.

Я искал в Потсдаме и быстро нашел это трехэтажное, готического вида под красной черепицей здание, в кото-

ром, как и тридцать с лишним лет назад, размещен военный госпиталь. К этому зданию меня привела не только память, но и давняя дружба с братьями Угрюмовыми, активными участниками войны и Берлинского сражения. Я знаю их уже лет сорок.

Военный врач, ныне профессор одной из клиник Киева Борис Леонтьевич Угрюмов всю войну был начальником госпиталя и прошел с ним боевой путь от Москвы до Потсдама. Он впоследствии написал об этом книгу воспоминаний с несколько необычным для мемуаров названием «Записки инфекциониста». Хотя это записки врача, в книге «чистая медицина» перемежается с публицистикой. Автор выступает как человек, умеющий и зорко видеть, и остро чувствовать, и верно оценивать солдат войны в белых халатах.

Я читал эту книгу с увлечением и, разумеется, не только потому, что знал автора в годы своей юности и еще до войны жил с ним, молодым врачом, в одном доме в Москве, на Чистых прудах.

«28 апреля 1945 года в город (Потсдам) вошли советские войска,— пишет Б. Л. Угрюмов в своих «Записках».— Событие это столь велико по своему значению, что советские люди благодаря интернациональным убеждениям, великодушию и простоте, быть может, не оценили еще в полной мере величия своей победы. Здания, в которых предстояло разместиться, были непригодны для госпиталя. Дома нуждались в перепланировке. Для создания изолированных отделений необходимы были дополнительные входы и выходы. Большую помощь в проведении ремонта оказывали местные рабочие.

...После долгих лет войны, лишений, тяжелых полевых условий с их землянками и палатками, передислокациями на длительные расстояния госпиталь вошел в светлое, благоустроенное помещение со всеми удобствами...»

Я привел эту вводную цитату для того, чтобы обратить внимание читателей еще на одно достоинство «Записок», на то, о чем до сих пор мало писалось в нашей военной мемуаристике: на содружество военных врачей и немецких ученых, возникшее в первые же дни после войны.

Для того чтобы проконсультировать одного больного советского воина, Угрюмов доставил его в берлинскую клинику Шарите.

«...Прежде всего мы обратились к Бергману,— пишет автор,— которого знали по его настольному двухтомному руководству по внутренним болезням. Старый профессор в безупречно сшитом черном костюме, корректный и предупредительный, был польщен похвальным отзывом о его учебнике, еще задолго до войны переведенном на русский язык. Он много говорил о прошлом и, глядя на большой портрет своего учителя Траубе, вспоминал мрачные годы гитлеровского режима, когда имя знаменитого ученого не упоминалось под страхом репрессий. А теперь портрет, находившийся под запретом гестапо, снова занял свое достойное место в клинике. В этом заслуга Красной Армии, и все честные немцы воздают ей должное. Старый профессор расчувствовался, и мне пришлось осторожно напомнить ему о цели нашего визита...»

Угрюмов затем рассказывает о консультации другого «хирурга с мировым именем» Зауэбруха, который пригласил «уважаемых русских коллег» на свою лекцию. Профессор этот занимал довольно видное положение в рейхе.

«В этой комнате,— сказал профессор, обводя присутствующих торжественным взглядом выпуклых, как у Бисмарка, глаз,— я говорил в свое время с вашим большим хирургом Бурденко и осматривал великого русского писателя Максима Горького».

По всему было видно, замечает далее Угрюмов, «что этот высокомерный человек, обладающий большой силой воли, знает себе цену. Он сознательно обходил вопросы, связанные с политикой и только что закончившейся войной и предпочитал безобидные воспоминания».

И наконец, встреча с третьей знаменитостью, профессором Рессле. «Хорошо известный своими исследованиями в области теории воспаления и патологии печени, Рессле встретил нас в своей лаборатории, носившей явные следы недавних бомбежек. Всюду виднелись нагромождения препаратов, муляжей, учебных схем. В этом беспорядке, в котором ничего не осталось от немецкой педантичности, профессор казался несколько растерянным. Осведомившись о цели нашего визита, он сказал, сохраняя чувство мрачного юмора: «Не слишком ли рано доставили вы ко мне своих пациентов?» Даже в одной этой фразе улавливались непринужденность и радушие хозяина, готового оказать нам всемерное содействие. Впоследствии я не был удивлен, узнав о прогрессивной деятель-

ности Рессле и награждении его национальной премией ГДР...»

Так вспоминал профессор Угрюмов о первых днях работы военного госпиталя, и несколько кратких цитат из его «Записок», мне думается, оправданы уникальностью этих достоверных свидетельств о том, что «рукопожатие в мае сорок пятого» было подлинно обоюдным и лучшие представители немецкой научной интеллигенции живо откликнулись на помощь, дружбу и гуманную политику Красной Армии и государства.

Не так давно Борис Леонтьевич, приехав из Киева по своим научным делам, заходил ко мне, подарил свою книгу. В надписи, сделанной им, есть такие слова: «...В преддверии праздника Победы с воспоминаниями далекими и близкими».

«Далекими и близкими»! Как это верно! Вот с этим волнующим меня ощущением, что наше военное прошлое всегда с нами, я и поехал в местечко Капут, где, кстати говоря, находилась в тридцатые годы дача Альберта Эйнштейна, и, подойдя к зданию, долго разглядывал этот дом, примечательный, кроме всего прочего, еще и тем, что во время войны тут размещался дом отдыха для гитлеровских офицеров и, по слухам, одно время размещалась школа абвера.

Нынешний начальник госпиталя, майор медицинской службы, несколько удивленный, но и одновременно обрадованный моим визитом, сказал, что знает Бориса Леонтьевича Угрюмова — «по описи», то есть по служебной истории госпиталя, которая ведется с сорок первого года, с дней формирования его в Казани.

Я же, слушая майора, подумал тогда, что мы порою недооцениваем эту естественную тягу к собиранию документов по истории воинских частей, стремления, которое порождено славным героическим и вдохновляющим прошлым, и что тем, кто сегодня выполняет свой долг в мирном военном госпитале, важна и дорога эпическая летопись ратного труда военных врачей.

Я это почувствовал и в разговоре с майором, и в том, как он горячо заговорил о книге Угрюмова, он только слышал о ней и хотел бы получить, а также наладить постоянную связь с начальником госпиталя времен войны.

Мы осмотрели потом «хозяйство» Анатолия Ивановича, и я обратил внимание на тот чисто военный порядок,

который отличает всякую военно-медицинскую часть, на благоустройство красивого парка, выходящего к озеру.

Надо ли объяснять, что это краткое посещение госпиталя напомнило мне, да и не могло не напомнить первые дни мая сорок пятого, когда здесь находились воины, раненные в последних боях, вспомнились беседы с ними, записи на пластинки их голосов. Им, попавшим сюда прямо с переднего края, были особенно приятны тишина в парке, и запах хвои, и лебеди на тихо плескавшейся воде Хафеля, и лучи солнца на золотисто-янтарной коре сосен.

Раненые думали, мечтали о жизни, о будущем. Нет, это не были люди, беспощадно измученные войной, стремящиеся к покою и одиночеству. По-разному и каждый на свой лад, но все они жаждали работы, пусть самой трудной, возвращения в большой, кипучий мир...

...Покинув местечко Капут, мы через десять минут подъехали к дворцу Цицилиенхоф, или, как он теперь именуется: «Историческое памятное место Потсдамского соглашения».

Должен признаться, что мне вовсе не показался странным этот быстрый переход от военного госпиталя к памятному месту мирной конференции. В конце концов — и мир, и Победа, и все, что обсуждалось и решалось в этом дворце, да и само право на эти исторические решения было добыто и оплачено кровью солдат.

О знаменитой конференции писалось немало. Интересен и богат реликвиями большой дворец, состоящий из ста шестидесяти семи комнат. Здесь встречались выдающиеся политические руководители того грозного и великого времени. Я побывал тут в шестьдесят третьем году и потом через тринадцать лет. И каждый раз выносил отсюда то чувство радости и удовлетворения, которые дает приобщение к истории. Время корректирует и как бы заново освещает все, что происходило здесь в июле—августе сорок пятого года.

Итоги Потсдама — это, конечно, особая тема. И предмет особого исследования. Потсдамский музей убедителен в своих реалиях, многому учит. И прежде всего тому, что мир в Европе может быть достигнут только коллективными усилиями многих стран, всех прогрессивных людей на земле и что ленинская идея мирного сосуществования социалистических и капиталистических государств все более становится определяющей политической силой в международных отношениях.

Я увидел ее сначала в хорошо изданной книге о послевоенном строительстве в Берлине, а затем в большом берлинском музее истории рабочего движения.

Есть такие памятные снимки времен войны, которые в свое время обошли все газеты мира. В течение трех десятилетий они украшают многие альбомы, выставки, панорамы и вернисажы, посвященные второй мировой войне. Их широкая популярность и сила художественного воздействия обычно объясняются тем, что снимки удачно фокусируют те самые ключевые, выхваченные из жизни эпизоды, которые волновали тогда, продолжают волновать и ныне миллионы людей.

К числу таких популярных в ГДР фотоснимков относится и этот, изображающий небольшую, скромно обставленную комнату в помещении советской комендатуры; подполковника, сидящего за большим столом, офицера справа и сержанта слева от него, а впереди, видимо, только что поднявшегося со стула — для рукопожатия, человека в штатском костюме, худого, с изможденным лицом и глазами, полными живого блеска.

Подпись под фотографией гласит, что здесь, в комендатуре одного из районов Берлина, в дни мая сорок пятого происходила дружеская беседа советского коменданта с антифашистом, впервые назначаемым на пост бургомистра.

В этот воскресный день мы пешком вышли на Унтерден-Линден, но не со стороны Бранденбургских ворот, а с противоположного конца бульвара, где находятся ныне правительственные учреждения республики. Было невыносимо жарко, асфальт, казалось, плавился под ногами, и прохладный и просторный вестибюль музея хоть на время спасал от мучительного зноя.

В эти часы, когда город обезлюдел и берлинцы спасались от солнца в тени парков, дачных поселков на берегах Шпрее и озер, — здесь в музее, к моему удивлению, оказалось немало посетителей, и не только гости, туристы, но и много молодежи с берлинских предприятий, студенты, школьники. Двое мальчиков лет четырнадцати, с палочками мороженого в руках, плечом к плечу шагали вслед за мною из зала в зал.

Музей истории рабочего движения — это музей истории немецких коммунистов-тельманцев, полной драматиз-

ма и героики борьбы с фашизмом на фронте и в тылу, в концентрационных лагерях и в подполье, в отрядах Сопротивления, в рядах Красной Армии. Это страницы трудовой эпопеи возрождения республики, ее новой индустриальной мощи, успехов сельского хозяйства, науки и культуры.

Здесь каждый экспонат, документ или фотография были весомы и впечатляющи, полны исторического значения. В зале, посвященном событиям сорок пятого, я увидел и эту фотографию, тотчас узнав заместителя коменданта по политической части в тогдашнем районе Берлин-Митте. Имя его Александр Леонтьевич Угрюмов.

Я буквально впился глазами в этот снимок: так много он говорил моей памяти и сердцу. Узнал эту комнату в доме на Инхельштрассе, 3, стеклянная дверь которой выходила прямо на улицу, и крупную, уже тогда слегка лысеющую голову Александра Леонтьевича, его открытый лоб и густые брови, мягкие, словно бы расплывающиеся черты полного, добродушного лица.

Стоящий рядом военный был капитаном Александром Матвеевичем Котляровым — офицером для поручений. Совершенно отчетливо, словно это произошло вчера, я представил себе мою тогдашнюю встречу с Угрюмовым.

Это было четырнадцатого мая. Я приехал на Инхельштрассе, 3, чтобы увидеть работу районной советской комендатуры и сделать записи на пластинку для передач Московского радио. Моя встреча с Александром Леонтьевичем Угрюмовым, старшим братом начальника Потсдамского госпиталя и в той же мере моим давним московским знакомым, собственно говоря, сама по себе принадлежала к числу обычных военных случайностей, в которые тем не менее трудно даже поверить.

Я хорошо знал семью братьев Угрюмовых, их отца-комкора, героя гражданской, одного из соратников маршала Тухачевского. То, что оба сына оказались в армии с самого начала Отечественной войны, вытекало из традиций этой военной семьи.

Александр Угрюмов преподавал диамат в одном из вузов столицы еще до войны, из стен института он и шагнул в ряды 5-й добровольческой ополченческой дивизии Фрунзенского района Москвы. Это была одна из двенадцати стрелковых дивизий, сформированных в те же дни по призыву партии. Более 120 тысяч москвичей встали

под ружье — люди самых разных возрастов и профессий, поистине народное ополчение, одухотворенное высоким патриотическим порывом.

История ополченческих дивизий — особая глава войны. Пройдя закалку в огне боев и понеся большие потери в битве под Москвой, эти дивизии влились в ряды кадровых частей Красной Армии. То же произошло и с 5-й дивизией, начальником политотдела которой был с первых дней формирования Александр Леонтьевич Угрюмов.

В дни празднования тридцатилетия Победы я взял себе на память один из экземпляров многотиражной газеты «Советский студент», выходящей в Московском педагогическом институте иностранных языков имени Мориса Тореза, где сейчас работает профессор Угрюмов. Здесь были опубликованы его воспоминания, называвшиеся «От Москвы до Берлина». Так измеряется боевой путь ополченцев 5-й Фрунзенской дивизии. Вспоминая тех, кто отдал свои жизни в боях, Угрюмов писал:

«Сердца погибших горели огнем, чище и ярче которого не бывает на свете. Огнем верности Родине, партии, коммунизму!»

Хорошо сказано об ополченцах. Горячо и взволнованно. Есть в этих чувствах отблеск и того огня, той веры и силы, которые жили и в сердце коммуниста Угрюмова, прошедшего долгих четыре года войны в рядах дивизии, которая из 5-й ополченческой превратилась в 113-ю орденна Красного Знамени, получившую наименование Нижнеднестровской. Она дошла до самого Берлина.

«На долю старожилов 5-й Фрунзенской дивизии, — писал Угрюмов, — выпала трудная, но благородная задача: осуществить восстановительные работы в Берлип-Митте (центральная часть немецкой столицы)».

Так случилось, что преподаватель диамата, политический работник в армии, Александр Угрюмов призван был в сложной обстановке того времени практически переустраивать жизнь в Берлине на новых основах мира, демократии и социального прогресса.

Помню, как я с раскрытым блокнотом просидел в приемной комендатуры у стола Угрюмова целый день. Посетители шли и шли. С какими только делами не приходили сюда! Искали и просили работу, разрешения на открытие маленькой мастерской по ремонту велосипедов, парикмахерской, пошивочного ателье, магазина.

Кто-то разыскивал своих родственников, детей, просил устроить беженцев, покинувших город во время боев, но вернувшихся уже к пепелищам, антифашист узнал адрес переодетого гестаповца, на чьей совести немало убийств...

Степенно переступил порог комнаты седой мужчина в академической шапочке, представился как профессор математики. Угрюмов спросил, чем может служить.

— Математика беспартийна, — сказал профессор, — я хочу начать учить студентов.

— Математика беспартийна, но члены нацистской партии взорвали часть дома университета на Унтер-ден-Линден, вы это знаете? — спросил Угрюмов.

— Нет. Но я хочу, чтобы вы записали мою фамилию: Зорге. Я готов работать.

— Хорошо! Я передам это сотрудникам обер-бургомистра Берлина доктора Вернера, — пообещал Угрюмов.

Едва профессор откланялся, как у стола подполковника очутились молодые супруги, смущенно объясняли: он чех, она немка, познакомились недавно, когда молодого человека выпустили из лагеря. Теперь он хочет увезти жену в Прагу. Но границы уже закрылись. Нужны паспорта. Есть формальные трудности.

— Я выясню. — Угрюмов снял трубку.

У другой пары похожая ситуация, только он немец, она болгарка, хотят немедленно обвенчаться, но невесте надо сменить подданство, а это не просто. Вся надежда на «герр коменданта».

Угрюмов улыбнулся. Он ведь не священник, да и не заведующий загсом. Впрочем, что такое загс, он сам долго не мог внятно объяснить своим собеседникам. Наконец спросил: «Вы любите друг друга?» — и поднял на молодых усталые глаза, припухшие от бессонных ночей.

— О, конечно!

— Вы молодые.

— О да! Герр комендант!

Угрюмов встал, прошелся по комнате, чуть наклонил корпус вперед, назад, разминая поясницу, уставшую после многих часов сидения за столом.

— Я вас поздравляю, — сказал он, — любите сильнее друг друга, остальное: паспорта, подданство, формальности — разве это препоны для любви, зародившейся в первые дни мира? Все утрясется со временем.

Молодые люди унесли на своем лице улыбки, они пятились к двери, не поворачиваясь спиной, и непрерывно благодарили.

И снова посетители: актеры, желающие начать работу, и как можно скорее, учителя, справляющиеся, скоро ли откроются школы, пенсионеры — по поводу продуктовых карточек, владельцы магазинов, и среди них и такие, кому непременно надо ехать за товарами в зоны, занятые союзниками.

— Подумаем,— говорил им Угрюмов и помечал у себя в блокноте: надо выяснить у работников СМЕРШа, нет ли среди торговцев военных преступников, попросту пытающихся удрать в Западную Германию.

Десятки дел каждый день, десятки посетителей! Заместитель коменданта не мог, конечно, сразу определить политическую физиономию каждого, кто переступал порог его приемной, но зато их лучше знали уцелевшие в тюрьмах и лагерях немцы-антифашисты, рабочие, немецкие коммунисты. Это из них в первые же дни составилось ядро деятельного актива комендатуры...

Возвращаясь к фотографии, висящей в музее. Кто этот антифашист, беседующий с Угрюмовым в комендатуре? В Москве я приехал к Александру Леонтьевичу домой, чтобы расспросить поподробней. К сожалению, Угрюмов не мог точно вспомнить фамилию немца, и его можно понять — прошло тридцать с лишним лет. В те горячие дни он не имел ни времени, ни возможностей вести дневниковые записи.

Но так ли важна сейчас фамилия, ее, кстати говоря, нет и в подписи под фотографией в музее. Ведь такие встречи-беседы были тогда не редкостью, в комендатуре Берлин-Митте они происходили почти каждый день. Подбирались люди для выдвижения на самые разные государственные, хозяйственные и общественные должности. В органы самоуправления, в директораты предприятий, научных учреждений и учреждений культуры.

И это было нелегко делать для большого, сложного во всех отношениях района немецкой столицы. Район бывших центральных правительственных учреждений рейха. Кто здесь жил — матерые нацисты, высокопоставленные чиновники, и не все они к маю сорок пятого успели удрать на запад. Здесь находились Кроль-опера и университет, ученые, люди искусства. И вот — сплошные развалины, все предстояло восстанавливать — и дома, и город-

ское хозяйство, и духовную жизнь, налаживать нормальное функционирование города. И для всего этого были нужны деятельные работники.

— Я хорошо помню, что этот немецкий товарищ, который на снимке, не был коммунистом. Назовем его условно Гансом,— сказал мне Угрюмов.— Сложность нашей тогдашней работы была, между прочим, и в том, что мы привлекали к активной деятельности не только коммунистов, но и социал-демократов и христианских демократов. Привлекали всех антифашистских, прогрессивно настроенных, честных людей, не запятнавших себя тесным сотрудничеством с гитлеровцами. Товарищ Ганс по своим политическим воззрениям был ближе к социал-демократам, пострадал от нацистов, сидел в концлагере. И горячо тогда взялся за дело.

— Общий вывод из всего, что мне сейчас вспоминается,— живо продолжал Угрюмов — таков: товарищ Ганс и все другие немецкие активисты тех дней оправдали доверие, которое им оказало советское командование. Это мог бы подтвердить и первый комендант Берлин-Митте полковник Иван Андреевич Гнедин.

Не в первый раз я в гостях у Александра Леонтьевича в его квартире на Большой Черкизовской. Хотя видимся мы, признаться, непростительно редко. Не знаю, что тому причиной — ритмы современной жизни, занятость или тот накал динамизма, который, к счастью, еще не оставляет нас — «комбатантов второй мировой», как говорит иногда Александр Леонтьевич.

И все же жаль, очень жаль! Проходят годы, поколение победителей постарело и начинает постепенно сходить с арены жизни. А ведь многое еще можно вспомнить и оставить как ценнейшие свидетельства очевидцев идущей на смену молодости!

ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Весной семьдесят пятого Александр Леонтьевич Угрюмов был приглашен в Берлин в составе делегации советских ветеранов. В нее вошли по преимуществу люди, тесно связанные с возрождением города, в разные годы поработавшие в Берлине и сделавшие немало для расцвета экономики, науки и культуры в столице ГДР.

Возглавлял делегацию генерал Сергей Тюльпанов, в сорок пятом руководивший в советской военной администрации отделом культуры и образования, а ныне профессор Ленинградского университета.

Александр Леонтьевич, естественно, не раз вспоминал об этой поездке. Я как-то был у него в гостях, и мы сидели около небольшого письменного стола, заваленного рукописями и книгами. Рассматривали альбомы, фотографии, сделанные Угрюмовым или его друзьями по делегации во время пребывания в ГДР.

Признаться, мне всегда бывает приятно, разговаривая с Александром Леонтьевичем, смотреть в его доброе, еще более помягчвшее с годами лицо, слушать его негромкий голос, уплывать вместе с ним в давние, дорогие нам общим воспоминания, всякий раз находя в запасниках нашей памяти какие-то новые детали тех героических лет, поистине «звездного часа» военной судьбы Угрюмова.

Ныне доктор наук, работающий над проблемами диалектического материализма, читающий уже много лет курс по истории партии, он использует в качестве иллюстративного материала и свои берлинские воспоминания, свой личный опыт.

— То, о чем мы с вами говорим,— заметил он однажды,— это ведь тоже частица истории партии. И я счастлив, что пережитое мной я могу внести в рассказы о героическом пути, пройденном партией и народом.

Александр Леонтьевич сказал, что их делегацию принимал один из секретарей Центрального Комитета СЕПГ. Затем с ними встретился министр высшего образования ГДР Ганс Иохим Бемме, вручил многим ветеранам, в том числе и Угрюмову, почетный диплом: «За заслуги в развитии культуры республики».

Состоялся торжественный прием у ректора берлинского университета Карла Ганца Висберга, здесь не забыли, как военная администрация Берлин-Митте в сорок пятом восстанавливала красивое старинное здание.

Фотографии, фотографии, привезенные из Берлина! Я видел, что они волнуют Угрюмова. Вот беседа с берлинскими студентами, вот группа ветеранов у Бранденбургских ворот, все уже не молоды, седые головы, но каким праздничным светом горят глаза. Вспоминается и хорошее, и печальное, и то трагическое, что никогда не уходит из сердца.

Музей бывшего концлагеря под Берлином — Заксенхаузена. Лагерь считался центральным в гитлеровском рейхе, здесь беспрерывно работал конвейер смерти.

В сорок пятом Угрюмов не раз ездил сюда по делам комендатуры, надо было познакомиться с архивами Заксенхаузена, ведь многие из тех, кто по разным делам приходил в комендатуру Берлин-Митте, находились здесь в заключении.

Линия железной дороги подходила к самым воротам Заксенхаузена. Ворота были похожи на короткий туннель, пробитый в стене белостенного здания с прямоугольными крыльями. Сквозь проем просматривался пустынный двор с белым бетонным забором и высокая деревянная виселица.

Поражали железные створки дверей ворот с подъемным механизмом. Они автоматически поднимались и опускались вместе с надписью заглавными буквами: «Arbeit macht frei!» — «Труд делает свободным!»

Когда Угрюмов впервые прочел это, сердце его похолодело. Какое кощунство могло соединить понятие свободы с убийственным и обезображенным трудом в фашистской неволе?! Они были железными, эти большие буквы, и поистине слова должны быть из железа, чтобы выдержать тяжесть этой лжи!

Я взял в руки снимок. Мы помолчали.

— Какое счастье,— заметил тогда Александр Леонтьевич,— что эти ворота ныне лишь музейный экспонат. И что на фоне их теперь лишь только на память снимаются группы экскурсантов, бывшие узники и ветераны войны.

Члены делегации совершили поездку по республике. Было много встреч и много выступлений — в рабочих коллективах, у строителей Берлина, в научных учреждениях, среди молодежи. В общем-то это был сплошной праздник для ветеранов, и в том, что поездка продолжалась десять дней, начиная с двадцать первого апреля, просматривалась своего рода символика. Ведь и бои в Берлине в сорок пятом продолжались тоже десять дней, и тоже с двадцать первого апреля.

— Мы вспоминали с вами о товарище Гансе,— сказал мне Угрюмов,— а я хочу сейчас назвать имя человека, который тоже мог быть изображен на подобного рода фотографии. Это Эрнст Келлер. В те майские дни он был рекомендован нами для руководства районным управле-

нием почты. Между прочим, служил когда-то кадровым офицером рейхсвера, побывал в нашем плену и оправдал затем доверие советской военной администрации. Удивительно, что он и сейчас директор почты Берлин-Митте. Вступил в партию. Через тридцать лет мы неожиданно встретились на праздновании Дня Победы в Берлине. И тотчас узнали друг друга. И конечно, очень обрадовались встрече...

Среди бывших сослуживцев Угрюмова по Берлин-Митте наибольшее радушие проявил Эрнст Келлер. Александр Леонтьевич вспоминал, что Келлер пригласил его к себе на дачу, заехал на своей машине. Они провели чудесный вечер воспоминаний о днях совместной работы.

— Знаете, Келлер выглядит прекрасно для своих шестидесяти пяти, — заметил Угрюмов, — лет на десять моложе, по меньшей мере. Подтянут, на вид здоров, спортивен, и видно, что живет хорошо. Я рад за него. И думаю, есть тут какая-то заслуга и нашей районной комендатуры. А если посмотреть широко — так и всего советского народа.

Александр Леонтьевич прав. С дистанции тридцати лет особенно полно и глубоко ощущаешь всю меру добра и гуманной заботы, которую проявила военная администрация, делая все возможное, чтобы в разрушенном Берлине не разразился голод, не вспыхнули эпидемии, грабеж, беспорядки, чтобы берлинцы сразу почувствовали все живительные блага мира и свободы.

И вот тут мне вспомнился еще один, я бы сказал, удивительный эпизод тех дней. Это произошло 16 мая сорок пятого. Всего через две недели после окончания войны в городе. Ближе к вечеру этого дня Угрюмов пригласил меня присутствовать «на одном важном культурном мероприятии», как он тогда выразился. Речь шла об... открытии эстрадного театра-варьете в районе Берлин-Митте.

В те дни западная пресса писала, что Берлин — это мертвый город, что люди здесь живут, как их пещерные предки, зарывшись глубоко в подвалы, в бетонные щели. Но факты опровергали это. Новая жизнь быстро входила в свои права. И одним из красноречивых свидетельств тому первый спектакль (официальное открытие состоялось позже) первого в Берлине эстрадного театра.

Здание варьете «Фридрихштадтпаласт» — название сохранилось и по сей день — находилось недалеко от

комендатуры, рядом с набережной Шпрее и Вейдендамским мостом через нее, буквально за углом от нынешней гостиницы «Софии», близко от Унтер-ден-Линден и старой немецкой казармы, в которой проходил когда-то военную службу Фридрих Энгельс.

Я опускаю сейчас многие подробности этого события, о котором уже писал однажды, хочется вспомнить самое главное. Круглый зал театра, овальные стены которого сбегались к эстраде. Окон нет. Электрический свет горел слабо. В полутьме сновали по залу официанты в темных костюмах и разносили пивные кружки. Берлинцы чинно сидели за темными мраморными столиками. Для коменданта оставили столик у самой эстрады. Вышел на сцену ведущий и, поклонившись Угрюмову, спросил, может ли он начать программу.

— Для этого не нужно моего разрешения, обращайтесь, пожалуйста, к публике, — ответил Угрюмов.

— Слушаюсь. — И конференсье произнес краткую речь. — По разрешению комендатуры открывается варьете, здесь жители района смогут по вечерам отдыхать и развлекаться. Программа выступлений составлена с расчетом на то, чтобы ничто в ней не напоминало о нацистах. Все номера будут очищены от гитлеровской идеологии.

Затем конференсье отметил «исторический характер» момента, в память о котором следовало бы прибить на дверях «Фридрихштадтпаласта» табличку: «Впервые открылось в Берлине после войны».

Посетители встретили это заявление аплодисментами. Они внимательно смотрели на сцену, не забывая отхлебывать пиво и невольно позвякивая кружками о мрамор столиков. Попробовали пиво и мы. Оно оказалось вкусным и свежим.

Александр Леонтьевич сказал тогда, что уже пущен пивной завод, начал работать и цех мясокомбината. Поэтому на столах — сосиски. К сосискам и пиву официанты подавали и подсоленные соломки.

А тем временем на сцене шла программа: акробатические номера, соло на гитаре, танец чечеточников, пение. Потом был номер с художественным свистом, клоунада, снова пара чечеточников и соло на гитаре... Программа начинала повторяться вместе с новыми кружками пива. Как оказалось, у конференсье было в запасе не так уж много номеров, «очищенных от гитлеровской идеологии».

Однако это представление, а быть может, еще больше сама возможность спокойно сидеть в варьете, не слыша ни грохота бомб, ни свиста пуль, смотреть на красивых, нарядно одетых женщин, думать о приходе весны, наступлении мира, а с ними и новых, светлых надежд — все это, вместе взятое, я чувствовал, очень нравилось публике.

Я видел за столиками улыбающиеся лица, слегка покрасневшие от пива. Был доволен и конференсье, часто посматривающий на «герр коменданта», остался доволен и Угрюмов.

На следующий день утром я передал в Москву коротенькое сообщение об этом первом концерте в районе Берлин-Митте. Сообщение это после Москвы подхватило радио Лондона и Нью-Йорка. Информация за сутки обожала почти весь мир. Берлин в те дни, еще не разделенный на зоны, весь входил в сферу контроля советской военной администрации. И люди пяти континентов могли узнать о том, что делается в этом городе только из русских газет и по радио.

Исключительность этой ситуации тогда точно соответствовала ее символическому значению, как бы подчеркивая тот исторический факт, что упорные и кровопролитные бои за Берлин вели только советские войска.

...И вот прошло тридцать лет. Очутившись в Берлине вскоре после празднования Дня Победы, я, естественно, захотел взглянуть на «Фридрихштадтпаласт». Туда позвонили из Союза писателей ГДР, и в театре меня встретили заместитель директора Миттаг Хорст, художественный руководитель Генрих Мартенс и технический директор Мильцо Вернер.

Как и многое другое, увиденное в Берлине через дистанцию времени, так и эта предстоящая встреча казалась мне освещенной особым значением. Прошло три десятилетия мирной жизни. В наш динамичный век — это большой срок. Не скрою, что я с волнением подходил к зданию оригинальной конструкции, со стенами, как бы гофрированными бетонными полосами, с косо срезанной крышей на верху массивного серого треугольника.

Контуры дома прочно отпечатались в моей памяти, я сразу узнал его, хотя в сорок пятом дом и был поврежден осколками бомб.

Мы вошли со служебного входа и попали в театральный буфет. Здесь шумела артистическая молодежь.

Этих молодых людей еще и не было на свете в сорок пятом.

Театр еще не работал, шли репетиции, подготовка к началу сезона. Сразу ли я узнаю тот угрюмый, военной поры зал, где проходило первое представление? Меня почему-то это тревожило. Ведь так много всюду изменений в Берлине. Уже и при входе в театр я заметил, что и тут велики перестройки. Да иначе, конечно, не могло быть.

Главный зал трудно было узнать. Здесь появились ряды кресел партера. Амфитеатр, балконы, ложи. По периметру партера высились и уходили к потолку деревянные колонны. Может быть, в тот памятный день в полутьме помещения я просто не заметил этих колонн?

И все же это был тот самый зал. В Москве я получил подтверждение от Угрюмова: тот самый «Фридрихштадт-паласт», старое и не раз перестраиваемое здание, где в 1867 году находился городской рынок, затем переделанный в цирк. До 1933 года здесь размещался драматический театр, а в годы нацизма обосновалась оперетка.

Любопытно, что одна из шедших здесь при Гитлере постановок заканчивалась... «танцем смерти»! По иронии судьбы танец этот во время одного из спектаклей закончился тем, что бомба разнесла в куски и саму сцену.

Сохранился снимок этой разбитой сцены, той самой, которую мы видели в сорок пятом, быстро восстановленной нашими солдатами ко дню первого спектакля.

Теперь об этом театре-варьете уже написана книга. Ее автор — художественный руководитель «Фридрихштадт-паласта» Генрих Мартенс. Называется книга — «Это Берлин уже видел».

Да. Берлин видел многое и многое пережил, интересна и богата история театра, и нельзя не почувствовать в названии книги еще и уверенности в том, что спектакли «Фридрихштадтпаласта» широко известны и популярны среди берлинцев.

И не только в Берлине. Артисты «Фридрихштадтпаласта» гостили в Москве и в Ленинграде, а на берлинской сцене выступали многие наши прославленные художественные коллективы: ансамбль Советской Армии, Московский цирк, Ленинградский мюзик-холл, танцевала Галина Уланова, пели артисты из Польши, Чехословакии, Румынии, других стран. В 1977 году театр снова приезжал на гастроли в СССР, в Москве выступления состоялись в концертном зале «Россия».

Обо всем этом мне рассказывал режиссер Генрих Мартенс, подаривший при встрече свою книгу с надписью — «сердечно!» Мы обошли с ним репетиционные залы, посмотрели на уроки балета, посидели в мягких креслах партера, в тишине, погруженные каждый в свои воспоминания, я — о времени сорок пятого, он — полагаю, о том, что за долгие годы сделал и пережил в театре.

И снова я пожалел о том, что нет со мною рядом Анатолия Михеевича Суровцева. Ему могла быть интересна архитектура старинного здания, стадию его перестройки, а главное, он бы увидел и оценил широту и многообразие творческих контактов между нашими странами. Есть, безусловно, определенная связь между тем, что происходит на строительных площадках и на арене искусства, в концертных залах, в художественной деятельности популярного «Фридрихштадтпаласта».

...В Москве около института имени Мориса Тореза, на улице Кротовкина внимание прохожих обращает на себя величественная и красивая стела, посвященная подвигу ополченцев из 5-й Фрунзенской дивизии. Этот институт в сорок первом дал многих бойцов в ополчение. Стела выполнена известным скульптором Л. Е. Кербелем, автором памятника Карлу Марксу в центре столицы.

Почему я вспомнил сейчас о стеле? Да потому, что многое из того, о чем рассказано в этих главах, дальними и глубокими своими истоками уходит именно сюда, в этот дом, где формировалась дивизия, дошедшая до Берлина. Да, все это началось в Москве. В то незабываемое лето, когда миллионы скромных, честных, благородных и удивительных людей сороковых годов взяли в руки оружие, чтобы защитить Родину.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗЫ

Управление, где работает Суровцев, находится недалеко от института имени Мориса Тореза, хотя и в другом районе Москвы — Краснопресненском. Между ними нет прямых связей. Да и что, казалось бы, может быть общего между институтом, где изучают иностранные языки, и одним из штабов строительной индустрии?

Но если вспомнить, что в Берлине профессор этого института Угрюмов встречался с коллективами строителей, а в комбинате, в своем «хозяйстве», москвичи прини-

мают берлинских коллег, то какие-то пусть топкие, отделенные, но нити связей все же отыщутся.

Их эффективность прежде всего в извлечении уроков жизни и деловой пользы из обмена опытом. Что касается строителей, то после поездки в ГДР нескольких групп специалистов процесс улучшения качества градостроительства резко шагнул вперед. Конечно, необходимость этого вызревала изнутри, подсказывалась всем ходом жизни. И все же — живой и наглядный пример обладает нравственной силой воздействия не только на умы, но и на чувства людей. И становится уже просто стыдно работать хуже, чем это делают товарищи в братской стране, связанные общим договором о соревновании.

Переход на новый уровень качества для домостроительных комбинатов столицы означал перестройку всей домостроительной индустрии, начиная с заводов железобетонных изделий. Новый каталог деталей вызвал к жизни и новый проект типового дома — шестнадцатизэтажного. Старая девятиэтажка, как говорили тогда в комбинате, «изжила себя и морально и физически». Часть оборудования заводов, тоже устаревшая, нуждалась в модернизации. А план не только не снижался, но и год от года вырастал. Для комбинатовских заводов и для монтажных площадок наступила поистине переломная пора.

Тогда, в семьдесят третьем, я часто заходил в комбинат и в управление, возглавляемое Ламочкиным, и мог день за днем наблюдать, как разворачивалась эта перестройка. Битва за качество постепенно набирала темпы и глубину внедрения во все звенья строительства.

Суровцев, незадолго до своей третьей поездки в Берлин, выстроил эталонный дом в Ивановском, эталонный по качеству, ибо подобные девятиэтажные и восьмисекционные дома обычно не поднимались выше оценки «четыре». 13-й корпус в Ивановском был сдан «на отлично».

Об этом в подробностях мне приходилось писать в то время. Ибо дом этот и работа суровцевской бригады сыгнали роль своего рода переходной ступени к качественному уровню современных шестнадцатизэтажных зданий в разных районах Москвы.

И все же заглядывать в старые тетради — полезно. Я их собираю и храню вот уже более тридцати лет. Подобно фронтовым дневникам, они содержат глубинный запас примет и деталей многообразного делового бытия, по-

могают осмысливать закономерности жизни и интересны сами по себе.

Анатолий Суровцев теперь часто выступает со статьями, дает интервью, высказывается в газетах по различным вопросам строительства. Еще четыре года назад он это делал редко. Теперь я думаю, что, конечно же, не случайно занес в свою тетрадь выдержки из статьи, написанной Суровцевым и кандидатом технических наук Г. Штелингом, опубликованной в газете «Московская правда». Статья называлась: «Проблемы большой стройки». Меня привлек ее критический пафос и зрелость мыслей.

Главный вывод этой статьи состоял в том, что уже тогда, в семьдесят третьем году, как писали авторы, «устарели нормативы определения качества строительства. При общей оценке дома не учитывается качество проекта, состояние конструктивных элементов. Да и саму оценку государственные комиссии выносят часто субъективно, без каких-либо расчетов и научных обоснований».

«Что надо сделать?» — спрашивали авторы статьи. И отвечали: подвести научную основу под критерии качества, наладить сотрудничество ученых и строителей.

Я вспоминаю теперь и другие предложения Суровцева, сделанные в печати или на собраниях в комбинате, на партийно-хозяйственных активах. Они сводились к тому, что добротное выполнение работ должно гарантироваться хорошо продуманной системой управления качеством. Есть государственный архитектурно-строительный надзор, есть инженеры управлений. Фактически за качеством следят десятки людей. Если дело в конструкторских и технических изъянах — их устранением должны заниматься инженеры, если ощутим недостаток квалификации рабочего — вступает в дело система обучения. Если налицо невнимательность, халатность — слово предоставляется общественности.

...Эта запись помечена в моей тетрадке июльским днем. Лето было в разгаре, и на окраине, около окружной дороги жара ощущалась лишь немногим меньше, чем в центре столицы. Душно было и на строительной площадке в Ивановском, и в будке прораба, из открытой двери которой доносились громкие голоса. Я приехал к Суровцеву на площадку и неожиданно застал сцену сердитого спора между бригадиром и главным конструктором 12-й мастерской Моспроекта Захаровым.

Мастерская эта осуществляла архитектурный надзор за районом и, как говорили строители, «отвечала за привязку домов на местности». И вот выяснилось, что арка, соединяющая секции дома, монтируемого Суровцевым, была сделана небрежно и какие-то плиты, я точно не смог уловить, оказались уложенными неверно. Захаров требовал срочной переделки. Суровцев оправдывался не слишком энергично, видно, промахи бригады были налицо.

Я же, слушая эту перепалку, подумал о том, что Анатолий Михеевич, который в статье ратовал за тесный союз архитекторов и строителей, получил наглядный пример того, что союз этот основан на взаимной требовательности. Я заметил, что он покраснел, мое присутствие усилило его переживания. Одним словом, он был смущен необходимостью извиняться за бригаду. Он тут же заверил архитектора, что эта оплошность будет незамедлительно исправлена.

— Хорошо, но учтите на будущее,— сказал Захаров.— Вам-то уж, товарищ Суровцев, стыдно должно быть за такие промахи!

— Учтем,— склонил голову Суровцев.

Будка прораба — не только пункт управления стройкой, это и маленький клуб на время обеденного перерыва или пересменки. Громкий голос Захарова привлек внимание, и вскоре в будке стало тесно, подошло несколько монтажников, старший прораб Шмуклер Борис Абрамович, человек лет сорока с небольшим, бывший электросварщик той же суровцевской бригады, успевший заочно окончить институт. Рядом с ним сидел инженер по качеству Иван Иванович Уткин.

Захаров ушел, но разговор продолжался.

Шмуклер вспомнил то время, когда он работал на Карачаевском заводе электросварщиком. Варил там формы для деталей домов.

— Бывало так, что неплотно подходила какая-нибудь металлическая грань. Ну и попросишь: «А ну-ка, Вася, ударь кувалдой». Вася ударяет. Теперь мне варить хорошо. Но форма-то изменилась. Тут бы и подумать о том, что тысячи деталей домов выйдут «горбатыми». Но, к сожалению, таков был стиль, и мало кто задумывался об этом.

Это самокритичное признание прораба заставило и Уткина припомнить, что в ОТК многих заводов девушки-

контролеры форму измеряли... веревкой, натянутой по диагонали.

— Разве это точность! — сказал с горечью Уткин и продолжал: — Мало еще заводской культуры, нет точности подгонки деталей — отсюда и брак.

В беседу втянулся еще мрачно выглядевший Суровцев.

— А какая сталь употребляется для форм? Сталь-три. Самая мягкая, быстро деформирующаяся. Сюда нужны качественные стали.— Он вопросительно посмотрел на Уткина, и тот согласно кивнул.— Да не дают пока.

— Все начинается с ватмана, с чертежа, с проекта,— заявил прораб.— Если там недоработка, то и дальше все пойдет в том же духе.

— Все так,— откликнулся Суровцев.

— Вот ты смотри, Михеич! — доверительно обращаясь к Суровцеву, сказал прораб.— Все хотят, чтобы получалось быстро и красиво. А красота, она требует труда и затрат.

Но Суровцев вдруг изменил тон:

— Все так, товарищи! Но не дело — только заводы винить. Гоним от себя мяч дальше. А сами? Вот сегодняшний случай — разве не урок бригаде? Надо с себя строже спрашивать. Нашего за нас никто не сделает,— и с этими словами он вышел из прорабской на площадку.

Почему мне вспомнился сейчас этот разговор? Я перечитываю записи и вижу — тут проступает та серьезная и все нарастающая озабоченность строителей, то «общее переключение мозгов», как однажды выразился Суровцев, что постепенно становится не только нравственной силою, но и серьезным производственным фактором.

...На этом заседании парткома комбината мне довелось побывать самому. Пришел с разрешения секретаря парткома Дмитрия Ефимовича Легчилина, которого знаю давно, еще с тех пор, когда он был главным инженером в управлении Ламочкина.

На повестке дня стояли «вопросы качества». Суровцев — член парткома сидел за длинным столом в комнате, где все стулья, даже стоявшие вдоль стен, были заняты. Он увидел меня, улыбнулся, коротко кивнул.

Началось заседание. Легчилин напомнил о состоявшемся несколько месяцев назад решении парткома. Ряд

хозяйственных работников комбината получили выговоры. Иным товарищам, виновным в плохом качестве изделий, было строго указано и сделано предупреждение. На заседании предстояло выслушать их отчеты. Что сделано, что делается, каковы перспективы.

Отчитывался главный инженер одного из заводов. Это был как раз один из «строго предупрежденных» товарищей. Дело оборачивалось для него серьезным образом. С интересом я смотрел на этого человека лет тридцати пяти, сравнительно молодого для должности главного инженера. Звали его Евгений Вениаминович.

Отчитывался он «по бумажке», голосом глухим и монотонным перечислял «принятые меры»: проведена аттестация инженерно-технических работников, осваиваются новые детали, укрепляется трудовая дисциплина, идет борьба с браком и т. д.

— Все это чисто административные меры. Но этого мало,— бросил реплику Легчилин,— надо, товарищи, думать о приводных ремнях нашего партийного, общественного влияния.

— Мы это учитываем,— откликнулся докладчик. И продолжал так же бесстрастно: — На заводе создана комиссия по качеству, она разбирает рекламации, которые приходят со строительных площадок.

Вмешался Суровцев. До этого он казался мне спокойным и сосредоточенным. Слушал, делал пометки в блокноте. И вдруг «взорвался». В нем заговорил человек, «болеющий за качество», бригадир почти физически страдающий, когда приходят к нему бракованные детали домов.

— Комиссия «разбирает», а завод опять «собирает» брачок! Так, что ли? — выкрикнул он. — Писать вам рекламации, Евгений Вениаминович, удовольствие маленькое, честное слово!

— Мы усиливаем роль ОТК,— невозмутимо продолжал Евгений Вениаминович.

Видно, это был человек с крепкими нервами. Отчет его, по существу деловой, был вместе с тем лишен той внутренней одухотворяющей силы, той живинки, которую требовала упорная борьба за качество. И это почувствовали члены парткома.

Выступивший тут же вслед за своим главным инженером секретарь парткома завода начал с жалобы на винный отдел магазина, расположенного близко от проходной.

— То мы его закрываем, то они открывают вновь. Тянем канат — кто кого перетянет, — сказал он. — Сейчас опять открыли, план им тоже выполнять надо.

— Что, вам водка качество изделий снижает? — нахмурившись, спросил Легчилин.

— А как же!

— И куда вы хотите винный отдел перебросить? На другую улицу? Пьющему километр — не расстояние. Добегут и туда. Нет, не то. Мельчите проблеме.

— Что же делать, Дмитрий Ефимович? — Секретарь развел руками.

— Всерьез думать о воспитании людей. О душе думать, о нравственном облике. Качество работы — это душа человека. Всерьез поднимать чувство ответственности, мерами политическими, нравственными, а не только эти-ми вашими закрытиями.

— Верно, — быстро согласился секретарь и поспешил перейти к другому. — На изготовление вентиляционных блоков были нарекания. Сейчас завод улучшил их качество.

И тут уже не с репликой, а более пространно выступил Суровцев. Справедливости ради он отметил «сдвиги в сторону улучшения качества вентиляционных блоков», на которые раньше он и сам жаловался, как бригадир. Но, как и многих, его, видно, не удовлетворил отчет главного инженера завода. Я думаю, что Суровцев не почувствовал в нем творческого начала, инициативы. Он вспомнил о другом заводе, где проводятся ежемесячные «дни качества».

— Хорошая идея. Дни контроля и проверки на всем заводе, во всех уголках — говорил он, — и какой проверки — коллективной! Если каждый отвечает за свое, а все вместе за общее — можно добиться здесь успехов. Коллективный контроль — это сила большая, мы знаем по опыту нашей бригады. И еще я хочу сказать — один человек может устать... Но когда это войдет в привычку коллектива, тут уж общему рвению, как говорится, — сноса нет.

— И вот еще, — добавил в заключение Суровцев, — мы теперь успешно применяем немецкий способ заделывания швов между наружными панелями. Начали поступать красивые глазурованные плитки, тоже по типу берлинских. И наши дома теперь уже совсем по-иному смотрятся.

Я заметил, что Суровцева слушали внимательно. Авторитет человека нередко можно определить уже по одному тому, как слушают его выступления. Болтуны не в почете. Реакция на пустопорожние речи — шум в зале, разговоры. Тому, кто уважаем, внимают сосредоточенно, «вбирчиво», как однажды выразился сам Суровцев, т. е. вбирая ценное и полезное.

Выступали тогда и представители других заводов, инженер из ГАСКа — Государственного архитектурного надзора. Звали ее Раиса Давыдовна. Наступила тишина, когда она критически «прошлась» по всем заводам комбината. Говорила горячо, как человек, принимающий дела комбината близко к сердцу.

В этом выступлении не было и тени равнодушия. Сильный, почти звенящий голос, требовавший немедленного исправления недостатков, буквально гремел в комнате.

Дело в том, что представитель ГАСКа имеет право накладывать санкции, штрафы, снимать денежные суммы с общей цифры выполнения плана и даже... остановить завод.

Конечно, это самая крайняя мера, как правило, всегда остающаяся угрозой, но угрозой, могущей подвигнуть на быстрое исправление недоброкачественной работы.

Когда Раиса Давыдовна, разволновавшись, запальчиво воскликнула: «Если вы это не исправите, я останавливаю завод!» — слова ее были встречены всерьез. Я не заметил ни одного человека, который бы отреагировал на это заявление усмешкой.

Остановить завод даже на короткое время в той системе взаимосвязанного графика и почасового ритма, которые существуют в комбинате, означало остановить и весь индустриальный конвейер. Пойти на это могут вынудить лишь чрезвычайные обстоятельства. Это понимали все. Как, должно быть, и то, что работа представителей ГАСКа как раз и заключается в том, чтобы предотвращать подобные роковые ситуации, не сдавая при этом своих позиций максимальной взыскательности и требовательности.

Поддержал ли партийный комитет тогда такую острую постановку вопроса? Да, поддержал! Всеми силами, всеми мерами партийного влияния на коммунистов, на руководителей всех производственных звеньев.

— Вопрос о качестве, товарищи, не снят с повестки дня этим заседанием. Да и не может быть снят,— сказал Легчилин в заключение.— Мы стоим перед перспективой постоянности наших усилий и самоконтроля над качеством. Сейчас у нас переходный период к новому проекту. Но и девятиэтажек еще делаем много. Значит, поднимая уровень качества на старых деталях, мы должны перенести его и на изготовление шестнадцатиэтажных зданий. Это закон поступательного движения. Достижения сегодняшнего дня для нас лишь ступенька, ведущая вверх по лестнице нашей неустанной борьбы за качество...

Это верные и бесспорные мысли не только для семьдесят третьего года. Уверен — Дмитрий Ефимович Легчилин подписался бы под ними и сегодня.

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Всякая инициатива только тогда оказывается эффективной, если она совпадает с ведущими тенденциями времени. Жизненность любого начинания проверяется глубиной перспективы.

Содружество строительных бригад Москвы и Берлина за эти годы все время прирастало за счет новых контактов, взаимных поездок и общей работы то на стройках Советского Союза, то Германской Демократической Республики.

Теперь монтажники и отделочники не только первого, но и Второго Московского домостроительного комбината начали приезжать на Вонунгсбаукомбинат. К организации таких поездок подключились профсоюзы. Была найдена и оптимальная форма включения в производственную жизнь на строительных площадках двух столиц.

Конечно, существуют языковые барьеры, но они снижались с помощью переводчиков. В качестве переводчиков использовались главным образом студенты, изучающие и русский и немецкий. Им была полезна такая практика, как и само знакомство с рабочей средой.

Я привез из Берлина книжку, изданную Вонунгсбаукомбинатом. Она целиком посвящена рассказам о двух таких «рабочих декадах», проведенных в семьдесят третьем году. Называется книжка «Друзья учатся друг у друга».

Небольшая, но, право же, это интересная и важная книжка,носящая далеко не прикладной характер. В ней есть зримые проблески той новизны бытия, такие коммунистические черты рабочей жизни, которым, безусловно, суждено расти и развиваться в глубину, сближая крепчайшими интернациональными связями братский союз рабочих социалистических стран.

В этой книжке много снимков, иные из них очень красноречивы. Да и есть ли нужда объяснять очевидное, нужны ли слова о дружбе, если ею искрятся глаза, жесты, улыбки рабочих, русских и немцев, вместе, в своих запачканных краской спецовках идущих на работу!

Рабочую делегацию москвичей тепло приветствовал первый секретарь Берлинского горкома СЕПГ товарищ Конрад Науман. На снимке он пожимает руку руководителю группы инженеру Александру Петровичу Рошину.

Я смотрю на многочисленные изображения женщины-маляра Лидии Романовны Павшко, на лица столяров Федора Баринаова и Михаила Соловьева — это они и их товарищи по стройке рядом с немецкими коллегами Гердом Петровски, Кристианом Альтманом, Гербертом Дитрихом.

Что можно добавить к фотографии, на которой Лидия Павшко, маляр с двадцатилетним стажем, партгрупорг «берлинской бригады» с очевидным удовольствием вместе с молодым рабочим Кристианом Альтманом оклеивает обоями стену комнаты. А рядом Баринов и Соловьев с Гердом Петровски, как говорят строители, «оборудуют столярку» в новой квартире.

Изображены они на снимках в столовой, в кафе, за игрой в кегельбан. Танцуют, развлекаясь в вечерние часы, или же собрались всей группой за праздничным столом в семье Кристиана Альтмана — в центре хозяин, а вокруг него шестеро мужчин и четыре женщины, рабочие и работницы из Москвы.

Вскоре после того как москвичи отработали свою декаду в ГДР, в нашу столицу отправилась группа берлинских строителей. Я читал их краткие отзывы, напечатанные в книге «Друзья учатся друг у друга». Рабочие вынесли из этой поездки впечатления сильные и радостные и извлекли для себя много пользы. Об этом пишут Вольфганг Майер и Вернер Солингер — маляры, Манфред Мопкорп — специалист по настилке полов, монтажники

Дитер Нойман и Иоган Губерт. В Москве в Кунцеве они отделали несколько квартир по своей технологии, но из тех материалов, которые нашлись в Домостроительном комбинате № 2.

Надо ли писать о том, что в программу такой декады, кроме собственной работы, входило, конечно, и знакомство с заводами и стройками комбината, с Москвой, с тем, что можно успеть посмотреть за десять дней, чтобы составить себе представление о богатствах музейных, культурных, духовных, а самое главное — о современной арене поистине великого градостроительства в Москве.

Тем же летом семьдесят третьего, как это бывает каждый год и порою по несколько раз, от Берлинского восточного вокзала отошел «поезд дружбы», направляющийся по маршруту: Минск — Ленинград — Москва. В этом поезде ехал еще один рабочий из Вонунгсбаукомбината, впервые пересекающий границу нашей страны, монтажник и крановщик Гюнтер Шольц.

С Шольцем я познакомился спустя три года. Теперь уже, в какой-то мере зная его как человека и строителя, я, наверно, мог бы представить себе круг его интересов на стройках Минска, Ленинграда и Москвы, куда берлинский монтажник стремился попасть в первую очередь. Возможно, я смог бы, так сказать, спроецировать его личность на события трехлетней давности, но мы не успели поговорить об этой поездке подробно, и не в моих правилах присочинять и домысливать факты. К тому же выводы Шольца, как он мне сказал, в основных чертах совпадают с тем, о чем свидетельствуют в книге его коллеги по комбинату, поработавшие в Кунцеве. Теперешний передовой рабочий, член партии, уважаемый в комбинате человек Гюнтер Шольц сформировался во многом под влиянием впечатлений детства, а оно совпало с разгромом нацизма, событиями весны сорок пятого. С этого и хочется начать.

Кёпениг — восточная окраина Берлина. Сейчас это промышленный район, в сорок пятом предприятий здесь было меньше. Но завод электрических кабелей — «Кабельверке» находился на том же месте, на берегу Шпрее. Массивные корпуса предприятия отражаются мерцающими линиями на легкой зыби вод, вокруг сосны, клены, дубы, в обе стороны широко раскинулись рощи и парки. Это еще и район спортивных сооружений — зона отдыха и пригородных дачных поселков.

Около «Кабельверке» жила семья Шольц, отец Гюнтера был пожарником. В сорок третьем Шольцы переехали в Кюстрин, через год вернулись в Берлин.

Гюнтер объяснил это одним словом — «соскучились!». Я же подумал, что тогда он был слишком мал, чтобы вникать в мотивы семейных переездов, их набиралось достаточно в тревожное и неустойчивое военное время.

Соскучился по родному дому, наверно, более всего сам мальчик — Гюнтер, привыкший к товарищам из таких же рабочих семей, живших в маленьких домиках неподалеку, к лесному и озерному раздолью Кёпенига. Здесь в сорок четвертом маленький Гюнтер пошел в первый класс средней школы.

Однако учеба продолжалась недолго. Все чаще падали бомбы на Берлин, все ближе пододвигался фронт, и когда артиллерийская канонада, подобно весеннему грому, начала греметь уже над небом Кёпенига, учителя, среди которых было немало убежденных нацистов, покинули школу.

— Дети остались без учителей, — вспоминал Гюнтер. — Однако мы продолжали ходить в школу и заниматься под руководством наших старшеклассников.

В те десять дней конца апреля сорок пятого года, когда бои огненным валом уже катились по кварталам Берлина, дети не выходили на улицу, а сидели в бункере, то есть в подвале под домом, в бомбоубежищах, которые, как это нередко делалось в те дни, делились на узкие пеналы «семейных отсеков».

— В нашем бункере родилась моя младшая сестренка — Ингрид, — продолжал Шольц. — Ее так и называли долгое время «бункеркинд» — дитя бункера.

Гюнтер Шольц рассказывал, а я вспоминал дни боев за Берлин. Мы видели тогда много таких семей, загнанных под землю, тяжело расплачивающихся за преступления нацистов. В одну такую апрельскую ночь мне не спалось, и я вышел во двор берлинского дома, в котором ночевала наша радиогруппа. Бледный свет луны едва проникал в глубокий каменный колодец двора. У входа в бомбоубежище дежурили двое немцев. Сняв шляпы, они поклонились.

Во дворе стояли бочки с песком, лежали лопаты, лом, совки — для тушения пожаров. Я решил зайти в бомбоубежище. Два марша лестницы вели вниз, затем — бетон-

ная дверь, а за нею продолговатое, с низкими сводами помещение.

По углам здесь чадили коптилки. Всюду вдоль стен тянулись ряды кроватей, полевые койки, нары, а в центре помещения находился стол, видимо, для еды.

Все здесь выглядело грязным, напоминало тюремную камеру. Тяжелый, спертый, с прокисшими запахами воздух. И дикой казалась мысль, что таким воздухом люди должны дышать и днем и ночью.

Жители дома, по сути дела, давно уже переселились в это убежище, приспособив, как могли, подвал под жилье. Иные находились здесь в течение месяцев. Лежали на нарах, положив под изголовье рюкзаки, покрытые каким-то тряпьем.

Сюда же в бункер стаскивали и раненых из числа гражданского населения. И в ту ночь в бункере я заметил несколько носилок. Госпитали были переполнены, а гражданских лиц не брали и в больницы. Лишенные медицинской помощи, они, по сути дела, были предоставлены сами себе.

Помню двух старух, сидящих около носилок с больным, тускло горящую свечу на столе, около которой, приспособившись, какой-то человек читал газету. Может быть, это был дежурный.

Одним словом, убежище произвело тогда на меня тяжелое впечатление.

Правда, летом сорок первого мне приходилось спускаться в подобные подвалы у нас в Москве. Но там царила иная атмосфера, иной порядок, иной дух — надежды и стойкости. Не было в помине давящей на сердце обреченности, угнетения, слабости и отчаяния, которыми, казалось, все было пронизано в этом, одном из тысяч бункеров, где прятались от бомб и снарядов жители фронтового Берлина.

— У нас была маленькая комната на восемь коек, — сказал мне Гюнтер, — здесь же варили еду. В основном, это были жидкие супы. Мне было семь лет, я это хорошо помню.

Семилетний мальчик! Много ли помнят дети в этом возрасте? Гюнтер пояснил, что дети, как ему кажется, легче переносят страдания, обращая внимание лишь на физическую их сторону, нравственные муки им еще неизвестны. И время воспринимается в общей эмоциональной окраске событий в каком-то одном тоне.

Так ему запомнилось то общее чувство тревоги и напряжения, которое охватило всех в бункере, когда линия фронта перекатилась через Кёпениг, и отец, мать, бабушка и дед все время повторяли: «Русские здесь!»

И еще он помнит переход в квартиру, в свой дом, который оказался неразрушенным, если не считать того, что «половину крыши унесло».

Вскоре дед Гюнтера пошел работать в овощехранилище и взял с собою мальчика. Здесь Гюнтер впервые увидел военные походные кухни. А около них — русских солдат. Он видел, что немцы, и маленькие, и взрослые, подходят к этим кухням с кастрюлями. Он тоже взял кастрюлю и получил обед.

«Хлеб, вода, масло» — вот первые русские слова, которые он выучил.

Пока шли бои, в квартиру Шольцев по ночам стучали патрульные: искали гитлеровцев.

«Бабушка Фрида спокойно открывала им дверь, вежливо разговаривала с советскими солдатами. Ведь нашей семье нечего было бояться».

Советская комендатура района Кёпениг располагалась на большой даче, ребята называли ее «дворцом». Принадлежала она какому-то сбежавшему богачу и располагалась у самого берега Шпрее. Немецкие мальчишки, и Гюнтер с ними, бегали сюда — смотреть на часовых, на русских автоматчиков. Около комендатуры всегда стояли машины, и нередко офицеры, уже знавшие Гюнтера в лицо, приглашали его прокатиться по парку.

Не так давно в ГДР вышел роман Зигфрида Мааса «Я хочу взобраться на башню», роман о дружбе десятилетнего мальчика, а потом юноши с советским офицером-комендантом. Роман о детской душе, о первых привязанностях, надеждах. Героя книги тоже зовут Гюнтер.

Мне довелось познакомиться с автором, чье военное детство оказалось похожим на детство Гюнтера Шольца. Роман во многом автобиографичен. Гюнтер Шольц, читавший эту книгу, сказал мне, что таких мальчиков в Германии насчитывалось тогда много.

И хотя у молодого Гюнтера и не было такой близкой и постоянной дружбы с кем-то из советских офицеров, он, безусловно, вынес из необычного и сурового своего детства глубоко запавшее ему в душу чувство уважения и симпатии к людям в военной форме советских воинов, которые и кормили и ласкали его. Они-то и помогли Гюн-

теру Шольцу «взобраться на башню», с высоты которой он хорошо увидел пути-дороги, ведущие в будущее.

Гюнтер Шольц стал строительным рабочим. Он учился два года в «школе каменщиков», а потом и на курсах машинистов крана, и вот уже более двадцати лет трудится в Вонунгсбаукомбинате. Срок для рабочего человека немалый, если учитывать те физические нагрузки и пребывание в любую погоду под открытым небом, которые присущи его нелегкой профессии. Может быть, именно поэтому, к тем школам, которые Гюнтер закончил, надо добавить и учебу у мастеров-строителей, таких, как Ральф Тишендорф или Герберт Кольман.

Свою бригаду Шольц создал четыре года назад. Теперь она уже носит наименование «Коллектив социалистического труда», многие строители имеют звание «активист труда», которое присуждается одновременно с премией в триста марок. Сам Гюнтер Шольц награжден орденом Карла Маркса.

Как раз в дни нашего пребывания в Берлине Шольц приступил к занятиям в партийной школе с годовым сроком. Бригадир у сохраняется его зарплата на все время учебы, а затем он вернется в свою бригаду или же получит новую, а пока на прежней должности его замещает монтажник Герхард Хениг.

Шольц вступил в партию в шестьдесят пятом году. Восемь лет он руководил партийной ячейкой, не раз избирался в партийное бюро комбината. Его активность и энергия находят себе применение в сферах производственной и партийной, общественный темперамент Гюнтера ощущается не только в том, что он делает, но и в том, как он мыслит.

Личность рабочего человека, взятая в совокупности его увлечений, интересов, интернациональных связей,— разве не важная тема для публицистических размышлений! Невольно я сравнивал Гюнтера Шольца с моим другом Суровцевым или Клаусом Шебетшеном, строителем из организации «Панель» в Будапеште.

Конечно, этого еще маловато для широких обобщений. Да я и не ставлю перед собою такой задачи. Но разве можно пройти мимо той очевидной похожести, я бы сказал, родственной близости, которая выражает себя в духовном облике современных рабочих стран социализма.

Мы ехали на машине Гюнтера — старенькой «Шкоде», которую бригадир мечтает поменять на «Жигули», от

Вонунгсбаукомбината к его дому, когда на одной из строительных площадок мелькнул силуэт высокого крана.

— Советской конструкции,— пояснил Гюнтер.— Вы знаете, я пятнадцать лет проработал на таком кране машинистом. Освоил его в совершенстве и горжусь этим.

Мне показалось, что Гюнтер гордится не только тем, что он освоил кран. Он работал именно на советском кране, и это ему не безразлично.

Должно быть, по ассоциации он тут же вспомнил, что в его бригаде в семьдесят пятом году трудились две недели «трое комсомольцев из Москвы». Гюнтер сказал, что они приехали в трудный момент, когда бригада приступила к освоению новой серии домов.

— Было много сложностей,— продолжал он,— но мы остались довольны работой москвичей. А они — своим пребыванием у нас. И поработали, и по стране поехали, соединили полезное с приятным.

Я чувствовал, что разговор об этом взял Гюнтера за живое. Он сказал мне, что представляет себе такую последовательность развития содружества: сначала обмен опытом, потом выработка общего метода, технологии, принципов организации производства, которые бы вобрали в себя все лучшее, что есть у строителей и в Москве, и в Берлине.

Эта мысль интересная, хотя, возможно, и дискуссионная. Во всяком случае с каким-то конструктивным содержанием, она показалась мне вдвойне примечательной потому, что родилась у человека, раздумывающего о проблемах, которые выходят далеко за пределы его непосредственных обязанностей. Озабоченность делами, которые касаются не только бригады или комбината, но всего строительного фронта, проходящего через многие страны социализма,— разве не доказательство прежде всего богатой духовной жизни самих строителей.

Гюнтер еще в машине сказал мне, что он «любит работать с молодежью». Здесь много аспектов, но прежде всего, конечно,— производственный. Год от года в бригаде растет производительность труда. Еще недавно они сдавали 90 квартир за 100 дней, теперь успевают сделать те же 90 квартир за 30 суток. Производительность выросла втрое. Конечно, в этом немалая заслуга и московских строителей.

— Когда я закончу партийную школу, то знаете ли, чего бы я хотел? — спросил меня Гюнтер.

— Нет, откуда же мне знать?

— Я же сказал, что люблю молодежь. И поэтому хотел бы получить новую молодежную бригаду. И начать создавать хороший коллектив. А теперешнюю отдал бы заместителю Хенигу.

— Вот как!

Наверно, Гюнтер уловил какую-то тень удивления в моих глазах. Да так оно и было. В самом деле, кому не известно, что заново создавать коллектив — дело нелегкое. На это порою уходят годы, воспитательная работа требует немало сил и терпения. Я знал бригадиров, которые, как говорится, «зубами держались» за сколоченный с трудом коллектив.

А тут — самому взвалить на плечи новые заботы, при этом вряд ли рассчитывая на быстрый эффект, какую-либо личную выгоду! Бескорыстие Гюнтера Шольца напомнило мне широко популярное в свое время движение, названное именем ткачихи Валентины Гагановой, — движение за переход мастеров труда в отстающие бригады.

Я подумал тогда: благородное желание Гюнтера было для него органично и естественно, потому что прочно связывалось с представлениями о рабочей чести, о партийном долге, о существе жизни.

«Жить по-социалистически!» Это понятие Гюнтер распространял на все стороны жизни своей бригады.

Втрое увеличить производительность — это по-социалистически. Экономить материалы, заботиться о людях, думать о государственных интересах — это по-социалистически.

Строители из бригады Ральфа Тишендорфа, где Гюнтера не забыли, приглашают его на прогулки за город или посидеть за кружкой пива в баре, обговорить свои дела, если надо помочь советом, — это значит для Гюнтера: жить по-социалистически.

Когда у них в бригаде тяжело заболела жена рабочего — легла в больницу, а он должен был сидеть дома с ребенком, то коллектив решил: полученные за счет сверхурочной работы деньги отдать товарищу, чтобы оплатить ему вынужденный отпуск.

— Правда, мы немного рисковали перед финансовым контролем, — признался Гюнтер, — Инициатива выходит за рамки правил, однако мы это сделали для нашего друга.

Поступок бригады, отмеченный высокой мерой добра и сочувствия к товарищу по работе, тоже для Гюнтера Шольца входит в понятие: «жить по-социалистически». И в своей семье, насколько я мог заметить, воспитывая сыновей, внимательно относясь к жене, Гюнтер Шольц тоже стремился строить свой быт по-социалистически.

Мне понравилась его трехкомнатная квартира в доме, где уровень комфорта и удобства достаточно высок. Здесь все целесообразно и нет ничего лишнего. Ну, а телевизор, радиоприемник, проигрыватели, хорошая мебель — все это есть сейчас в любой квартире рабочих Вонунгсбаукомбината, чья современная обстановка мало чем отличается, скажем, от трехкомнатной квартиры Суровцева в Москве.

Я обратил внимание на большой книжный шкаф и русские книжки на полке. Зигфрид, старший сын, изучает русский в школе.

Хозяйка квартиры Моника находилась на службе, она кельнер в молочном баре и заведующая этим баром одновременно. Так что хлопоты по угощению гостей взял на себя Гюнтер и делал все быстро и ловко, как человек, привыкший помогать жене по хозяйству.

— В субботу и воскресенье жена на работе, дома хозяйничаю и занимаюсь воспитанием детей я, — сообщил он.

Пока Гюнтер варил кофе, я рассматривал семейный альбом и узнал, что полтора года Шольц отслужил в армии, был младшим офицером. Военная форма шла к его плотной и статной фигуре. Зеленоватый френч хорошо облегал торс. Атлетическое сложение Гюнтера Шольца, пожалуй, еще более отчетливо заметно на снимках, где он в белой рубашке и летних зеленых брюках гуляет по лесной дороге со своими двумя мальчиками.

Пока мы беседовали, старший мальчик появился в квартире. И чтобы проверить, как сынишка осваивает русский, отец попытался наладить между нами разговор. Но Зигфрид смущался. Пробормотав несколько русских слов, он предпочел убежать во двор, где его ждали товарищи.

— У меня есть брат, младше на двадцать один год, зовут его Ерген, так вот он поступил учеником на наш комбинат. Я надеюсь, — разоткровенничался Гюнтер, — что мой Зигфрид сделает то же самое, когда вырастет.

Беседа наша коснулась увлечений Гюнтера — с юношеских лет он любит изготавливать летающие модели самолетов, коллекционировать открытки и марки. И все же

главное увлечение то, которое он сам определил фразой: «люблю работать с молодежью».

«Работать с молодежью» — как я понял, это значит придавать большое значение воспитательным функциям бригадира-наставника, думать и заботиться о людях, поддерживать их в трудную минуту, быть по-человечески, по-партийному внимательным к ним и стараться делать все возможное, чтобы все более высоким становился уровень их профессионального мастерства.

Гюнтер Шольц рассказал мне:

— Из нашей бригады за четыре года вышло два мастера, несколько человек стали инженерами, повысили свою квалификацию наши крановщики, сварщики. В другие бригады отдали пять хороших специалистов. Это, я считаю, — хорошие перемены. А просто уходов из бригады у нас почти не было.

Таковы некоторые черточки живого облика Гюнтера Шольца, современного рабочего, одного из многих в семье берлинских строителей.

ЭТАЖИ СУРОВЦЕВА

Анатолий Михеевич, проведя свой отпуск в Берлине и попрощавшись с друзьями в августе семьдесят шестого, не предполагал, конечно, что пройдет всего два с половиной месяца, и он снова появится здесь уже в пятый раз, и с совершенно конкретными деловыми целями.

20 ноября в Берлин приехала представительная делегация МГК КПСС и Московского городского Совета во главе с первым заместителем председателя исполкома Моссовета Алексеем Ивановичем Яшиным.

В делегацию входили партийные и хозяйственные работники, московские архитекторы, работники заводов и домостроительных комбинатов, проектных институтов. Бригадиров-строителей представлял Суровцев. Всего в группе было двадцать человек.

Анатолий Михеевич назвал эту группу рабочей. Он имел в виду не занимаемые должности, а характер деятельности делегации, существо самой той работы, которая была подчинена изучению опыта немецких строителей во всех аспектах и направлениях.

Поездка началась с посещения Берлинского магистрата, затем Академии строительства. Делегацию принимали

в Берлинском горкоме СЕПГ, в советском посольстве, в Центральном обществе немецко-советской дружбы. Потом члены делегации, разбившись на группы, занялись каждый своим делом. Суровцев поехал по стройкам. Кроме Вонунгсбаукомбината, он побывал и на строительных площадках Дрездена и Майсена.

Рабочий опыт и деловая инициатива — всегда в развитии, в движении. Богатства их, по сути дела, неисчерпаемы. В этом Суровцева убеждала каждая его поездка в ГДР. Вот и теперь он возил с собою толстую тетрадь для записей. Казалось бы, он многое здесь знает, многое видел. Однако страницы его тетради все пополнялись новыми записями.

Просматривая их, я обратил внимание на решительные пометки Анатолия Михеевича: «Взять лучшее!», «Взять на вооружение!». Это относилось к тем технологическим или организационным новинкам, которые он наблюдал, оценил и решил, что их можно и нужно применить у себя дома.

Потолочные обои. В бригаде Суровцева женщины-маляры сначала шпаклюют потолок, а это физически нелегко, потом его красят. Немецкие строители только наклеивают потолочные обои. Получается быстро, аккуратно, с меньшей затратой труда.

Окраска коридоров, холлов. У нас сначала шпаклевка, потом покрытие масляными красками. Немцы всюду клеют обои, а затем наносят на них специальный лак. Такие обои можно мыть.

Я увидел рядом с этой записью пометку Суровцева — «Взять на вооружение!».

Наливные самовыравнивающиеся полы. С помощью насоса жидкий раствор быстро разливается по полу. Такая технология экономична, оригинальна. И как в первых двух случаях — уменьшаются трудозатраты. И снова пометка Суровцева: «Взять на вооружение!».

Мне нравится эта формулировка. Есть в ней волевое начало, какая-то особая живительная энергия, присущая хозяину положения — рабочему человеку.

И еще — о характере самого Суровцева. Ведь ездить по зарубежным стройкам тоже можно по-разному. И надо иметь деловую страсть в этих поисках, чтобы отыскать драгоценные крупинцы опыта «по своей линии», как однажды выразился Анатолий Михеевич. Потому что его товарищи по делегации делали то же самое «по своим

линиям»: архитектуры и проектирования, организации и планирования производства.

Было у Анатолия Михеевича и свое особое задание. Он приехал в Берлин еще и затем, чтобы заключить договор о соревновании с новой строительной бригадой, которая бы заменила ему бригаду Курта Бромберга, откуда сам бригадир и другие монтажники ушли работать на заводы. В Вонунгсбаукомбинате он узнал имя строителя, который захотел продолжить начавшуюся традицию. Это был Герой труда ГДР бригадир Герберт Кольман.

Кольман! Суровцеву это имя говорило о многом. Вспомнился первый приезд в Берлин, работа в бригаде Кольмана на высотном здании. Уже тогда он впервые почувствовал не только профессиональный рисунок мастерства Кольмана, но и чисто человеческие его черты, силу и цельность характера. Суровцеву и потом не раз приходилось встречаться с Кольманом. От Курта Бромберга он немало слышал о товарище по комбинату.

Узнав, что теперь он будет соревноваться с Кольманом, Суровцев, естественно, вспомнил все, что немецкий бригадир писал или говорил о «счастливом часе» начала дружбы между строителями двух столиц, и то, как Кольман сам себя называл «учителем молодежи».

Конечно, молодежь есть в каждой строительной бригаде, работа с молодыми — долг и обязанность бригадира. Уж кто-кто, а Суровцев, вырастивший в своей бригаде двадцать пять человек с дипломами высшего и среднего образования, немало звеньевых, двадцать три бригадира, — знал это хорошо.

И все же! Когда Суровцев узнал, что Кольман по своей воле «берет уже третью бригаду молодых», а следовательно, еще малоопытных строителей, — это произвело на него впечатление. Есть факты и поступки, говорящие сами за себя. И нет нужды их комментировать. Я вспомнил Гюнтера Шольца, который говорил мне о таком же намерении работать с молодыми. Однако у Кольмана это было уже не только желание, а реальный итог многолетнего труда.

Суровцев подумал о том, что Кольман сам взвалил на себя нелегкие обязанности, нимало ими не тяготясь. Кольман — постоянный наставник. И это говорит о нем как о хорошем человеке и коммунисте. Недаром Герберт Кольман, как и Курт Бромберг, — член пленума Берлинского горкома СЕПГ.

Ныне Кольман занят работой не совсем обычной — возводит панельно-каркасные дома для престарелых. Дома семиэтажные, особой конструкции, с максимумом бытовых удобств. И хотя, казалось бы, это не имеет прямого отношения к технологии строительства, все же рабочим не безразлично, что их работа выражает заботливое отношение государства к старым и заслуженным людям.

Мысли эти, столь естественные и по-человечески понятные, не случайны. Таков психологический климат, в котором живет ныне бригада Кольмана. Может быть, именно поэтому Кольман так подробно рассказывал Суровцеву об этой работе и показывал дома и квартиры, где в каждой — хорошая кухня с холодильником, удобная мебель, телевизор, есть комнаты для постоянно дежурящих врачей.

Бригаде Кольмана предстоит построить за год семь таких больших зданий. Суровцев сказал мне, что это достаточно напряженная программа.

Подписание договора о социалистическом соревновании, которое венчало собою деловую встречу московской делегации с передовыми строителями Берлина, происходило в здании самого Вонунгсбаукомбината.

Строители сидели за столом, который был украшен государственными флажками СССР и ГДР. Берлинское телевидение вело репортаж, подробные отчеты появились в газетах. Все это придало событию значение важного, торжественного акта.

Был здесь и Курт Бромберг, ставший уже старшим мастером на заводе. Суровцев и Кольман в своих речах с благодарностью вспомнили о нем как о человеке, который помог упрочению ценной инициативы.

Новый договор имеет семь пунктов. Так как типы возводимых бригадами зданий не всегда совпадают, соревнование будет идти по показателям затрат труда, по выработке на каждого рабочего, внедрению новой техники и экономии материалов, качеству и культуре производства.

Особая строка — решение о ежегодном обмене группами строителей для совместной работы на берлинских и московских стройках. По десять человек в течение месяца...

...Я приехал на строительную площадку бригады Суровцева вскоре после возвращения его из Берлина. Искать Анатолия Михеевича на этот раз пришлось на юго-

западе, вблизи метро «Академическая». Здесь на улице Кедрова поднималось в небо несколько шестнадцатиэтажных башневидных зданий — новая типовая серия. Невольно я вспомнил, что честь монтировать первенец этой серии завоевала именно бригада Суровцева.

Теперь строительство таких шестнадцатиэтажек пошло широко по Москве, их делают все три комбината и тресты Главмосстроя. И для бригады Суровцева возведение таких домов стало делом обыденным, если, конечно, можно считать обыденным тот примечательный факт, что за два года строители сократили сроки монтажа вдвое. Первые дома монтировались в темпе: этаж — за шесть дней. Это и сейчас так называемый «усредненный норматив для домостроительных комбинатов и трестов». Ныне же график бригады Суровцева предусматривает неукоснительный ритм: этаж — за два дня.

Я назвал этот факт примечательным. Но если бы даже назвал его удивительным, то и здесь не погрешил бы преувеличением. Ведь новый дом не только больше по своим объемам, более красив и внешне выглядит «представительнее» и намного сложнее по конструкции.

Переход на новую конструкцию, будь то машина, агрегат или дом, всегда требует преодоления начального периода освоения проекта, наладки технологического конвейера, отличного от прежнего.

Освоение нового всегда связано с определенными трудностями. На первых порах неизбежно снижаются темпы. В короткие сроки их следовало выровнять, добившись прежней эффективности и качества. Бригада справилась с нелегкой задачей и вскоре стала сдавать дома «с первого предъявления», — ныне на каждый дом выдается гарантийный паспорт.

Опыт бригады Суровцева в октябре 1976 года был рассмотрен и одобрен на заседании бюро МГК КПСС. В Ленино-Дачном, где в то время работала бригада, состоялся двухдневный Всесоюзный семинар по изучению методов монтажа двух бригад: Авилова, возводящего девятиэтажные дома, и Анатолия Суровцева, монтирующего шестнадцатиэтажки.

Мне приходилось бывать на таких семинарах. В свое время их проводил Герой Социалистического Труда бригадир Владимир Копёлев, ныне начальник того самого пятого строительного управления, где работает Суровцев. Подобные семинары — это наглядная школа мастерства.

Мастерство же конкретно и вещно и становится весомой материальной силой, когда им овладевают многие строители.

Поэтому я не удивился, когда узнал, что на семинар съехалось около четырехсот участников со всей страны — главные инженеры трестов и управлений, начальники технических и плановых отделов, бригадиры.

К Суровцеву в Ленино-Дачное приезжало примерно по сто сорок человек в день. Бригадир беседовал с ними «на корпусе», как говорят строители, и в красном уголке, в бытовках, на строительной площадке.

Теперь эти бытовки — передвижные вагончики — перекочевали на улицу Кедрова. Вот в одном из них я и встретился с Анатолием Михеевичем.

Если бы я начал вспоминать все те районы Москвы, где в течение девятой и первого года десятой пятилетки видел Суровцева в работе, то пришлось бы вспомнить и Вешняки — Владычино, и Печатники, и Ивановское, и Теплый Стан, и Свиблово, и многие, многие другие места. Так я невольно изучил строительную географию новой Москвы. Идя «по следам Суровцева», от каждой нашей новой встречи получал и радость, и душевное удовлетворение. Всегда приятно видеть рабочего человека, круто набирающего высоту в своих делах и сознающего при этом всю меру ответственности.

Стоял приятный зимний денек, не слишком холодный, всю ночь густо валил снег и утром ослабел, но еще продолжалось кружение легких, чистых хлопьев. Всюду выросли сугробы на строительной площадке, рыхлую массу снега уминали скаты тяжелых панелевозов.

Суровцев работал на четвертом этаже. Увидев меня, спустился на землю. Затем вдвоем мы зашагали в район бытовок. Экономя время, а Суровцев всегда этим озабочен, мы начали разговор, что называется, «на ходу». Анатолия Михеевича с утра уже ловили корреспонденты ТАСС. А днем должны были приехать на площадку секретари обкомов комсомола. В Москве шло какое-то совещание, и комсомольские вожаки заинтересовались опытом суровцевской бригады.

Суровцев начал с сообщения, что монтируемый им дом уже третий сверхплановый! Основной план первого года пятилетки бригада выполнила еще в сентябре.

Есть ли чему здесь удивляться? Есть! Я знаю, как

высок общий темп работы в комбинате. На стройке все точно высчитано по графикам снабжения, транспорта, комплектации деталей. Зимние условия — это все-таки зимние условия. И при всем при том «выдать» три сверхплановых «шестнадцатизатжки»! Не означает ли это, что в бригаде люди действительно работают по меркам высокой рабочей совести!

— План юбилейного, семьдесят седьмого выполним к празднику шестидесятилетия Октябрьской революции,— добавил Суровцев, и я по опыту уже многолетнего своего знакомства с бригадой не сомневался, что так оно и будет.

Мы сидели за столиком у окошка хорошо натопленной бытовки, неподалеку за другим столиком несколько рабочих, в обеденный перерыв зашедшие сразиться в шашки, курили, тихо разговаривали, не прислушиваясь к нашим голосам и стараясь нам не мешать. Суровцев снял каску, под которой был надет шерстяной шлем, он снял и его, ослабил широкий, во весь живот монтажный пояс и растянул меховой воротник своей новой, зеленого цвета спецовки. В этом зимнем рабочем облачении ему было, видно, жарковато.

Мы вспомнили сначала Берлин: Шротера, Краузе, Бромберга, Кольмана. Потом перешли к бригадным новостям, и тут Анатолий Михеевич сказал, что у них появится скоро «двадцать шестой диплом»: плотник Николай Колодяжный заканчивает институт, штукатуры Таня Ефимова и Галя Пухова поступили в школу рабочей молодежи, сам Суровцев, закончив десятый класс, по примеру московского друга Владимира Копелева и берлинского Курта Бромберга думает поступить в Высшую партийную школу.

И раз речь зашла об учебе в широком ее понимании, Суровцев вспомнил, что недавно у него на площадке гостили пятьдесят бригадиров-строителей с БАМа, изучали опыт, и поскольку сам он в это время находился в ГДР, семинар проводили его заместитель Слава Чеховской и старший прораб Алексей Васильевич Фомин.

— Когда тебя могут заменить товарищи, это означает, что воспитательная работа в коллективе идет нормально,— сказал он при этом.

Двадцать девятого апреля этого года исполнилось ровно двадцать лет существования бригады.

— Собрались все с семьями,— вспоминал позже Суровцев.— Отпраздновали. Событие все-таки! У нас шесть человек в бригаде с самого основания. Электрик Владимир Царьков, звеньевой Александр Шицков, бетонщик Леонид Худяков, штукатур Клава Проничихина, другие. Ветераны! Я — третий бригадир, после Масленникова и Гусева, и в коллективе уже десять лет.

Так живо и заинтересованно говорил Анатолий Михайлович, ныне лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда, о юбилее, так сказать, бригадного масштаба. Я же слушал Суровцева и думал: «Двадцатилетний юбилей обычной строительной бригады. Велико ли событие? Да еще в наши дни, когда даже полеты в космос стали в чем-то привычными и обыденными!»

Однако ведь и в капле воды в какой-то мере отражается океан. И малое это событие, которое, кстати говоря, было отмечено в передаче по Центральному телевидению, для товарищей Суровцева стало вехой важной и волнующей, подводя итоги их честному, скромному, славному двадцатилетнему труду.

Жизнь бригады Анатолия Суровцева! Мне кажется, она интересна и необычна. Ее конкретный и поучительный опыт, по сути дела, отражает общий процесс взаимодействия творческого опыта стран социализма. Новаторская практика строительных бригад в Москве и в Берлине с таким, на мой взгляд, глубоким интернациональным содержанием, прочность дружбы и накал разгорающегося соревнования — все это, безусловно, активно формирует личность современного рабочего человека. А следовательно, и достойно серьезного общественного внимания.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ВРЕМЯ СТРОИТЬ. *Роман* 3

ОЧЕРКИ

Групповой портрет	281
Эстафета	333
Горячий август в Берлине ,	401

Медников А. М.

М42 Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. Время строить: Роман; Очерки / Худож. С. Соколов.— М. : Худож. лит., 1983.— 495 с.

Во второй том Избранных произведений Анатолия Медникова вошли роман «Время строить» и цикл документальных очерков о современном производстве и людях труда.

М 4702010200-263
028(01)-83 44-83

ББК 84Р7
Р2

**АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
МЕДНИКОВ**

Избранные произведения

Том II

Редактор М. Чудова

Художественный редактор Ю. Воярский

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры Л. Овчинникова,
Т. Филиппова

ИБ № 3138

Сдано в набор 26.10.82. Подписано к печати 11.08.83. А 13141.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная
новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04.
Уч.-изд. л. 28,19. Тираж 50 000 экз. Изд. № III-750. Заказ 3-406.
Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художествен-
ная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано на Головном предприятии республи-
канского производственного объединения «Полиграфкнига»,
252057, Киев, ул. Довженко, 3.
Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского
производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомизда-
та УССР, ул. Воровского, 24.